Иван Беляев

Где вера и любовь не продаются

Мемуары генерала Беляева

Николай Стариков

РЕКОМЕНДУЕТ ПРОЧИТАТЬ

ПИТЕР

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

История нашей страны знает множество известных имен. Многие семьи служили Отечеству из поколения в поколение. Один из таких служивых родов – Беляевы. Этот род дал России многих достойных сынов. Наверное, наиболее известный из них – генерал царской армии Иван Тимофеевич Беляев. Участник Первой мировой и Гражданской войн, который впоследствии стал… национальным героем Республики Парагвай.

Род Беляевых служил России верой и правдой на протяжении веков. Тут и адъютант Суворова, и контр-адмирал Балтийского флота, комендант Кронштадтской крепости и множество простых честных русских офицеров.

Но случилась Русская смута, и генерал Беляев, бившийся за Белое дело, оказался в эмиграции. В Парагвае он не только создал Русский очаг, но и выиграл самую кровопролитную войну XX века в Латинской Америке.

Мемуары генерала Беляева – это рассказ о Первой мировой войне и о войне Гражданской.

Часть мемуаров посвящена Крыму, что особенно интересно в силу того, что потомок главного героя, Дмитрий Беляев, является моим соавтором по книге «Россия. Крым. История». Сегодня на живом примере я вижу, как в его семье сохранилась связь с дореволюционной Россией.

Мемуары генерала Беляева представляют собой достойный пример жизни русского офицера, который сохраняет веру и любовь к Родине. Он любит Россию. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие политические обстоятельства.

Так должен поступать каждый, кто считает себя патриотом России!

- Иван Тимофеевич Беляев
  - Генерал Беляев: герой России – герой Парагвая
    - Предисловие Н. Старикова
    - Предисловие Д. Беляева
  - Часть первая
    - Введение
    - Родное гнездо
    - Тени прошлого
    - Корпус
    - Училище
    - Золотые годы. Итак, мы офицеры
    - На Кавказ

- Я тоже лебедь
- Царская гвардия. Душа, добрый конь
- Товарищи и солдаты
- Служба и досуги
- Начало конца
- Маруся. Душа – красна девица
- В бурю и грозу
- Горе
- У тихой пристани. Встреча
- Перелом
- На Кавказе
- Накануне

○ Часть вторая

- За Родину!
- Сувалки
- Под Варшавой
- Сукачев и Боржимов. Роковая ночь
- Разочарование
- На родине Шопена
- Кольно, Малый Плоцк и Скрода-Руда
- Ступайте в ж…
- Прорыв на фланге армии
- Высота 70,9
- Едвабна
- На Карпатах. Яворник
- Ясиновец – развязка
- В лазарете Ее Величества
- Бесплодные усилия
- В тылу
- Ударный дивизион
- Севочкины именины
- Развал
- Последний выстрел
- Судный день
- Тетя Туня
- Стежка
- Сокольский
- Печальные вести
- Вайчешвили
- Мечетинская
- Поход
- Свет и тени
- Peradventure[164]
- За Кубанью

        - Врангель[167]
        - Опасная минута
        - И смех, и грех
        - Александрия[174]
        - При последующей конъюнктуре
        - Черкесы
        - В погоне за призраком
        - Опять на рельсах
        - …Никто, кроме краснокожих детей пустыни…
    - Послесловие Д. Беляева
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31
    - 32
    - 33

- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77

- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121

- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165

- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190

Иван Тимофеевич Беляев
Где вера и любовь не продаются. Мемуары генерала Беляева. С предисловиями Николая Старикова и Дмитрия Беляева

Неизменной спутнице моей жизни, моей верной жене!..

Генерал Беляев: герой России – герой Парагвая

Предисловие Н. Старикова

История нашей страны знает множество известных имен. Многие семьи служили Отечеству из поколения в поколение. Один из таких служивых родов – Беляевы. Этот род дал России многих достойных сынов. Наверное, наиболее известный из них – генерал царской армии Иван Тимофеевич Беляев. Участник Первой мировой и Гражданской войн, который впоследствии стал… национальным героем Республики Парагвай. Бывший белогвардеец, потерявший Россию, в которой победили большевики, когда случилась Вторая мировая война, он вместе с другими русскими людьми на другом краю света всей душой болеет и молится за победу над врагом. Настолько сильной была любовь к России у навсегда покинувших ее.

Прадедами Ивана Тимофеевича Беляева были Леонтий Федорович Трефурт, адъютант Суворова, и Андрей Иванович Эллиот, контр-адмирал Балтийского флота. Его отец, Тимофей Михайлович Беляев, был генералом от артиллерии (по советской табели о рангах – маршалом) и комендантом Кронштадтской крепости в революционные годы начала XX века. Пятеро его братьев также были артиллеристами (двое – также генералами). Да и сам он был блестящим артиллерийским офицером, о чем много и красочно рассказывает в своих мемуарах.

Оказавшись в Парагвае, Иван Тимофеевич взялся за создание «Русского очага», чтобы сохранить в людях, живущих вдали от Родины, русский дух. Он писал: *«Я мечтал об одном. В море продажного разврата и растления я надеялся найти горсть героев, способных сохранить и взрастить те качества, которыми создалась и стояла Россия. Я верил, что эта закваска, когда совершится полнота времен, когда успокоится взбаламученное море революции, сохранит в себе здоровые начала для будущего. Если нельзя было спасти Россию, можно было спасти ее честь».*

По призыву генерала Беляева в Парагвай приехало множество русских людей, которые разочаровались в Европе. Если в последней бывшим царским офицерам приходилось зарабатывать на жизнь, например, развозом, то в южноамериканской республике они поступали на службу в армию с сохранением воинского звания. Приглашались также инженеры, врачи, ученые, строители и люди других профессий, которые сыграли большую роль в последующем развитии страны.

Когда в 1932 году началась война с Боливией (рокфеллеровская Standart Oil отыскала нефть в межгосударственной области), русские офицеры все как один

встали на защиту своей второй Родины. Благодаря усвоенной с ранних лет суворовской «Науке побеждать» они громили командовавших боливийцами немецких офицеров, которые имели существенное превосходство в вооружении (приобретенном на американские кредиты) и живой силе. Не удивительно, что в 1935 году война закончилась полным разгромом боливийской 160-тысячной армии, в несколько раз превосходившей силы парагвайцев под командованием русских. Вся горечь поражения была написана боливийскими солдатами на табличке, оставленной в одном из окопов при отступлении: «Если бы не эти проклятые русские, мы бы все ваше босоногое войско сбросили бы в реку Парагвай».

Но книга мемуаров генерала Беляева рассказывает нам о Первой мировой войне и особенно много – о войне гражданской. Она интересна также и тем, что в ней от первого лица описывается процесс воспитания русского офицера. Передающиеся через века устои русской семьи наиболее ярко отражены в духовном завещании отца Ивана Тимофеевича, который ушел из жизни незадолго до трагических революционных событий.

Часть мемуаров посвящена Крыму, что особенно интересно в силу того, что потомок главного героя, Дмитрий Беляев, является моим соавтором по книге «Россия. Крым. История». Сегодня на живом примере я вижу, как в его семье сохранилась связь с дореволюционной Россией.

Мемуары генерала Беляева представляют собой достойный пример жизни русского офицера, который сохраняет веру и любовь к Родине. Он любит Россию. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие политические обстоятельства.

Даже будучи выброшенным на берег на другой стороне земли…

Предисловие Д. Беляева

Двадцатый век принес России великие потрясения, которые оставили глубокий след на ее историческом полотне. Если память о Советской России все еще живет во многих из родившихся в ней, то память об Исторической России сегодня зачастую можно почерпнуть лишь из мемуаров царских подданных. Одним из достойных образцов мемуарной литературы можно считать воспоминания генерала царской армии Ивана Тимофеевича Беляева (1875–1957), который был младшим братом моего прапрадеда.

Семья всегда была, есть и будет основой основ русской цивилизации. Именно в семье из поколения в поколение, образуя родовое древо, передаются идеалы и ценности, вера и традиции русского народа. Сегодня, когда Россия вновь находится на пути возрождения, мы все чаще обращаемся к истокам. Крайне важно помнить о том, кто мы есть. Только тогда мы можем уверенно смотреть в будущее.

На обложке книги вы видите последнюю дореволюционную фотографию рода Беляевых, которая была сделана в 1913 году. По центру сидит глава семейства – генерал от артиллерии Тимофей Михайлович Беляев, который был комендантом Кронштадтской крепости в тяжелые для нашей страны 1903–1907 годы. Вокруг него – семеро детей с семьями. Шестеро сыновей (Сергей, Владимир, Михаил, Иван, Николай и Тимофей) – офицеры-артиллеристы, дочь Мария – мачеха великого поэта Александра Блока и мать его единокровной сестры Ангелины. По правую руку (слева по взгляду читателя) стоит его внук в белой бурке с газырями, положа папаху на ногу деду. Это Алексей Сергеевич Беляев, мой прадед. Отец его, генерал-лейтенант Русской и Красной армий Сергей Тимофеевич Беляев, как вы уже могли догадаться, стоит у него за спиной вместе с матерью. Он был первым сыном в семье и главному герою данной книги приходится старшим братом. Сам же главный герой, генерал-майор Русской армии и генерал-лейтенант Парагвайской армии Иван Тимофеевич Беляев, смотрит на читателя с самого правого края семейной фотографии.

Иван Тимофеевич Беляев, пожалуй, является самым известным представителем нашего рода. Жизнь его, включающая три с небольшим четверти столетия, оказалась столь яркой и необычной, что в наше время ей посвящено большое количество статей, несколько книг и документальных фильмов.

Но если история второй половины жизни генерала Беляева, в

Парагвае, известна читателям, то первая часть его земного пути до сих пор была скрыта от большинства. Мемуары посвящены жизни Ивана Тимофеевича в Российской империи. В них вы найдете все, что интересно современному искушенному любителю отечественной истории – вопросы воспитания русского офицера, быт традиционной русской семьи, известные исторические события (Русско-японская война, Первая мировая и Гражданская войны, три революции), – рассказанное живым и понятным языком от лица современника и непосредственного участника многих из этих событий.

В отличие от известных деятелей Белого движения (Юденича, Алексеева, Колчака, Врангеля, Деникина) генерал Беляев не отметился на ниве политической деятельности. Он был просто военным и считал, что, сражаясь на стороне добровольческого движения, продолжает тем самым служение Отечеству. Но полностью раскрыться его личности суждено было… в далеком Парагвае, который он знал и любил еще с детства. Должно быть, история о том, как царский генерал стал национальным героем Республики Парагвай и вместе с доброй сотней своих сослуживцев выиграл страшную Чакскую войну (1932–1935), защитив свой вторую Родину от агрессоров (финансируемых и подстрекаемых США), – это один из самых успешных примеров того, как бывшие царские подданные смогли реализовать себя за пределами России. Прочитав мемуары генерала Беляева, вы поймете, откуда в далеко не самом высокопоставленном царском офицере нашлись такие качества, которые изменили жизнь целой столь далекой от нас страны.

Волею судеб мне выпала возможность узнать достаточно много о судьбе своего рода. Должен сказать, что познание семейной истории послужило искрой, которая когда-то зародила в моей душе тягу к познанию истории собственной страны. Надеюсь, что ознакомление с мемуарами именитого пращура вызовет интерес к изучению истории собственного рода и у уважаемых читателей.

Часть первая
Невозвратное время

Ты знаешь ли тот край, где раннею порою
Волшебных грез и радости полна,
Сокрытая от глаз под снежной пеленою,
В уборе из цветов рождается весна.
Тот чудный край, где из-под неба льются
Песнь жаворонка, трели соловья,
Где вера и любовь не продаются,
То край моих отцов, то РОДИНА МОЯ…

Введение

Жизнь прожить – не поле перейти.

Жизнь моя – три четверти столетия – охватывает значительную часть прошлого века и половину настоящего. Родился я в те дни, когда Европа только что вышла из ряда потрясений, вызванных движением 48-го года, и вооруженных столкновений, сопровождавших возрождение Германии и Италии. В тот самый момент, когда насильственная смерть становилась анахронизмом и лишь вызывала любопытство, как пережиток прошлого; когда казалось, что перед Европой, а за нею и перед всей Вселенной открывается безоблачное будущее беспрерывного прогресса. И вот с началом нового века перед нашими взорами раскрылась вся картина колоссальных сдвигов и переворотов, которые еще не закончились и Бог знает, когда закончатся и к чему приведут человечество и самое существование нашей планеты…

Но моя жизнь уже подходит к концу, и пора подвести ей итоги. И на склоне дней, лишь только случится отвлечься от настоящего и отдаться воспоминаниям, картины прошлого выходят вновь из тумана десятилетий во всей свежести и яркости красок сегодняшнего утра. Как живые поднимаются давно забытые образы и события, оставившие неизгладимый след в душе, и прошлое становится настоящим. Картины далекого детства в патриархальном укладе сельской жизни среди ласкающей природы и не затронутых еще мировой свистопляской людей; старый Петербург с его радостями и треволнениями, кажущимися теперь бурей в стакане воды в сравнении с суровыми условиями беспощадного века; незабываемые годы Первой мировой войны, внесенные ею грозные картины гибели и разрушения – и, наряду с ними, яркие примеры доблести, красоты и совершенства духа и плоти; катастрофа, приведшая к революции, и светлые образы, захваченные в ее водоворот…

Первые дни изгнания… Первые шаги за океаном… Непостижимые события, которые осуществили мечты самого пламенного воображения, сделали невозможное близким и досягаемым, превращали житейскую прозу в очаровательную поэму, отодвигали, казалось, самые времена и сроки на десятки и сотни лет назад и поднимали завесу над деяниями прежних поколений, над легендарной историей Нового Света… Все, все это проходит перед очарованным взором в воспоминаниях. И рождается твердая вера в глубокий смысл происходящего, которое лишь кажется плодом человеческих усилий, а на самом

деле является делом рук Творца Вселенной, который один лишь знает Свои неисповедимые пути и правит землей, и человечеством, и временами, ведя все к намеченной Им цели.

10 июня 1950 года

Родное гнездо

Это – русская деревня,
Это – родина моя!..

Я родился в ночь на 19 апреля 1875 года в скромной обер-офицерской квартире дома Гарновского, служившего для совместного жительства офицеров лейб-гвардии Измайловского полка и лейб-гвардии Второй артиллерийской бригады, где в это время служил капитаном мой отец[1].

Это событие, которое при иных обстоятельствах могло бы считаться радостным, внесло в нашу семью величайшее горе: через пять дней после моего рождения скончалась моя мать, за несколько дней до этого заболевшая воспалением легких, которое схватила, провожая в дверях моего отца. Перед кончиной она нежно поцеловала меня, прижимая к сердцу виновника своей преждевременной смерти. Едва ли в эту минуту я отдавал себе отчет в значении ее последнего благословения, но чем дольше я живу, тем [больше] проникаюсь мыслью, что ее любовь вместе с незапятнанной честью моего отца было лучшее, что я мог бы унаследовать от моих родителей. И мне кажется, что и теперь я чувствую ее последний поцелуй.

Старшая сестра Махочка[2] – ей было всего девять лет – пыталась заменить нам маму. На нее перенесли мы всю свою нежность; любовь и благословение. До рассвета она собирала нас к себе, одевала, учила молиться, разогревала на свечке кусочки сахару и наделяла всех мальчиков, тихонько сидевших вокруг ночника.

С годами это чувство росло и превратилось в рыцарское поклонение. Одно слово «Махочка рассердится» прекращало все шалости. Но Махочка никогда не сердилась.

Первые дни провела с нами тетя Туня[3], незамужняя сестра моей матери.

Но с началом весны я попал в семью дедушки, и в коробке с ватой проделал свое первое путешествие до Нарвы по железной дороге и потом 60 верст «на долгих» до нашего родного гнезда, находившегося в самом сердце Медвежьего угла в центре Гдовского уезда. Эти поездки в деревню были самыми светлыми воспоминаниями детства. И когда кучер, тыкая кнутом в ту часть горизонта, где в чаще зеленых верхушек виднелась красная крыша нашего дома, произносил: «Уже видать Леонтьевское», – мы не знали, что делать от охватывавшего нас восторга.

При всем старании едва ли вы найдете на старой карте то пятнышко, на котором виднеется полустертая надпись: «Сельцо Леонтьевское, Проходилово тож». Не найдете и имения Орловых – бывшего пепелища Снурчевского, ни двух смежных деревень Завражья и Гверездны, ни позднее других появившегося Новоселья. Только в развилине двух крупных речек, прорезающих смежные с ними заливные луга, средь густых камышей, причудливыми зигзагами уходящих к кипучей Плюссе, быть может, вам удастся угадать крошечный зигзаг, означающий лесной ручей, пригорок ленивой и тихой Руши – это наша родная Гверездка, русло которой разделяет оба имения и обе деревни. Ее желтые воды струятся по гравию (по нашему – гверезду), который и дал ей свое имя; между высокими дубовыми насаждениями, минуя Федину горку из красного песчаника, она проходит под мостом близ перекрестка, окаймляет живописный косогор и, прорезая пустынный выгон, прячет свое устье в густых зарослях ольхи и ивняка.

Приобрел это имение мой прадед Леонтий Федорович Трефурт, дипломат екатерининской школы и секретарь по иностранной переписке великого Суворова, с которым участвовал в его последнем легендарном походе[4].

Вернувшись, он женился на Елизавете Степановне Лавинской – сестре известного виленского губернатора, бывшего одно время, накануне Отечественной войны, резидентом в Данциге. На старости лет он [прадед] приобрел 4000 десятин земли от старого морского волка Снурчевского, за которым ходила слава пирата. Он продал ему половину имения.

Старик с женой и детьми, тремя мальчиками и девочкой, поселился в имении в крошечном «Новеньком домике», выстроил прекрасные барские хоромы со службами, разбил парк с прудами, садами и огородами и обнес его высоким валом, ощетинившимся желтой акацией. Гуляя однажды по своим владениям об руку с дочерью, только что окончившей Смольный институт, по дороге на Слутку он встретил роту Прусского полка, выходившую из Малыгинской рощи. Рота направлялась на военные поселения, находившиеся в Выскотке – центре этой волости Гдовского уезда. Во главе шли три молодых офицера: два брата Эллиот и их младший товарищ Глас. Первые двое были детьми старого шотландца А. И. Эллиота, явившегося в числе двенадцати капитанов в Россию при Екатерине на воссоздание флота, покрывшего себя бессмертною славой в эпоху Чесмы и Наварина, – Грейга, Рикорда, Огильви и других. Глас, тоже шотландец по происхождению, побочный сын графа Дугласа, с солидарностью, свойственной этому племени, примкнул к своим

по крови.

Все радостно приняли приглашение [деда]. Их угостили отличным ужином и устроили ночевать в «Новеньком домике», а солдат – на гумне. В Выскотке их ожидала жизнь тяжелая и монотонная. После ряда войн Россия находилась в полном истощении. Ради экономии солдаты стреляли в цель глиняными пулями на 30 шагов в овине. Красивые лосины одевались только в особых случаях, их приходилось натягивать с вечера, намочив водою, чтоб лучше сидели. Посещая соседей, офицеры шли пешком, неся сапоги на палках, чтоб надеть их у ворот. Жалование получалось по третям обесцененными ассигнациями.

Однажды соседняя помещица Дарья Федоровна Шишкова – ее Сижна была лишь в трех верстах от Выскотки – дала понять Ивану Андреевичу [Эллиоту], что он имеет все шансы на успех у юной дочки дипломата.

– Куда мне свататься за нею, – возразил тот, простой пехотный офицер, – не сегодня-завтра опять на штурм Праги или турецкой границы, в 32 года я уже не жених.

– Нет, нет, будьте уверены в успехе, – отвечала она, – пре красной наружности, в цвете сил, выше головой по воспитанию и образованию всей вашей среды, вы уже завоевали все симпатии. И старик, заслуженный тайный советник с большими связями, сам позаботится о вашем будущем.

Аргумент подействовал.

– Леонтий Федорович, я хотел бы поговорить с вами наедине, – сказал он старику при следующем визите.

– Помилуйте, Иван Андреевич, – отвечал тот, смеясь, – ведь мы и так, кажется, одни. Что такое вы желаете мне сообщить? Ну, конечно, с радостью! А о чувствах своей дочери я уже знаю. На большое приданое вам рассчитывать не придется, я ведь снарядил троих сыновей в гвардию, но будущее ваше будет вам обеспечено. Мы вас устроим в кадетский корпус, так как Лиза уже не захочет отпустить вас на войну.

– Свадьбу сыграли как нельзя лучше, – рассказывала мне потом старая няня Марья Калинишна, опуская меня в ванну и растирая мне грудь и спину своей сухой жилистой рукой. – Не барахтайся, напорная ты цыпунька, я тебе все расскажу. Я ведь пошла за Лизаветой Леонтьевной в приданое. Ей было 19 лет, а мне 13, так я все помню. Гостям отвели помещение в «Новеньком домике» – уланам, а Прусскому полку – в бане. Венчал приезжий пастор на дому[5], а вечером играла музыка обоих полков. Ужин-то был какой, все мы с ног посбивались. А ночью запустили фейерверк, ракеты летали выше этих дубов. Ардальон Дмитрич Шишков привез турецкую пушку, которую забрал под Измаилом,

и палил из пушки. Всех наших – и гвереженских, и завражских, и новосельских угощали в саду на зеленой траве. Ну, а потом мы отправились в Выскотку, жили в простой избе. Там-то у них и родилась Лизанька. Елизавета Леонтьевна готовили пирог с капустой, а тут-то их и схватило. А потом, как переехали в Питер, там жисть другая была, и в Дворянском полку, и в корпусе. Вот оно как было. Ну, вылезай, цыпунька, на сухие простыни.

Из троих сыновей Леонтия Федоровича остался в живых лишь один, прочие умерли в ранней молодости. Старший, красавец Александр, крестник Благословенного, был любимец и баловень родителей. В Данциге накануне войны дипломаты обеих империй задали друг другу прощальный обед и после шампанского вздумали погадать о будущем. Вызвали Александра и маленького Наполеона Раппа, сына французского резидента и крестника своего императора, и заставили их бороться. Краснощекий бутуз без труда справился со слабеньким французиком; и все решили, что возьмет Россия.

Когда Лавинский вернулся в Вильно, решили послать Александра к нему, чтоб он там научился придворной жизни и манерам. Лавинский получил воспитание в доме екатерининского вельможи графа Головина, от которого унаследовал довольно свободные взгляды на мораль. Первое же письмо сына открыло глаза родителям.

«Дорогие папа и мама, – писал он, – теперь я уже все знаю. Зачем только вы меня обманывали сказками, что я родился в капусте, а Федю принесли аисты. Теперь я уже не ребенок». Вскоре пришло другое письмо от самого Лавинского – он горько жаловался, что мальчик отбил у него любовницу француженку, и просил взять его домой.

Старших детей снарядили в Петербург в гвардию. За ними потянулись три подводы с серебром, бельем и посудой. Но они доехали только до Нарвы, где все было спущено талантливыми учениками екатерининского вельможи. Пришлось отправить их на Кавказ, где оба погибли от лихорадки на черноморской линии.

Остался один лишь Федор, который попал на службу при более скромных условиях. Но после [отмены] крепостного права, уже полковником в отставке, он бросил имение, – уступил его сестре и умер в Петербурге. Насколько крестьяне боготворили прадеда и его дочь, настолько ненавидели ее брата, воспитанного в аракчеевской школе. Дедушка прослужил 40 лет и последние годы провел в Леонтьевском вместе с бабушкой, которую обожал и желания которой считал для себя законом. У них осталось шесть дочерей (три замужних и три незамужних) и два сына, служившие в лейб-гвардии Финляндском полку. Зимние месяцы

вся семья проводила на их казенной квартире.

Об отцовском доме у меня осталось смутное воспоминание. Но несмотря на то, что я был еще крошкой, некоторые картины навсегда врезались в мою память. После смерти мамы к нам переехала тетя Туня, чтоб помочь вдовцу справиться с пятью детьми. Через год отец женился на пышной красавице из небогатой купеческой семьи. «Только что случайно познакомился с двумя барбарышнями (это было его любимое выражение), – говорил он нашим под впечатлением встречи, – одна – пышная, как булочка, другая – как калачик». Ему было всего 32 года, ей 16. Заботился ли он в эту минуту о детях? Конечно, нет. Но в нем кипела здоровая кровь, он казался гораздо моложе своих лет. Кто мог судить его? И сироты остались на попечении мачехи или, вернее, беспечной няньки Ольги.

Кроткая Махочка поступила в Смольный. Старший Сережа, никак не мирившийся с новыми порядками, – в военную гимназию. Оставалось трое: кроткий и тихонький Мишуша, характерный Володя и я[6]. С этой минуты начинаются мои воспоминания.

Помню огромные комнаты с большими окнами, выходившими на Литейный, – отец уже служил тогда в Главном артиллерийском управлении. Помню доброе лицо дяди Алексея Михайловича[7], его поседевшие баки, когда, наклонившись надо мной, он помогал отцу дать мне лекарства – я лежал с воспалением легких. Помню и редкие светлые минуты, когда приходили гости и заботливая тетя Туня совала мне потихоньку в рот домашние котлеточки.

Как я ликовал, когда нас везли к дедушке и бабушке в Финляндский полк. Как я ревел при виде отцовской квартиры, тусклых фонарей у подъезда, бросавших красноватый отблеск на пушки у ворот Управления. Помню, как возмущался я, когда вместо встречи наших, возвращавшихся с войны в цветах под звуки музыки и несмолкаемые крики «ура», или вместо давно обещанной поездки к самоедам, катания на оленях по Неве меня отвозили «домой»… Помню также, как, изображая пожарную команду, с диким свистом катали мы по всем комнатам люльку с новорожденным Колей[8], пользуясь отсутствием старших…

Но когда отец получил назначение командиром 4-й батареи лейб-гвардии третьей гвардейской и гренадерской бригады в Варшаву и все мы очутились у бабушки и дедушки, мы ожили. Нас окружила там та теплота душевная, та неподдельная любовь, в которой мы так нуждались после смерти мамы.

Главную роль в нашей жизни играли незамужние тети. «Редко у кого найдется такая мать, как эти две ваши тетушки», –

повторяли все кругом. И это была чистая правда. Тетя Туня, спокойная, сосредоточенная и выдержанная, всегда прилично одетая, бывшая смолянка, подрабатывала уроками музыки, учила всех нас на рояле и исключительно посвящала себя заботам о нашем здоровье и материальном благополучии. Старшая тетя Лизоня[9], безалаберная в жизни, но талантливая и познаниями далеко превосходящая сестер, получила воспитание в прекрасном пансионе известного литератора Чистякова, человека редкой души и высокообразованного. Она была любимицей прабабушки и носительницей всех семейных преданий.

Младшая, тетя Женя[10], стояла от нас гораздо дальше, но приносила всем нам величайшую пользу своим систематическим и настойчивым преподаванием: всех без исключения детей она готовила по программам в корпуса и гимназии, готовила по выработанной рутине, восполняя все пробелы и не давая уклоняться от нормальных требований. Сéрдца в эти занятия она не вносила, к урокам относилась формально, но безукоризненно.

Обе старшие любили меня по-разному. Тетя Туня укладывала нас спать, умывала и одевала, водила гулять. Когда она отлучалась ненадолго, я тосковал и горячо молился Богу о ее возвращении. Ее любимцем был Володя, немного леноватый и упрямый, но обладавший природным умом и отзывчивостью.

Тетя Лизоня была самородком. Талантливая художница, посещавшая академию, она оставила несколько прелестных этюдов в карандаше (чудную головку юного рыцаря и др.) и в масляных красках (Екатерина Великомученица и прелестный портрет нашей мамы). Свое искусство она передала моему брату Мише и отчасти мне. Заразила она меня и своей ненасытной жаждой к просвещению и широтой гуманных взглядов. Резкая и деспотичная, она не выпускала меня из своей комнаты.

К сожалению, обе были «на ножах». При общей тишине, господствовавшей в доме, малейший предлог вызывал бурю, и лишь угроза дедушки отослать детей в Варшаву к отцу заставляла обеих прекращать распрю. Я горячо любил каждую из них и всегда молился, чтоб мне умереть раньше их. Но эти «истории» не давали мне покоя. Малейшая радость, малейшее оживление с моей стороны неизменно кончались скандалом, и я всегда находился между двух огней. Остальные избегали этого среди детей младших тетей Ади и Лели[11], которые временами наполняли дом веселыми беспечными играми под надзором любящих матерей. Редко когда мне случалось принимать участие в их радостях – это сейчас же вызывало неприятности. Эта замкнутость заставляла меня обдумывать и переживать многое, неизвестное детям, выросшим в здоровой семье. И эта

двойственность отразилась на моем характере и, впоследствии, на всей моей судьбе.

Остальные тети в молодости были очень хороши собой. Тогда [в дни их молодости] старики имели несравненно больше средств, и летом в их имении все время давались спектакли и устраивались всяческие увеселения. Дом толпился знакомыми, по большей части интеллигентной молодежью. Тургенев, Гончаров, Григорович, Дружинин бывали среди гостей. «Александра Ивановна – настоящая греческая богиня», – говорил Тургенев. Елена Ивановна поражала своей кроткой манерой держать себя. Обе выделялись чудным голосом. «Мадочка» – так звали маму – была еще девочкой и не могла участвовать на семейных праздниках. Она молча жалась к матери и глубокими темными глазами, почти без радужной оболочки, выглядывала из-под ее рукава. В числе молодежи тети чаще других вспоминали молодых грузинских князей Андроникова и Церетели. Последний посетил нас много лет спустя, уже отцом юного гвардейца конноартиллериста и предводителем дворянства Кутаисской губернии. Эта встреча растрогала всех нас до глубины души.

Тетя Адя вышла замуж за красивого молодого студента К. К. Стефановича, который по политическим причинам не кончил университета и остался мировым судьей в своем имении Посконкине в 15 верстах от нас.

Тетя Леля вышла замуж за только что вышедшего из училища правоведения Н. Н. Эндена и уехала с ним в Варшаву.

К маме посватался мой отец, которому было всего 22 года, он бывал у них еще кадетом, фельдфебелем 1-го Кадетского корпуса, являясь дедушке по службе.

Все три семьи мечтали о Леонтьевском, но после смерти мамы и отъезда отца в Варшаву остались только две кандидатуры. Братья, особенно после турецкой войны, погрязли в долгах, имение было заложено и перезаложено, и они мечтали только использовать остатки, чтоб спастись от скандала.

В своей колыбельке один я часто прислушивался к их разговорам, и это тоже тяготило мою душу.

Теперешние поколения не знают этого чувства, которое питали мы к родному гнезду, где выросло три поколения наших близких. Теперь, особенно в Америке, смотрят на дома и земли лишь как на валюту, как на преходящую ценность. Для нас родной очаг – было все. Это был наш земной рай. «О, Родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя?!»

Теперь это чувство знают только дикари. Продать родную землю, зачем же не продать тогда воздух, которым мы дышим, эти облака, которые плавают над нашими головами… Но ведь

теперь продают все, все… даже любовь.

Первым транспортом в деревню отправлялись дедушка с бабушкой[12] и мы с тетей Лизоней. Обыкновенно мы ночевали в Нарве на станции. На другое утро, еще до рассвета, на пороге дамской комнаты появлялся дедушка, предупреждая, что лошади поданы. На крыльце суетился управляющий Гревальд, перетаскивая вещи. Я уже на крыльце. Свежий утренний воздух с легким запахом сена и конского навоза кажется мне лучше всяких духов. С невыразимым волнением всматриваюсь я в полумраке в знакомые силуэты Чернеца и Милашки, которые обмахиваются хвостами и трутся мордами. А эта рыженькая на пристяжке. Как ее зовут? Помаленьку все устраиваются на сидениях, и я погружаюсь в середину, опускаясь на деревянную картонку со шляпами.

– Готово? С Богом!

Мы катимся по мостовой, спускаясь к мосту через крепостной ров, отделяющий средневековый Германстурм с его готическими башнями и парапетами от русского Ивангорода, по преданию выстроенного Грозным в одну ночь. Но в нем уже нет воды; обращенный в сплошной фруктовый сад, город тонет в белоснежных цветах яблонь, вишен и слив.

Мы катимся дальше по Ивановскому фурштату, перед нами поднимается пестрый шлагбаум, и вот мы уже на просторе… 15 верст до Низов мы любуемся разливом Плюссы, пенящиеся воды которой омывают плоские плиты белого известняка и разливаются по поемным лугам, наполняя воздух сладким ароматом тысячи цветов. Маленький отдых в Низах, где можно освежить пылающие щеки в струях ручья, журчащего внизу в глубокой трещине; и мы снова мчимся до Полей. Оттуда тащимся проселками на постоялый двор Барана, где заночуем, чтобы дать отдых измученным лошадям. Меня устраивают на стульях. Но так удобно, так уютно, что я долго повторяю: «Как пияно у Баана!»

Утром поля и луга еще покрыты заиндевелой росой. И когда восходит солнце, раскрывающиеся чашечки цветов еще сверкают алмазной слезой. Но весеннее солнышко уже дает себя знать. Мне становится жарко под теплым пальто с шерстяным шарфом на шее. Старички дремлют, развалившись в углах тарантаса, тетя Лизоня начинает клевать носом. Но ухабы не дают мне задремать. Кони тянут через силу, эти 15 верст стоят добрых 30 по шоссе.

Но вот мы уже проехали Рудненский погост, где подле церковной стены покоится мой маленький братишка Женя, о котором так плакала мама. Вот и круглая роща на высоком холме – это Сижна, где жили и умерли Шишковы. И наконец – о Боже! Неужели это не во сне? В густой зелени высоких деревьев

мелькает красная крыша родного гнезда… Наши колеса радостно гремят по деревянной настилке моста. Мы сворачиваем с перекрестка направо, летим во всю прыть между усадьбой и скотным двором и, сопровождаемые всей стаей пастушьих собак, по широкому, подросшему газоном двору подлетаем к крыльцу. А там уже ждут нас все постоянные обитатели: прислуга, собаки, кошки – словом, все, кого мы покинули здесь осенью.

– А мы уже заждались вас! Подите в столовую, там уже все готово: и домашний хлеб, и сухарики, и чудные булочки, и масло… Сливки-то какие! В Питере таких, почитай, не видывали! А кофей сейчас подадим.

В предбалконной зале накрыт широкий раздвижной стол. В ней прохладно и легко дышится после зноя и дорожной пыли. Со стен сурово смотрит портрет старого адмирала[13] и улыбается прелестное личико его сына, теперь уже восьмидесятидвухлетнего старика. Глядят олеографии, изображающие долину Рейссы и знаменитый Чертов мост, который, по словам прадеда, суворовские герои восстанавливали под пулями, перевязывая его офицерскими шарфами.

Старинные английские часы с гирями бьют двенадцать… Мы дома. Наконец-то!!!

Тени прошлого

О милых, кто явленье наше в свет
Своим присутствием благословили,
Не говори с тоской: «Их боле нет»,
Но с благодарностию: «Были».

В. А. Жуковский

«Ведь наше северное лето – карикатура южных зим», – говорил Пушкин. Но русская весна имеет свою бесподобную прелесть.

Почки распускаются на глазах, листья развертываются в течение одного утра, тополя наполняют воздух благоуханием, на березках появляются сережки. И одновременно с ними в деревне появляются одна за другою все русские семьи.

Кончились экзамены. Женя, Туня привозят братьев. Приезжает из института Махочка, обожание и кумир всей семьи. Тетя Адя привозит своих Коку и Зою, тетя Леля – трех девочек: Лелю, Наташу и Любу. Закончив в сенате сессии – он теперь там, – является дядя Коля[14], и с ним начинаются дальние прогулки за ландышами, за кукушкиными слезками. В результате все влюбляются друг в друга: старшие – в Зою, потом в хорошенькую, но недалекую Лелю и, наконец, в младшую – Любу, которая очаровывает своим удивительным цветом лица и огромными удивленными глазами. За ней и я пытался ухаживать.

Как-то нам принесли по маленькому блюдечку с крупными ягодами земляничного варенья – это были первые. Мы сидели друг против друга, и я с восторгом смотрел, как она кушает. К своим я не прикасался.

– Любочка, – сказал я наконец, когда она кончила, – выходи за меня замуж, и я отдам тебе все мои ягоды.

Люба бросила на меня радостный взгляд и потянулась за блюдечком. Но когда последняя ягода исчезла в ее пунцовых губках, она поднялась с места.

– Ну, а теперь я пойду играть с Володей!

Вот когда я понял, что значит коварство женщин.

Ландыши уже кончаются. А между тем на большой аллее,

ведущей к пруду, нарциссы, жасмины и розы торопятся сменить друг друга и усыпают дорожки своими нежными лепестками. Вот под большими венецианскими окнами фасада зацвела белая и лиловая сирень, по колоннам балкона завились вьюнки, плющ, дикий виноград… Кончилась весна.

– Слушайте! – На мосту слышится грохот колес. Дети летят в угол парка в круглую беседку, что нависла над устьем орошающего нижнюю рощу ручья, и жадно глядят на дорогу.

– Тимофей Михайлович! Папа! – раздаются крики.

– Дядя Федя! Лелен![15]

Дорогие редкие гости… Два-три дня детвора ходит как ошалелая, клеясь к новоприезжим. В старом гнезде всем есть место, всем добро пожаловать.

Наверху, в комнате с балкончиком во двор, помещаются Заржицкие[16], мать Николая Николаевича и ее сестры, то одна, то другая. Напротив, в мезонине за ширмами, ютятся тетя Туня с Махочкой. Младшие мальчики в комнате, старшие внизу, Стефановичи – в детской. Дядя Коля с детьми в «Новеньком домике» на углу фруктового сада. Но все рвутся в сад, где у каждого свой любимый уголок. Эндены роются в огороде, где под руководством своего папы разводят редкие сорта крыжовника, смородины, устраивают парники. Мы копаемся в детском саду, где у каждого свой участок. Подростки уединяются в орешнике, двумя линиями разрезающем верхний сад, под тенистой раскидистой липой, которая уже покрылась ароматными цветами, или бегут в рощу собирать 12 трав: завтра Иванов день и ночью будет цвести папоротник. А сегодня «Аграфена Купальница», и все спешат использовать короткий сезон, всего 20–25 дней – потому что, когда «Илья бросит камушек», купаться будут одни смельчаки.

Уже несколько дней как тетя Адя и тетя Леля каждое утро заботливо меряют температуру воды в маленькой заводи на Гверездке, что за косогором. Сезон открывает дядя Коля. Ровно в девять часов он шествует туда, закутанный в пледы и простыни, как истый римский сенатор, и первый погружается в воду, пока никто не замутил ее. После него девочки, а за ними мальчики, каждый поджидает очереди в засаде за осиной, что на холме, которая без устали трепещет своими листочками, благословляя детей.

До восьми лет я сопровождал тетей, Махочку и Зою в купальню. Сидя спиной к реке, я должен был предоставлять сестрам возможность броситься в бассейн и тогда уже получал разрешение любоваться, как они ныряли, кувыркались и брызгали друг в друга водой. Все шло как по маслу, пока однажды,

соскучившись в ожидании, я не возопил: «Когда же, наконец, вы спрячете ваши таинства природы?» Какой демон вложил мне в уста эту безбожную фразу? Я и теперь не отдаю себе отчета. Но с этих пор я был изгнан из дамской компании и купался уже в иной обстановке.

Было бы величайшей неблагодарностью с моей стороны не упомянуть здесь еще об одной неразлучной подруге моего детства.

Мой дядя К. К. Стефанович был большой охотник. Он застрелил немало медведей и выращивал медвежат на дому. Водились медведи и у нас. Осенью они бродили в трех верстах на Сопотове и Малыгинской роще. Однажды медведь задрал быка и придавил его осиной. Другой раз смазал лапой бабу, собиравшую клюкву по первому снегу, и сдвинул ей на сторону всю прическу вместе с кожей. Но еще более его [дядю] интересовали барсуки, которых немало водилось в Посконкине. Из их превосходного сала тетя Адя готовила чудесное мыло.

Для охоты на них он завел пару породистых такс, которых раздобыл у Сперанского из Царской охоты. От этих Тутора и Пеки произошло многочисленное потомство, и в том числе маленькая Альмочка, с которой мы вместе играли и лазали под стол. Во время охоты она попала на зуб барсуку и, когда их обоих вытащили, лежала в глубоком обмороке. После этого она уже больше не ходила на охоту и оставалась с нами. Как только мы с Лизоней приезжали в деревню, она являлась первая делить с нами одиночество и оставалась со мной до конца. За обедом я совал ей тихонько под стол вкусные кусочки, за чаем намазывал ей маслом сухарики. Ночью ей разрешалось спать у меня в ногах, но к утру ее хвост и задние лапки неизменно находились у меня на подушке, и когда она располагалась у стенки, то под утро выталкивала меня совсем из постели. Своей наружностью, привязанностью, лаской и понятливостью она совершенно покорила мое сердце. Мне казалось, что это маленькая принцесса, превращенная в собачку капризом злой феи. Она была спутницей всей моей юности и, в конце концов, окончила жизнь у меня в квартире в первый год моей офицерской службы. Тетя Лизоня ходила за ней до последней минуты и потихоньку зарыла ее у нас во дворе.

Мне кажется, что животные облагораживают детей. В ком из нас Мурка или Пуфик не пробудили теплые, нежные чувства? И разве не лошадь сделала всадника рыцарем?

С крестьянами, еще с крепостных времен, у нас устанавливались самые сердечные отношения. Прадед не выходил из дому без леденцов для детишек, которые, зная его

слабость, бегали за ним с криком: «Дедка Левка – клевая головка!» Особенно любили нашу семью новосельские, так как их помещица была жестокая, и они постоянно прибегали к заступничеству наших.

После ликвидации крепостного права крестьяне постоянно приходили к нам на помощь. Надо ли было свезти на поле удобрение, скосить луг, убрать сено – во всем этом требовались их услуги. Особенно врезалась в мою память уборка сена в саду. Люди шли как на праздник. Косари стройными рядами клали на землю свежую траву. Бабы с граблями, в ярких сарафанах, убирали сено. Порой одна из них останавливалась, чтобы заговорить с тетей.

– Так это и будет их последненький? Вот ангел-то была покойная Марья Ивановна! За то их Господь и прибрал к себе… А каков-то сынок? С лица-то будто схожий!

– Пока что и по характеру тоже…

– Ну, таков, значит, и будет. Каков в колыбельке, таков и в могилке!

По воскресеньям у нас в кухне толпились больные крестьяне, главным образом женщины, которых пользовала бабушка[17]. Она лечила их, пользуясь громадным жизненным опытом, с помощью обширного лечебника князя Енгалычева. В благодарность они приносили ей яйца, масло и ягоды.

Постоянными посетителями были несколько крепостных, в том числе Гаврила Калинин, брат нашей няни. Они обычно сидели на кухне, и Марья Калинишна подносила им щи с пирогом, мясо и стаканчик водки.

К осени с каждой партией отъезжавших являлись и сопровождавшие их мужики, которым поручалась отправка клади – наш постоянный автомедон, одноглазый Ляксандра Финогенов и другие. С удивительным умением они увязывали, упаковывали и укладывали сундуки и тюки, грузили их на экипажи и подводы и авторитетно обсуждали перспективы пути, все случайности пути и дороги. Дядя Лелен любил изображать его причудливую манеру выражаться.

– А цто, Левонтий Ивановиц, – передразнивал его «цоканье» дядя, изображавший, как бы он повез его за границу, – ницаго не поделаешь! Бренберга не миновать!

Это присловье стало у нас поговоркой.

Наступила жара. Налетали комары и мошки. Но в то же время созревали и чудные ягоды. Появлялись медные тазы и жаровни, и все, а преимущественно замужние тети, отдавали свое время варенью. Дети чистили крыжовник и смородину всех сортов и оттенков, взрослые варили. Делали пробы из «столба», сочные

сахаристые стебли которого давали прекрасные результаты. Каждый по-своему старался использовать драгоценное время.

«Ильин день» являлся кульминационным моментом лета. Перед ним наставала короткая, но чудная пора. Воздух казался неподвижным, не шевелился ни один листочек. В саду на клумбах оставались одни розы и жасмины да высокие лиловые «рыцарские шпоры». Гигантские дубы, возвышавшиеся по обе стороны балкона, замирали под яркими лучами полуденного солнца. На горизонте появлялись легкие облачка, вдали мелькала зарница. Но вот неожиданно небо скрывалось под темной завесой туч, налетал ураган. Молнии ослепительно сверкали, одна за другой прорезая потемневшие небеса, и оглушительные удары грома, сопровождаемые потоками дождя, загоняли под крышу все живое. Бабушка панически боялась грозы, запирала заранее все окна и двери, уходила в спальню и требовала, чтобы все прятались по своим углам.

После этих гроз солнце светило уже иначе, утренний воздух приобретал резкость. А на кухне появлялись лукошки и корзины лесных ягод: мелкой, но ароматной земляники, малины, черники, голубики, которые в изобилии приносили наши деревенские. Из них бабушка приготовляла роскошные пироги, шапки (муссы). Но скоро они отходили. В глубокой осени их заменяли брусника, морошка и, по первому морозу, клюква. Изредка мы находили местами калину, ежевику, мемуру и другие малоизвестные ягоды, которым дядя Коля приискивал названия по каталогу.

К первому и второму Спасу уже начинались утренники. Всюду по дорожкам валялись окоченелые пчелки, бабочки. Мы уносили их домой и радовались, когда под лучами солнца они оживали и, улетая, казалось, жужжали нам благодарность. Вечером овраг между нашими деревнями наполнялся туманом.

– Смотри, это зайка пиво варит, – говорила тетя.

Дальше виднелись дымки – это варилось уже настоящее пиво в Завражье. Крестьяне мылись в банях по субботам, и, несмотря на холод, было видно, как они выскакивали голые и бежали домой, – но ведь это они проделывали и зимой!

В саду под влажными пожелтевшими листочками стали проглядывать сыроежки. Мы пекли их на плите, посыпали солью и ели, как лучшее лакомство. Стали попадаться березовики и подосиновики – крепкие красные шапочки на серой ножке. На Косогоре появились первые боровички, а в хвойных лесах – грузди, волнушки, белянки и рыжики. Практичный дядя Коля с утра уже снаряжал всю детвору с няньками и горничными в дальние леса за грибами. Наташа, служившая связью между мальчиками и девочками, с торжеством объявляла: «Я нашла в

Малыгинской роще 102 боровичка, Люба – 90, а Леля – 60. Все для пикулей». Варенье стало уступать место заготовкам из грибов, огурцов и цветной капусты, а на столе появились пироги с грибами и грибные соусы.

В половине августа начинался разъезд. Братья уезжали в корпус, Стефановичи – в гимназию, и я оставался при девочках, один за мужчину, без старших конкурентов. Когда же и они уезжали, большой дом пустел. Дедушка[18] и бабушка запирались в кабинете и, если не приезжали «мальчики» (дяди, служившие в Финляндском полку), оставались одни только мы с тетей Лизоней. Иногда мы с нею предпринимали большие прогулки на рыцарские могилки – большие песчаные курганы, разбросанные по поросшему вереском и кукушкиными слезками выгону, безмолвному полю сражения между ливонскими рыцарями и нашими предками; на древнеславянское кладбище времен царицы Ольги и Святослава; на «татарские ямы», в которых они спасались от нашествия неведомых ныне врагов (татары, как известно, не заходили далее Козельска); или, наконец, к «Большому камню», огромному серому валуну, занесенному льдами ледникового периода, в Малыгийскую рощу. А по утрам копались в саду, где нас иногда посещали наши маленькие деревенские друзья, – которые практически учили нас работать, жадно прислушиваясь к чтению «Робинзона» и «Хижины дяди Тома».

Но вот собираемся и мы. Уже накануне дедушка озабоченно ходит по комнатам, собирая поклажу. Ранним утром тарантас у крыльца. Марья Калинишна, Лизуля – портниха, Устинья, Афимья со своим белобрысым сынишкой Левкой – все выходят прощаться. Суетятся мужички: «Ты вот тамотка подсунь! Вишь, неладно… А надо бы сенца подбросить, чтоб помягче, ведь ухабища-то какие!»

– Ну, с Богом, пошел!

Но сердце уже начинает биться радостным ожиданием.

Милый Петербург, Нева, яркое освещение, сотни фонарей, отражающихся на мокрых плитах тротуаров, отделанная заново квартира дядей, встреча – все это наполняет сердце радостным предчувствием. Нас встречала хозяйственная тетя Дуня, заботами которой все уже было приготовлено к нашему возвращению. Все дышало необычайным чарующим уютом. Городской шум на улице, грохот ломовиков, мягкий свет фонарей, проникающих сквозь высокие окна, завешенные шторами, портьерами убранные двери, только что отремонтированная квартира (мы жили в казармах Финляндского полка), запах свежей краски, блестящие паркеты.

Комнаты казались раем – постели, чисто выстиранное и выглаженное белье, уютные ширмочки, ночники, бросавшие

причудливый свет на узорчатые обои. «Это наша Полярка» – так называла тетя маленькую голубую лампочку, своим мягким светом напоминавшую луч Полярной звезды, освещавшей нашу детскую в деревне.

– А я приготовила тебе сюрприз!

– Какой? Фарфорунчики? Фарфоровые зверьки?

– Они живые!

За ширмой подле окна стояла большая хрустальная ваза с золотыми рыбками.

Утро приносило некоторое разочарование. Здесь, в Петербурге, я уже всецело оставался на руках тети Лизони. С утра до вечера я не выходил из-под ее «ферулы»[19].

Чтоб удержать меня, она прибегала к всевозможным развлечениям и играм, которые развивали мой ум и воображение, но изолировали от других. Приносила мне цветной бисер, из которого я формировал полки; морской песочек, в котором я возводил окопы; «палочки», из которых устраивал блиндажи. Иногда я вырезывал из картона квадратики, и они служили мне солдатами. Кавалеристов я сажал на бумажных «коней» и устраивал им сражения; рисовал на них погоны и эполеты, кресты и медали. Покупными играми я не увлекался; воображение давало мне более.

Тетя Лизоня, как старшая, провела детство близ Елизаветы Степановны[20] и теперь, благодаря поразительной памяти, передавала мне все слышанное. Эти живые легенды глубоко врезались в мою душу и неотразимо влекли к себе мое воображение.

После ряда блестящих побед, освободивших Италию от французов, Суворову был устроен в Милане роскошный бал, затмивший все виданные доселе. Собралось все лучшее, что только находилось в стране. Все взоры были устремлены на него, каждый спешил выразить свое восхищение победителю, первые красавицы Италии дарили его восторженными улыбками. Сам он был в ударе, сыпал шутками и для каждого находил слова привета.

В разгаре веселья генералиссимусу доложили, что прибыл курьер из Петербурга. Суворов тотчас взял у него пакет и удалился в кабинет. Каково же было его негодование, когда он прочел приказ Императора, повелевавший ему немедленно оставить Италию и через Альпы возвращаться в Россию…

Он вызвал прадеда[21] и продиктовал ему ответ, составленный в самых резких выражениях, называя это распоряжение явным безумием. Сам запечатал его и вернул с приказанием немедленно отправить его Государю. Потом круто

повернулся и вышел в зал. Там он старался казаться веселым и беспечным, пил более обыкновенного и шутил с гостями. Но это ему плохо удавалось.

На другое утро он вышел поздно к завтраку, видимо, расстроенный, ничего не пил и не ел.

– Послали курьера? – бросил он отрывисто прадеду.

Тот отвечал утвердительно. К обеду он явился мрачным, как туча.

– Уехал курьер? – спросил он, как только вошел.

– Уехал, ваше сиятельство, – отвечал прадед.

Вечером Суворов вышел к ужину совершенно расстроенный и остановился перед прадедом.

– А что, Леонтий Федорович, – произнес он, – ведь курьер-то наш скачет?

– Скачет…

– И никакая сила уже не сможет остановить его?

– Простите, ваша светлость, – ответил тот, – я осмелился задержать его.

Обрадованный Суворов бросился обнимать своего секретаря. Потом они удалились к себе и составили ответ уже в совершенно иных выражениях.

Но солдаты приняли иначе безумный приказ: между ними произошло волнение, и они отказались идти на верную гибель. Узнав об этом, Суворов тотчас поскакал к войскам.

– Все сюда! – закричал он не своим голосом. – Несите лопаты! Ройте яму, ройте глубже! Зарывайте меня, не хочу больше оставаться живым!

Он спрыгнул на дно.

– Вылезай, батюшка! Вылезай, отец родной! – отвечали растроганные солдаты. – Всюду пойдем за тобой, куда ни пойдешь!

И пошли, и пошли. Перешли С. Готард и Чертов мост, где разметанные бревна перевязывали офицерскими шарфами под градом пуль… И покрыли бессмертной славой имя суворовских чудо-богатырей.

Долго хранилась в нашей семье массивная золотая табакерка с заказанным в Милане портретом из слоновой кости. На ней изображен Суворов в мундире при всех орденах, с Андреевской лентой через плечо, с алмазным эполетом и жезлом в руках[22]. Подобного лица, как на этой миниатюре, я не видел ни на одном портрете. Это было наградой моему прадеду за его бессмертную услугу.

Когда Суворов проезжал Нарву, на приеме в городской ратуше ему доложили, что здесь находится (!) мать его секретаря (она была дочь бургомистра Гете).

– Где здесь матушка Леонтия Федоровича? Подать мне сюда матушку моего Леонтия Федоровича, – воскликнул он.

Когда она протиснулась сквозь толпу, он обнял ее, поцеловал в лоб и осыпал благодарностями за услуги сына.

Привычки и чудачества Суворова, слова и поступки окружавших его лиц, тяжелое время Павла I, славные годы Отечественной войны и легендарные образы ее героев создавали для меня ряд картин гораздо более ярких, чем сухие отчеты истории или даже литературные труды прославленных авторов, где точные факты преданий переплетались с тенденциозной фикцией. Высокие примеры морали «Суриньки Суворова», как называл его прадед, который сам, по словам «Русской старины», как известно, за всю свою долгую жизнь никогда не позволил себе сказать ни одного слова лжи, вместе с живым примером отца, сурового, но отличавшегося высокой моралью, поднимали во мне дух и увлекали на прямой чистый путь.

Однажды в деревне я пробрался на чердак, где среди груды мусора и заброшенных книг нашел совершенно новый уланский палаш. Он был сломан пополам, но сталь клинка, бронзовая гарда и полированные ножны блестели, как будто только что вышли из мастерской. Эта находка повлияла на всю мою жизнь. В моей голове кружились слова, которые я нашел потом в романе о Сиде[23]. «Мой добрый меч, мой славный меч, – думал я, – тебе не место в этой руке».

> Но когда я поклянуся
> Ни на шаг в разгаре боя
> Не попятиться… Пойдем!

Скоро книги заменили мне живые предания. Тетя искусно пользовалась моими наклонностями, подсовывая те из них, которые еще более подогревали мой жар, и я поглощал их с невероятной быстротою. Рядом с нами в столовой нередко сидели дяди, коротая вечера рассказами. Как-то старший, Лелен принес из библиотеки «Илиаду». Мне было всего семь лет, но ее стихи глубоко врезались в мою душу. Я вслушивался в них, затаив дыхание. Выпросив книгу, я уже не мог от нее оторваться. Неподалеку в гостиной тетя Женя постоянно играла на рояле, в сотый раз повторяя рапсодию Листа. Под ее звуки из пожелтевших страниц вставали передо мною стены и башни священного Илиона, роковые поля, где бились герои.

Но ни пламенный Ахиллес, которого страсти делали непреоборимым героем, ни гениальная изобретательность Одиссея, ни несокрушимая стойкость Аякса не увлекали меня

своим примером. Мое сердце я всецело отдал Гектору[24], кроткий образ которого, беспримерное самоотвержение, исключительное великодушие и благородство, соединенное с тончайшей нежностью его беспорочной души, заставляли меня преклоняться перед каждым его словом и поступком. Образ этого героя-христианина, не знавшего Христа, – но за 1200 лет до Него показавшего недосягаемый идеал великодушия, на всю жизнь остался для меня светозарным маяком во мраке эгоизма и страстей.

В уголке нашей комнаты стояла этажерка. Все, что только тетя смогла достать или купить, она держала в ней. Но то, что она доставала, шло мне в плоть и кровь, начиная с превосходной Священной Истории Анны Зонтах (урожд. Юшковой, двоюродной сестры Жуковского), сборников лучших поэтов и писателей, истории Ламе Флери, географических описаний, отборных произведений Шекспира. Случайные подарки увеличили эту коллекцию до нескольких десятков томов. Более дорогие и серьезные книги мы доставляли из библиотеки Семенникова. Их обычно просматривала тетя, и, если находилось что-либо неподходящее, я пропускал эти страницы по ее указанию.

Мой метод чтения был своеобразный: быстро научившись читать, я видел перед собою не буквы и не слова, а изображения и картины и летал по страницам, как белка по деревьям, с невероятной быстротой. Вот почему точные науки давались мне с таким трудом. В романах я обычно пробегал начало и конец и лишь мало-помалу выискивал все остальное и, если роман мне нравился, читал его еще и еще от доски до доски. Стихи, которые мне нравились, я перечитывал много раз, и они оставались навсегда в моей памяти. Целые песни «Илиады» я помнил наизусть.

Со всем тем мою судьбу окончательно решило одно ничтожное обстоятельство. Гуляя с тетей по Андреевскому рынку нашего Васильевского острова, я обратил ее внимание на маленькую брошюрку с изображением краснокожего индейца и с надписью «Последний из могикан». Книжка стоила всего 12 копеек и представляла собой сжатый пересказ знаменитой новеллы Купера. Мы тотчас принесли ее домой, где Володя и Кока оценили ее по достоинству. На Рождество дети разъехались по домам и заболели корью. В жару все мы бредили гуронами и ирокезами[25], и, когда я немного оправился и тетя, чтоб сберечь мои глаза, стала читать мне вслух в затемненной комнате, я уже ничего не хотел, кроме Купера, кроме индейцев и всего, что только могло их коснуться. Но не приключения его героев привлекали мое сердце: между строк я видел иные подвиги, иные

страдания – я видел все то, что было недосказано автором, так ярко и правдиво описавшим индейцев.

От Купера и Майн Рида я перешел к Кетлину, Ламе Флери и, наконец, к Ирвингу; стал жадно изучать языки и глотал одно за другим серьезные исторические и географические сочинения. На чердаке вместе с палашом я обнаружил массу запыленных книг из библиотеки прадеда и между ними infolio[26] в пергаментных переплетах – 22 тома Prevost[27] в немецком переводе.

Развернув XIV том, я увидел там старинные карты с названиями всех индейских племен Северной Америки. Значит, это не была фикция, Купер описывал живых людей!

Тетя умело использовала мои порывы. Она поощряла мою страсть, с ее помощью я бросился изучать языки, глотая одну за другой серьезные работы. С ее помощью я пробрался в кабинет талантливого молодого ученого С. Ф. Ольденбурга[28], нашего родственника по дедушке Михаилу Алексеевичу[29], вторым браком женившемуся на его тетке.

Но дела шли своим чередом, я готовился к иной карьере.

Корпус

Это службишка, не служба:
служба будет впереди!

П. П. Ершов. «Конек-горбунок»

Когда мне было уже 11 лет, тетя Туня повезла меня в корпус. Мы остановились на квартире у Энденов на углу 2-й линии Васильевского острова и набережной. Прелестная большая квартира в бельэтаже была только что отремонтирована, все пахло свежей краской. Эндены все еще оставались в деревне, а тетя Адя с детьми остановилась с нами.

Экзамены я выдержал блестяще, третьим во второй класс. Но на осмотре обнаружилось, что я слишком близорук. Директор, старый моряк генерал Макаров, был в восторге от всех братьев: Сережа уже перешел в училище, он всюду был первым, Миша шел вторым в седьмой класс, Володя был в четвертом. Все преподаватели сразу узнали меня по семейному сходству и радостно приветствовали. Но сделать нельзя было ничего.

Мы поехали к генералу Махотину – начальнику военно-учебных заведений, человеку сухому и формалисту. Я помню его слова: «Но закон! Но закон! Вы можете найти себе другую деятельность». Тетя со слезами на глазах твердила: «Но все его родные – военные. Он рвется на военную службу, он хочет умереть за Отечество на штыках». Я не вполне отдавал себе отчет в этом последнем, но сильно волновался, так как неудача грозила мне Варшавой.

По дороге тетя повела меня в «Ларинскую» гимназию, где меня тотчас же приняли в первый класс. Тетя Адя радовалась этому: в четвертом классе находился ее сын Кока[30], и она заранее предсказала мне, как мальчику интеллигентному и вдумчивому не по летам, блестящую карьеру. Телеграфировали папе. Он прилетел немедленно, не веря моей близорукости: откуда она могла взяться? Но сразу же поехал к своему высшему начальству (генералу Софиано) и вернулся с приказом военного министра о зачислении меня в корпус «для испытания». Две недели я пробыл в гимназии, откуда вынес впечатление полного хаоса, царящего среди 70 мальчишек всех слоев общества, где кучка преподавателей едва справлялась с разнузданной детворой. Крики, брань и оплеухи в классе только и прекращались при

появлении грозного преподавателя арифметики, безногого Спальвинга, или под окрики инспектора.

Когда я явился в корпус, мой первый воспитатель полковник Бродович поручил сопровождавшему меня брату Мише, серьезному и исполнительному вице-унтер-офицеру последнего класса, устроить меня в спальне и указать мне мое место и мои обязанности. Кадеты все уже спали. Они были лишены отпуска за «бенефис» учителю арифметики, один из них был высечен за то, что бросил в него кусок мела.

Оставшись один на холодной и жесткой кровати под тонким одеялом, я почувствовал себя круглым сиротой. Но утром в шесть часов, когда загремел колокольчик к подъему и все бросились в грязную и тесную умывалку, среди толпы сорванцов мне стало уже невыносимо. Кадеты сами чистили себе платье, сапоги, пуговицы, все делалось наспех, надо было вырывать из рук щетки и «гербовки» и потом отмывать от рук грязь, ваксу и толченый кирпич. Раздавался другой звонок, рота выстраивалась, и дежурный офицер делал осмотр, причем за плохую чистку или небрежность в обмундировке записывал виновного в журнал, ставил на штраф или лишал отпуска.

После кружки чая в огромной нетопленой столовой, где в полумраке виднелись портреты царей и бывших кадетов во весь рост в раззолоченных рамах, мы строем шли в классы. Каждый час бывали перемены в пять минут, и все выбегали в рекреационный зал, украшенный большим стенным образом и гравюрами по стенам. В 12 часов строем шли на завтрак и в пять, после прогулки по улицам, – на обед и затем отдыхали полчаса. Один час перед уроками и полтора вечером давались на подготовку. Это была самая спокойная минута. В часы занятий были включены гимнастика, танцы, строй и отдание чести. В девять часов, после кружки чая с булкой, все должны были уже находиться в кроватях.

Но не суровый режим тяготил душу. Полное бесправие среди толпы сорванцов, невозможность думать о чем-либо, кроме как об уроках или о самообороне в этом осином гнезде, – вот что делало жизнь невыносимой. Слабенький и тщедушный, близорукий и деликатный по природе, я обладал еще одним огромным недостатком. Воспитанный в клетке, я совершенно лишен был такта, этого умения лавировать среди товарищей, тиранить слабейших и подлизываться к сильнейшим. Те, которые сжились с ними с первого класса, уже автоматически втягивались в эту лямку. За все шесть лет я не сумел примириться с этой тактикой. Неуступчивый с притеснителями, я не умел вымещать обиды на слабейших. Глубокое уважение к начальникам и преподавателям

делало меня врагом мальчишек, для которых не было никакого авторитета. Начиная с третьего класса к этому прибавился невероятный цинизм в выражениях, издевательство над всем святым и полное отсутствие каких-либо правил в жизни. В четвертом классе ко всему прибавился возмутительный «цук»[31] со стороны пятого класса. Лишь в первой (строевой) роте, где кадеты уже получали ружья и знаки отличия, немного начала проясняться атмосфера, начали налаживаться отношения, стали формироваться характеры и проглядывать наклонности, вкусы и интересы.

Часто, оглядываясь на товарищей, среди которых многие носили имена героев 12-го года, Севастопольской кампании или кавказских войн, я думал, что же будет, когда все эти маленькие сорванцы подрастут и станут взрослыми?

В один из первых же отпускных дней я поделился с тетей Адей и тетей Туней моим негодованием на цинизм товарищей. Но я был поражен, когда тетя Адя, смеясь, сказала мне, что они отчасти правы, что появление ребенка на свет не есть сверхъестественный дар Провидения, а такое же естественное явление, как появление яйца у курицы. Я был глубоко потрясен. Неужели же жизнь человека есть последствие похоти?

Я готов был принести обет безбрачия, но во всяком случае поклялся, что во всю жизнь никаких отношений с женщинами не позволю себе вне брачных уз.

Но насколько чужда была для меня товарищеская среда, настолько же офицерский состав и штат преподавателей не оставляли желать лучшего. Быть может, теперь только я вполне отдаю себе в этом отчет. Директором был Аполлон Николаевич Макаров, просвещеннейший, редкой души человек, уважаемый всеми, даже кадетами. Добрейший по природе, он был непреклонен в делах морали. Помню один характерный случай. Со мной поступили в корпус два брата Шелковниковы – дети известного кавказского генерала, оба прехорошенькие блондины, прекрасно воспитанные, особенно младший, поражавший своей наружностью.

– Дай мне твое пирожное, – попросил он раз своего товарища.

– Ладно. Хочешь за поцелуй?

– Идет!

Дело дошло до Макарова. Когда вся рота выстроилась и появилась его гигантская фигура, дрожь пробежала по спине. Трудно описать его негодование.

– Ты опозорил свой мундир, имя кадета! – кричал он. – Сорвать с него погоны! Вон! На левый фланг! Будешь ходить два месяца за ротой!

Бедняга, закрыв лицо руками, с оборванными погонами бросился на указанное ему место. Кадеты чувствовали, что существует нечто, что стоит выше пошлой обыденщины.

Макаров довел нас до седьмого класса и ушел директором «Соляного городка», бывшего подобием народного университета. Все искренне оценили его и горячо сожалели об его уходе.

Корректный и выдержанный Бродович оставил нас уже в третьем классе. Вскоре наше отделение принял Николай Петрович Алмазов. Трудно оценить с полной справедливостью этого исключительного педагога. Образованный и просвещенный, чудной души человек, он был идеалом воспитателя. Он понимал каждого из нас, видел его насквозь со всеми его достоинствами и недостатками и умел направлять каждого. Наказывал он крайне редко, но влияние его было огромное. При этом он обладал мягкими манерами и был интересен и занимателен как собеседник. На моих отпускных билетах он всегда писал: «Безупречен во всех отношениях», – и ни разу не оскорбил меня даже замечанием, так как я понимал его без слов.

Из преподавателей своей удивительной работоспособностью выделялся Василий Федорович Эверлинг. Меня он постепенно довел до обладания всеми пружинами немецкой грамматики; ради того, чтоб сделать ему приятное, я выучивал наизусть целые поэмы Шиллера и Гете, он отдавал должное моей твердости убеждений, прямоте и правдивости.

Математиком был строгий до неумолимости Михаил Дмитриевич Димитриев, грозный в обращении и горбатый. Я получал от него всегда полный балл, несмотря на отвращение мое к математике. Меня бросало в дрожь, когда он начинал: «Ну-с, вот-с, теперь пойдет-с… Андреев, Балюк, Берг и вот вы, Беляев». Пока он тянул, кадеты крестились под столом, прятали в карманы кукиши и прибегали ко всяким другим уловкам, чтоб он как-нибудь пропустил их фамилии. В Михайлов день они поздравляли его с именинами, на что он неизменно отвечал: «Спасибо-с, я-с не именинник-с», – но значительно смягчался, вызывая к доске.

В старших классах ему посвятили стихотворение:

ТОРЖЕСТВО НАУКИ
Не Грозный Иван с костылем в клобуке
Мятежников на кол сажает,
Горбушка на кафедре с книжкой в руке
Кадетам колом угрожает.
Все четверо, каждый в зеленой тоске,
Стоят без надежды спасенья…

Исписаны мелом на черной доске
Все ереси их и сомненья.
Один только силится выдержать бой,
Орловский – бестрепетный витязь.
Но вот уже слышит и он над собой
Безжалостный голос: «Садитесь!»
Сдается Казаринов, Войнов молчит
И что-то выводит несмело,
А Плен, как осина под ветром, дрожит,
Весь потом покрытый и мелом.
И вот раздается желанный сигнал…
Но Войнов попал уже в яму,
А Плен только часто и тяжко вздыхал,
На лоно идя к Аврааму.

Моей нелюбви к математике немало способствовало и то, что я не видел того, что писалось на доске, – я был близорук.

По истории – отчетливый и корректный Владимир Викторович Квадри, восторженный славянофил Филевич и талантливый молодой Овальд в географии, добряк Павлович – в языках, Закон Божий преподавал умный и образованный протоиерей Петр Лебедев.

Я побивал все рекорды и только в русском, как это ни странно, не мог занять первого места. Но дело раскрывалось просто. С самого начала первым в отделении шел Шура Стогов. Красивый и цветущий, с большими голубыми глазами («Анета» – по кадетскому прозвищу), он подкупал своей наружностью, а также умением держать себя с товарищами и начальством. Оставшись, как и я, без матери (отец его был артиллерист и служил все время в провинции), он вместе с двумя сестрами попал в дом заслуженного профессора Артиллерийской академии генерала Чебышева, женатого на его тетке. Она была бездетна и вместе с незамужней сестрой ничего не жалела для своего любимца. В средствах они не нуждались. Шура приезжал в корпус на ландо дяди и осыпал сладостями товарищей, которые составляли его компанию в классе. Наши преподаватели репетировали его на дому, и он шел все время первым.

Единственным соперником для него мог быть я, но учитель по русскому, Евлампий Михайлович Архангельский, ставил мне баллом ниже по сочинениям. Только при самом выпуске я перегнал Стогова по всем предметам, и 11 по русской письменности не помешало мне попасть на мраморную доску. Это соперничество принесло мне пользу, так как я привык к

усиленной работе.

В конце пятого класса я стал завоевывать себе положение стойкостью и непоколебимостью характера.

В классе застряло пять второгодников, все в другом отделении. Пользуясь раболепством других, они продолжали третировать младших по старой привычке, пока не наткнулись на одного из наших. Возмущенные неуважением, второгодники послали ему приказ явиться в уборную, где его неминуемо ждала расправа. Он отказался и прибежал в класс просить защиты, так как громилы грозили вытащить его оттуда. Все обещали поддержать его, но когда в коридоре послышались шаги, попрятались за своими партами, и у дверей остался я один. Увидав сопротивление, все пятеро налегли на дверь, и я был отброшен до противоположной стены. При полном бездействии остальных Александров, так звали инициатора, бросился на свою жертву, загнал его за доску, повалил и стал тузить чем попало. Ближайший к ним по парте Дьяконов бросился туда же и, собравшись с силами, двинул его кулаком в спину. В эту самую минуту появился подполковник Алмазов и восстановил порядок. Все пятеро были выгнаны из корпуса. После этого «цук» уже больше не возобновлялся.

В этой мертвящей обстановке, где подавлялось все индивидуальное, самыми отрадными для меня минутами были посещения близких. Братья навещали меня по большим переменам, и их появление вносило умиротворение в мою душу. По субботам Володя самоотверженно носил мои книги домой, по воскресеньям провожал меня в корпус. По средам и четвергам меня посещали обе тети: тетя Туня неизменно приносила элегантные пакетики с яблоками и виноградом, тетя Лизоня являлась со своим стареньким саквояжем из порыжевшей от ветхости кожи, как уверяли товарищи – кожи Лавуазье, который завещал его ей как своей любимой ученице.

Мешок лопался от сладостей. Он вмещал невероятное количество пирожков и шоколада. Когда раздавался голос дежурного кадета: «Беляев, к тебе пришли», – я летел в приемную со всех ног.

В первой (строевой) роте воздух был чище, общение кадетов между собой приличное и состав, очистившийся от бесполезных и вредных элементов и пополнившийся со стороны, гораздо лучше. Я сошелся с несколькими симпатичными кадетами из приличных семейств. Грузин по матери, Дьяконов, тот самый, который заступился за избиваемого товарища; воспитанный и деликатный Дурново; корректный и красивый, но очень замкнутый фон Шульц, сын ослепшего капитана внутреннего плавания;

добродушный Горбатов, уже мечтавший о браке с «Корнилкой» – одной из двух хорошеньких дочерей добрейшего доктора Корнилия Андреевича Соколова, нашего младшего врача, – все эти друзья стали придавать уютный и семейный характер корпусу. В иных стали проглядывать человеческие чувства и стремления. Высокий, с тонкими изящными чертами Бурачков, которого за томное выражение лица прозвали «Лидой», обнаружил редкий талант художника. Маленький хорошенький Энгель – примадонна нашего театра, – всегда веселый и беспечный, однажды тронул меня неожиданным признанием: «Вот, Беляев, – говорил он, – я не могу понять, как я буду жить дальше. Положим, я влюблен. Как я могу спать спокойно, когда я все время буду волноваться о ней? А когда, наконец, мы женимся, как я буду переносить ее болезни, душевные треволнения?» Меня глубоко тронуло его неожиданное признание, но я и сам не знал, чем его успокоить.

Перед окончанием корпуса мы разыграли «Ревизора». Энгель великолепно играл городничиху, дочку – маленький кадетик шестого класса. Павловский, высокого роста и с представительной наружностью, изображал Городничего. Унгерн-Штернберг, впоследствии избравший себе артистическую карьеру, – Хлестакова. На мою долю выпала крошечная роль одной из дам, посетительницы Дмухановских. Корсет Зои на мне не сходился, ее талия побивала все рекорды, я достал все платья напрокат. Тетя Лизоня была в числе зрителей, она надеялась увидеть во мне живой образ мамы, но голос и большие руки нарушали всякую иллюзию. Наши преподаватели были другого мнения. «А это кто же такой, – говорил Павлович, – Беляев?» На другой день он вызвал меня, рассеянно слушал мой ответ и заранее поставил мне 12. Архангельский тоже был поражен моей наружностью, но балла не прибавил.

После лагеря в Петергофе мы разъехались по домам. Папа взял меня в Гатчину, где он командовал тогда бригадою. Туда же вышел и мой брат Володя, только что окончивший Константиновское военное училище. Когда я приезжал в Гатчину, мы всегда жили вместе, и он заменял мне своей душевной теплотой близких. Но все-таки меня тянуло в Питер к своим милым книгам.

По окончании корпуса я был там всего раз или два на празднике. Я никак не мог заставить себя позабыть жуткие годы, проведенные в этих стенах. Только посетил моих любимых Н. П. Алмазова и В. Ф. Эверлинга и был на похоронах Макарова и М. Д. Димитриева.

Кончилось мое детство. Я был уже стройный темноглазый

юноша, с едва заметными темными полосками на верхней губе, но все еще слабенький и тщедушный, все еще «гаденький утенок» любимой сказки Андерсена. Я развернулся уже впоследствии, много позднее.

– Qui n’a pas casse les chaises ‘a guinze ans, les cassera ‘a cinuante[32], – говорил дядя Вольф, старый дипломат, когда ему твердили о моем благонравии. Быть может, он был прав, ведь и байроновский Дон Жуан «такой был мальчик кроткий, что даже евнуха звал теткой».

Училище

Кто всех выше держит тон
—
Уж, конечно, МИХАЙЛОН…

«Журавель».

В Михайловское артиллерийское училище я явился с опозданием, так как в Гатчине, у мачехи, благодаря ее невероятной экономии, заболел острым катаром желудка и, вернувшись к своим, едва успел поправиться за несколько дней. Но до Рождества спазмы желудка не давали мне покоя, и ради общего состояния мне приходилось ежедневно принимать рыбий жир.

Я кончил корпус первым, но в училище по конкурсу оказался 17-м из 77, так как там точные науки принимались с огромным коэффициентом, а у меня по физике было всего 11, а не 12. Когда я явился, было воскресенье, и все товарищи, уже в форме, возвращались из отпуска.

Удивительно благоприятное впечатление произвело на меня училище. Прекрасное здание на самом берегу реки Невы (у Литейного моста), старинные медные пушки по обе стороны, великолепная швейцарская роскошная лестница, обширные, но сухие и теплые камеры, пружинные матрацы на роскошных кроватях, безукоризненные чистые мраморные умывальники, блестящие паркеты – все это было совершенно иное, чем то, что мы видели в корпусе. Юнкера, явившиеся из отпуска, в элегантной форме, при шашке с белой портупеей и замшевых перчатках, старшие – со шпорами, сразу налагали особую печать на каждого и создавали совершенно иную атмосферу. Только что проведенное электричество придавало всему праздничный вид. Начальство держало себя с особым тоном, присущим хорошо воспитанному артиллеристу. Все взаимоотношения были основаны на правилах безупречной вежливости. Мы попали в новый мир. Я не буду вдаваться в подробности, так как читатель найдет это в прекрасной брошюре «Михайловское артиллерийское училище», где помещены отзывы бывших питомцев этого единственного в своем роде учебного заведения.

На медицинском осмотре меня ожидал полный провал, так как зрение мое не улучшилось, несмотря на усилия начальника училища генерала Демяненкова, подсказывавшего мне буквы

таблицы. Но репутация братьев спасла мое положение, и я был принят. Начались лекции, строевые занятия, и мы вошли в общую колею.

Если в корпусе я легко справлялся с уроками, то в училище я почувствовал себя иначе. Курс был перегружен математическими предметами и точными науками. Прочие, которые давались мне без труда, входили в оценку с ничтожными коэффициентами. Первое разочарование принесла мне химия. На репетиции профессор Ипатьев, так тепло беседовавший со мной о своем товарище по выпуску – моем старшем брате, вкатил мне шестерку. Старый математик Будаев, отпуская меня на место, поставил мне «восемь» – это его минимальная оценка. «Кса (так произносил он слово господа), это брат тех Беляевых? Вот те были умные… а этот…» Иными словами:

«Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак». Видимо, судьба уже с детства предназначала мне роль быть Иваном-дураком из любимой народной сказки.

С аналитикой я еще кое-как справлялся, но дифференциалы наводили на меня ужас. Когда я брался за записи, оставленные мне старшим братом, с первой же страницы между строк мне грезились рыцарские копья и мечи, индейские луки и стрелы, шотландские клейморы[33]. А за ними леса и луга, стада диких животных, толпы дикарей… Я хватался за голову и начинал сначала.

Как я проскочил все экзамены, не отдаю себе отчета. Могу только сказать, что много позднее во сне я видел себя у доски с мелом в руке, изображающим знак интеграла, – это было все, что я вынес из училища. И я с радостью просыпался под грохот орудийных выстрелов: «Слава Богу, это только война!»

Был лишь один момент, когда я «поплыл» – в среднем классе нам начали преподавать теорию бесконечно малых величин. «Что с вами сделалось, Беляев? – обратился ко мне однажды мой сосед, впоследствии большой математик, Иван Яковлевич Граве. – Вы начали разбираться в математике!» – «А вот, видите ли… Изучая условия жизни индейских племен, я заинтересовался возможностью определения площади занимаемого ими пространства, размерами границ их земель, величиной орошающих рек. Я пытаюсь применить для этого теорию бесконечно малых величин». Граве посмотрел на меня с недоумением и, наконец, разразился хохотом: «Да откуда же вы возьмете для этого формулу? Дайте мне формулу Миссисипи и Миссури, иначе я не могу сделать никаких вычислений». Это было для меня ушатом холодной воды. Мои успехи по

математике замерли, все изученное испарилось из головы.

Верховая езда была тоже для меня вначале большим испытанием. Мои братья сели в седло с раннего детства. Миша уже в шесть лет стал маленьким наездником. Восхищаясь рыцарскими турнирами, наездничеством бедуинов, дикими скачками индейцев пампы, я увидал, что на практике скакать на неоседланной лошади, которая каждую минуту готова отделаться от своего случайного пассажира, – дело несравненно более трудное, чем это кажется со стороны. Ложась в кровать с синяками и кровоподтеками, перспектива завтра очутиться у черной доски перед страшным Будаевым заставляла меня втайне мечтать о какой-нибудь метаморфозе, которая превратила бы меня в юную девушку, от которой жизнь не требует ни математики, ни иных упражнений, кроме легких танцев. Увы, просыпаясь, я все находил на своем месте, даже синяки и ссадины от вчерашней скачки. Вскакивая как ужаленный, под звуки трубы я натягивал плотные синие рейтузы и бежал в манеж, а потом в класс: «С дядюшкиных кулаков, да за часослов».

Позднее я сел в седло и начал постигать координацию между поводом и шенкелем[34], понял лошадь, и мой конь стал понимать меня.

Нас стало связывать какое-то духовное сродство. Мое возбуждение стало передаваться моему четвероногому товарищу, а когда он вздрагивал – я уже знал, чего он хочет. Но я слился со своим скакуном в кентавра лишь тогда, когда очутился на кабардинском седле и на легком огненном коне кавказских степей. Моя тонкая кость и деликатное телосложение, унаследованное от гурайских предков матери моего отца, сделали из меня джигита. «Скачет наш Шамиль», – говорили офицеры моего конногорного дивизиона, когда я обгонял батареи под Екатеринодаром. Врангель не без зависти поглядывал на мою кавказскую посадку. На кавалерийском седле и на строевом коне он был великолепен, но когда садился на кабардинца и на черкесское седло, все спрашивал: «А что, я не слишком наклоняюсь вперед?» Его конногвардейский рост и сложение требовали рыцарского коня.

Мало-помалу я втянулся во все. Окончательно поправившись, я стал догонять товарищей. Строи я любил всей душой, наши орудия и ящики, скакавшие по зеленому полю, казались мне троянскими и ахейскими колесницами. Военная жилка во мне проснулась, слабый организм окреп. Уже в лагере мы отдыхали. Репетиции, экзамены – все осталось позади. В прекрасных бараках на берегу живописного озера с высокой горой по ту сторону, где в густом сосновом лесу ютились хорошенькие дачки, катание под

парусом и на веслах, постоянное оживление кругом – все это вносило в нашу жизнь новую струю, полную очарования.

Сразу между юнкерами я нашел себе сердечных друзей. Высокий, румяный и темноглазый Басков, напоминавший большого ребенка; талантливый Пневский, унаследовавший от матери-гречанки правильные черты лица и ясные интеллигентные глаза ее расы; маленький кругленький Завадовский, по своим деликатным манерам и мягкой, располагающей наружности так подходивший к своей театральной роли бальзаковской женщины; и, наконец, смуглый, тонкий и подвижный Борисов, казак прославленной станицы Наурской, безустанно и безуспешно зубривший, но постоянно отставававший в науках, со своей желтой мордочкой, жесткими черными усиками и упрямой эспаньолкой, так напоминавший дикого зверька, – составляли одну дружную компанию, которую никак не могли разбить ни разность во взглядах, ни подтрунивание товарищей. Остальные, правда, тоже поделились на кружки. Немного в стороне держались сибиряки (2-е отделение), под покровительством нашего курсового офицера Владимира Дмитриевича Турова. Это был высокий плотный мужчина с греческим профилем и красивой окладистой бородкой, напоминавший наружностью кучера аристократического экипажа. В противность прочим офицерам, наряду с недюжинным умом в нем проглядывала немалая доля простонародной хитрости и какого-то своеобразного лукавства. В его голосе, вибрациями которого он любил щеголять, часто проскальзывали фальшивые нотки, они коробили и даже отталкивали. Материальную часть он знал отлично и увлекался баллистикой. Любил задавать «каверзные» вопросы по этой части во время гимнастических упражнений и вообще оригинальничал кстати и некстати и надоедал своим педантизмом. Нашим отделенным был Зворыкин, бывший конноартиллерист, корректный и выдержанный, знаток лошадей и материальной части. Штабс-капитан Чернов, добродушный толстяк, также «конник», только номером послабее, заведовал 3-м отделением, состоявшим из кадетов южных корпусов. Офицерами старших классов были тонкие и корректные Похвиснев, Фриле, Алиев и др. «Царь и Бог», душа всего, был командир батареи Василий Тимофеевич Чернявский, природный хохол, отличившийся в турецкую войну на Кавказе своей хладнокровной храбростью. Когда он выходил перед батареей, чтоб сказать что-нибудь, сразу «хватал быка за рога» и ставил ясно очерченные требования. Читал он основные курсы артиллерии, читал их ясно и выразительно. Эта здравая логика и отчетливость в требованиях, соединенные со своеобразным способом выражения, проникали во все действия «Шнапса» и

делали его идолом юнкеров.

Однажды во время торжеств, сопровождавших заключение франко-русского союза и прибытие в Кронштадт французской эскадры, фельдфебелю училища пришло в голову послать от нас приветствие своему коллеге в военной школе С. Сира. Неожиданно в конференционный зал, где были выстроены юнкера, влетел «Шнапс», комкая в руках злосчастную телеграмму и, видимо, крайне раздраженный: «Вот до чего додумались! – были его первые слова. – Едва успел повернуть спину, как они уже мне наклали в шапку!» Для большей выразительности он снял фуражку и сунул в нее кулак с телеграммой. «Какие у вас там могут быть фратерните, профон сантиман[35]? Что вы понимаете в государственных делах? Сегодня бонжур, а завтра – штык в пузо. Юнкер все должен делать по команде: прикажут – кричи “ура”, а нет – молчи! Вот, зарубите себе на носу».

Про него говорили, что он еще юным офицером в Турецкую кампанию, не имея ни одного снаряда, встретил налетевшую конницу грозным молчанием своих пушек. Увидев неподвижные фигуры солдат, башибузуки, потрясенные внушительным молчанием батареи, в последнюю минуту повернули назад. За этот подвиг он получил золотое оружие.

В исключительных случаях в Сборном зале перед строем появлялся сам начальник училища, маститый генерал Демяненков. Высокообразованный артиллерист (он преподавал артиллерию наследнику престола), Демьян умел тактично ставить каждого на свое место, сохраняя в то же время свое собственное достоинство. С юнкерами он имел общий язык и проводил свою волю разумно, без деспотических проявлений и без нажима. Наш выпуск он особенно любил и всегда сравнивал его с выпуском «обоих де Гаспери» (где были также мой брат Сергей и Мамонтов[36]). Я слышал его ответы на вопросы военного министра генерала Вановского и Государя Императора Александра Александровича. Находчивый и уравновешенный, он знал, что нужно и что можно сказать. Оба донельзя подходили друг к другу, и об обоих я сохранил самые лучшие воспоминания.

На третью весну начались последние экзамены, они длились едва ли не три месяца. Одна артиллерия (теория) занимала 800 страниц. Материальная часть – 5000, не считая чертежей. Это было чудовищно. На подготовку давалось 20 дней, но что читалось три недели назад, уже исчезало из памяти. Военные предметы проходились слабее, я сдавал их без труда. Об остальных – Законе Божием (его читал талантливый отец Григорий Петров), русской словесности, о языках – не стоило говорить. Химия оставалась на втором курсе, Ипатьев вклеил мне

восьмерку. Как я сдал интегралы и применение их к механике – я не отдаю себе отчета. Будаеву мы отвечали по своим билетам, которые вызубривали наизусть. В сущности, это было только формальностью и придавало уверенность в удовлетворительном балле. Потом он гонял нас по всему курсу и ясно мог составить себе представление об успехах своего ученика. В году я имел по десятке, но на экзамене слетел на шестерку, и в итоге «восемь». Хуже меня был только один. Но по всему остальному я получил «12», даже по аналитике. Спас меня стоявший рядом Шнабель (впоследствии конно-артиллерист и воспитатель детей Великого князя Дмитрия Павловича). Билет (номер 12) мне достался великолепный, но я забыл основную формулу. Мой спаситель мгновенно пришел мне на помощь – написал ее на уголке мелом, и вся моя доска мгновенно покрылась выводами. Профессор выходил и не заметил «маневра». По всем другим предметам я прошел блестяще, но коэффициенты моих двух восьмерок вновь спустили меня на 17-е место из семидесяти.

Наряду со всеми несравненными достоинствами училища бросается в глаза несоответствие программы артиллерийской подготовки с требованиями войск. Училище ставило целью подготовку знающих артиллерийских офицеров и одновременно облегчало курс артиллерийской академии, перегружая юнкеров предметами, не имеющими ничего общего со строевой службой: гонялось за двумя зайцами. Военные науки (тактика, стратегия, военная история) вытеснялись бесполезными деталями материальной части устаревших образцов. В ущерб практическим занятиям по необходимым отраслям математики мы углублялись в дебри высших наук. Практической службы мы не знали и являлись в строй, где изучали все сначала под руководством случайных менторов. Многие из этих недостатков в последующие годы были восполнены исключительной энергией Великого князя Сергея Михайловича. Но один огромный дефект благодаря коллективному эгоизму наиболее влиятельных артиллеристов остался неисправленным: вопрос о взаимоотношениях между чисто строевыми артиллеристами и теми, кто получил в артиллерийской академии техническую подготовку, но в течение трех с лишним лет был удален от строевой деятельности и был готов во всякую минуту променять ее на работу в учреждениях вспомогательных, в глубоком тылу. Но к этому придется возвратиться еще не один раз.

Раньше в гвардию выпускали всего одного или двух из выпуска в 30–35 юнкеров. Нашему выпуску, благодаря разворачиванию 3-й гвардейской дивизии и бригады и формированию новых батарей, прислали целых 30 вакансий. Я

был вне себя от восторга. Благодаря этому я вышел прямо в лейб-гвардию во 2-ю артиллерийскую бригаду, где уже находились три мои брата и куда тем же приказом 12 августа 1895 года в качестве командира бригады назначен был мой отец. Господь услышал мои молитвы, и туда же, в одну батарею со мной, попал мой любимый товарищ Басков. Бедняга Стогов остался за флангом. Ночью, после разбора вакансий, я слышал, как он горько рыдал в своей постели. На его счастье кто-то отказался, и он также получил вакансию в нашу бригаду.

Долой все преграды! И мы выходим в лагерь, счастливые и радостные, как беззаботные пташки…

Последние лагери в училище – это сплошной праздник. Только исключительное событие может испортить карьеру. Съемки, технические поездки – это веселые прогулки верхом. На конных учениях, на стрельбах мы становимся за офицеров. На мою стрельбу подъехал генерал Чернявский, уже начальник Константиновского артиллерийского училища. Мой курсовой офицер Туров всегда старался подставить мне ножку, но появление генерала поставило его на место. «Спасибо тебе, Беляев, за образцовую юнкерскую стрельбу», – сказал милый «Шнапс», отъезжая. Я ликовал. К концу лагеря начальство начало осыпать нас сюрпризами. По вечерам гремела музыка лучших полковых оркестров: Преображенского, Императорских стрелков. На призовой стрельбе все призы взяло Константиновское училище, но «Демьян» выдал всем выполнившим условия (семерым из восьми) золотые часы. Оставались маневры. На смотру Великого князя Михаила Николаевича, по всегдашней моей горячности, я сунулся между колес, чтоб помочь застрявшему орудию. Кони дернули; я попал под колесо, которое прошло через мою руку и ногу, вдавив меня в грязь. Но Господь чудесно спас меня: ни одна кость не дала трещины. Я встал и перекрестился. Это было чудо: наша «легкая» пушка весила 150 пудов!

По окончании высочайшего смотра Государь подошел к фронту юнкеров. Это было его первое обращение в подобных случаях. Застенчивый от природы, он заметно волновался и, видимо, с трудом справлялся со своей задачей. «Господа, – доносились его слова, – сегодня вы вступаете в ряды славной Русской армии, высокую славу которой вам нелегко будет поддержать. Поздравляю вас с первым офицерским чином!»

«Господа офицеры, по местам… Садись!» – эти команды отдавались в наших ушах как удары колокола в бурю. У каждого из нас под погоном был Высочайший приказ, а в душе восторг и упоение. «Рысью марш!» – но наши кони сами подхватили в

карьер, и мы вихрем влетели в парк. «Слезай, по баракам!»

Из бараков в канцелярию мы уже явились каждый в блестящем мундире своей части. Добрейший полковник Петроков, командовавший батареей после Чернявского, обнимал и целовал каждого: «Какие молодцы, какие красавцы», – приговаривал он, улыбаясь.

Золотые годы. Итак, мы офицеры

Ach, die schöne liebe Leitenants Zeit! [37]

Старый Петербург помолодел. Он вдруг наполнился сотнями молодых жизнерадостных подпоручиков и корнетов, летавших по всем направлениям, вызывая улыбки дам и сочувственные взгляды стариков. Иногда нам все еще случалось забегать в нашу alma mater[38] за бумагами, встречаясь там друг с другом, с оставшимися офицерами и с теми из наших, кто застревал еще на несколько дней в Питере. Всегда мы перекидывались при этом словами с двумя солидными швейцарами, которые уже выпустили через эти двери столько поколений, когда-то таких же свежих и жизнерадостных. Оба удивительно гармонировали друг с другом, подходили друг к другу как ночь и день. Корнилов, молчаливый и задумчивый, всегда оставался у дверей. Веселый Русинов, с голубыми глазами и русыми баками, был постоянным глашатаем. «Шевелев шевелится», «Мещанинов вертится», – объявлял он во всеуслышание по камерам. «Крутикова окрутили», – прибавлял он со смехом. Крутиков только что обвенчался в нашей церкви.

– Милевский, – слышится резкий голос «математика» Граве, – ты обратил внимание, какой у нее хорошенький ротик?

Граве, в блестящих погонах, застегивает новенькую портупею. Его превращение из символа «условного знака» в жизнерадостного юношу поразило меня еще более, чем когда-то изумила его моя попытка найти формулу Миссисипи.

Лашкова чуть не угробил его товарищ, хваставшийся своим булатом, острым как бритва. Оправившись, он побежал к воротам прощаться с проходившей там парочкой. Это были «Донна Анна», хорошенькая дочка Рожественского, известного впоследствии адмирала, и ее подруга, дочь нашего инспектора классов, полковника Гука. Зимою они все вместе без устали катались на училищном катке и теперь зашли попрощаться.

Вместе с нами ликовала и «Бабка», торговавшая за воротами сладостями, так как и ее не забывала молодежь в счастливые минуты своего перевоплощения.

Наша «лейб-компания» распрощалась сердечно, но без всякого шума. Пневский и Завадовский сразу же уехали в Варшаву, Борисов на Терек, в свою родную станицу. Мы с Басковым остались вместе, связанные самой тесной дружбой, какая только могла существовать на свете. Мы были бесконечно счастливы, попав в одну бригаду, в одну батарею, и мечтали уже

не разлучаться до самой смерти. Пренебрегая «Буффом», «Аквариумом» и всякими злачными местами, мы расстались лишь на несколько дней отпуска, чтоб провести его у своих близких и дорогих в тихой домашней обстановке.

За последние годы дома произошло немало перемен. Когда я был еще во втором классе корпуса, скончался дядя Лелен. Он умер на 39-м году жизни от тяжелой болезни почек, подхваченной им еще на Балканах. Родители были убиты горем. Дедушку разбил паралич. Пролежав в постели два года, он также скончался. Последними его словами были: «Слава Богу, слава вам, Туртукай взят, и я там». Этого удара не вынесла горячо любившая его бабушка, она также быстро стала клониться к упадку и, наконец, когда я был еще на первом курсе училища, тихо скончалась на руках у детей.

Первые дни по производству я провел у тети Лизони, которая все еще занимала комнату в Финляндском полку у дяди Феди, где находилась при жизни бабушка. Он только что получил назначение командиром 82-го Дагестанского полка и должен был ехать в Грозный на Кавказ, но задержался по своим делам и не торопился покидать Питера. Удивительный добряк и глубоко порядочный человек, как и покойный его брат, он чуждался дамского общества и не бывал в свете. Лелен, старший, кончил школу гвардейских подпрапорщиков и вышел оттуда в лейб-гвардии Финляндский полк, куда потом перетащил и младшего, довольно плохо окончившего Павловское военное училище. Устроила его всемогущая тетя Дося[39], супруга генерала В. А. Адлерберга.

Она приходилась двоюродной сестрой бабушке, рано осиротела и попала вместе с ней в институт. В то время прадед имел деньги и связи, ничего не жалел для сиротки и, при ее блестящей наружности, устроил ее брак с Адлербергом, членом семьи, находившейся тогда «в случае». Когда наша семья обеднела и дед вышел в отставку, настал ее черед. У Федосьи Александровны был удивительный талант – все принимали ее с распростертыми объятиями. Энергия ее была неистощима. Ангел доброты, она принимала горячее участие во всех, кто к ней обращался, немедленно пускала в ход все пружины и устраивала все как нельзя лучше. Много лет после кончины ее вспоминали со слезами во всех слоях старого Петербурга.

Оба «мальчика», как называли их дома, вели безалаберную жизнь, тратили сверх возможности, избегали знакомств и, несмотря на то что у нас бывало много интересных и симпатичных посетительниц, кончили тем, что сошлись с простыми девушками. Одна была наша, деревенская, другая ее

подруга, эстонка, случайно попавшая в Петербург. Бабушка горько плакала, узнав об этой связи, но помочь горю уже не могла.

После смерти брата добряк Федя забрал к себе его сиротку[40] и, кроме полдюжины своих детей, содержал еще сестру своей подруги и ее мать. Только теперь, после смерти бабушки, я узнал все это, так как при жизни старики высоко держали честь своего дома. Теперь, перед отъездом в провинцию, дядя повенчался со своей подругой, усыновил всех детей, расплатился с долгами и уехал на Кавказ, куда за ним последовала и тетя Женя, всецело посвятившая себя подготовке детворы. Обе старшие тети остались с нами.

Прощаясь с милым Васильевским островом, я пошел исповедоваться в наш Андреевский собор. «Вам, наверное, нужно свидетельство на предмет женитьбы?» – спросил меня настоятель. «Нет, благодарю вас. Начиная жизнь, мне не хотелось выносить сор из избы». Священник удивился.

Тетя Туня уже заранее переселилась к братьям, которые занимали как раз ту самую квартиру, где родился я и где скончалась мама. Теперь к ним примкнули и мы с тетей Лизоней – в тесноте, да не в обиде! Но старший брат, кончив академию, уже снял для себя отдельную квартиру. Сдержанный и скрытный, он неожиданно оказался женихом.

Вполне обеспеченный материально, отличной карьерой он давно уже привлекал к себе внимание всех знакомых. Мне кажется, что раньше он был неравнодушен к Зое. Чем у них кончилось – не знаю. У Энденов за ним явно ухаживали. Старинные друзья нашей семьи, почтеннейший генерал Цемиров с женой имел троих детей. Обе барышни интересовались братом, больше всех Верочка, живая и интеллигентная. На последнем балу она просила у меня билеты – наши балы считались самыми элегантными и приличными, наравне с морскими. В разгаре вечера Сережа увлек меня в угол большого зала, где под царскими портретами сидело несколько интересных дам и барышень. «Вот, видали, – быстро проговорил он. – Ну, а теперь быстро идите к своим. Зачем только ты дал им билеты?»

На балу, как на войне, всегда приходится встречаться еще и еще раз. Но я встретился с Цемировыми только у выхода. «Кто эта барышня?» – обратились они ко мне. Я совершенно не знал ее и не отдавал себе отчета, почему это их так заинтересовало. «Ну, скорее!» – Верочка нетерпеливо топнула ножкой. Это была Елизавета Николаевна Наумова[41], ее подруга по институту. Брат совершенно неожиданно женился на ней, и они были очень счастливы. Все мы были у них шаферами. Цемировы были тоже, и

я заметил, что это было для них полной неожиданностью. У Энденов тоже было разочарование. Но там один за другим влипли оба старших брата: «Cousinage, c'est un dangereux voisinage»[42]. Я с детства затвердил эту пословицу, в особенности после инцидента с клубничным вареньем. Но уроки не всегда приносят пользу. Когда мне было еще восемь лет, я безумно влюбился в прелестную Иду Нимандер, любимую подругу моей сестры. Постоянно она бывала у нас, то одна, то с сестрой Лилей, то с обоими Оболенскими. Я сердцем угадывал ее приход. Вне себя, прислушивался я к ее шагам. «Идочка приехала», – эти слова заставляли пылать мои щеки и биться мое сердце. Но я и виду не показывал. «А Ванечка дома?» – слышался мне голос, заставлявший меня забывать все на свете. – «Иди сюда, я принесла тебе конфетку. А ты меня любишь? – лукаво спрашивала она. – Очень?» Но эти первые чувства не поддаются прозе. Уже юношей я посвятил ей стихотворение:

Мне было только восемь лет,
А сердце уж любило;
И я готов был целый свет
Отдать за ласку милой.
Но я любовь свою скрывал,
Хотя о ней все знали;
И вне себя в волненьи ждал,
Чтоб к ней меня позвали.
О Боже, как я трепетал,
Страдая и ликуя,
Когда уста ее встречал
В нежданном поцелуе.
И я душою проникал,
В ее девичьи грезы,
И от волнения дрожал,
Приметив ее слезы.
И навсегда я сохранил
Тот образ вечно милый;
Он идеалом мне служил
Священным до могилы.
Но быть моей ты не могла.
О жизни не жалея,
Ты рано в лучший мир ушла,
И там мне ангелом была,
Молитвою моею.

Иногда она садилась у окна, разговаривая с тетей. Я глядел

на ее милые черты и ловил их грустное, нежное выражение. Все были в нее влюблены, но ей нравился больше всех дядя Федя, который, увы! находился в связи и не мог быть женихом. Через несколько лет она вышла замуж за известного арматора[43] Ларса Кругиуса, уехала к нему в Финляндию и скончалась там при родах.

Идеальное воспоминание о ней долго отталкивало меня от мысли о ком-либо другом. Она была моим ангелом-хранителем во все годы моей юности. И ее портрет, чудно снятый дядей Федей, оставался на первой странице моего альбома до самого выхода в поход. Другой, идеальный, сохранился навсегда у меня в душе.

Но теперь мое сердце тоже не было совсем свободно. Гнушаясь развратом, не видя ничего, что говорило бы сердцу и уму, в кисейных и шелковых платьицах, мелькавших на балах и вечерах, я отдал его целиком дружбе к милому юноше, который очаровал меня своей простосердечной искренностью и мягкостью отзывчивого и чистого сердца. По окончании 28-дневного отпуска он вернулся в сопровождении родителей; они сняли помещение напротив, так что из наших окон я видел их подъезд. Привыкнув к интимной товарищеской среде, я стал заметно скучать. Не отходя от окна, ждал, когда появится фигура моего возлюбленного – право, не знаю, как назвать его иначе, – тосковал и не находил себе места в его отсутствие. Когда вдруг раздавался звонок и он появлялся неожиданно, я бросался к нему на шею и мгновенно становился веселым и беспечным; но едва он уходил, как все падало из моих рук и я терял самообладание.

Приехал отец, проводивший отпуск за границей, я сразу настоял, чтоб я переехал к нему – он занял квартиру в 14 комнат в бельэтаже нашего дома. Для меня это было превосходно. Он дал мне прекрасную комнату, где я мог заниматься и оставаться наедине с собой. У меня был свой денщик, которого с первого же дня мне дали в батарее. Отец и мачеха, теперь уже в иных условиях жизни, держали такой стол, которому можно было бы позавидовать. Нередко мачеха, оставаясь одна, заводила со мной отвлеченный разговор. Особый склад моего ума, моя сдержанность, которую двумя-тремя фразами она умела превращать в порывы горячей искренности, делала из меня приятного собеседника. Ей нравилось дразнить меня, как маленького тигренка. «Изо всех пасынков, – говорила она, – ты самый ручной». Она была умная женщина, и чем более мы расходились во взглядах, тем более представляли интерес друг для друга. Тети и братья жили рядом, а Баскова я встречал в батарее.

Служба в бригаде казалась мне легкой и приятной. В офицерской среде я не чувствовал себя чужим. Братья пользовались полным уважением. Отца знали все офицеры, здесь он начал свою службу. Мы с Басковым держали себя скромно, никому не лезли на глаза. Мы не пользовались своим мундиром, чтобы завоевать себе место в обществе, да и не мечтали об этом. Бригада была удивительно скромная, и к нам никто не придирался. В товарищеских кутежах никто из нас не участвовал, но никто этого и не требовал. К своей батарее я сразу же привык, полюбил ее первою любовью чистой души. Умного и сердечного Неводовского сменил добродушный Мусселиус[44], ставший впоследствии тестем моего брата Володи. Старшим офицером был черноусый и строгий капитан Осипов, один из трех братьев, служивших в бригаде; прочие также относились ко мне хорошо, к делу – формально. Мы с Басковым, неразлучные («inséparables»), вызывали легкое подтрунивание, но эти насмешки полны были искренней симпатии.

С течением времени моя служба начала принимать все более и более серьезный характер. Корпус дисциплинировал отрывочные сведения, нахватанные дома. Училище довело мою работоспособность до высокого напряжения, завалило мою память массой вещей, о которых более не приходилось думать впоследствии, но не дало многого существенного, необходимого или дало его недостаточно.

Изучая военную администрацию, организацию судебного ведомства, уставы и положения о наказаниях, налагаемых по суду и дисциплинарных, мы были полными невеждами во всем, что касалось взаимоотношений в военной среде, понимания солдатской массы, психологии и природы войны и ее участников. Мы имели весьма поверхностное понятие о взаимодействии с другими родами оружия, о технике командного аппарата, военной письменности, даже об основах гигиены. И все это надо было усваивать уже теперь, каждому в отдельности.

Многому я научился уже в строю. Отец и братья служили мне живым примером.

В моем отце я видел несколько редких качеств, которых уже не наблюдал в других командирах. С начальством он умел держать себя с достоинством и без малейшего заискивания. От офицеров он ждал того же, всегда подчеркивая, что в обращении с начальством следует избегать солдатской угодливости, держать себя свободно и с полным сохранением собственного достоинства. С подчиненными он был всегда строг – но ровен и справедлив. Он никогда не позволял себе ни одного неприличного слова, но когда начинал распекать подчиненного,

то его «голубчик мой» действовало на них сильнее всего ругательного кодекса завзятых профессионалов.

Он окончил фельдфебелем 1-й Кадетский корпус и вскоре отчислился от Артиллерийской академии и отправился в Литву, где должен был принять участие в подавлении восстания 1863 года, а затем был переведен в лейб-гвардию во 2-ю артиллерийскую бригаду и до получения батареи в 3-й гвардейской и гренадерской бригаде пробыл несколько лет в Главном артиллерийском управлении. Он показывал мне свои кадетские учебники, которые оставили во мне самое хорошее впечатление ясностью и систематичностью изложения в сравнении с тысячью литографированных страниц наших курсов. Но, кроме того, его живой и энергичный характер все время поддерживал в нем интерес к наукам, за прогрессом которых он неустанно следил, втягивая за собой свою молодую жену и ее детей. Трезвый и простой в жизни, он был глубоко верующим и религиозным человеком, с гуманными и просвещенными взглядами и сохранил эти качества до конца.

Когда я окончил училище и поступил в бригаду, братья уже заслужили там всеобщее уважение, и их советы заменяли мне сухие указания уставов. Старший, Сергей Тимофеевич, обладал характером твердым и независимым. Он пробивал себе дорогу, не советуясь ни с кем. Скрытный и немного резкий, он смотрел несколько свысока на остальных братьев, которых подчинял своему влиянию. Он всюду шел первым; не пожелал остаться при Академии, но когда вернулся в строй, взял на себя преподавание в Академии, в офицерской школе и в разных военных училищах.

Второй мой брат, Михаил Тимофеевич, с детства отличался ровным и кротким характером. Мягкий и доступный, он всегда был готов прийти мне на помощь практическими указаниями. Обладая всеми достоинствами старшего, он шел по проторенной дорожке и успешно проходил одну за другой все стадии службы гвардейского офицера. В нем я видел живую рутину со всеми ее достоинствами и недостатками.

От третьего брата, Владимира Тимофеевича, я перенял его удивительное умение подойти к солдату. Если старший вызывал всеобщее уважение и второй пользовался общей любовью, то этот поражал своей колоссальной работоспособностью и был образцом служебного долга. Здесь я не упоминаю о младших братьях[45], которые впоследствии вышли к нам из училища. Но влияние братьев касалось меня только в первое время. В дальнейшем я был предоставлен сам себе.

Когда мы вышли в лагерь, наш вестовой Алексей купил у мальчика за полтинник скворца и посадил его в клетку, которую

повесил на сосну против нашего барака. Все приходили возиться с ним, даже суровый капитан Осипов, который угощал его дождевыми червями и называл его «долбоносым дураком». Он служил поводом для всевозможных шуток по нашему адресу. Веселый, смуглый Боголюбов, бывший кумиром женщин за свою цыганскую красоту, сочинил даже целое стихотворение, которое начиналось словами:

Беляев – мать, Басков – отец;
Продукт любви их был скворец…

По вечерам Алексей приходил докладывать об успехах своего любимца, который постепенно научился изображать скрипение колеса, пение петуха, сигналы на рожке. То он ржал жеребенком, то заливался хохотом…

«Вот только научу его играть зарю – и продам за три рубля», – мечтал Алексей.

Но скворец наш был хитрей, чем то думал Алексей, – «долбоносый дурак» потихоньку продолбил одну палочку клетки и вспорхнул на верхушку ели, откуда перед тем, как отправиться на гастроли, пропел Алексею весь свой репертуар до утренней зари включительно. «Пропал мой полтинник», – сокрушенно говорил бедняга.

Между солдатами я пока не пользовался полным авторитетом. Все еще слабый здоровьем, работая через силу, я пользовался скорее их любовью и преданностью, оставаясь «гаденьким утенком»…

Мой отец был назначен командиром 2-й бригады по желанию Великого князя Владимира Александровича, бывшего тогда командующим войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа.

На интимном завтраке во дворце он обратился к Великому князю Михаилу Николаевичу со словами;

– Дядя, надеюсь, ты ничего не имеешь против назначения Беляева командиром твоей бригады?

По этикету подобное обращение было недопустимо. Но и Михаилу не оставалось ничего другого, как выразить свое согласие. А между тем бригада была шефская, и он берег вакансию для генерала Уткевича, своего личного адъютанта. Теперь, благодаря назначению генерала Баумгартена, командира 1-й артиллерийской бригады, на Кавказ, он перевел отца на его место, а Уткевича назначил во 2-ю. Благодаря этому отец должен был сразу же переехать на Литейный, где его уже ждала пустая квартира и куда он желал взять меня.

К сожалению, это вызвало между нами конфликт: я никак не хотел уезжать от близких на другой конец города, и папа жестоко обиделся. В конце концов, мы с Басковым сняли удивительно уютную квартирку в две комнаты в церковном доме Троицкого собора. Мой Алексей готовил нам, а моя бедная тетя Лизоня с собачкой Альмочкой ютилась как попало в чистой комнате на диванчике. Родители Баскова давно уехали к себе в Казань, но, видимо, они всячески действовали на сына, желая изъять его из-под моего влияния, женить и заставить идти в Академию.

Конечно, наши отношения едва ли могли быть понятны многим. Возвращаясь с занятий, мы тотчас же брались за книги. Для меня программа была ясна: я с жаром хватался за все, что только могло иметь общее с моими любимыми индейцами. Но для этого нужна была обширная подготовка. Мировую историю я проходил по программам историко-филологического факультета. Ботанику, зоологию и геологию – по курсам высших учебных заведений, всеобщую географию – по всем источникам, какие только мог найти. Уже в детстве я имел атласы фон Сидова и Шрадера, теперь я купил Штилера и Андре и, кроме того, старинный атлас Америки, изданный герцогом Орлеанским. По этнографии и антропологии я пользовался указаниями милейшего С. Ф. Ольденбурга, мать которого, урожденная Берг, была старинной знакомой моих тетей. Он рано потерял любимую жену и вместе с матерью и сыном Сергеем жил подле самого университета. Иногда, по воскресеньям, он уделял мне полчаса времени и направлял мои мысли и занятия, доставляя мне все, что мог, из университетской и академической библиотек. Я не упускал ничего, что могло бы способствовать моей заветной мечте, к осуществлению которой я готовился сознательно и бессознательно, как дитя готовится к своей роли матери, не отдавая еще себе отчета о будущем. Каждую ночь я горячо молился о моих любимых индейцах… Богу было угодно услышать мои детские молитвы.

Увлеченный примером, Басков следовал за мною по пятам, сам не отдавая себе отчета, куда. Его пассивная натура подчинялась моей энергии, несмотря на то что наши вкусы значительно расходились. Здоровая физика гнала его на улицу. Он любил точные науки, фотографию, порядочно играл на скрипке. Но со мной он изучал языки, естественные науки. Родители толкали его в общество, в театры, даже на участие в развлечениях и кутежах. Между двух огней его слабая, нерешительная натура не могла устоять. Этой борьбы не выдержало и мое сердце – у меня стали делаться сердечные припадки.

Бригадный врач, увидя мое состояние, сразу приговорил меня к смерти: «Сейчас же выходите в отставку, не напрягайтесь физически, не отходите от дома больше, как на версту, может быть, протянете еще год». Отец привез мне своего доверенного доктора Кмито, вердикт его был более успокоителен: «Никакого органического порока, миллиард малокровных шумов. Перемените обстановку, отправляйтесь на Кавказ, и вы вернетесь другим человеком».

С детства я привык к нежным заботам. Мягкий и отзывчивый, я невольно ждал этого от других. Теперь мой Алексей Беляев[46] ухаживал за мной, как самоотверженная няня, он не отходил от меня; когда я чувствовал себя легче и принимался за книги, засиживаясь до ночи, опасаясь переутомления, он хватал меня на руки и «насилком» тащил на кровать.

Басков с материнской нежностью следил за мною по ночам. Тетя, видимо, ревновала к обоим, не отдавая себе отчета в основной причине болезни.

Немного оправившись, я с Басковым поехал к доктору Пастернацкому, лучшему специалисту по внутренним болезням в те времена.

– Счастье ваше, – сказал он мне, – что вы не перегрузили своего сердца лекарствами. Эти капли оставьте лишь на крайний случай. Если у вас найдется какая-нибудь добрая тетя в глуши, в провинции, поезжайте к ней месяца на два, вы сразу почувствуете себя другим человеком.

Это было в разгаре лета. Добряк Мусселиус тотчас дал мне трехмесячный отпуск и двухнедельный – Баскову. Мы взяли денщика и через несколько дней очутились во Владикавказе.

На Кавказ

Матери грудь и родная скала,
Вас позабыть невозможно!

Важа Пшавела

До сих пор я не видел ничего, кроме Петербурга и родной деревни… За Минеральными Водами на закате мы заметили на горизонте далекую гряду: это были Кавказские горы… Въезжая в Черные горы, мы были уже в преддверии Кавказа. Ночью промелькнула станция Беслан, и мы врезались под своды Владикавказского вокзала. Воздух был насыщен ароматом акаций, своеобразным благоуханием жаркой кавказской ночи. Тысячи звезд сверкали и искрились на черном небе. На платформе толпились папахи и бурки… Мы очутились в ином мире.

Несколько дней в этом изумительно прекрасном городе промчались как сон. Величественная красота вершины Казбека и Столовой горы, грозные очертания скал и изумрудные шапки передовых цепей с одной стороны, безграничная степь с ее ароматными злаками и травами, прорезанная извилинами бурливого Терека с другой; русская городская жизнь, погруженная по колена в туземную жизнь, – эти незабываемые картины казались мне роскошным занавесом, за которым скрывался целый мир чудес… Но мы едва успели заглянуть туда, как уже настал час разлуки.

На дебаркадере мы с Басковым крепко обнялись и поцеловались… В этом неуклюжем, большом ребенке, в его добрых глазах, мне кажется, проглядывала материнская нежность к своему больному товарищу… Вместе с неразлучным Алексеем мы вернулись в хутор к старому грузину Кобадзе, которого единственное занятие заключалось в том, чтоб предлинной хворостиной гонять кружившихся вокруг него гусей.

Чтоб развлечься, утром мы двинулись пешком по Военно-грузинской дороге, рассчитывая подняться на Казбек. Божественные картины природы сменяли одна другую. Перед нами открывалась роскошная зеленая долина, усеянная вековыми грушами, которая тянется от лесистой горы Ил до мрачного, бурливого Терека. «Зачем идешь один? – спросил меня старый чеченец на коне и в косматой бурке. – Там, – он указал нагайкой

на протянувшиеся гребни Красных гор (Аджи лом по-ингушски), – там живет абрак, бодет резить, башка долой снимать». Мы поблагодарили его за предупреждение и двинулись дальше. Прошли Джараховское укрепление – каменный четырехугольник, запирающий проход, где теперь стоял карантинный пост. Влево на скале оставили башни ингушского аула Джайрах, втянулись в Дарьяльское ущелье. Вправо на утесе поднялась башня царицы Тамары, воспетой Лермонтовым[47].

Миновали Дарьяльское укрепление и остановились в осетинском селении Казбек, в «духане», у подножия заоблачной величественной горы, носящей это историческое имя.

Нам предложили немного овечьего сыра, красного вина. Сделали шашлык. В меню стояло несколько туземных блюд, в том числе мясо тура. Ранним утром мы добрались до горного домика, где взяли лошадей и поднялись до второго, все время любуясь скалами, обрывами, ледниками и развалинами воспетого Пушкиным монастыря.

Спустившись, мы столкнулись с целой экскурсией: впереди шагал воспитатель с огромными баками и футляром для ботанических коллекций за спиною. За ним гуськом человек тридцать гимназистов и в замке мальчик на ослике. Шедший впереди высокий блондин подошел ко мне и сообщил, что они ученики Тифлисской классической гимназии, которую он только что окончил и поступил в Тверское кавалерийское училище, что мальчик на ишаке – его брат и что его фамилия Эрн.

Обратный путь был гораздо тяжелее. Не успели дойти до Дарьяла, мимо нас пролетел «дилижанс». Позади, развалившись, сидели пожилые мужчина и дама, впереди, на скамеечке, – молоденькая девушка; ее хорошенькое личико было окутано белой вуалью. Мы невольно обменялись с ней взглядами. Смутное чувство заставило мое сердце биться… Кто они, куда они едут? Если бы…

Но мы шли вперед и вперед. Солнце поднялось высоко и начало жарить нас в голову. Каждую минуту мы останавливались, чтоб утолить жажду в кристальных струях бесчисленных ручейков, падавших с отвесных скал. То и дело ложился я на зеленую травку у подножия нависшего утеса, чтоб вздремнуть на две-три минуты. Но делать было нечего, надо было идти. В глубокую темноту добрались мы до нашего хутора. Я не чуял ног под собою. На следующий день мы сели в вагон и уже катились в направлении к Грозному, где по рецепту Пастернацкого я должен был вернуть себе силы. В те годы город еще только просыпался к кипучей деятельности, которая перед войной сделала его центром нефтяного района. Мы с трудом нашли «фаэтон», потащивший

нас по грязным улицам. «Вот ихний дом – ат», – сказал возница, кивая на низенький белый дом с глухо закрытыми ставнями. В полной темноте, царившей на улицах, мы едва разглядели будку и стоявшего подле нее часового.

«Крепость Дагестанского полка?» – «Так точно!» Мы позвонили. Дверь отворила тетя Женя со свечой в руках и в накинутом на плечи капоте.

– Ваничка!.. Мы слыхали, что ты где-то на Кавказе, пробираешься к нам. А ты знаешь, что Миша здесь? Он приехал уже с неделю. Я проведу тебя прямо к нему, наши все уже спят.

– Но ведь еще не так поздно?

– Но у нас так уж заведено во всем городе. Ставни на запоре во избежание грабежей, как только начинает смеркаться. А при лампах мы долго не сидим… Вот, направо первая дверь. – Она отворила.

В крошечной комнатенке на кровати сидел мой милый Мишуша. Он вскочил, поцеловал меня и сразу схватился за часы и стал прикладывать их к сердцу.

– Сердцебиение – я взволновался, услышав твой голос, – по яснил он. – Но уже успокаивается, сейчас пройдет… Ох, уж эта любовь! Кому она только не портила здоровье!

Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu;
Und wem sie just passieret,
Dem bricht das Herz entzwei.[48]

В семье дяди мы пробыли недолго. Я был рад, видя, как она расцвела в благоприятных условиях жизни. Все члены ее посвежели, пополнели, и на их лицах отразилось какое-то внутреннее удовлетворение, которое замечается почти во всех, нашедших успокоение в глуши после треволнений столичной жизни. Дом казался полной чашей. В Питере экономили каждую копейку, и стол более смахивал на немецкий; в провинции всего было вдоволь, готовили на славу и не жалели продуктов.

После обеда дядя читал вслух, стараясь одновременно расширить кругозор жены и пробудить интерес в детях. Его любимым автором был Жюль Верн с его неистощимыми рассказами, такими фантастичными, но ставшими вскоре реальностью. Тетя Женя с Надей, дочерью Лелена, играли на «доди», как они с детства прозвали пианино. Утром тетя Женя с величайшей настойчивостью назуживала детей. Не зная, что делать, мы с Алексеем пошли за семь верст в чеченский аул Алды.

Встретившийся по дороге чеченец – мальчик – радушно

пригласил нас к себе.

– Хорош, очень хорош, – приговаривал он, сажая нас на тахту. – Садысь, садысь, не вставай, – повторяли все шесть его братьев, знакомясь с нами.

– Теперь давай шашка, гостем будем, – говорил Мака Цакай, снимая с меня оружие. Алексей уцепился за свою обеими руками. – Давай шашка, такой закон, – повторял хозяин.

– Наш закон, не давай шашку, – протестовал Алексей, видимо, чувствуя себя как на иголках. Его оставили в покое.

– Как зовется это? – спросил я при виде огромного блюда, наполненного желтой кашей.

– По-вашему мамалык, по-нашему худар, – отвечал Мака Цакай. Он присоединился к гостям. После нас присоединились прочие. Они ели пальцами.

– Теперь хочь отдыхай на тахта, – он указал на полдюжины матрасов на полках по стенам кунацкой, – хочь гуляй, будем провожать.

Мы распрощались, хозяин проводил нас до пригорка, откуда виднелся Грозный.

– Ну, теперь сам знаешь дорогу, кунаком будешь.

Под палящими лучами солнца – было 47° по Реомюру – мы вернулись домой. Там все ставни были закрыты, но и в постель мы ложились, обливаясь потом.

– А как вы проводите время?

– Иногда катаемся в экипаже до Беликовой рощи, там прохладнее. Девочки ходят на бульвар, там иногда играет полковая музыка, сидят местные барышни. Жизни никакой тут нету…

С офицерами я не успел повстречаться, приходил один только адъютант. После его ухода мне вновь снилась Белгородская крепость.

Мишуша заметно скучал, он не переносил жары. Всегда немного скрытный, он и теперь «не развязывал со мной своего кошеля». Я прочитал две или три книжки: «Живописные уголки Кавказа» Каневского, «День в ауле» и др. и тоже стал строить планы на отъезд.

Мы от души поблагодарили радушных хозяев, забрали свои пожитки и в сопровождении Алексея тронулись на вокзал. Путевые хлопоты, чудная панорама гор при вечернем освещении освежили нас, и мы не заметили, как пролетело время. На Минеральных Водах мы пересели на поезд, уходивший на Пятигорск; рано утром пошли к групповому врачу, где Мишуша должен был узнать о своем назначении, и потом к воинскому начальнику. В приемной у доктора было мало посетителей.

Подошла прехорошенькая молоденькая мамаша в сопровождении няни с ребенком на руках. Увидя меня, девочка потянулась к моим блестящим эполетам с криком: «Дядя Цаца, дядя Цаца!»… Смеясь, ее отцепили, но прозвище осталось за мной, а за дамочкой «Мама цаца».

Когда мы вышли, мой брат подошел к скамейке и вынул оставленную ему доктором записку. «Что это такое? – говорил он, нахмурясь. – В Кисловодск… Ах! Это неврастения! А я боялся, что он найдет у меня порок сердца… Слава Богу!»

Мой Мишуша совсем ободрился и повеселел. Он с увлечением стал рассказывать: «Дверь в кабинет отворилась. – Паалте в кабинет, – отрывисто говорит доктор. – Садитесь паалста. – Осмотрел, выстукал и сунул мне эту бумажку. Эта болезнь называется „неврастения“ – Слава Богу!»

В Кисловодске мы остановились не в Курзале, а сняли домик в слободе. Алексей нам готовил, часто приносил цветы от неизвестных соседок и ухаживал за нами на славу. Утром мы пили чай и шли в парк, где Миша пил нарзан, даже как-то взял ванну в его голубых струях с тысячами пузырьков. Я попробовал было пить, но мне казалось, что кровь и так бурлила достаточно. Мишушу тянуло на главные аллеи, где гремела музыка и мелькали белые и розовые платья. Я старался забраться в какие-нибудь дикие уголки, интуитивно предчувствуя, что если подойду к огню, обгорят мои крылышки, и будет мне, как говорит Гомер, «похуже Египта и Крита». В парке к нам подошел наш дальний родственник, Павловского полка поручик Аничков, интересный, с гладко выбритым подбородком, в безукоризненном кителе, гулявший с двумя элегантными дамами. Он спросил наш адрес и стал бывать у нас каждый вечер…

И его закрутила любовь!

Он поведал Мишуше свои огорчения. Барышня была прелестная… Он ей нравился… Мамаша (всегда надо начинать с мамаши) смотрела на него как на жениха. Но…

– Как смею я сделать ей предложение, – говорил он, – когда у меня всего 100 рублей в месяц сверх жалованья? Завтра они едут «на виноград». Я их провожаю… Они все еще ждут.

О Боже! Из-за какой-то сальной бумажки отказаться от счастья, от любви, от всего…

Ночью я получил телеграмму. Я подскочил до потолка с криком «ура!» и отсыпал телеграфисту все, что случилось у меня под рукой.

– Наверное, получили «кавалерию», орден? – спрашивал тот, изумленный небывалой щедростью.

– Нет, – отвечал Алексей. – Это едут сюда их любимый

товарищ. Они и дышать не могут друг без друга.

Мише не нравился Кавказ. Он горячо любил деревню, тихую природу, доморощенных лошадок. Запах их конюшни вызывал в нем больше энтузиазма, чем все розы Кисловодского парка.

– Ну и климат, – говорил он, – все время в испарине… Его сердце так и осталось в Леонтьевском.

Через два дня я уже стоял на дебаркадере владикавказского вокзала, прислонившись к тому самому столбу, у которого мы простились с Басковым, но на этот раз охваченный радостным волнением предстоящей встречи.

Наконец, раздался гудок… Прорезая ночной мрак, как метеор, врывается на станцию паровоз, увлекая за собою вагоны. Окна мелькают мимо, в одном из них знакомое, близкое лицо: – Миша!.. Ваня!..

Те немногие дни, что были в его распоряжении, – он получил всего 28-дневный отпуск, одновременно кончался и мой, – мы решили использовать, чтоб пройти из Владикавказа на Грозный горами, через Казбек на Шато или Ведено. Мы сделали этот переход в две недели, провели два-три дня в радушной семье дяди Феди и уже снова помчались в Петербург, унося небывалые воспоминания, прощаясь из окна экспресса с белоснежными гребнями Главного хребта, с каждой вершиной, с каждым перевалом, вспоминая наши походы и переживая картины недавнего прошлого.

– Это, наверное, Архот, который навис над селением Амга, где мы нашли нашего верного проводника Гага Циклаури, где любовались хевсурами[49] в их кольчугах и железных шапках, живописными нарядами их женщин и их малюток… А это Нарована, грозный перевал, где нас застигла ночь. Помнишь, как мы лежали там под бурками все трое вместе, наблюдая, как горные туманы, словно привидения, неслись через наши головы, а там, наверное, те три башни, стоявшие рядом, как три сестры… Они скрыты за гребнями снеговых вершин и голых утесов, но у меня предчувствие, что я увижу их снова…

Мы здесь не в последний раз! Но об этом после…

Бригада уже вернулась на зимние квартиры. Родные и знакомые встретили нас, как вернувшихся с того света: «С твоим сердцем брать горные перевалы»… – Но все удивлялись нашему бодрому виду и той перемене, которая произошла в нас обоих.

В батарее нас ждал неприятный сюрприз.

– Видите ли, хм-хм, хм-хм… – говорил нам командир батареи. Он вообще не был красноречив, а тут, видимо, не знал, что сказать в свое оправдание. – На сформирование стрелковых батарей был назначен поручик Стрекаловский, по жребию. Но, хм-

хм… полков ник Осипов настоял, чтоб его оставили, и… командир бригады на значил вместо него подпоручика Баскова. Бумаги все уже посланы в 1-ю бригаду, при которой формируются стрелки, и вам придется явиться туда через несколько дней.

Этакая возмутительная несправедливость! Баскову пришлось ездить каждый день на Литейный, где стояла бригада: он попал в новую среду, и нужно было начинать сначала. Полковник Мусселиус назначил меня делопроизводителем и по вечерам стал вызывать меня на квартиру, чтобы знакомить с делами, угощая, как бы в компенсацию, ужином на лоне своей семьи. Мало-помалу я втянулся, мне было неплохо, так как это было сопряжено с некоторой прибавкой содержания, но я затаил горькое чувство обиды и не мог примириться с нашей разлукой. «Наверно, все это из-за меня, – думал я. – Это потому, что он уехал ко мне».

Месяца полтора спустя в бригадном манеже происходил отбор нижних чинов, уходивших на формирование вместе с Басковым. На разбивке начальник артиллерии ген. Канищев объявил, что он должен назначить туда еще одного офицера. Я тотчас подошел к своему командиру и заявил ему о своем желании идти на формирование. Мусселиуса это покоробило. «Разве вам так плохо у нас?» – «Никак нет, я сжился с батареей и мечтал не расставаться с ней до конца. Но Басков пострадал ради меня, так как все решилось благодаря его отсутствию. Теперь мой долг пожертвовать собой ради него».

– Хм-хм! Ну, как хотите…

Больно было мне покидать бригаду. Там я оставил братьев, все, все родное, уютное… Они могли не понять меня и осудить за добровольный уход… Гвардии стрелковый дивизион формировался при 1-й бригаде, и все там было новое, чуждое, официальное…

Но я еще раз убедился, что Провидение знает лучше, чем мы, что нам полезнее…

Я назначен в 1-ю батарею, Басков – во 2-ю. Первые командиры, Андреев и Мрозовский, отлично знали службу и установили образцовый порядок в своих частях. Из старших офицеров, назначенных нам, в сущности, явился лишь один Демидов, недавно окончивший Артиллерийскую академию. Это был серьезный и знающий офицер, державшийся особняком, но всегда готовый дать добрый совет. Остальные были «мертвые души»: находились в академиях, в командировках или уходили в запас и не хотели ничего делать. Фактически все легло на нас и на четверых молодых, только что выпущенных из училища. Таким образом, все мы прошли суровую, но хорошую школу. Великую

услугу оказало мне знакомство с Кавказом.

Из каждой экспедиции я привозил целый ворох впечатлений, которые в конце концов разбудили во мне все качества, встречающиеся лишь у природного воина. Быть может, это-то и было главным фактором, обеспечившим мне впоследствии доверие солдат и успех на войне.

Молодых офицеров солдаты любили. Первый выпуск – Папкевич, Заркевич, Храборов и Куприянов – все как на подбор были люди скромные, искренние, знающие, прекрасные товарищи и отличные служаки. Вместе с Басковым и со мной они составили дружную семью и тотчас усвоили наше сердечное отношение к солдатам; за ними появились милейший и симпатичнейший Давыдов, внучатый племянник знаменитого Дениса, Гнучев, Баклунд, сын директора Пулковской обсерватории; Рооп, переведенный из 23-й бригады, – его дядя был известный ген. Рооп, которому на созыве Первой Думы было поручено нести государственный меч. В противность командирам единственный из всех, кто позволял себе скверные слова, был Рооп, но, вообще милый и деликатный, он пользовался ими в какой-то шутливой, ласковой форме, чем исключал всякую обиду.

Нас с Басковым солдаты горячо любили: «Мы не помним себя от радости, – говорили запасные, уходя на родину. – Нелегко далось нам военное обучение. Но вас мы никогда не забудем!»

Однажды, спеша в Питер, мы бегом прибежали на станцию Красного Села. Поезд, на наше счастье, запаздывал, и мы бросились в последний вагон уже почти без дыхания. Переведя дух, мы выглянули из окна. Поезда с запасными еще стояли, задерживая движение. В вагонах мы заметили знакомые лица только что простившихся с нами солдат. Увидев нас, они не выдержали, раздалось громовое «ура!», которое несколькими перекатами охватило все уходившие эшелоны.

Прибежал перепуганный начальник станции: «Скажите, господа, где тут находятся высочайшие особы?»

– Здесь не было Великих князей… Это прощаются с нами наши солдаты!

– Ваше высокоблагородие! Извольте взглянуть, – говорили мне солдаты ночью на маневрах, где мой взвод дежурил в авангарде…

Солдаты лежали на земле в полной амуниции. Посредине, на дышлах обоих передков, из ветвей и тонких прутьев они сделали мне сетку, в которой я устроился, как младенец в колыбели.

– Так что, мы-то попривыкли, – говорили мне наши люди, – а они-то к утру ослабеют, ночь-то, вишь, долгая…

– Ванюша, – говорил мне позднее мой любимый брат Миша. –

Ну, вот, ты всегда в первом номере: но ведь ты командуешь не по уставу!

– А как же?

– Ты гипнотизируешь своих солдат: ты заставляешь их делать все, что захочешь, как заклинатель заставляет танцевать на хвосте свою гадюку. Кто же после тебя возьмется командовать твоей батареей?

– Что же? Пусть командует по уставу! Получит урожай сам-сем, а то и сам-пят, а я получаю сам-двенадцать.

К Рождеству явился и командир дивизиона, полковник Кармин, уже пожилой, но жизнерадостный и добродушный, любивший театр и светскую жизнь, живой архив проказ офицерской жизни во всех трех бригадах. Подойдя ко мне, он сунул мне в руки пакет с новенькими серебряными аксельбантами[50]: «Поздравляю вас адъютантом моего дивизиона».

Но мой командир вцепился в меня обеими руками. Тогда как прочие адъютанты несли лишь канцелярскую службу или красовались в строю, я остался заведовать новобранцами – самая крупная строевая работа в батарее. Я уже блестяще сдал новобранцев во 2-й бригаде, где на смотру их нашли лучшими. Инструктора, привезенные Андреевым из 3-й бригады, оказались отличными, особенно старший, фейерверкер[51] Мароресков, жестоко лупивший новобранцев ремешком, но смягчавшийся под моим влиянием. От брата Володи я перенял его умение ладить с солдатами, и они сразу увидели во мне своего родного человека, отстаивавшего их от жестокого обращения старшего и безжалостного командира; я заслужил их обожание, и они своей безукоризненной подготовкой побили все рекорды.

Адъютантская работа меня не обременяла. Благодушный Кармин не придирался к мелочам. Подписывая бумаги, он неизменно повторял фразу Фамусова:

> «Чтоб много их не накопилось, обычай мой такой —
> Подписано и с плеч долой!»

Старшим писарем в дивизионном управлении был у меня исключительно талантливый Подчищаев, самая фамилия которого говорит за его искусство. Штаб-трубачом был красавец хохол, который только и делал, что «кохал свой черный ус», лежа на постели, но был хороший трубач и наездник.

Басков тоже получил новобранцев и делопроизводство, а потом хозяйство, но ему было невыносимо под гнетом Мрозовского. Тот никогда ничем не был доволен, вымещал свою

желчь на подчиненных, требуя невозможного, и тиранил солдат, чтоб выжать больше с офицера.

– Вы не могли отдать этому мерзавцу такого идиотского приказания.

Это был его любимый метод. Наказывая подчиненного за его офицера, он выжимал из него полное напряжение сил.

Жили мы по-старому на нашей уютной квартирке на Заротной улице и ездили на службу вместе. О нашей дружбе все знали, даже солдаты бригады, но она никому не колола глаза. Мы все-таки еще дичились офицеров бригады, между которыми были и «снобы», и представители «золотой молодежи», и любители кутежей. Они очень гордились своим белым кантом, который ставил их в уровень со старейшими полками гвардии. Но вскоре и здесь у меня завелись добрые друзья, которые помаленьку втянули нас в свою семью. Бригадой все еще командовал мой отец. Он и здесь внушил к себе уважение своей настойчивой, но разумной строгостью, благородным отношением к подчиненным и умением держать себя с высшим начальством и иностранными посетителями – бывали у нас и японцы, и немцы, и французы, и англичане. Он был очень рад моему переводу к нему в бригаду, это разом сгладило все его неудовольствия, порожденные моим нежеланием переехать к нему. В конце года в дивизион был назначен в качестве младшего врача мой брат Кока Стефанович[52]. Нам уже стало совсем уютно, академию он кончил первым, был знающий, скромный и работоспособный врач, но большой франт и любитель верховой езды. Быстро он сошелся со всеми на ты и, когда мы вышли в лагерь, стал общим любимцем.

– Доктор! Куда? – лукаво спрашивали его, видя поспешно шедшим на платформу. – В Тайцы? Кто у вас там завелся?

– Тр-р-р!.. Секрет, – отвечал он, исчезая.

Раз он подошел ко мне совершенно расстроенный.

– В чем дело?

– А вот я тебе расскажу, – он снял очки и устремил на меня взгляд своих ясных голубых глаз. – Только ты дай мне слово, что исполнишь одну мою просьбу!

– Ладно, вываливай свои секреты!

– Ну хорошо. Ты ведь знаешь Мрозовского. Вчера за завтраком он при всех начал рассказывать, как в Уяздовском госпитале его приятелю вместо больного глаза вынули здоровый. Рассказывал с обычной иронией, заставив всех смеяться. Я густо покраснел и пытался опровергнуть рассказ, но он продолжал: «Ведь вы знаете оператора, он ваш товарищ по Академии!»

– Ну!

– Ну, а теперь зовет меня к себе и говорит: «Вы знаете, доктор, у меня ангина. Так я попрошу вас смазать мне горло».

– И что же?

– Теперь я не знаю, что делать. Ведь ты только пойми, что значит лезть в пасть этому крокодилу!.. А если у меня задрожит рука и я ткну ему кисть с танином не туда, куда надо, так ведь он сдохнет.

– Ну так что же?

– Теперь вот мне надо попробовать это сперва на ком-нибудь другом… Ваня, родной, дай мне свое горло, я уж так попробую, без танина, сухой кисточкой…

Что было делать? Слово не воробей. Раз дано, надо исполнить обязательно.

– Ну, так и быть, мажь! А завтра мне командовать батальоном…

После этой смазки я чихал и кашлял около получасу – и все напрасно! Когда в назначенный час доктор, вооруженный всеми орудиями пытки, показался на пороге, Мрозовский махнул ему рукой.

– Не надо! Вы еще мне засунете это в дыхательное горло.

– Вот негодяй, – бормотал доктор, возвращаясь домой.

– Ну, как? Смазал? – все офицеры обступили его, засыпая вопросами. – Разыграли басню про Журавля и Волка в лицах? Не откусил он тебе носа?

Доктор сокрушенно мотал головою.

– Ну, Ваня! Выходит, я тебя мучил понапрасну. Отказался, чтоб ему… не верит мне как врачу! Говорит, что после опыта в Уяздовском госпитале он уже не верит в медицину.

– Ну что же? В следующий раз смазывай мне какое-нибудь другое место, а горла больше не дам.

Мне было уже 26 лет, но я умер бы со стыда, если б кто-нибудь захватил меня в разговоре с барышней или в попытке с ней познакомиться. Однако я уже чувствовал, что к этому идет. После выхода в офицеры я вынужден был носить очки. Теперь я купил красивое пенсне с золотым ободком и потихоньку надевал его, чтоб привыкнуть носить при всяких условиях, но пустил его в ход, лишь когда сел на пароход, уходивший вверх по Неве.

В Петрозаводск я прибыл позднее других командированных офицеров, которые тотчас разъехались по своим уездам.

Я явился к губернатору Левашову, вице-губернатору Старынкевичу (бывшему гвардии конноартиллеристу), зашел в присутствие за маршрутами. Вернувшись в гостиницу, где думал провести ночь, услышал стук в дверь. На пороге стояли два прилично одетых штатских.

– Господин поручик, позвольте представиться: Волконский, чиновник особых поручений при губернаторе. Фрейганг, мой ста ринный друг и однокашник по правоведению, абориген «мест не столь отдаленных», как официально называются наши Палестины. Гвардейский офицер из Петербурга – это такая диковинка, что мы решили завладеть вами. Моя жена давно уже не видала здесь людей, кроме Фрейганга и Туркестанова.

– Покорно благодарю. Когда прикажете?

– Ровно в шесть часов. Мы ждем вас к обеду.

С давних пор семья бабушки находилась в тесной дружбе с семьей Вольфов, своих дальних родственников. Оба старших брата были дипломаты; младший, Александр Иванович, служил также в Министерстве иностранных дел, но на низших должностях. Обе сестры были интимными подругами бабушки.

Старший брат скончался вскоре после 1867 года, когда правительство решило продать Русскую Аляску за семь с половиной миллионов долларов. Старик всеми силами боролся против этого, пока, наконец, не заболел и не умер от огорчения. Они оставили крупное наследство, которое по смерти остальных должно было перейди к бабушке. Один за другим умерли и все прочие, кроме младшего. Несколько лет назад А. И., уже 62-летний старик, надумал покончить с холостой жизнью. Ему сделала предложение 26-летняя барышня, племянница поэта Батюшкова; перед свадьбой Вольф приехал к бабушке и сказал ей, что, несмотря на это, оставляя жене 200 тыс., он передаст 35 тыс., полученные им от братьев, ее семье согласно завещанию.

Бабушка не дождалась обещанного, но после смерти Вольфа ее дети получили по семь тысяч и притом в самый тяжелый момент их жизни, так как незамужние жили всего на 15 рублях своей пенсии. Это оживило всю семью. Моя тетя Лизоня, забывая собственные нужды, тотчас купила мне великолепные золотые часы от Буре: «Они обеспечат тебе вход в любую гостиную, – говорила тетя, – а в случае крайности ты заложишь цепочку или часы. По одежке встречают, по уму провожают».

Взглянув в зеркало, я заметил, что сюртук на мне сидит как влитой, пенсне придает моему лицу особое, но далеко неплохое выражение, а блестящий аксельбант и мелькавшая под петлицей цепочка гармонируют с «ансамблем».

Теперь я почувствовал то же, что «гаденький утенок», увидавший свое отражение в кристальных водах озера, в котором собирался утопиться: «И я – тоже лебедь!..»

Я тоже лебедь

Не милися, яворонку,
Ще ты зелененький…
Не журися, козаченьку,
Ще ты молоденький.

Спивка

Ровно в шесть я стоял у дверей дома Пикина на Свято-Новолоцкой улице, где проживал князь Волконский. Тотчас послышались шаги, горничная отворила дверь, и я очутился на пороге небольшой, но изящно убранной гостиной; князь и его друзья поднялись мне навстречу.

– Вот моя жена, – произнес он. – Лелечек, позволь представить тебе нашего мимолетного гостя.

Стараясь подавить свою застенчивость, я поцеловал протянутую мне руку. До сих пор я никогда не делал этого, считая это капитуляцией перед прекрасным полом. Княгиня, видимо, была застенчива не менее меня. Но, бросив на меня взгляд, сразу овладела собой и любезно повела в столовую.

На вид ей было 32–34 года, она была в полном расцвете женской красоты. Полной, роскошной фигурой, мягкой походкой, чудным цветом прекрасного лица с первого же взгляда она производила сильное впечатление. Роскошные темно-каштановые волосы, прекрасные серые глаза, строго глядевшие из-под густых бровей, делали ее похожей на изображение Рогнеды или какой-либо другой царицы древней Руси. Одета она была просто, но каждая складка ее платья говорила о красоте ее фигуры.

– Пойдемте в столовую, – сказала она и приветливо улыбну лась. – Улыбка делала ее еще более очаровательной, но придавала ее красоте новый характер. – Вот мои дети. Муся, Юра, идите сюда! – Навстречу поднялась девочка лет 14 и мальчик лет восьми – оба казались статуэтками из бисквитного фарфора. «Ого, – подумал я, – пока на моем пути растут такие ландыши, еще не стоит умирать!»

Все расселись за широким гостеприимным столом, я – между княгиней и Мусей, которая с любопытством поглядывала на мои аксельбанты и пенсне. Юра сел между отцом и матерью, занимавшей место во главе стола. Далее поместились Фрейганг и князь Туркестанов, обменявшиеся уже со мной крепкими рукопожатиями. Раньше, бывая в обществе, мне приходилось

видеть хорошие манеры, изысканное обращение, такт; дома я постоянно встречал теплоту душевную, сердечность. Здесь я нашел и то, и другое.

Небольшого роста, с живыми темными глазами и густыми бакенбардами, своей оживленной непринужденностью и уменьем для каждого найти подходящее слово князь все время поддерживал остроумный и кипучий разговор, в котором его друзья вторили ему. Дети, сидевшие за общим столом, придавали всему семейный характер. По-видимому, княгиня думала встретить во мне высокомерного гвардейца, пропитанного снобизмом, но заметив мою застенчивую скромность, всячески старалась ободрить меня своей лаской и радушием.

Провинциальная кухня поражает изобилием блюд и кушаний, редких в столице дичи, рыбы, заготовок, и князь, видимо, любивший выпить, то и дело предлагал мне попробовать то или другое вино. Но и без этого я чувствовал себя опьяненным той атмосферой общей симпатии и радушия, в которой находился.

Дети сразу же в меня влюбились, мальчик от времени до времени стал обращаться ко мне с наивными детскими вопросами, а девочка ловила каждое слово нашего разговора. Оживление придавала собачонка, крутившаяся под ногами.

– Как ее зовут? Моська или Муська?

Все смеются. Княгиня поднимает на меня свои большие глаза.

– Муська – это я! А вот это наш любимец Пуфик…

Она подносит мне маленького пушистого котика с ленточкой на шее. После обеда мальчика уводят в спальню, но он все время выглядывает из-за дверей.

– Офицерик, обернись!

– Офицерик, – обращается ко мне княгиня, – за этот вечер вы так привились к нашей семье, что я буду считать вас старшим своим сыном.

– Мы его сейчас же заберем к себе, – говорит князь, – к чему ему сидеть там, в пустой гостинице? Сегодня я был в управе, мы там нарочно устроили так, чтоб все маршруты пересекали город, и всякий раз вы будете приезжать сюда как к себе домой.

А я устрою вас в Мусину комнату, а ее переведу в детскую, вместе с Алисынькой: это наша гувернантка, она сейчас придет, была у подруги.

* * *

– Ваничка!.. Как ты поправился!

– Что за превращение!

– Как к тебе идет это пенсне!

– Ты вернулся совсем другой! Тебя прямо не узнать.

– Мы поняли из твоих писем, что тебя там, в Петрозаводске, приняли как родного. Ну рассказывай, куда ты там ездил, что видел, с кем познакомился. Как тебе показался наш Север и его обитатели?

– Постойте минуту… Заплатите полтинник извозчику, у меня уже не осталось ни копейки… Ну, спасибо!

– Ну, говори: ты там ездил на оленях? На собаках?

– Какие собаки? Сообщения, действительно, там совсем другие. Расстояния огромные. Бесконечные леса усеяны озерами и перерезаны губами Онежского озера. На севере масса дичи. Лоси и олени бродят стадами; во время перелета птицы летят мириадами, местами вспархивало до 80 уток с одного места. Рыбы – и самой роскошной – сколько угодно. Но приходилось не только трястись на почтовых по отвратительным бревенчатым настилам, но ездить верхом, пересекать озера на лодке, даже ходить под парусами по 40 верст в один переход.

– А где же ты останавливался?

– Как всегда: в избах у карел. В скитах и монастырях. Местами, как на Шуе, видел селения, которые так и напоминают XVII и XVIII века: просторные деревянные хоромы в два этажа в древнерусском вкусе, старинные церкви с сорока маковками, скиты. Там привели ко мне былинщика, сына знаменитого Виноградова. Когда он перекрестился, сел под образами, положил руки на колени, как бы выстукивая на гуслях старинный речитатив, и начал:

Как во том ли славном во городе во Муроме,
Как во том ли селе да Карачарове… —

верите ли, у меня сердце перевернулось… Смотрю в окно, а там дооблачные ели, пихты, лиственницы, бесконечные леса, что тянутся до Повонец, «всему миру конец», как говорят тамошние, – вот когда я понял, что я русский, природный русский с головы до ног.

– А в самом городе?

– В Петрозаводске было лучше всего. В городе ведь всего 12 тысяч жителей, но все приняли меня прекрасно. Познакомился с одной чудной семьей, где провел 20 дней, то на перепутье, то дожидаясь парохода. Князь Волконский – душа человек. Супруга его – настоящая русская боярыня. Глядя на нее, я в первый раз понял, что такое русская женщина. Дети – прелесть.

– В кого же из них ты влюбился?

– Во всех.

– А сколько же ей лет? А дочке? Ну, это маловато. А какова она из себя?

– Меня устроили в ее комнатке, на ее постели. Подле был столик, а там хорошенькая записная книжка с надписью «весьма секретная». Грешный человек, захотелось заглянуть в ее сердечко… А там всего одна строчка: «Не забыть: калоши на 14-летнюю». Значит, ей всего 14 лет. Вот когда приедет, сами увидите…

В бригаде на меня вытаращили глаза: «Смотрите! Беляев вернулся неузнаваемым! Что его так изменило?» Со всех сторон посыпались расспросы, приглашения. Но одновременно командир навалил на меня сверх строевых обязанностей и хозяйство, хотя немного оплачиваемое, но очень ответственное и влекущее материальные заботы.

– Вы теперь назначены старшим офицером. Демидов сдает хозяйство, кроме вас некому. А вам я вполне доверяю.

– Господи, да будет воля Твоя!

– Не волнуйтесь. Наши писари вас не подведут. Они отлично знают свое дело.

– А кто же назначен адъютантом?

– Рооп. Он и примет от вас канцелярию.

– Ну, милый Ропик, по традиции завтра получишь от меня новенький аксельбант, а пока надень этот. Они сделают тебя еще красивей, если только это возможно. А мне они уже сослужили свою службу.

– А что? Влюбился, уже жених?

– Почему ты так думаешь?

– По наружному виду.

Наш дивизион закончил свое формирование в конце 1897 года и в мирное время вошел в состав лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады в качестве 3-го дивизиона, но с мобилизацией становился уже независимой боевой единицей. Своя особенная форма – малиновый кант, название «стрелковый» и, главное, офицерский состав, с самого начала сплотившийся в единую семью, – все это сразу же наложило на него особую печать. Те, кто фактически находился в строю, все как на подбор были скромные, деловые, избегавшие клубной жизни и кутежей, посвящавшие все свои силы службе. Среди всех только один капитан Демидов не стеснялся средствами, но он и держался особняком. Искренняя, теплая дружба, завязавшаяся между нами, никак не базировалась ни на попойках, ни на картах; и если мы являлись в собрание, то держали себя скорее как гости и ограничивались необходимым. Сближение с офицерами бригады

происходило постепенно, само собой.

В бригаде, между прочим, существовал один обычай, способствовавший к сближению. По вечерам, после конца занятий забегавших поболтать или поиграть в карты или на бильярде должен был угощать чаем, а по желанию и ужином, дежурный офицер. Таким образом, совершенно чуждые люди знакомились между собою, и завязывались более тесные и близкие отношения. С появлением новых офицеров эти отношения стали еще теснее, так как только что явившиеся были товарищами по училищу. Одно обстоятельство способствовало общему сближению всей молодежи совершенно неожиданно. Произошло это вследствие нарушения одной из основных гвардейских традиций.

Корпус офицеров каждой части не является чем-то подобным группе служащих профессионалов какого-либо заведения. Узы крови в бою, преемственность общих воспоминаний, доблести, без которых офицерство и армия становятся сборищем вооруженных авантюристов, способствуют появлению полковых и кастовых традиций, бороться с которыми не так легко, и нарушение их нередко ведет к гибельным последствиям.

Как известно, во всех частях гвардии офицеры пользовались преимуществом одного чина над своими товарищами в армии. Офицеры, кончая академию, производились в следующий чин автоматически. Нередко армейские офицеры ходатайствовали о своем переводе в гвардию и, теряя этот чин, сравнивались тогда с гвардейцами. Но по традиции гвардейских частей офицеры, кончая академию, должны были отказываться от производства, так как иначе тем, кто не пошел в академию, не было бы возможности продвинуться выше капитана.

Движимое желанием поощрить молодежь, стремящуюся в академию, академическое начальство выхлопотало своим питомцам право на возвращение с чином, но до сих пор гвардейцы отказывались от этого преимущества, пока, наконец, не появился один карьерист, нарушивший эту благородную традицию.

Все три командира гвардейских бригад (в том числе мой отец) тотчас поехали к Великому князю Михаилу Николаевичу просить его прекратить подобный порядок, грозивший наполнить части случайными элементами и заставить уйти всех коренных офицеров.

Маститый генерал-фельдцейхмейстер[53] дал слово, что это не повторится, но он доживал уже свои последние дни, и года через два таких авантюристов появилось уже трое, а начальство бездействовало, несмотря на данную ими подписку о невозвращении с чином.

Престарелый фельдцейхмейстер угасал на Côte d'Azure[54], старые командиры уходили, мы остались предоставленными самим себе, и это вызвало отпор со стороны офицерства. За исключением семи индифферентных или благожелательных, академики вооружили против себя всех остальных. На первом же товарищеском обеде председатель распорядительного комитета доложил командиру бригады, что 43 обер-офицера считают для себя невозможным садиться за стол с товарищами, нарушившими данное ими обещание и старинные традиции. Генерал собрал штаб-офицеров, высказавших то же мнение, и просил на этот раз явиться в столовую всем, обещая немедленно ликвидировать больной вопрос. Он приказал полковнику Дидрихсу сообщить явившемуся на обед капитану Гобято о нежелании товарищей разделить с ним трапезу, и тот удалился.

Офицеры сели за стол, но неожиданно один из «академистов» без разрешения командира сорвался с места и, подойдя к старшему капитану, бросил ему в лицо салфетку со словами: «Считаю вас главарем этой недостойной выходки и вызываю вас на дуэль». Росляков немедленно поднялся, подошел к командиру бригады и произнес: «Ваше превосходительство, капитан барон Майдель оскорбил меня действием и вызвал на поединок, и этот вызов я принимаю».

Генерал Ляпунов, всегда такой самоуверенный, видимо, растерялся. Он принял заявление Рослякова, который по уставу тотчас отправился к себе на квартиру. Офицеры заняли вновь свои места, но после обеда пошли выразить свое сочувствие Рослякову. На следующий день капитан Гобято перед собравшимися офицерами сделал вызов всей бригаде, на который ответил старейший капитан Илькевич.

Узнав о происшедшем, командир гвардейского корпуса кн. Васильчиков на другой же день прибыл в бригаду и приказал передать академикам, что если они не сумеют найти себе другого выхода, он сам укажет им на подходящее место.

Но – главари академиков имели сильные связи через министра Сипягина; закулисные пружины пошли в ход. По распоряжению начальника штаба войск гвардии и С.-Петербургского военного округа генерала Васмунда было произведено дознание, в результате которого генерал Уткевич ушел в распоряжение генерал-фельдцейхмейстера, а генерал Ляпунов ушел в отставку… Всех полковников отставили на год от повышения (они были очень рады, так как это давало им возможность пожить в Питере еще один год). Офицерам был объявлен выговор «За неуважение к Высочайшему приказу», Майдель и Росляков переведены в армию.

За этим последовал ряд провокаций: в обеих бригадах академики стали вызывать своих противников на дуэль. В сущности, это было пустой бравадой. По правилам, дуэль должна была решаться в 24 часа. Но здесь, под эгидой высоких покровителей, поединок оттягивали со дня на день, пока измученный ожиданием вызванный не уходил из бригады (как это случилось во второй бригаде, где то же давление с использованием ошибки капитана Драке, вызванного капитаном Крабе за «неподание ему руки», вынудило его вернуться на пост адъютанта (генерал-инспектора артиллерии)) или же дело решалось «вничью», как у нас, вследствие непримиримости и в то же время тактичности капитана Илькевича.

Против санкции штаба округа, как бы она ни противоречила традициям всей гвардии, бороться не приходилось, хотя в полках уже никто не решился повторить опыта… Но все это сплотило, хотя на время, офицеров, за немногими исключениями, в одну массу: 43 из 50 перешли на «ты».

К сожалению, в иностранную прессу проникли компрометирующие слухи. В «Daily News»[55] появились статьи, где указывалось, что в гвардии началось революционное брожение.

В копыте лошади есть белая линия, от которой начинает расти рог. Можете расчищать и срезать копыто, загонять в него гвозди, но если коснетесь белой линии, оно пропало.

Командиры меняются каждые два-три года. Молодежь после первого лагеря располагается по академиям. Старые офицеры, для которых свой полк, своя батарея – родная семья, а честь знамени – дороже жизни, это и есть та «белая линия», без которой боевая дружина превращается в шайку авантюристов.

Подтверждение этой доктрины мне не раз пришлось наблюдать на войне.

Знакомство с Волконскими меня переродило. Я продолжал поддерживать его письмами, на которые обычно отвечала княгиня, временами ее муж, иногда с приложением каракулей от Юры. Ко всей семье я чувствовал какое-то обожание.

Тотчас по приезде мы с тетей накупили всего, что могло бы понравиться детям или быть полезным. Тетя Лизоня уже выслала им пару прелестных статуэток. Она была художница и знала толк. В бытность в Петрозаводске я узнал вкусы Муси и теперь послал ей все то, что могло ее порадовать, – целую библиотеку книг, игрушки для Юрочки и т. д. «Не хватает только платья для жены и фрака для меня», – писал мне князь.

Зимой он приехал в Петербург на несколько дней, а за ним и княгиня. У Мишуши в это время была большая квартира, и она

остановилась у нас. Уехала очарованная, оставив по себе чудное воспоминание. Меня стали замечать. У нас в доме стали появляться барышни. Мишуша обыкновенно скрывался к Стефаночам или к папе, а я выходил неохотно, держал себя строго, и ни одна не казалась мне интересной в сравнении с теми, кто занимал теперь все мое воображение. Однако это возбуждало мои нервы, невольно я чувствовал, что жизнь меня влечет куда-то… Я не уступал, держался строгих правил безукоризненной морали и рыцарской вежливости, но без малейшей уступки и без тени флирта. Все попытки тети Туни заинтересовать меня кем-нибудь оставались бесплодными.

А время уходило, я это чувствовал. Туманные намеки князя: «Приезжайте годика через два, и все будет ваше», – и явное расположение княгини, которая тем не менее все время становилась между нами, наконец, совершенная неуверенность, на что я могу надеяться в будущем, все это увеличивало выламывающую – и, к сожалению скажу, деморализующую силу. Всякий раз, когда ничтожная простуда клала меня в постель, врачи, пробуя мой пульс и узнавая о причине его возбужденности, говорили мне:

– Ну что же? Если не хотите умереть от сердечного припадка, надо изменить своим правилам…

Диагноз был правилен. Но ведь солдат идет на смерть за свое знамя, мученик за свою веру! Неужели же мне опозорить себя и своих предков и унизиться до того, чтоб покупать или продавать любовь? НИКОГДА!

– Ну, теперь женитесь.

– На ком?.. Без любви? Да ведь это преступление!

Но природе брала свое. С каждым днем я все более начинал реагировать на случайные взгляды, намеки, встречи. Я видел, что меня охотно приглашали, принимали, хотя бы из любопытства. Временами я готов был покончить с колебаниями и решить свою судьбу, взяв ту, которая более нравилась… Быть может, такая любовь, о которой мечтал, встречается лишь в сказках, или, быть может, она родится лишь после первых объятий.

К Великому посту снова приехала княгиня, остановилась у нас на несколько недель и под конец просила меня проводить ее в санях до Петрозаводска. У меня блеснула надежда еще раз взглянуть на шестнадцатилетнюю княжну, и, если очарование превратится в любовь, – она моя…

Наша поездка носила романтический характер. Обе тети были против, они почуяли опасность. Командир дивизиона, это был Мусселиус (уже тесть Володи), был против.

– Хм, хм… Куда же вы собрались? В Петрозаводск! А что же у

вас там?

Все это были нескромные вопросы и не дело начальства.

– Масса интересного… охота… Там есть и болотная дичь, и лоси, и олени.

– Но какой же вы охотник?

– Надо же поучиться!

– Нет, я не пущу вас. В Светлый праздник вы должны присутствовать на принесении поздравлений во дворце. Оставайтесь!

Я звякнул шпорами. Пришлось решаться на негласную отлучку с разрешения командира батареи (это был уже полковник фон Шульман). Я дал слово и не мог его не исполнить.

Когда мы уселись в купе, камень свалился у меня с сердца. Княгиня ликовала, как выпускная институтка. Мы роскошно позавтракали на Иматре, где все время поддерживался открытый стол. Но вечером начальник станции объявил, что поезд дальше не пойдет, а нам оставалось еще две станции до Сердоболя, где нас ожидали почтовые.

– Прикажете вам поставить две постели или только одну? – спросила горничная на маленькой станции. Я не знал, куда девать глаза.

– Их сиятельство будут отдыхать в комнате, а мне приготовьте что-нибудь в прихожей, – отвечал я. Горничная присела и пошла за вещами.

Но отдохнуть нам не пришлось. Начальник станции любезно сообщил, что подан поезд, идущий далее; и мы покатили снова. Та же история… Неожиданная остановка в другой гостинице…

На этот раз нам удалось хорошо поужинать в большой столовой, где кроме нас никого не было. За столом княгиня горячо благодарила меня, я отвечал ей в том же тоне.

– Разве можно забыть все, чем я обязан и вам, и всей вашей семье?

На заре мы взяли сани и помчались в Сердоболь, пересекая озеро напрямик. Лед был синего цвета, наружная кора часто проваливалась, и лишь благодаря относительной крепости матерого льда мы не нырнули в воду. На одном повороте сани перевернулись, и мы оба вылетели на снег.

В Сердоболе пришлось расставаться. Оставалось всего несколько часов по накатанной дороге, но Ладога таяла под лучами весеннего солнца, ямщик отказывался ждать, и задержка вызывала опоздание на несколько суток.

Мои мечты рухнули.

И все-таки я глубоко обязан этой чудной семье. Они вернули мне радость жизни. Своим соприкосновением они придали мне

то, чего мне недоставало: необходимый светский лоск, веру в свое счастье и уверенность в себе. Высокая оценка со стороны родителей привлекла ко мне общее внимание. Меня заметили, со всех сторон я стал встречать знаки внимания, все двери отворились передо мною.

Как ни странно, моя романтическая поездка придала мне еще больший интерес. Не так ли расклеванное яблоко сразу же находит себе любителей. Не так ли чудная девушка, идеал любви и красоты, встречает себе оценку лишь после падения… Но нет, между нами не было ни тени того, что могло бы разрушить создавшееся очарование!

И в мыслях я не допускал скотского чувства без любви, ни измены моей будущей, еще неизвестной невесте. Нет, лучше смерть с высоким идеалом в груди… И тем не менее все чаще и чаще приходила мне на ум обманчивая мысль: «А что, если святой, безгрешной любви не существует вовсе?

Что, если это только плод утонченного чувства, подогреваемого поэтами и романистами для увлечения пылких юношей и сентиментальных девушек?

Не пора ли, наконец, покончить со всеми этими бесплодными порывами и перейти к трезвому взгляду на жизнь, прикрывая животные чувства и холодный расчет определенными, установленными жизнью, формами?

Не пора ли капитулировать и спустить свое незапятнанное знамя?»

Царская гвардия. Душа, добрый конь

Семь лет младшему брату,
семь лет мне и семь лет Аллаху.

Арабская поговорка

С выходом в гвардию я должен был приобрести себе коня.

Сначала мне не повезло: ни первая моя лошадь, ни вторая не оказались подходящими, и я вынужден был продать их за бесценок. Но вот однажды берейтер[56] Крейтнер, бывший лейб-гусар, которому я поручил подыскать мне коня, встретил меня словами: «Ваше высокоблагородие, я нашел для вас отличную лошадь! Хотите взглянуть?»

Два рейткнехта[57] ввели под уздцы бодрого гнедого жеребца, который при входе приосанился, окинул присутствующих огненным взглядом и огласил манеж звонким ржанием.

Одного взгляда было достаточно, чтоб оценить все его достоинства… Стальные ноги, безукоризненный постав конечностей. Могучая грудь, плечо, подпруга. Гордая шея, спокойный взгляд умных и ясных глаз.

– Цена коню – 600 рублей. Как раз сколько вы ассигновали! Это была именно та сумма, которую уделила мне на покупку лошади из своего крошечного наследства моя милая тетя Лизоня.

– Его продает адъютант лейб-гвардии 3-го стрелкового батальона поручик Лытиков. Он атлет, борец, но справиться с жеребцом не умеет; каждый раз лошадь выносит его из строя. Едем сейчас же к его даме сердца, это ее подарок. Она все время дарит ему лошадей и все, что ему захочется…

– Я подарила ему эту лошадь, – подтвердила дама, – он может распоряжаться ею, как хочет.

Перед нами стояла женщина, еще красивая, еще цветущая, но уже в периоде увядания.

– Пойдемте, – сказала она. Огромная, богато обставленная квартира была пуста, и на лице хозяйки лежала тень бесцельного существования.

В полумраке будуара, над широкой, богато убранной тахтой висела огромная картина, изображавшая обнаженную женщину, окруженную амурами.

Хозяйка расположилась на софе, а нам указала на стоявшие перед ней пуфы.

– Вы знаете, он никак не может найти себе подходящей лошади… Это уже третья… Деньги отдайте ему, – и она

вздохнула, – скажите, что я ждала его вчера и сегодня, а он все еще не едет. Скажите, что мне очень нужно его видеть.

– Она чертовски богата, – шепнул мне Крейтнер, когда мы вышли. – Наверное, будет искать ему новую лошадь. Едем к нему на квартиру.

Поднимаясь по лестнице, мы услышали в дверях веселый мужской голос, прерываемый серебристым женским смехом. Нам тотчас отворили дверь две молоденькие девушки. За ними стоял высокий, стройный молодой офицер, который сразу же вышел нам навстречу.

– Хорошо, вы можете оставить себе лошадь, – сказал он, кладя деньги в карман. Сейчас я принесу аттестат.

«Завод вдовы Шуриновой, жеребец Ломбард, сын Хромого Свирепого и (следовал длинный ряд имен)… родился в…» (ему было шесть лет).

– Я вам выезжу его в четыре недели, – говорил Крейтнер на улице, – будет ходить как овечка.

– Ваше высокоблагородие! Завтра выводка, требуют имя и завод вашего коня, – говорил мне мой вестовой. – Извольте записать мне на бумажке.

Имя!.. – Тысяча имен вертелось в моей голове…: Баярд, Барон, Буян… – только не Ломбард, это пахнет и деньгами, и слезами. Не надо ни то, ни другое!.. Как отыскать ему имя, которое соответствовало бы его достоинствам и моей любви к благородному животному?

– Хорошо, я пришлю завтра утром.

Но за хлопотами этого не пришлось сделать. Началась выводка: «Гвардейского стрелкового артиллерийского дивизиона… Капитана Демидова конь Казбек; завода неизвестного. Поручика Беляева жеребец Дорогой, завода Шуриновой…»

Два дюжих рейткнехта с трудом сдерживают под уздцы коня, который танцует мимо начальства, раздувая ноздри и выпустив хвост пером.

Солдаты сами дали ему имя, которое от души выражает их оценку животного и в то же время искреннюю симпатию к его хозяину… Дорогой! Но это звучит как будто слишком холодно, этим не все сказано… Надо бы окрестить его каким-нибудь звучным названием, которое отражало бы все его совершенства и мои чувства к моему будущему другу и товарищу.

– Оседлали коня?

– Так точно. Извольте взглянуть! Пригнал все, как на парад.

– О-го-го, Васька! Давай попробуем прокатиться на Марсово поле… О, ты мой славный! Ну стой же! Постой спокойно, я мигом

вскочу. Чудный мой Васенька!

Васька, Васька, так он и остался Васькой.

…Однажды – это было пасмурной осенью… Нежданно-негаданно прохватил его жестокий сквозняк, и он схватил воспаление легких. 42 градуса. Максимум конского жара! Мы достали для него две пары шерстяных чулок, закутали попонами. Доктор вливал в рот лекарство и молча качал головою. Но вот мимо провели лошадь. Неожиданно он поднял голову и приветствовал ее громким ржанием.

– Уже конец подходит, – говорит конюх, отирая слезы, – а нрава не бросает!

Но он выздоровел… Милый мой Васенька! Я берег его, как сырое яичко, он все еще задыхался временами. Но когда прошло лето, снова вернулись его силы, и он стал хоть куда.

«Золото купит четыре жены, конь же лихой не имеет цены!» – этот лермонтовский стих невольно повторяет каждый, садясь на любимого скакуна.

– Ваше высокоблагородие, надо бы его выхолостить, – повторял мне всякий раз по моем возвращении конюх, – несдобровать вам, вишь ты каков! То на дыбах ходит, то рвется в поле… Разобьет он вам голову!

– Нет, нет, раньше я искалечу себя самого. У нас с ним одно сердце. Он знает, когда можно что-нибудь выкинуть, а когда нельзя, ходит как овечка.

Первый раз, когда меня назначили командовать пешим строем, при первом же ударе барабана он вылетел как стрела, и остановить его удалось, лишь когда я свернул в снежный сугроб; но и тут сперва он взял барьер и остановился как вкопанный, лишь попав на обледенелый тротуар, мордой к стене. Не раз он становился на дыбы совершенно отвесно и шел дальше на задних ногах, пока однажды, попятившись, не упал на спину. К счастью, я только что соскочил с него в эту минуту. Но когда он поднялся, вдруг присмирел и стал задумчив.

– Ладно, шутки плохи, – видимо, пронеслось в его голове, – этак сам пропадешь и хозяина погубишь!

Больше он уже не становился на дыбы.

Но когда у меня загоралось ретивое, он понимал меня. Вихрем летал он на Высочайших смотрах. Без подготовки брал невероятные препятствия, спускался с крутых скатов, садясь на окорока и скатываясь под уклон, как это делают медведи. А когда я слезал, косился на меня своим большим глазом, как бы желая сказать:

– Ну что, доволен ты мною? – и подставлял мне свою морду, так как знал, что мне нравится целовать нежную кожу над его

храпками.

Но когда я сажал на него ребенка, чтоб прокатить его «на лошадке», он шел, тихонько ступая, чтоб чем-нибудь не побеспокоить своего маленького всадника; и когда на него вспархивала та, которую он считал своей будущей хозяйкой, ничто уже не могло отвлечь его и заставить изменить рыцарскому долгу преклонения перед дамой. Всегда готовый на шалости подо мною, перед нею это было воплощенное внимание и осторожность.

– Это уже будет твой государь, – говорила мне когда-то моя до брая тетя Лизоня, кладя передо мной только что вышедшие карточки царской семьи. Ее слова сбылись буквально: тогдашний наследник Николай Александрович произвел меня в офицеры. Каждый год после этого в течение двенадцати лет я проходил перед ним в строю на смотрах и парадах, и мне же ссудила судьба прочесть перед фрон том трагический приказ об отречении, вырвавший оружие из рук миллионов его подданных…

Вся жизнь скромной военной семьи, к которой я принадлежал, тысячами золотых нитей была сплетена с судьбами Державной семьи, поднявшей Россию на предназначенное ей Создателем место. Семейные традиции большинства членов нашего рода сделали эти связи неразрывными. Не касаясь придворных интриг каждого члена царской семьи, они сделались нам столь близкими, что их лица всегда и везде перед нами. Сколько драгоценных мелочей встают порою в этих воспоминаниях!..

Трехлетним ребенком я видел в Летнем саду Александра II, который неторопливо шел по мосткам. Пробежавший впереди него агент предупредил нас, и мы очистили дорогу. «Идет!» – шепнула нянька. Мы с братом Володей сняли шапки. Государь ответил кивком головы. Как сейчас помню его озабоченное лицо и сгорбленные плечи… Горько плакал я три года спустя, когда пришел дядя Федя и объявил, что Царя уже нет в живых… Помню его блестящие галуны, сплошь закутанные флером… Помню и его черноусых, загоревших в Турции солдат с повязками на головах и на руках после памятного взрыва в Зимнем дворце, где его рота, стоявшая в карауле, потеряла стольких товарищей, погибших при исполнении долга.

Помню и гигантскую фигуру Александра III об руку с его неразлучной подругой, которая верила, что, пока они вместе, жизнь его не подвергается опасности. Помню его и при посещении им Михайловского артиллерийского училища… И в гробу, когда в зимнюю стужу мы стояли шпалерами, пропуская печальный кортеж, черного рыцаря и рыцаря в золотых доспехах –

эмблему обоих царствований, кончавшегося и начинающегося… И теперь…

Но мои мысли прерывают отрывистые, будоражащие душу звуки «Гвардейского похода», который трубачи играют в момент приближения царя.

Марш вперед! Наш черед,
Нас в поход поведет
Сам царь.
Он трубой золотой
Нас в сраженье зовет,
Как встарь.
Вот он сам едет к нам…
Трубачи, по местам —
Пора!
Вот и солнце встает,
Вот и день настает…
Наш черед, враг не ждет —
Все вперед.
Ура!

Русские люди! Неужели мы не вернем когда-нибудь этого прошлого? Несчастное поколение, которое умрет без тех восторженных порывов, под влиянием которых наши предки, забывая все, даже самих себя, находили счастье умереть в ЕГО глазах, создавая Великую Единую Россию, мать всех населяющих ее народов, надежду угнетенных.

Какая демократия окружает своих избранников ореолом, заставляющим русского видеть в Царе не жалкого исполнителя капризов своевольной и подкупленной черни, а эмблему чести, долга, глубокой веры в Бога, готового в свою очередь умереть за эти святыни, как солдат, как герой, как мученик?!

Мой жеребец весь дрожит от напряжения. Умное животное знает, что не время играть, шутить шутки. Раздувая ноздри, огненными глазами следит он за происходящим, он весь внимание. Роскошный выезд Императрицы, окруженной цветником дочерей, запряженный шестеркой молочно-белых коней цвета тамбиевского тавра, сам Государь на великолепном коне, свита Великих князей, принцев – все это проходит перед его глазами. Вот появляются иностранные агенты в экзотических шляпах с перьями… Ну, теперь держись, мой всадник! Если ты прозеваешь, я-таки пощупаю ребра хотя бы этого чудака в алой феске и расшитом золотом мундире, который замыкает шествие на куцей рыжей кобыле.

Торжественные звуки «Боже, царя храни» покрывают несмолкаемые крики «ура!», то прерываемые звуками похода и полковых маршей, то снова оживающие по мере прохождения кортежа, замирают вдали. По команде, как один человек, поворачивают полки; артиллерия и кавалерия делают заезд… Начинается прохождение частей. Но все это читатель найдет в ярких описаниях Краснова, Сергеевского… Перехожу к иным картинам, иным воспоминаниям.

Зимний период окончился. Солнце блещет, жаворонки уже заливаются, но снег еще лежит по оврагам, когда мы выходим нести царскую службу в лагерь.

Товарищи и солдаты

Дружба дружбой, а служба службой.

Последние жаркие дни нашего северного лета… Последняя стрельба. Батареи берутся в передки и располагаются по своим лагерям. Яркая зелень Военного поля уже вытоптана, но деревья, окаймляющие горизонт, еще ласкают взоры. Позади, словно маяк, торчит «Высокое дерево Арапакозы», по которому мы столько раз брали направление.

– Батареи, стройся влево! На сомкнутые интервалы, направление на Ольгинскую церковь… Равнение направо!

– Песенники, вперед! Вольно! Прошу господ офицеров ко мне!

В нашей, братцы, батарее
Всех на свете веселей —
Кто наводит всех вернее,
Кто стреляет всех быстрей?
Кто, как ветер, в конном строе
На препятствия летит?
– Фейерверкер, ходу вдвое,
Номер крепко усидит!..
Набежит на нас пехота:
– Ну-тка, братцы, с передков…
Лезь теперь, кому охота,
Всем гостинец вам готов!
С поля в лагерь – эй, живее,
Запевала, запевай!
– Имя нашей батареи,
Ну-тка, братцы, угадай!

Рооп уже рядом. Баклунд летит вскачь с последнего взвода, все время осаживая взмыленного коня. Его порыжевшие усы торчат в разные стороны, глаза наливаются кровью.

– Что с ним такое? – замечает Рооп. – Он не в своей тарелке! Баклунд делает еще два или три широких вольта и, наконец, ста новится рядом. Клочья пены летят от него во все стороны.

– Что с тобою?

– Черт!

– Ты сам сегодня ошалел! Лошадь шла спокойно.

– Дьявол!

– Несется как бешеный, ноги вытянул, как палки, сам сидит на задней луке, как финский пароход, которого труба на… Я хотел сказать: на корме.

– Не зубоскаль, Рооп. Залез на свою лошаденку и издевается над теми, кто каждую минуту рискует сломать шею.

– Какая клячонка, мой милый! У Ваньки конь четырехвершковый, моя еще на полвершка выше.

– Выше-то выше, да бок проели мыши.

– Как так?

– Посмотри на свой маклак. Тот оглядывается:

– Правда, что за притча? Где это он заработал такую ссадину? А у тебя пятно на кителе.

– А в рожу не хотите ли?

– Ну, будет: кто рифмы точит, тот в зубы хочет. Ну, а Яльмара я еще проспрягаю.

– Что такое? Как?

– А вот как: в настоящем Backlund, в прошедшем Buck[58], а в остальном…

– Ну, погоди, я тоже подыщу рифму на твою фамилию.

– Господа янаралы, будет вам клевать друг другу очи. Вот мы уже в парке…

– По местам! С передков! Еще раз спасибо вам, дорогие! Выдать всему расчету по фунту ситного.

– Р-р-р-рады стараться! Покорнейше благодарим…

– На самом деле, что с ним такое? Слыхал, как он хлопнул дверью, когда вошел в комнату?

– Швед он был, шведом и остался. Никак не приведешь его в христианство. Сваливает на лошадь, а сам взбесился…

Перед ужином он все-таки немного успокоился.

– О, черт! Возьми всех и всякого! Понимаешь, отец ни за что не хочет, чтоб я на ней женился.

– Почему?

– Она русская – староверка… Бедный Яльмар!

– Выходит, ты прав. Видно, и на него беда пришла. С отцом ему не справиться. Он, пожалуй, и до сих пор держит для него розгу за зеркалом.

– У каждого свое горе!

– А у тебя-то что?

– Ах, милый! Разве ты меня поймешь?!

– А что?

– Да у меня двойня!.. C’est afreux[59]… – Рооп знал два или три слова по-французски и умело пускал их в оборот.

– У кого? У твоей невесты?

– Да нет, у той, другой.

– Ну послушай! Ведь это же свинство… Какой же ты жених после этого? Я и не подозревал, что ты такое животное…

– Ах, милый, но ведь я же не могу… Моя невеста меня понимает. Сразу я жениться не могу, придется еще подождать год или два. Но ведь не могу же я обойтись без женщины…

За дверью стук:

– Можно?

– Ах, Николай Петрович! Какими судьбами?

– Зашел покончить со строительным комитетом… Кондрашов в канцелярии? Я к нему. А что вы поделываете?

– Да вот тут все меня бросают. Заделались женихами!

– А ты что же зеваешь?

– Не слушай его, Николай Петрович, – он тоже жених!

– А, это интересно. На ком же, если не секрет?

– Да у него целых три!

– Ну тогда надо бросать их всех и искать четвертую. Я немного тороплюсь закончить все перед отпуском, да мимоходом заеду на Дудергоф…

– Вот счастливец, – бормочет Рооп, когда за Демидовым затворяется дверь. – Видал ты его Екатерину Александровну?

…По Гатчинскому шоссе вытянулись оба артиллерийских училища. За последним орудием – наша батарея, включенная в состав бригады, приданная на маневр гвардейским стрелкам.

Впереди, как всегда на походе, мы трое. Баклунд все еще не в духе. Рооп предвкушает радостную встречу с невестой… «Она очень яркая блондинка с темными бровями… Ей нравятся мои крошечные бачки. А ты заметил, мой Шейка тоже отпустил себе такие же, только они у него рыжие. – Это почему? – спрашиваю. – А мы, – говорит, – завсегда берем с наших офицеров. У вас такие же, и у штабс-капитана, и у поручика Баклунда. Теперь, почитай, все наши позапущают такие».

– Вот шарлатаны! Пожалуй, тоже понацепят себе шпоры с цепочками.

– Ничего не поделаешь, милый, – мода! Мода сверху идет. А ты о чем задумался? О вчерашнем?

– Нельзя так горячиться, – говорит Баклунд. – За один выезд сломал четыре дышла.

– Положим, только два… Другие два только треснули, так мы их схватили обоймами. А те сразу же заменили запасными.

– Ну вот, вернемся завтра домой, как только слезем с коней, загнем тебе салазки.

– Ну да, и с проявлением личности, – поддакивает Яльмар. Он уже повеселел.

– Но зато какой великолепный был выезд, – оправдываюсь я. – Влетели враз на позицию и моментально открыли огонь им во фланг, раньше, чем даже пехота. Любо-дорого было смотреть!

– И оглушили командира Семеновского полка Лангофа. Он мне жаловался: до сих пор звенит в ушах!

– Сам виноват, чего он лезет перед дула?

– Все равно тебе салазок не миновать!

На биваке нас приглашают офицеры Константиновского училища. Встречные юнкера радостно улыбаются – их очаровала наша лихость в строю и задушевная простота вне службы. Теперь к нам записываются только фельдфебели и лучшие по успехам!

В огромном шатре собрания, окруженный своими офицерами, сидит наш старый «Шнапс» – ныне генерал Чернявский – начальник училища. Кругом все знакомые лица офицеров, которых он перетащил за собою из Михайловского: мой отделенный Зворыкин, Чернев, Похвиснев, Деревицкий, мой товарищ Шелковников – мы здесь свои.

В то время как «Михайлоны» все время сохраняют свой удивительный тон и выдержку, здесь «Костопупы», несколько более простоватые, поражают своей дружеской спайкой, которую сумел им привить их «бог», восседающий на Олимпе в центре собрания, в облаках табачного дыма.

– А, Беляев! Славные у тебя офицеры!.. Да и боевой расчет хоть куда.

Утром, чем свет, загорается перестрелка. Против нас вся 2-я дивизия и с ней 2-я бригада. Маневр разыгрывается на равнине, окруженной холмами. Мы врезаемся в неприятельское расположение, снимаемся с передков и, забывая все на свете, сыплем беглым огнем по густым цепям, – наступающим на нас «по старинке», в открытую… В самую критическую минуту с левого фланга раздаются бодрящие душу звуки «Пьяного марша» – это Императорские стрелки с громовым «ура» обрушиваются на фланг противника, уже готового ворваться на нашу батарею.

На холме напротив, под флагом главного посредника, слышится сигнал: «Соберитесь, соберитесь, соберитесь». Скачу туда и я…

– Беляев, слыхали?

– Что такое?

– Во взводе вашего брата вследствие несчастного случая убит солдат.

Боже мой! Какой удар для родителей, для невесты убитого! Бедный мой Володя!

Как только мы поставили орудия в парк[60], едва переодевшись, лечу в Дудергоф, где он снял дачу с молодой

женой[61].

Я застал его еще дома, хотя он уже получил распоряжение отправиться на гауптвахту, так как являлся ответственным за свой взвод.

Свое несчастье он перенес стоически. Мне кажется, его преследовал какой-то злой рок.

Корпус он кончил слабо, но был хорош по математике и по строю. Он мог бы получить вакансию в артиллерийское училище, если б за него внесли оплату за первый год. Но денег не нашлось, и благодаря этому он попал в Константиновское пехотное училище, откуда вышел в 23-ю артиллерийскую бригаду для совместного служения с отцом. Когда папа получил 2-ю бригаду, тетя Туня, души не чаявшая в Володе, со слезами отчаяния настояла на переводе его туда же, но при этом его снизили по старшинству, и он оказался рядом со мною, выпущенным на три года позднее.

Он был исключительный служака – и вот, как бы в насмешку, снова стал жертвой рокового случая.

Видимо, его тесть, Мусселиус, пустил в ход все свое влияние, чтоб спасти его от более тяжелых последствий. Но так или иначе, он уехал, поручив мне свою молоденькую жену, для которой уже заранее достал билеты в оперу и не хотел лишать ее хоть этого маленького развлечения.

– Где ты пропадал, бессовестный ты человек? – встретили меня товарищи. – Наверное, ухаживал за Катей Мусселиус[62]?

– На этот раз ты ошибся, Ропик. Я ухаживал за ее старшей сестрой.

– Ну ладно, а мы уже решили, что ты продолжаешь строить куры Кате, узнав, что ее отец получает наш дивизион.

– А если бы и так?

– А, бесстыдник!..

Мусселиус действительно получил наш дивизион. Красивый, блестящий адъютант его Рооп имел все шансы на полный успех. Но он «клевал» – он был в долгу как в шелку и вдобавок имел двойню слева и невесту справа. Мать, поддерживавшая его материально, скончалась, и он как-то стал ослабевать. Перед решительными испытаниями, на стрельбах, он чувствовал себя не в своей тарелке, робел, беспомощно оглядывался на окружающих и, хотя выпивал рюмку-другую для храбрости, это не помогало.

– Ропик, да что же это ты опять скисовал? – спрашивали его после стрельбы. – Из орла да вдруг стал курицей!

– Ах, мой милый, я и сам не знаю. Все мне кажется как в тумане. Смотрю кругом себя и вижу одни свиные рыла…

Это тоже было одним из его любимых выражений.

Наконец, он взял отпуск, чтоб «готовиться в академию». Добряк Мусселиус опять заплатил кое-какие его должишки, а аксельбанты он сдал Баклунду, который уже давно мечтал о них, чтоб показаться своей невесте.

Увы! Это уже не была его первая любовь: отцовские расчеты взяли верх над сердцем. Он женился на дочери богатого книгоиздателя.

Свадьбу отпраздновали блестящим спектаклем, удачно инсценированным стариком Девриеном в его доме на Васильевском острове.

В церковь и на дом шафера брали роскошные кареты, обитые белым атласом. Басков вез сестру Яльмара, «умный академик» Гнучев – мадемуазель Нобель (впоследствии вышедшую замуж за доктора Алейникова), а я – мадемуазель Ле Пен, сиротку без матери.

Спектакль состоял из нескольких отделов. В первом фигурировали олимпийские боги – здоровенный Юпитер с громом и молнией под мышкой и такая же массивная Юнона, старавшаяся привести в повиновение Марса с Венерой, Вулкана и прочих. Афину вытащили в последний момент, так как она никак не могла застегнуть золотую кирасу, облегавшую ее мраморные плечи; а Юпитеру принесли штаны, лишь когда он должен был сесть на трон. Следующий отдел – был коротенький водевиль, основанный на ревности старого мужа, которого играл я, к любовнику, которого играл ее брат. На репетиции я являлся усталый, и все шло колесом. Мой соперник играл очаровательно. На празднике вышло как раз наоборот.

В сцене, где она выходит «в дезабилье»[63] и я осыпаю ее упреками, а она успокаивает меня словами: «Извините-с, это белое матине», – в залог примирения я должен был посадить ее к себе на колени и осыпать поцелуями. Безжалостная цензура вычеркнула и то и другое; даже белое матине заменили голубым, что лишало сцену смысла. Даме, во имя требований ее мужа, разрешено было только сесть на ручку моего кресла.

Но каков был мой ужас, когда я увидел, что суфлер – это уже был настоящий муж, – бросив книжку и приподняв будку, впился в меня своими круглыми глазами… Однако все это только придало мне жару: я сыграл, как и сам не рассчитывал, и заслужил общее одобрение.

– А мы все были уверены, что вы провалите пьесу, – уверяли меня зрители.

В заключение – все отделы велись к этому – все таланты обрушились на молодых свежими картинами и веселыми куплетами, подчеркивая деликатные моменты их сватовства на

всех языках, образующих «Василеостровский жаргон».

Оба новые командира – мы звали их «Schulund Fuhrleute» – явились уже на готовое. Они были далеко не знатоки в стрельбе. Фурман знал хозяйство и службу и «управлял» батареей через своего фельдфебеля, сидя в канцелярии.

– Маловечкину восемь суток! – с негодованием восклицал рыжий «Малюта» (так его прозвали). – Так он смеяться будет!

– Ну что же, двадцать?

– Так точно, меньше уж никак нельзя.

Офицерам было не так тяжело, как прежде. Они работали лишь как безответственные инструменты. Но солдаты, бледные и измученные, чувствовали себя не лучше, чем при Мрозовском. Тогда командовал полковник, а сплетничал фельдфебель; теперь заправлял фельдфебель, а командиру оставалось только сплетничать. Старшим офицером был к нему назначен капитан Крутиков, кончивший Академию Генерального штаба по 2-му разряду и вернувшийся перед китайским походом. Он принял хозяйство от Баскова.

Нашей батареей командовал Александр Евгеньевич фон Шульман – прямая противоположность желчному и мелочному Фурману.

Мягкий и корректный в обращении, он ни во что не вмешивался, тем более что обладал ничтожными понятиями в службе. Глубоко расстроенный смертью любимой сестры, с которой прожил всю жизнь, он постоянно прибегал к морфию, но и это не помогало. Сверх того, он занимался оккультными науками и, когда начинал рассказывать небылицы, которые видел своими глазами у индийских йогов, или уверял, что он состоит капитаном папской гвардии, приходилось переводить разговор на ближайшие предметы. Мне он доверял все и в обращении был спокойный, тактичный и выдержанный человек. Ко всему прочему, я обнаружил в Александре Евгеньевиче еще одну черту: в делах чести его советы были непогрешимы. Какие бы ни были его слабости, и офицеры, и солдаты окружали его стеной, ревниво оберегая честь батареи и своего командира, и это еще более сплотило нас в одну дружную семью. Мы закрывали все его недостатки, выполняли все его функции. На стрельбах батарея стреляла сама, что бы ни командовало начальство. На маневрах она блистала, вызывая похвалы высшего начальства. А на парадах командир становился на фланг и салютовал шашкой, уверенный, что все произойдет само собою. Казалось, он и сам не отдавал себе в этом отчета. Так было хорошо и нам, и ему.

Но это же самое вызывало невольную зависть посторонних. Мы должны были держать ухо востро, чтоб чем-нибудь не вызвать

нареканий на наш порядок, в котором не замечалось ни проступков, ни наказаний, и где люди поражали своей беззаботной веселостью и беспечной удалью. Малейший инцидент сейчас же навлек бы на нас обвинение в отсутствии дисциплины и требований мертвящей рутины, против которой всегда боролись лучшие умы Русской армии. Но где тонко, там и рвется…

Майский парад. Царский кортеж проходит пятую линию, где по ниточке выровнена вся гвардейская артиллерия. Вот он поравнялся с командиром дивизиона… тот салютует… И вдруг, о ужас!. Буцефал нашего командира, испуганный неожиданными звуками «Гвардейского похода», поворачивается задом и пятится на самого Государя… Боже мой, он уже в двух шагах от царского коня!..

Но, словно по дуновению ветра, полуослепшее животное поворачивается кругом и снова пятится на свое место.

Государь «не замечает» этого. Кортеж проходит, за ним вся свита. Один лишь Великий князь Сергей Михайлович, ростом выше всех окружающих, видит весь позор положения и качает головой на несчастного всадника.

Тут уж ни я, ни солдаты, никто другой не могли бы спасти «Папашу». Даже ценой собственной репутации…

Судьба его была предрешена. В лагерь он уже не пошел и вернулся в батарею только осенью. Командовать остался я.

Но батарея по-прежнему блистала на смотрах и на стрельбах. То, что ожидало ее впереди, показало всем, что ее оценили как лучшую во всей гвардейской артиллерии. «Лучшая батарея, худший командир»… но для меня Александр Евгеньевич имел два редких качества: он вверялся мне как ребенок и никому не делал зла.

Вскоре после этого наш доктор Эллиот блестяще восстановил свою репутацию. В субботу, как обыкновенно, все спешили позавтракать, чтоб не опоздать использовать свободный вечер. Доктор пришел последним, одетый с иголочки, с походным несессером в руках.

У Баскова, который тоже торопился налечь на куриное крылышко, остановилась кость в горле, и он стал задыхаться.

На одного доктора это не произвело сильного впечатления.

– Сиди смирно, – сказал он Баскову, – только разинь пошире свою пасть!

Он вынул из несессера длинные щипцы, сунул их в раскрытый рот Баскову и в мгновение вытащил из горла длинную кость, которая остановилась у него поперек дыхательного горла.

– Ну, а теперь можешь продолжать, но только это будет тебе

уроком на будущее время!.. А теперь – тр-р-р…

Весенние смотры сошли блестяще. Выходя в лагерь, молодой дивизион сразу стал на первое место среди батарей гвардии. Оба командира сделали на нем свою карьеру. Добродушный полковник Кармин получил бригаду. Его сменил полковник Нищенков, так же как и Мрозовский, до академии служивший в Profonde Armee[64].

Своей мелочной придирчивостью он сразу же вооружил против себя всех офицеров. Но это еще более сплотило нас между собою и солдатами, которых все время приходилось защищать от несправедливостей, вынуждая их тем самым к усилиям, которых не могли бы вырвать от них ни садическая тирания Мрозовского, ни площадная ругань Андреева, ни придирчивость Нищенкова, – репутация дивизиона росла с каждом днем. Первые скорострельные пушки образца 1900 года были даны для испытаний нам и во 2-ю конную батарею, которой командовал Великий князь Сергей Михайлович. После конца лагерного сбора эти батареи оставались до глубокой осени, продолжая опыты.

В 1900 году, когда всполыхнуло «Боксерское движение»[65] в Китае, одна из наших батарей ушла на восток для боевого испытания новой пушки. Уехал по особому назначению и Нищенков, за него остался Андреев, а в строю батарею выводил капитан Демидов, мы с Роопом и Баклундом стояли за офицеров. Постоянные опыты, колесо в колесо с батареей Великого князя, создали Демидову блестящую репутацию. Немного спустя он был назначен командиром 1-й Его Императорского Высочества Великого князя Михаила Павловича батареи 1-й бригады и флигель-адъютантом. Чем теснее смыкались наши ряды, тем дружнее жилось в нашей семье. Я уже не чувствовал себя ни сиротою, ни «гаденьким утенком»…

Но Басков скулил все более и более. Наши поездки на Кавказ перестали освежать его. Бесцельное изучение наук становилось ему поперек горла. Незадолго до ухода 2-й батареи на Дальний Восток он сообщил мне о своем решении взять отпуск и готовиться в Академию Генерального штаба. Я не в силах был удержать его от этого шага… Слепой веры, которая руководила мною, я не мог ему внушить. Его тянуло к людям… Я уже перестал верить в непоколебимость его дружбы, выламывающая сила была слишком велика, постоянные колебания невыносимо отражались на моем здоровье. Наши пути расходились… Мы расстались как друзья, но святых, нежных чувств уже не осталось между нами, разве только общие воспоминания.

Теперь уже я почувствовал, что один не могу оставаться долее. Я мгновенно понял, что надо менять всю программу

действий; Печаль разлуки, как это нередко бывает, перешла в тихую грусть. Меланхолия, вызванная этим, в связи с наступившей осенью вдохнула мне в душу какие-то новые, неведомые чувства, которые смутно сулили мне нечто необыкновенное… Едва мы вернулись с больших маневров под Лугой, как я нашел дома пакет с приказом отправляться на военно-конную перепись в Олонецкую губернию сроком примерно на два месяца.

Накануне, проезжая по железной дороге между Лугой и Петербургом, встретился я с молоденькой барышней, ехавшей со станции Серебрянки в Новгородскую губернию к отцу. Она кушала домашние бутерброды и обгладывала крылышко жирной курочки, держа на коленях прехорошенькую таксиньку, которая наконец вырвалась и, подвизгивая и бряцая блестящей цепочкой, бросилась ко мне: видимо, она чувствовала, что у меня была когда-то такая же. Мы разговорились, лед между нами растаял. Неожиданное появление моего товарища по корпусу, который поместился между нами и завязал разговор, помешало дальнейшему; лишь когда она вышла на платформу, мы обменялись с нею прощальными взглядами. Я больше с ней не встречался, но у меня осталось убеждение, что и для меня открыты двери для счастья любить и быть любимым и что мне нечего бояться неудачи.

Служба и досуги

Забаве час, а делу – время.

Первое время служба оставляла нам досуги, по крайней мере по вечерам. Временами удавалось посещать Императорское Географическое общество, куда нас с Басковым записали членами по рекомендации Н. А. Богуславского и А. И. Мушкетова, благодаря чему я получил доступ к драгоценным источникам библиотеки общества. Аудитория под председательством маститого Семенова-Тянь-Шанского постоянно была полна и вызывала глубокий интерес. В моей памяти врезалось особенно несколько сообщений. Уже тогда узнал, какой натиск ведут С. Ш. [66], пытаясь подчинить своей торговле даже отдаленную Якутскую область и открыто спаивая туземцев.

С детства копивший копеечки для путешествий по следам Миклухо-Маклая, скромный преподаватель географии повествовал о своих путешествиях среди туземцев Австралии и о возмутительном отношении к ним белых, иллюстрируя свои рассказы садическими открытками, изображавшими убийства несчастных туземцев. Помню одно сообщение о Парагвае, где говорилось, что «нынешним прогрессивным правительством этой отсталой страны решено распродать иностранцам обширнейшие земли на запад от реки, чем положено начало новой эре». Уже много позднее присутствовали мы на лекции Амундсена, который по возвращении из южных полярных стран читал сообщение на английском языке, но так ясно и выразительно, и при том сопровождая его такими чудными картинами, что привел всех в восторг.

Как-то раз С. Ф. Ольденбург захватил меня на сообщение его академической секции. Я никогда не бывал на подобных заседаниях и в своем гвардейском мундире был единственным в группе ученых.

Первым вопросом был доклад приват-доцента Бертельса о полуистертой надписи на монете, найденной близ Самарканда. В длинной диссертации молодой ученый раскрыл целую картину среднеазиатской торговли времен расцвета Самарканда; причем, по его мнению, найденная монета была предназначена исключительно для обращения вне города. В разгаре конференции влетел высокий сухой старик с резкими манерами и живыми черными глазами. «Это Радлов», – успел шепнуть мне С. Ф. В одну минуту Радлов опрокинул всю систему Бертельса, заявив, что это стертое слово было «в» Самарканде, а не «вне»

Самарканда, чем глубоко огорчил своего коллегу, хотя и вызвал общее одобрение.

В заключение поднялся молодой блестящий академик и с живостью в голосе и манерах прочел найденное им где-то изыскание какого-то древнеиндийского философа, где этот мудрец пытается установить, что женщина обладает 19 качествами для привлечения смертного: наружностью, взглядами, прикосновением и т. д., что вызвало общие аплодисменты популярному докладчику и интересной теме. В заключение он познакомил меня с профессором Марром, единственным специалистом по изучению Кавказа, и с Клеменцем, директором Этнографического музея.

– Вы знаете, – говорил мне впоследствии милейший С. Ф., – недавно мы с Клеменцем разбирали вопрос, кого бы пригласить для сопровождения нашей экспедиции для раскопок Турфана в Монголии, и единогласно решили просить вас.

Экспедиция должна была длиться много месяцев и совершенно отвлекла бы меня – в иное русло. По воле Вышнего ей помешали надвигавшиеся события на Дальнем Востоке. Это предложение было для меня, во всяком случае, великой честью. Сама экспедиция закончилась уже после Великой Войны[67].

Дома, лежа в теплой постели, не раз задумывался я перед тем, как отойти ко сну:

– Ну хорошо! Проведя год за годом в бесплодной монгольской степи, с кучкой ученых и конвойных казаков, среди тысячелетних развалин в поисках какой-нибудь полуистертой монеты, найдем мы новое заключение какого-нибудь мудреца, раскрывшего в женщине 19 совершенств и так и не нашедшего в ней 20-го, без которого все остальные – ничто. А я – я найду это совершенство, и она будет моя со всеми своими прелестями, которые разом оживут в ней, когда я открою ключ к ее сердцу!..

Возвращаясь с Кавказа позднею осенью 1903 года из продолжительной экскурсии в горах, уже дорогой я услышал смутные слухи о столкновении с Японией. Но вскоре другие события, более близкие, заслонили собою эти тревожные известия.

Я подкатил к нашему подъезду весь мокрый от осенней измороси, в истрепанном пальто и, вдобавок, с болезненной раной (нечаянно всадил себе в ляжку острый финский нож).

– У нас новости, – сказала тетя Туня, когда мы уселись за стол.

– Какие?

– Миша женится на Наташе[68]. Свадьба будет на Рождестве, они венчаются в Леонтьевском. На днях нам придется подумать,

куда устроиться – квартиру будут ремонтировать заново.

Вскоре тетя Туня переехала к Сереже, где и провела свои последние дни. Тетя Лизоня сняла крошечную комнатку напротив. Меня с радостью взяли к себе мои младшие братья. Коля жил в чудной квартире напротив Сергиевского собора, в ста шагах от наших казарм. Там же останавливались родные при визитах в Петербург, так как папа был назначен комендантом Кронштадтской крепости и часто приезжал по делам.

Комната была прелестная, уютная, с окном на площадь, рядом с большой гостиной; жизнь обходилась дешево, но я постоянно бывал один, так как братья все время проводили у знакомых. Наше патриархальное гнездышко развалилось.

Мой Мишуша, наконец, устроил свою жизнь. Но этот брак не был его мечтой; «Whome frst we love, we seldom wed»[69], – говорит трогательное, полное невыразимой грусти стихотворение английской поэтессы, имя которой, к сожалению, выскочило у меня из памяти. Раньше всего он влюбился в Зою. Но она отвечала ему лишь самой интимной дружбой. Затем он стал ухаживать за хорошенькой Любой. Но у нее были другие вкусы и перспективы. Теперь он сделал предложение ее сестре, девице на выданье, но хорошей души, прямой и серьезной, которой не сладко жилось дома, так как мать все чувства перенесла на младшую. Она с радостью приняла предложение.

Чистенький, аккуратненький, безукоризненно державший себя во всех отношениях, Мишуша обнаружил лишь одну неизгладимую черту характера: безграничную любовь к родному гнезду и ко всему, что только носило печать милого Леонтьевского. Вне этого ничто ему не нравилось. Я думаю, что даже только ради этого он поступился своими строгими взглядами и не уклонился от брака с двоюродной сестрой, в противность с церковными правилами, которыми руководствовался всю жизнь.

Ближайшее начальство, искренно дружившее с ним и ценившее его кроткий и покладистый нрав и огромную работоспособность, легко дало ему разрешение на брак, но, дабы не привлекать внимания церковных авторитетов, свадьбу решили отпраздновать в Леонтьевском. Шаферами пригласили меня и доктора Стефановича, но со стороны невесты были старые сенатские друзья ее отца.

Для меня это был редкий случай. В деревне я бывал во всякое время, кроме зимы. Я был поражен красотой зимнего ландшафта. Когда мы мчались по покрытым снегом полям, сокращая путь целиною, любуясь осыпанными снегом елями и соснами, между заветных, дорогих по воспоминаниям уголков нашего медвежьего

края, я понял моего милого Мишушу, которого первою и последнею любовью было родное Леонтьевское.

В огромном пустом доме было холоднее, чем на улице. Вытоплены были только две комнаты для молодых. Переодевшись, мы помчались в церковь, построенную местным купцом Хроповым на древних славянских могилках в сосновой роще на высоком бугре. Священник из уважения к брачующимся закатил такую длинную службу, что у нас руки замлели, поддерживая золотые венцы над их головами. В его комнатах, где было немного теплее, мы согрелись быстро за бокалами шампанского. Причем, по желанию батюшки, каждый его глоток компенсировался добавкой из бутылки рома, стоявшей напротив, так что в конце концов в его бокале оставался только чистый алкоголь.

На обратном пути, в овраге, лихой ямщик по традиции вывалил молодых в пушистый снег «на счастье», чем доставил всем немалое удовольствие. Но в замерзшем, обледенелом доме мы уже не задерживались. Последний взгляд на гигантские дубы, вековые стражи нашего милого гнезда, и мы уже снова мчимся усыпанными серебристым снегом и озаренными полной луною полями и косогорами, колыбелью нашего детства.

Не так ли под венцом, под серебристой фатой, милые черты знакомого лица приобретают новую прелесть и остаются навеки памятью неописуемой красоты!

Но который уже раз я изображаю статиста на чужих свадьбах! Не пора ли и самому переходить на первые роли?

В Нарве мы едва поспели на поезд. Все было битком набито, но добродушный кондуктор отомкнул нам двери купе, где находилась только одна персона – молоденькая барышня, возвращавшаяся в Петербург из коротенькой прогулки и комфортабельно расположившаяся на одном из нижних сидений.

Наша веселая компания сочла долгом представиться ей по всей форме с церемонной вежливостью гасконских рыцарей Сирано де Бержерака. Начал Зейферт, как принадлежащий к высшему государственному учреждению и эксперт официального красноречия.

– Милостивая государыня, мы просим вашего прощения за прерванные нами сновидения, порхающие над вашим изголовьем, которые… которые…

Барышня вскочила и с испугом смотрела на говорившего, который никак не мог справиться с комком, застрявшим у него в горле.

– Постой, Зейферт, ты сперва откашляйся, – проговорил док тор, – видите ли, милая барышня, мы только что приехали сюда

из-за тридевять земель, со свадьбы брата этого юноши, который торчит на пороге…

– Я уже вижу, что вы приехали со свадьбы, – серьезно заметила барышня. – Думаю, что вы лучше всего сделаете, если поскорее устроитесь на отдых.

– Вот именно, вот именно… Но вопрос в том, как и где.

– Ну, уж это ваше дело. Я остаюсь внизу.

– Конечно, разумеется… Но вот вопрос, водрузить над вами этого прошпигованного всеми шедеврами деревенской кухни, пожалуй, рискованно. Поместить его рядом с вами – будет храпеть и помешает вам предаваться приятным грезам…

– Ну уж это как хотите, лишь бы поскорее.

– Ну хорошо, мы над вами устроим Ваню – видите, он тоненький как ниточка и скромный как красная девица… Ваня! Лезь наверх.

– А Зейферт?

– Фу ты, пропасть! Он уже храпит на моей подушке… Зейферт, лезь ты наверх…

Господи, какой он тяжелый. Когда он хохочет, я в страхе, что полка провалится и он меня раздавит.

– Ваня! Меняйся с ним местами.

– Ах нет, пожалуйста, – протестует барышня. – Этого недоставало! Лезьте сами наверх.

Доктор замолкает. Но только на минуту. Оба верхние этажа трясутся от неудержимого смеха, который заражает и обе нижние полки. Барышня опять вскакивает.

– Чего ты хохочешь? – скрашивает доктор, поднимая глаза к небу. – Насосался и хохочет. Ау меня душа в пятках: провалится и раздавит. Ваня!

– Что такое?

– Ты ступай сюда, а я полезу на твое место!

– Нет, пожалуйста. Вы такой неуклюжий, сейчас же свалитесь мне на голову.

– Я-то неуклюжий… Извините, комплекция Аполлона Бельведерского.

– Бахуса… Силена… – поправляет Зейферт.

– Господа! Помилосердствуйте, ради Бога. Ведь мне завтра с утра на службу… Дайте заснуть хоть на минуту.

Все замолкают. Но еще долго полки трясутся от взрывов беспричинного смеха. Просыпаемся уже на Балтийском вокзале… Все разом принимают приличный вид и корректно прощаются с милой барышней.

– Ну, ничего, Бог с вами, не сержусь. Только голова разболелась… Ну и веселая ваша свадьба.

Начало конца

«В этот самый день, на этом самом месте перед нами открывается новая эпоха истории».

Слова Гете под Вельми

Большим балом 12 января в Зимнем дворце открывался период придворных торжеств, заканчивавшихся с началом Великого поста. На этот бал рассылалось до 8000 приглашений. Кроме придворных, в нем обязательно участвовали командиры, адъютанты и по пять офицеров от каждой гвардейской части, в том числе от нашего дивизиона, несмотря на то что у нас было всего две батареи, а в бригадах – по шести. Таким образом, мне всегда приходилось бывать на этих вечерах. За большим балом следовали малые, семейного характера, на которые приглашались, главным образом, танцоры.

В танцах участвовала, быть может, одна двадцатая приглашенных; остальные толпились в огромном белом зале и в смежных коридорах. В маленькой «ротонде», круглом зале при входе во «фрейлинский коридор», стоял огромный стол со всевозможными закусками. В большом коридоре ключом било шампанское. Придворный оркестр в красных фраках занимал возвышенную эстраду. Офицерство съезжалось заранее, являясь через особый подъезд, Иорданский или Комендантский. Только официальный траур мог служить помехой этому празднику, для которого приглашенные нередко являлись из отдаленных провинций, а дамы накануне представлялись Императрице. Но в этом году он затмил великолепием все предыдущие.

В указанный час двери царских покоев отворились, и на пороге показались Высочайшие Хозяева. Раздались торжественные звуки полонеза из «Жизни за Царя», и под звуки пятисот струнных инструментов в руках пятисот профессоров и лучших учеников Консерватории появилась Царственная чета, за нею вдовствующая Императрица с Великим князем Владимиром и Великая княгиня Мария Павловна со старейшим членом дипломатического корпуса в традиционной феске и роскошном золотом мундире. Со вторым и третьим туром кавалеры меняются местами, в последнем Царица в своей алмазной диадеме, сияющей всеми цветами радуги, составляет пару с турком в его алой феске.

– Государь в форме нашего полка, – раздается сзади

радостный шепот.

– А ты обратил внимание…

– Ну, пойдем попробовать шампанского…

– Постой, я хочу раньше взглянуть на танцы.

– А я боюсь подходить близко… Вдруг пришлет приглашение какая-нибудь из княжен, а я забыл надеть «бальные» шпоры… Выйдет, как с генералом Макаровым.

– А что?

– Его колоссальная фигура бросилась в глаза Императрице Марии, напомнила ей покойного супруга. Подходит к нему адъютант: «Ее Величество просит вас на тур вальса». А у него многолетний ревматизм в ногах… Доложили, что ему сделалось дурно и он уехал. Комендант выпроводил его в потайные двери.

Великие князья бродят меж танцующих, пользуясь высоким ростом, разыскивают в толпе интересных барышень, и через минуту счастливица замирает уже в упоительном вальсе. «Это самый счастливый день в моей жизни», – шепчет она…

– Ну, а как «История кавалергардов»?

– Не знаю. Спросите у Пенчулидзева.

Мне и в голову не приходило, что Пенчулидзев[70] заделался историографом. Этот комик и чудак обращал на себя внимание, когда еще был пажом. При возвращении с церковных парадов батальона Павловского училища он неизменно выходил на крыльцо своего барака, долго, пристально всматривался в их неподвижные, натянутые лица, на их штыки в струнку. Надевая пенсне, вглядывался в них еще и еще, и наконец при приближении колонны падал в обморок на руки товарищей.

– А вы заметили, – шепчет кто-то, – Государь игнорирует обоих японских атташе? Они ходят как потерянные.

– Беляев! Что ты здесь делаешь? Ведь ты не танцуешь… Пойдем в ротонду, а то потом не протолкнешься. Посмотри, что там делается.

Но в ротонду уже почти невозможно протискаться. В узком проходе, ведущем туда, встречаются два течения.

– Ради Бога, мадам! – восклицает высокий судебный генерал, которого полная дама затормозила в самой теснине. – Вы пореже тесь моими остроконечными звездами.

Наконец Фермопилы пройдены. Вокруг круглого стола с закусками любители толпятся в три ряда; влево, в свободном местечке расположились две редкие гостьи: это сестры-американки; одна из них замужем за герцогом Мальборо, другая – за миллионером Вандербильдом. Обе полные, красивые блондинки, каждая в целой кирасе[71] драгоценнейших бриллиантов, под которыми едва проглядывает белизна тела. Во

фрейлинском коридоре уже никого нет, мы возвращаемся обратно.

– Пойдем в большой коридор, где пьют шампанское. Я покажу тебе там две скромные картины, которые всегда приковывают мое внимание.

– Какие?

– Одна – израненный Осман-паша представляется Императору Александру II, который возвращает герою его саблю. Другая – «Живой мост». Ты не помнишь этого эпизода из Кавказской войны? Конные черкесы с шашками наголо нагоняют орудие, которое спасается от них вскачь через ров, заваленный живыми телами, – это солдаты, которые жертвуют собой для его спасения…

Кто бы мог подумать, что нас ожидает эта самая судьба!

Ужин начинается ровно в два часа. Проходит Государь, чтоб убедиться, что все гости заняли свои места. Перед каждым – хрустальные бокалы, роскошные приборы. На столе – золотые и серебряные вазы с цветами и конфетами, изображающие целые группы людей и животных, чем ближе к почетному концу, тем роскошнее. Лакеи работают с поразительной быстротой, убирая блюда и подавая кушанья, прежде чем гость успевает заметить это. Когда Государь поднимается из-за стола, провинциалы наперебой расхватывают букеты, фрукты и конфеты «на память», не хуже кадет младшего возраста.

Не прошло и двух недель после бала, как нам пришлось присутствовать на торжестве иного характера – на официальном объявлении войны Японии. Их армия организовалась под наблюдением германских инструкторов, снабжена немецкими пулеметами и мортирами; боевые суда для них снаряжались орудиями Армстронга и Виккерса. Но всего удивительнее было то, что вероломное нападение 26 января нигде не вызвало столько аплодисментов, как в Соединенных Штатах, которые с самого начала своего существования со стороны России видели только самое искреннее благожелательство. Стоит вспомнить «Вооружейный нейтралитет» Екатерины, обеспечивший молодым колониям свободу морской торговли, появление в Нью-Йорке эскадры Лисянского, парализовавшей эффект спущенной с английских верфей «Алабамы», отрезавшей Соединенные Штаты от всего мира, уступку Русской Аляски.

За Артуром последовала «Жемчужная бухта», вызвавшая бесчеловечное разрушение Хиросимы и Нагасаки. Но Европа поплатилась еще тяжелее за свою слепую ненависть к возрождающейся России. Подрубая самые корни существования державы, всегда стоявшей на страже мира и справедливости, она

навсегда нарушила европейское равновесие, исключая возможность взаимного доверия, и положила начало всем бедствиям, явившимся на смену «Золотому веку» мирового прогресса.

Но кому из нас приходило в голову, что этим началась эпоха мирового упадка и что мы вступаем в эру неслыханных насилий и тирании?

Первые боевые столкновения раскрыли дефекты существовавших порядков во всех отраслях, главным образом в армии, и вызвали ряд реформ; увлечение ненужными мелочами, доведение до совершенства того, что уже отжило свой век, сразу уступило место деловому отношению к требованиям момента.

Но полная политическая неосведомленность масс, безграмотность интеллигенции во всем, что не касалось ее ближайших интересов, с одной стороны, и абсолютная невежественность простого народа, с другой, не могли не отразиться на успехе и, главное, своевременности реформ.

Меня поражало невежество образованного класса, который не отдавал себе отчета, что настала пора обернуться лицом к Востоку, взглянуть двумя глазами на Великий Океан и перестать смотреть на отношения с Китаем и Японией как на колониальные вопросы ничтожного характера – это в то время, когда дальновидные англичане подчиняли себе Африку, а немцы из Камеруна[72] устраивали Фатерланд. Они не поняли, что заставило Александра III занять Порт-Артур, а на Корею и Сахалин смотрели глазами Вольтера, для которого Канада и Американский Запад казались guelgues arpenta de neige[73].

Неудивительно поэтому, что и крестьянин считал, что ни к чему нам драться на чужой полосе.

Военной договор с Францией не допускал возможности переброски на Восток целыми корпусами. Нарушая все правила организации, туда направлялись отдельные команды и вызывались офицеры. От бригады также поехало несколько человек, в том числе и мой брат Тима. Вызвался и я, считая это долгом чести, но полковник Лехович в весьма лестных выражениях заявил мне от имени командира бригады, что он просит меня остаться, что мое присутствие в дивизионе необходимо. В сущности, оно так и было. Не прошло и года, как это стало ясно для каждого.

Толчок, данный японской войной всем отраслям государственной жизни, более всего отразился на армии и всего сильнее дал себя почувствовать в артиллерии. Во главе артиллерийского ведомства стал молодой, но деловой и прекрасно подготовленный строевой службой Великий князь

Сергей Михайлович в качестве генерал-инспектора артиллерии. Фактически он проводил все меры через начальника Главного артиллерийского управления генерала Кузьмина-Караваева, своего бывшего командира, человека интеллигентного, очень мягкого и покладистого.

Для быстрого проведения в жизнь принципов современного употребления артиллерии в бою Великий князь использовал моего брата Сергея Тимофеевича, который только что вернулся из Франции, где познакомился с работой и тактикой французской скорострельной артиллерии под руководством отца артиллерийской тактики генерала Ланглуа.

Брат прочитал ряд блестящих лекций по тактике артиллерии в связи с другими родами оружия и лично выработал наставления для действия артиллерии в бою, восполняя этим огромный пробел в подготовке командного персонала, а также привел важнейшие данные для ознакомления пехоты с артиллерией. Лекции он читал для офицеров Гвардейского корпуса в зале Армии и Флота, а также во всех школах и училищах. Некоторые из его лекций длились по два с половиной часа и захватывали многочисленную аудиторию.

Заваленный работою, брат иногда поручал мне отвечать на полемику, возбужденную отцом германской артиллерии генералом Роне, который пытался доказать, что данные немецкой легкой пушки, переделанной из орудия старого образца, и связанная с ней тактика выше русской. На самом деле немцы употребляли все усилия на создание тяжелой артиллерии – в каждом корпусе они сформировали по полку, кроме полков гаубиц, по одному на дивизию. С началом войны мы имели всего пять групп тяжелой артиллерии и по группе мортир на корпус.

Мне командир дивизиона поручил выработать на практике метод обучения команды разведчиков. Я взял себе новобранцев после двухмесячного обучения и через четыре месяца закончил их полную подготовку как ординарцев-разведчиков, телефонистов-сигналистов и артиллерийских наблюдателей. Они чертили кроки, составляли донесения и вели пристрелку не хуже любого офицера; для поднятия духа и уверенности в себе они были обучены фехтованию, рубке с коня и боевой стрельбе из револьвера. Кроме того, бегали на лыжах.

После блестящего смотра герцог не нашел другого слова, как заметить, что я был в парадной форме, а не в обыкновенной: я прилетел в последнюю минуту с панихиды, и у меня не было минуты дня переодевания.

Похвалу я получил совершенно с другой стороны. Мой бывший командир генерал Нищенков на совещании по выработке

устава, настаивая на двухгодичном сроке обучения разведчиков, сказал: «Полковник Зедергольм находит шесть месяцев достаточными, чтоб из новобранца подготовить разведчика. Он основывается на опыте своего дивизиона. Но ведь я-то знаю офицера, который вел испытания: он из глины делает солдат…»

Практические стрельбы прошли прекрасно. На последней начальник артиллерии генерал Хитрово собрал батарейных командиров и озадачил их вопросом:

– Ну, а теперь я думаю проделать опыт с угломером по совершенно закрытой цели. Кто из господ батарейных командиров возьмет на себя провести его сейчас?

Последовавшая сцена напомнила мне былину о взятии Казани Иоанном Грозным: «больший за меньшего хоронится, а у меньшего и голоса нет». Иные отмалчивались, другие говорили о недостаточном усовершенствовании прибора. Самый живой, малютка Смысловский, спросил генерала:

– Но, ваше превосходительство, а если мы уложим снаряды в это стадо коров, кто возьмет на себя убытки?

На серпуховском полигоне так это и было. Стрелявший получил пожизненное прозвание тореадора, а его батарея целых две недели ела мясо невинных жертв, оплаченных из батарейной экономии.

– Ну, а если так… Дражайший Иван Тимофеевич, придется на чать с вас как с младшего.

Я приложил руку к козырьку и через минуту болтался уже на седле вышки Мейснера, с которым я взвился на десять метров от земли.

– Старшего офицера!

– У телефона подпоручик Стефанов.

– Направить батарейный веер в ориентир!

– Готово!

Я вытянул руку к цели, сжал ее в кулак (другого прибора я не захватил) и повернул веер в сторону поднявшейся 12-орудийной батареи.

– Правые 20–60, трубка 60. Орудиями правее! Великолепный разрыв задымил всю цель…

– Левее на две, 70, трубка 70.

– Батарею!

– Получена нулевая вилка. Два патрона, беглый огонь!

– Стойте, стойте – довольно!

Я слезаю и вытягиваюсь перед генералом. Он берет меня за обе руки.

– Ну, вот, господа! Видите, не так страшен черт, как его малюют.

– Спасибо, милейший Иван Тимофеевич, – он всегда называл меня по имени и отчеству, так как был товарищем по бригаде моего отца.

Я мельком взглянул на выражение лиц собравшихся командиров – ни дать ни взять живая копия с известной картины «Яйцо Колумба»…

Вместе со старыми преданиями и традициями уходили в вечность и последние представители старшего поколения нашей семьи. Тетя Туня скончалась на руках у Сережи. Когда мы с Володей видели ее в последний раз, она уже не могла говорить и только лишь молча соединила наши руки, умоляя обоих своих любимцев не покидать друг друга. Тетя Лизоня скончалась месяц спустя на руках у Махочки – я только временами мог уделить ей час-другой, приезжая из лагеря.

Холодно становилось на душе. Холодно и сиротливо. И чем более я терял, тем сильнее влекло меня к жизни какое-то особое чувство безотчетного оптимизма, которое шептало мне:

– Дитя…Торопись! Торопись. Фиалки цветут лишь весной… А мне уже тридцать лет. Еще десяток-другой, казалось мне, и настанет и мой черед…

Я видел достойных девушек, видел очаровательных женщин.

Казалось, стоило протянуть руку, и я нашел бы свое счастье, о котором втайне мечтал, которого добивался каждый мужчина. «Но нет, – думалось мне, – все это не любовь, это только компромисс с требованиями природы…»

Маруся. Душа – красна девица

Я имени ее не знаю
И не желаю знать.

А. С. Пушкин. «Пиковая дама»

Накануне был царский объезд, я был в Петербурге у больной тети и едва поспел к поезду, который отходил с дачной платформы в семь часов. Вагоны были переполнены, во всех окнах мелькали прелестные дамские туалеты, блестящие формы офицеров или изящные костюмы штатских.

Не видя ни одного знакомого лица на платформе, я решил вскочить в любой вагон, как вдруг заметил в окне необыкновенно изящную головку прелестной молодой барышни… Я был поражен ее изяществом и чистой, нетронутой красотой и невольно остановился как вкопанный.

Кто бы она могла быть? На вид ей казалось не более 16–17 лет. Ее ясные глаза смотрели так приветливо, щечки горели нежным румянцем первой весны, золотистые волосы оттеняли белизну ее прелестного личика…

Я вошел в вагон. Подле нее оставалось пустое место, но я нерешительно остановился у дверей. Усесться рядом с этим неземным видением мне казалось святотатством. Но в ту же минуту мне пришлось проклинать мою робость: из противоположных дверей показалась красивая фигура знакомого кавалериста С. С. Фоминицына, который прямо подошел к ней, вежливо взяв под козырек, просил ее разрешения занять место. Я не расслышал ответа, но Фоминицын извинился и двинулся прямо ко мне:

– Вот, батенька, пытался было устроиться, да место уже занято! Ну так я к вам, – сказал он, пожимая мне руку. – А посмотрите, какая прелестная барышня! Какая, право, досада, что кто-то уже занял место.

Мы сидели к ней спиной, но я видел, что Фоминицыну не терпится, он все время оглядывался туда, где виднелась воздушная шляпка и золотистые волосы.

– А ведь подле нее никого нет! Одна едет… – повторил он, за детый за живое.

Действительно, поезд уже давно тронулся, а подле нее не было никого.

Разговорились о постороннем, но Фоминицыну было не по себе.

– Смотрите, она вышла на площадку, – пробормотал он поспешно, – вот робость проклятая! Надо бы с ней заговорить, да не знаю, как начать.

– А вы попросите разрешения закурить.

– И рад бы, да не курю…

– Ничего. Вы сможете сейчас же прибавить, что все-таки не решаетесь воспользоваться разрешением своей опрометчивой просьбы, что слишком боитесь лишиться ее общества, чтоб рискнуть задымить противную папиросу и т. д.

– Ах, верно! Вот мысль, – и он исчез за дверями.

Прошло несколько минут. Мы подходили к Лигову[74]. С. С. вернулся на место недовольный. Ему удалось заговорить, но барышня замолчала после первой же фразы и взялась за дверь. Видимо, выходит в Лигове.

Вот и Лигово… Газовая шляпка прошла на платформу.

На душе было уныло и пустынно. Я вышел на площадку, но не на ту, где стояли, а на противоположную, и невольно с грустью глядел на знакомые крыши дач. Раздался звонок, поезд тронулся и прошел несколько сажен… Вдруг позади меня хлопнула дверь… О, радость! На пороге, держась обеими руками за поручни, покачивалась моя прелестная незнакомка, выглядывая на мелькавшие деревья и ограды станции… Ветер развевал нежные кольца ее волос, и, когда она поворачивала головку, мне удавалось поймать взгляд ее синих глаз, в которых светилось что-то детское, несмотря на напускную серьезность.

– Простите меня, но еще минута, и вы вылетите из вагона, – невольно вырвалось у меня, когда незнакомка, обвив своими пальчиками поручни, казалось, повисла над шпалами пути.

– Нет, – послышался в ответ нежный, ласкающий голосок с легким иностранным акцентом, – не-ет, я крепко держусь.

Она обернулась на меня, и наши глаза встретились. Передо мной стояла девушка редкой красоты. Ее глаза, ясные и живые, смотрели так просто и доверчиво, темные соболиные брови придавали личику характер твердости и прямоты…

– Ну хорошо, я не буду, если это вам действует на нервы, – ска зала она, улыбаясь на мое сконфуженное выражение. Она затвори ла дверь и остановилась передо мною, облокотившись на стенку узкого прохода. Между нами было не больше аршина расстояния. Я чувствовал, как вся кровь приливает к моему сердцу. Наверное, она заметила мое смущение, но продолжала стоять, заложив руки за спину и временами поднимая на меня свои синие глаза.

Боже! Что я готов был бы отдать в эту минуту, чтоб назвать ее своей!

– Я думал, что вы сошли в Лигове, – начал я.

– Я еду в Дудергоф, но мне пришлось сойти с площадки: там стоит один молодой офицер с очень развязными манерами, а в вагоне слишком душно.

– Ради Бога, простите, может быть, и я мешаю вам.

– Нет, не-ет! – она улыбнулась моему замешательству. – С вами мне не страшно, хотя я и вижу вас в первый раз.

Лед растаял… Через минуту мы уже болтали, как старые друзья… Вечерело. Солнце медленно заходило, и вечерний сумрак стал сгущаться. Мне казалось, что все туманится и плывет перед моими глазами; я видел только чудную, стройную фигуру, прозрачное личико, вьющиеся локоны и милые, чистые глаза, смотревшие на меня так, как до сих пор не смотрела ни одна женщина.

Когда поезд затормозил на Дудергофской станции, я не сумел еще выбрать минуту, чтоб спросить ее имя и адрес. Я успел только назвать ей свою фамилию и горячо поблагодарить ее за милое общество. Когда она скрылась, я долго смотрел ей вслед, пока она пропала в ночном сумраке подле одной из дач по большому шоссе.

Когда я пришел в наш барак и очутился в общей комнате, все офицеры сидели за картами. Мои щеки горели и сердце билось, как будто хотело разорваться.

– Ваня, что с тобой? Мы тебя таким еще не видали!

– Дети мои! Не судите меня строго… Я влюблен!

– Вот так чудо! В кого же?

– Я имени ее не знаю и не желаю знать!

– В прекрасную незнакомку! А где она живет?

– Если б я знал…

– Что ж ты будешь делать?

– Сяду на коня и буду рыскать по окрестностям, пока не найду. И вы все тоже будете помогать мне.

– Идет! Идет! Эй, вестовые, коней! Едем все до одного искать Ванину невесту!

Прошло две недели, но все поиски оказывались напрасными…

– Ты хоть бы имя у ней спросил, – с сокрушением повторял Стефанов.

– Но я постеснялся!

– Дурень ты, дурень! Какая барышня обидится, когда видит, что ею заинтересовались…

Как-то раз мы все снова сидели за картами. Я редко

принимал участие в игре и то лишь тогда, когда меня сажали за болвана. В разгаре игры кто-то спустился сверху и шепотом вызвал меня.

– Господин штабс-капитан, господин штабс-капитан!

Это был недавно прикомандированный к дивизиону портупей-юнкер Сергиевский, серьезный и скромный, стеснявшийся вмешиваться в офицерские разговоры, но живо интересовавшийся всем происходившим. Сегодня он был за дежурного офицера.

– Что скажете?

– Я нашел ее!

– Кого? Лошадь? (У нас пропала кобыла.)

– Нет… барышню!!! – Все бросили карты и собрались вокруг рассказчика, который продолжал с таинственным видом: – Я слышал разговоры и знаю все. Все свободное время я бродил по Дудергофу и наводил справки, не знает ли кто стройную блондинку, которая живет где-то на шоссе недалеко от станции. Наконец я наткнулся на кадета Николаевского кадетского корпуса, который живет с матерью, вдовой богатого генерала, и посулил ему кое-что за находку. Он уже бросил корпус и только и делает, что бегает за барышнями… Он узнал все. Находится она в доме Иголкина, что на шоссе; иногда катается по озеру с подругой, дочерью хозяина, иногда ездит в Петербург или носит письма на станцию. Она провожала брата, судового механика, который уехал в Порт-Артур, и теперь, кажется, ждет письма, чтоб вернуться домой. Держится в стороне и ни с кем не гуляет.

– Она и есть! Спасибо вам, Сергиевский!

– Вы ее встретите на бульваре между ее дачей и Дудергофским вокзалом.

– Спасибо, тысячу раз спасибо, милый Борис Николаевич!

– Слушай, Ваня, – говорил Стефанов – он слегка заикался. – Ты гораздо старше меня, но в этих делах ты новичок. Все действуешь по старому уставу. Пойдем вместе, я все сделаю тебе как следует. Только ты не мешай.

На другой день – это была суббота – мы со Стефановым уже на бульваре… Нет никого… Навстречу моя барышня с письмом. Она… Нет, не она…

– Не зевай, Ванька, прозеваешь, не поправишь!

– Не она… – мы поравнялись… – Она!

– Дурень, беги за ней, извинись, что не узнал! Я догоняю…

– Ах, здравствуйте! А я вас сразу не узнала.

– Позвольте мне представить вам этого чудака, – говорит по доспевший Стефанов, – ничего не боится, а с барышнями робеет. Ну а теперь представляй ты меня.

– Не нужно, я и так уже с вами познакомилась. А меня зовут Маруся.

– Вы на почту?

– Нет, я уже оттуда. Получила письмо.

– Так пройдемтесь немного вместе. День свободный, скоро на вокзале заиграет музыка.

– Ну хорошо. Я тоже свободна, а дома скучно. А где Стефанов? – спросила Маруся.

– Отстал… Наверно, прямо пошел на музыку. Хотите вернуться?

– Нет. Мне очень хорошо. Мне кажется, что мы с вами уже давно знакомы.

– Теперь мы уже не расстанемся… никогда!

– Но как же… – она вздохнула. – Ведь я не могу быть вашей женой!

– Почему же?

– Мои родители…

– Разве они преступники?

– Нет, о нет! Они честные, хорошие люди. Но совсем, совсем простые. Отец – лесник в богатом имении близ Вольмара. У матери, кроме меня, сын в Порт-Артуре и две дочери. Старшая – красавица, замужем, у нее трое детей. Сама я хорошо кончила четырехклассное училище, но дома сидела на камушке в лесу, вязала на спицах и приглядывала за поросятами. Только здесь я увидела, как живут люди.

– Но ведь вам только шестнадцать лет – за два года вы пройдете со мной все, что необходимо для жизни.

– О, я люблю ученье… Но нет, это счастье для меня закрыто!..

– Перед искренней любовью нет препятствий, все будет наше. Мы обойдем все подводные камни, одолеем все преграды. Можете ли вы меня полюбить?

– Ах, как я была бы счастлива с вами!.. Здесь у меня есть знакомая дамочка, прелестная, как картинка. Она постоянно гуляет с молоденьким красавцем-кавалеристом, я всегда любуюсь на них… Неужели это возможно, и у меня будет такой же!

– Будет… Уже есть! Но вы устали; пойдем, присядем на этой скамейке, сейчас никто нам не помешает, все на музыке.

Мы уселись рядом. Я обвил ее руками и крепко прижал к сердцу. Она еще раз прижала свои уста к моим, и я почувствовал, как, отрываясь, она глубоко вздохнула… от счастья? От волнения? От страха неизвестности?

– Говорите мне «ты» – это так мне приятно!

– И ты также.

– Нет… Нет! Не теперь. Потом, после свадьбы.

Когда я проснулся на другое утро в моей маленькой комнатке, рядом в приемной уже слышались голоса. Но я продолжал жмуриться под ярким лучом солнца, перебирая в мыслях все прошедшее. Мне казалось, что в моей жизни произошел переворот. Физические побуждения, не дававшие мне покоя ни днем, ни ночью, исчезли как бы по мановению волшебного жезла. Я любил и был любим. Что может сравниться с небесною радостью, которую испытываешь при осознании, что все твои мысли, твои дела – все твое, принадлежит кому-то, кто любит тебя более всего на свете, для кого весь мир наполнен любовью к тебе?

Мы решили держать союз наш в полной тайне. Кроме доверенных товарищей, я ни с кем не поделился своим счастьем. Ходить на дачу к ее хозяевам я не хотел, они были посторонние, чуждые мне и ей, и я не желал запутывать их в наши дела. Но где и как нам встречаться? Уезжая на Восток, брат оставил мне своего рыжего Ваверлея. Это был прекрасный, отлично выезженный конь с большой примесью чистой крови. Мой жеребец, который подо мной готов был выкинуть любую штуку, под дамским седлом ходил как овечка. Мы с вестовым подъезжали к заветному камушку, моя сильфида вспархивала на коня, и мы исчезали в тенистых лесах Коерова, карабкались по косогорам Дудергофа и Киргофа или скакали среди необозримых полей Александровки, где только наши головы и плечи мелькали меж колосьев высокой ржи.

«Расступися, рожь высокая,
Тайну свято сохрани…»

Иногда мы становились объектами парфорсной охоты[75] – в семье брата Володи заинтересовались неожиданным исчезновением их постоянного посетителя, и мальчики, видимо, старались подстеречь нас и разглядеть, кто эта отважная амазонка, которая носилась на грозном жеребце, не подпускавшем никого чужого. Но всякий раз, замечая знакомый силуэт, следовавший за нами, мы пускали коней широким галопом и исчезали в чаще.

Однажды, правда, мы почти попались: уходя сквозь поля, мы наткнулись на глубокий ров, видимо, прорезанный только что с намерением прекратить транзит по тропинке. Я замер от волнения. Но добрый конь понюхал свеженасыпанную землю, медленно поднялся на дыбы и плавным прыжком взял препятствие, перенеся на своей спине легкую как перышко амазонку.

Но время уходило, не принося решения главного вопроса. С каждым днем я встречал новые и новые случаи, чтоб убедиться в ее физических и духовных совершенствах. Поразительная легкость, с которой она села в седло и начала справляться с конем, сказывалась и в ее успехах во всех отраслях. Она обнаруживала природный вкус, великолепно копировала открытки, копии олео[76] знаменитых мастеров, делала поразительные шаги в предметах, которые я проходил с нею. С началом осени она взяла маленькую комнатку в городе, где я навещал ее через день, а сам я уже поселился отдельно, так как мой брат вскоре женился, и Маруся через день приходила ко мне обедать и оставалась до вечера.

Готовил и хозяйничал мой денщик Ворона, поверенный в наших делах и планах на будущее.

Маруся держала себя как гостья, занимаясь исключительно своей подготовкой, так что лишь за столом мы с ней делились впечатлениями и новостями.

Я надеялся провести ее на экзаменах какого-нибудь скромного пансиона и использовать авторитет моего отца, чтоб достать разрешение на брак, в чем не предвидел особых затруднений, так как тогда еще не было никаких стеснений в этом отношении, требовалась лишь санкция командира бригады.

С родными не встречалось никаких трений. Случайное знакомство ее с братом и с папой произвело на них самое благоприятное впечатление. Папа пришел в такое сердечное умиление при виде юной девочки, которая так доверчиво вверила мне свою судьбу, что даже (потихоньку от мачехи) купил для нашего будущего хозяйства хорошенькую мебель, называл Марусю своей милой доченькой и поехал хлопотать о разрешении. Бывая случайно у наших, мне только приходилось любоваться тактом и умением моей невесты держать себя в обществе; впоследствии, когда мы женились и бывали у отца в Кронштадте, генерал Адлерберг[77] подошел ко мне и поинтересовался, которая из двух прелестных дамочек моя.

– Вполне разделяю ваш вкус, – прибавил он, – я все время любовался ею.

Герцог Макленбургский был многим обязан моему отцу. Суровый Баумгартен низко расценивал его артиллерийские познания, и герцог все время спасался в Управлении артиллерии и других постоянных командировках. Отец вывел его на дорогу и поставил на рельсы.

Однако он стал теперь на чисто формальную сторону:

– Ну да, но мне необходимы данные, я хочу получить точные данные от Ивана Тимофеевича.

А между тем год назад мой товарищ Макеев женился на дочери пивовара из Риги, и никто не помешал его счастью. Он был прекрасный работник, но крайне застенчив, все время подергивал плечом, и знакомая генеральша решила женить его на хорошенькой гувернантке (бонне) своих детей. Ее сестра была та самая Алисынька, с которой я познакомился у Волконских.

Для милого папочки это было величайшим огорчением, а для нас неодолимым препятствием. Я попробовал устроить ее удочерение в одной хорошо поставленной семье – вышло немногим лучше! На счастье, летом ее взяли с собою Махочка с Ангелиночкой[78] к Энденам в Леонтьевское.

Свадьба наша оттягивалась, создавалось тяжелое положение. Осенью я опять уехал на перепись – это была уже третья командировка, одна удачнее другой: в штабе Округа моя работа была признана выше похвал, и я получил орден. Но по возвращении я решил порвать Гордиев узел и жениться без разрешения начальства.

Будучи на переписи в моем родном Гдовском уезде, на самой железной дороге недалеко от Луги, я был поражен видом великолепно отстроенной новой церкви, и так как батюшки пригласил меня к себе, я разговорился с ним об этом.

– Эта церковь – моя гордость, но и мое несчастье.

– Почему? Везде в окрестностях только и говорят, что о вашей самоотверженной христианской жизни, называют вас святым подвижником. Вам недоставало лишь благолепного храма – и вот он готов…

– Да, но знаете, что случилось? Я надеялся уже закончить работы, как вдруг церковь обокрали: вытащили замурованные в стене хранившиеся там остатки церковных сумм… Я был вынужден внести все, как раз представляю последний взнос… Но чего это мне стоило! Заболела моя жена, не выдержала. Захворал ребенок. Все от нужды. Прихожане предлагали помочь – но я ведь знаю… потом сами будут колоть мне глаза. Теперь мне все опротивело!

Вот к этому-то поистине святому пастырю Божию я решился обратиться с просьбою обвенчать нас без лишних отсрочек.

Церковь была у самой дороги, можно было бы обернуться в один день. Я заранее снял уютную новенькую квартирку в три комнатки близ училища, перевез туда мебель и подготовил прислугу, нашу деревенскую Машу, которая давно просилась к нам, как только поженимся. Ворона ушел в запас, другого денщика я не хотел брать ради того, чтоб не разглашать нашего секрета.

Маруся должна была ехать сговориться со священником.

В бурю и грозу

Сбирает Ираклий дружины,
Полки удалые свои…
Вставайте, хевсуры!
Тушины и пшавы уже на пути…

Хевсурская песнь

Было пасмурное утро в конце октября. Фонари еще тускло сверкали в тумане, отражая свой блеск на сырых плитах тротуара. Серые облака уже начинали редеть и подниматься выше. Я усадил Марусю в поезд и, сам не зная, где потерять время, пошел в батарею. На бригадном дворе все еще было тихо, но, поднимаясь по лестнице, я уже услышал шум и оживление в нашей казарме. «Еще рано, – подумал я, – а наши уже встают».

На лестнице меня встретил фельдфебель Ивко:

– Ваше высокоблагородие! Только что были в батарее начальник артиллерии, хотели повидать вас. Нашей батарее объявлена моби лизация. Вы назначены командиром. Генерал Хитрово только что вышел в 4-ю батарею, вы его успеете догнать.

Вне себя от изумления, я турманом слетел по лестнице. Против казармы 4-й батареи я нашел генерала, разговаривавшего со старым чернобородым фельдфебелем батареи, которой когда-то командовал.

– Ваше превосходительство!

– Ну вот, милейший Иван Тимофеевич, поздравляю вас с походом. Ввиду волнений в Финляндии, мобилизован сводный гвардейский отряд генерала Щербачева: преображенцы и павловцы сведены в батальон, им придается наша батарея, и вы назначаетесь командующим.

– Я? А полковник Шульман?

– Он заболел.

– Но ведь я самый младший!

– Кому же, как не вам – вам и карты в руки!

– И на законном основании?

– На самом законном… Командующим батареей со всеми правами… Вы получите пополнение от всех гвардейских батарей и через 24 часа должны быть на Финляндском вокзале. Пока мобилизуется Гвардейский корпус, на вашем отряде лежит ответственность за защиту столицы.

Какая неслыханная честь! Какая радость!

Я лечу в канцелярию. Шульман уже сидит на своем месте, дымя толстой сигарой и тупо вперя взор в пространство. Его никто не замечает, и он ничего не видит – ни дать, ни взять Диоген при осаде Синопа. Офицеры уже начинают собираться.

– Ваше высокоблагородие, – обращается ко мне старший писарь Кондрашов, – вы изволите назначить заведующего хозяйством под поручика Стефанова, мы сейчас отправляем его в банк за деньгами. С ним поедет Мощенский, а вам надо подписать ему доверенность, и вот этот лист.

– А это что такое? – спрашиваю я, машинально подписывая требование.

– Это подъемные: вам, как командующему причитается… – он назвал колоссальную сумму. – Вот это им, как заведующему хозяйством; это подпоручику Сергиевскому, как делопроизводителю, это – остальным господам офицерам.

– Да ведь это целый капитал!.. И его не потребуют обратно?

– Никогда. Вот закон, – Кондрашов подчеркивает ногтем статью закона.

Господи! Как благодарить Тебя за все?!

Когда шесть лет назад я вступил в должность заведующего хозяйством, я не имел ни копейки долгу. Демидов, передавая мне хозяйство, удержал кое-что, затраченное им на экипировку офицеров, которые накануне парада не имели нужного снаряжения и обещали вернуть все из «полугодового» – так называлось пособие, выдававшееся гвардейцам сверх жалованья. Сумма эта была умеренная, но далека от того, чтоб уменьшаться: она росла с каждым годом.

В самый момент сдачи, едва я вышел из канцелярии с карманами, набитыми деньгами на уплату счетов – поставщики должны были явиться на днях, – около конюшни я наткнулся на полковника Андреева.

– Иван Тимофеевич, Иван Тимофеевич! – закричал он мне издали, – одно слово. Ивко, ты ступай наверх, я сейчас приду в канцелярию.

– Что прикажете, господин полковник?

– Я только что видел в руках у вас целую кучу бумажек. Хочу попросить вас на несколько дней выручить меня пятьюстами рублями.

Итак, у меня уже почти ничего не остается для расплаты по счетам.

– Не беда, ваше высокоблагородие, – утешал Кондрашов, через недельку выпишем новые.

Прибавка содержания в 30 р. в месяц не спасала меня от

нависшей опасности. Откуда мог я пополнить недостающие суммы? Все время обращались ко мне уже не только офицеры, но даже солдаты, просившие по трешке на дорогу в отпуск. Как мог я отказать им, одалживая другим сотни? Каждый месяц я вкладывал обратно, что мог. В конце года туда же летело полугодовое. Я брал несколько сот из заемного капитала – все шло туда же… И что же? Бедняга Андреев перед смертью завещал жене в первую очередь ликвидировать заем, сделанный им пять лет назад… Мне стыдно было брать эти деньги от молодой вдовы, со слезами благодарности протягивавшей мне эту сумму. Но проклятая яма все шире и шире разверзалась у меня под ногами.

В этот момент она достигала двух с половиною тысяч. Я упорно верил в спасение, но не видел его. И вот мне сваливается с неба сумма, которая оставляет мне еще полторы тысячи!

Мою радость разделяли и писаря. Они видели и знали все. С невыразимым восторгом сдал я денежный ящик Стефанову, в то же время предупредив его о грозящей опасности.

– Т-т-ты не беспокойся, – возразил он, смеясь. – От меня-то уж не выцарапают ни копейки.

…Как пронеслись эти 36 часов, я уже не могу вспомнить. Во всей войне самое тяжелое – это мобилизация: раздача обмундирования, амуниции, ручного оружия, прием людей и лошадей. Мне было стыдно: мои старшие братья, старые командиры, приводили мне своих… Наконец, все было готово!

В четверть часа мы могли выйти строем из ворот бригадного двора. В эту минуту пришло приказание задержать батарею до нового распоряжения.

С какой радостью я помчался, чтоб отдохнуть и поделиться новостями!

Маруся уже ждала меня на квартире. Она сразу же получила мою просьбу переехать ко мне совсем, вместе с Машей, и обе привели все в блестящий порядок. Не зная, когда я вернусь и вернусь ли когда-нибудь, я отдал ей все деньги и просил ее оставаться полной хозяйкой в мое отсутствие. Милого, доброго священника она уже не застала. Он погиб со всей семьей, переправляясь через Волхов на новом месте своего назначения… Но теперь я всегда найду священника, который нас повенчает, вопрос лишь во времени! Ты моя!

– Заинька мой, я так счастлива с тобою, – повторяла Маруся. – Я ничего не хочу для себя!

… Стук в дверь, звон шпор в передней…

– Ваше высокоблагородие, батарея выступает на Балтийский вокзал! Извольте прочитать. – Вестовой сует телеграмму.

ФИНЛЯНДИЯ ПРИНЯЛА ЦАРСКИЙ МАНИФЕСТ – ОТРЯДУ

СПЕШНО ГРУЗИТЬСЯ НА БАЛТИЙСКОМ ВОКЗАЛЕ, ВОССТАНОВИТЬ СООБЩЕНИЕ С ГОСУДАРЕМ В ПЕТЕРГОФЕ И ИДТИ НА ОРАНИЕНБАУМ. КРОНШТАДТ ГОРИТ – КОМЕНДАНТ ОКАЗЫВАЕТ ОТЧАЯННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ С ТРЕМЯ РОТАМИ ПЕХОТЫ ПРОТИВ ДВАДЦАТИ ВЗБУНТОВАВШИХСЯ ЭКИПАЖЕЙ, – К НЕМЕДЛЕННОМУ ИСПОЛНЕНИЮ…

Погрузка закончилась темной ночью. Только когда двинулись эшелоны, стало возможным обдумать создавшееся положение. Оно выяснилось постепенно, благодаря случайно доходившим до нас сведениям. Государь с Семьей и Великий князь Николай Николаевич были отрезаны от всего мира в Петергофском дворце. До самого Петергофа дорога была разобрана, и нам приходилось восстанавливать ее, передвигаясь затем скачками по нескольку верст. О том, что делалось впереди, мы не отдавали себе отчета ни в данную минуту, ни после того, пока не прошли обе станции и уже не двинулись беспрепятственно на Ораниенбаум. Положение Царя в эти минуты было похоже на то, что случилось с ним 12 лет спустя. Разница была только та, что в нескольких верстах от него в Кронштадте находилось до 20 тысяч бунтовавших матросов и все оставшиеся суда Балтийского флота, о которых мы не имели никаких сведений.

Пройдя Петергоф, генерал Щербачев пригласил меня к себе в купе, чтоб выяснить способ действий. Приходилось идти на прорыв между эскадрами, находившимися в полной боевой готовности, чтоб сразу же ввязаться в уличные бои. В Ораниенбауме мы нашли несколько баржей и буксиров, с которыми и двинулись наудалую, ощетинившись орудиями с обоих бортов, чтоб в случае мины дать хотя бы залп по бунтовщикам.

Но на судах все было мертво. На берегу мы также не встретили сопротивления и двинулись разоружать экипажи, которые после трех атак на Комендантский дворец рассеялись по своим казармам. Оказывается, одновременно с нами или несколько ранее на косе по собственному почину высадился генерал Адлерберг с Новочеркасским полком. Мы нашли в порядке только один Королевы Ольги экипаж, где вахтенные офицеры в полном снаряжении встретили нас у ворот.

Разоружение шло медленно, но без столкновений. Только в трех местах пришлось прибегнуть к угрозе, держа орудия наготове. Мы были совершенно истощены после стольких ночей, но солдаты все время получали усиленное довольствие, а офицеров пригласил к себе один из видных чинов адмиралтейства и накормил прекрасным обедом… Я так измучился, что засыпал между блюдами, как говорят краснокожие

– между пытками.

Три дня и три ночи провели мы на улицах, пока, наконец, все успокоилось. Морские офицеры вернулись к исполнению своих обязанностей, 500 матросов были арестованы. Утром в девять часов в Комендантский дворец были вызваны все командиры частей. Комендант объявил, что согласно Высочайшему повелению он вступает в главное командование портом и в суровых выражениях требовал от всех подчиненных строгого исполнения обязанностей.

Позднее мне удалось узнать от него все детали происшедшего.

В ночь на 5 ноября мы получили приказ грузиться.

«Маркизова лужа»[79] ревела и неистовствовала, словно и ее повысили в звании и сделали океаном. Баржи плясали на волнах, сталкиваясь железными бортами и пуская столбы под самые облака. Орудие за орудием, ящик за ящиком, повозка за повозкой закатывались в недра огромной баржи, придавая ей устойчивость. Испуганные лошади скользили по обледенелым сходням. Одна чудная кобыла упала, и ее задние ноги остались между бортами. Все мы бросились, чтобы задержать сближавшиеся борты соседних судов, – по счастью, удалось спасти животное и втащить его на палубу, прежде чем столкнулись обе баржи.

– Поручик Стефанов?

– Готово!

– Подпоручик Сергиевский?

– Не могу поместить двух лошадей, нет места!

– Помещайте во что бы то ни стало. Ящики с водкой получили?

– Получили!

– На всех баржах?

– На всех!

– Раздайте по мерзавчику на каждого!

– Есть!

– Ну, а теперь… все разом! За нашу славную, доблестную, единственную в мире Первую батарею гвардейского стрелкового артиллерийского дивизиона, за ее лихих господ офицеров и за каждого из вас – УРА!

– Ура, ура, ура! – перекатывается с баржи на баржу.

– Отдавайте причалы!

В полном мраке, прорезаемом полосами белых гребней, проходят баржи, одна за другою.

– Подпоручик Сергиевский?

– Здесь!

– Как обе последние лошади – плывут?

– Плывут!.. – слышится из мрака радостный голос.

– Слава Богу!..

С чувством безграничного успокоения результатом исполненного долга возвращался я по пустынным улицам Петербурга. Трудно описать взрыв радости, которым я был встречен.

– Маруся моя! Как мне уютно, что ты здесь, со мною!

– Заинька! Как я счастлива… Если бы ты знал, как здесь у нас все хорошо! Пойдем взглянуть…

– Не теперь! Сперва надо покончить с главным вопросом: о свадьбе. Ты не поверишь, как я волновался при мысли, что случись что со мною…

– А я не волновалась. Ты ведь мой, остальное все равно!

– Ну вот, раньше всего мы должны быть чистыми перед Богом и людьми. Ты знаешь, что я придумал?

– А что?

– Едем в деревню. Если не завтра, то послезавтра. Когда венчали Мишу, я спросил священника. Знаешь, что он мне сказал? – «Абы на хорошеньких, всех повенчаю!»

– Ну, едем! А пока ложись спать, ведь уже третий час. Тебе не будет скучно одному?

Утром в восемь часов я уже был в канцелярии. Там все было по-прежнему. Только Шульмана не было.

Полковник Зедергольм использовал нашу мобилизацию по-своему. Хотя не было прямых указаний на это, но так как в случае мобилизации дивизион отделялся от бригады, то он вышел из подчинения герцогу, мобилизовал свое управление и, на всякий случай, получил себе подъемные. В Кронштадт он заезжал на минуту и потом снова исчез, я его не видал.

В офицерском собрании я застал адъютанта, поручика Фриде, и сообщил ему о своем возвращении.

– Ты все-таки лучше явился бы к герцогу, – сказал он, – понимаешь, Зедергольм поставил его в глупое положение, из которого он не знает как выйти: отделился – и крышка! Скандала ему поднимать не хочется, а когда его спросят, что у вас там было в Кронштадте, он не будет знать, что сказать. Ты бы к нему зашел!

– Да и Зедергольм тоже… раз мы стоим у него в казармах, мы вернулись в его подчинение… – Хорошо, пойду! Но ведь, мои вещи запечатаны, я только завтра сумею достать мундир. А ты его знаешь.

– Не беда, ступай, я его предупрежу.

– Ваше высочество, представляюсь по случаю возвращения из командировки.

Видя, что он не знает, о чем меня можно было бы спросить, я вкратце изложил ему происшедшее. Все время он пожевывал что-то, мало отдавая себе отчет в том, что я ему говорил, и, когда я кончил, сказал:

– Ну, а вам все-таки надо было явиться в парадной форме. Ко мне – только в мундире.

При выходе я встретился с Фриде.

– Ну и подвел ты меня с этим твоим Шмерцем, – не выдержал я, – в его мозгу не помещается никакая идея, кроме формы одежды. А еще доктор философии Гейдельбергского университета!

– Ну вот, оттого-то все и происходит, – отвечал адъютант, – ничего с ним не поделаешь.

В батарее я встретил Сергиевского. Стефанов при выгрузке упал в открытый люк, и на лбу у него остался шрам. Но как только он снял повязку, мы организовали бегство в Леонтьевское.

Об этом я не сказал никому. Использовали два свободных денька. Маруся собралась по-военному, в два счета. Мы уложили в чемоданчики ее подвенечное платье и нашу парадную форму и через шесть часов уже выходили с Нарвского вокзала. У крыльца нас ждала тройка. По шоссе мы летели с быстротой экспресса. Ехали мы наудалую, предупредив только письмом. По дороге утомление взяло верх, я проснулся только очутившись на шоссе, от сильного толчка о придорожную тумбу. Я лежал пластом, не отдавая себе отчета о происходящем.

– Стой, командир выбыл, – раздался вдалеке голос Сергиев ского… Слава Богу! Все кончилось благополучно.

Я опять занял свое место; а Стефанов пытался не дать мне снова заснуть, указывая на придорожные кусты, в которых грезились какие-то чудовища.

– Гиппопотам!

– Слон!

– Плезиозавр!

В полях мы пересели на розвальни и опять полетели по первой пороше. На этот раз мы сидели попарно и могли спокойно спать.

В большом доме все ярко было освещено. Домашние сами приготовили встречу. Прибежала местная учительница одевать Марусю, осыпая ее ножки поцелуями. Я сразу же отправился в церковь. Окна ее заиндевели, было холодно невыразимо. Священник ради особого торжества затянул свадьбу[80] на три часа.

Наконец мы очутились в его хорошо натопленной горнице. Там уже толпились местные красавицы… Стефанов уселся рядом

с хорошенькой Гранитовой, которая в своей элегантной шубке производила впечатление городской барышни. По другую ее сторону водрузился батя, перед которым красовалась красуля с ромом и бутыль с шампанским. Рядом уселись мы, а далее, между двух гвережинских красавиц, Боб Сергиевский. После того как присутствующие стали кричать «Горько», батя предложил, чтоб каждый сосед поцеловал свою соседку, а сам сунулся было к Гранитовой, если б матушка не удержала его за фалды. Он беспрестанно повторял: «Абы на хорошеньких, так всех вас перевенчаю».

…С невыразимой радостью подъехали мы к подъезду нашей милой квартирки. Маша отворила дверь. За ней стоял еще кто-то… Это был старший писарь Кондрашов.

– Ваше высокоблагородие, полковник Шульман – он уже снова выздоровел – сидел тут три часа, дожидаясь вас. На завтра назначена поверка сумм особой комиссией от бригады.

– Каков Шмерц!..

Все-таки, значит, в его голове что-то шевелилось иногда. Он испугался, что молодой командующий затратит казенные деньги и, в благодарность за все, не говоря доброго слова, устроил ему неожиданную поверку… Но он опоздал: шесть лет я носил неоплаченные счета в кармане, но теперь…

Члены поверочной комиссии расписались в полном соответствии сумм с отчетностью, что мы со Стефановым всецело могли приписать верности и добросовестности Кондрашова и других писарей. Герцога, впрочем, можно было бы оправдать, так как еще недавно в батарее, которой он командовал, обнаружилась растрата в 5000 рублей, что повлекло удаление зав. хозяйством и уплату убытков из жалованья всех наличных офицеров. А при сдаче батареи Демидову, когда выяснились кое-какие недочеты, герцог густо покраснел и вытащил из кармана пачку счетов за амуницию, оплаченных из его личных средств.

Наконец, началась демобилизация. Начальник ремонтной комиссии, полковник Головачев, был назначен для распределения лошадей, подлежащих оставлению в батарее и выбраковке и продаже с аукциона. В манеже появились все командиры батарей и дивизионов, желавшие приобрести выбракованных лошадей.

Наши батареи с самого сформирования получили очень плохой конский состав, и, чтобы исправить этот единственный дефект формирования, мы с любовью отобрали лучших в орудийные запряжки. Но Головачев нашел возможность выбраковать именно их, оставив нам только то, что у нас было. Самый шикарный конь был «бирка № 82». Когда я обратился к нему, указывая на его достоинства, прося оставить его у нас в

строю, он смерил меня взглядом и ответил:

– Этот конь для строя не годен; но он может отлично ходить в пролетке командира дивизиона, – прибавил он, кивнув в сторону на подходившего Зедергольма.

Мне вспомнилась старинная олеография: на суде мужик берется за голову обеими руками: «Правда, где ты?» – «Я здесь, только я закормлена», – отвечает ему жирный бас из-под судейского кресла.

Нарушение порядка жизни, скопление лишних людей и лошадей и вызванный этим паралич нормальной казарменной жизни, наконец, известный упадок после большого подъема духа – все это заставило меня внимательно прислушиваться к пульсу нашего существования. А между тем все и каждый по-своему старались использовать лично для себя открывшиеся возможности. Неизвестно почему пища стала ухудшаться; на мои вопросы артельщик, кашевар и каптенармус[81] давали загадочные ответы. С фуражом происходило нечто подобное, но в менее опасной форме. Я решился начать с кухни. В помощь артельщику и для полного контроля я назначил от каждого взвода по одному нижнему чину, на обязанности которого возлагалось не допускать, чтоб хотя ломоть хлеба или фунт мяса исчезали бесконтрольно. На другой же день попался фельдфебель.

Дураку надо было бы обратиться ко мне с просьбой об увеличении пайка, но он бросился к главарю цеха сверхурочных, который донес, что у нас появились выборные лица и т. д. Доложили, что солдаты нашей батареи поют революционные песни и пр. и пр. Утром назначена была проездка всей батареи, когда меня вызвал Зедергольм и спросил объяснения, так как сухой формалист командир 3-й батареи полковник Норкович доложил обо всем герцогу «по долгу службы».

Я вытаращил глаза на все эти обвинения и не мог скрыть своего удивления наглостью людей, занимавшихся шпионажем в чужой части, не замечая, что у самих горят фалды.

Организуя кухню, я следовал примеру Мрозовского, который даже наименовал их (дежурных) «депутатами», и все мы не раз слышали, как он звал «дежурить депутата». Относительно песен я просил его зайти вечером и выслушать весь репертуар, который постоянно приносил нам с собой инструктор пения, казак Его Величества, специально приглашенный нами для этой цели.

Не знаю, подействовали ли эти доводы на герцога, но полковник Шульман, появившийся было после нашего возвращения из Кронштадта, вышел в отставку, а на его место был назначен капитан Свидерский-Пономаревский, офицер

блестящей наружности, но без большого внутреннего содержания. Он был со мною хорош, но мое положение – «из попов да в дьяконы» стало уже неприятным. Вся программа идеальной подготовки заменилась рутиной. Командир дирижировал, распоряжался фельдфебель.

В бытность в Кронштадте мне удалось повидать отца в домашней обстановке. Он очень обрадовался мне. Он никак не ожидал, что в отборном гвардейском отряде в качестве командира батареи явится его родной сын.

От него я узнал подробности событий. Назначенный комендантом крепости накануне Гулльского инцидента[82], он сразу же повысил боевое состояние Кронштадта с 8 процентов до 40.

Стояла зима, и он выхлопотал конный наряд от всех батарей гвардии для постановки минных заграждений, которые расставляли, прорубая лед и в качестве грузов употребляя старинные бомбы, с давних пор бесполезно хранившиеся в крепости. Он показывал мне отзывы английской печати, где взвешивалась возможность атаки Кронштадта, но в заключение предупреждалось, что крепость уже не та, как при адмирале Брылкине[83].

От него я также узнал, что англичане все время снабжают оружием Финляндию, пытаясь иногда выгрузить контрабанду в непосредственной близости от наших фортов, на Лисьем носу. Но что теперь там уже воздвигают укрепления, а также на Красной Горке близ Ораниенбаума. На островки, где помещаются форты, защищающие Кронштадт, уже свезено все необходимое, и они заняты гарнизонами пяти рот крепостного полка, остальные три остаются в Кронштадте.

Относительно мятежа он все время предупреждал высшее начальство, что среди матросов не существует никакой дисциплины. Что это подтверждается постоянными столкновениями солдат с пьяной и разнузданной матросней. Что офицеры, прибывая из плаванья, рассыпаются по вспомогательным учебным заведениям и курсам, разъезжаются в отпуск и что фактически в экипажах остается не более одного офицера, чтоб руководить занятиями и поддерживать связь с матросами. Что матросы не виноваты в режиме, который действует на них разлагающе.

– В данный момент, – говорил он, – за бунт поплатятся простые люди.

Даже о помиловании пятерых главных зачинщиков он ходатайствует на Высочайшее имя, но настаивает на примерном наказании Щнипки и Аладьина, членов распущенной думы,

которые вызвали взрыв и были найдены между досками в порту… Они на коленях молили о пощаде, но когда сюда для их защиты, с разрешения высшего начальства, явились адвокаты, их поведение стало вызывающим и дерзким. Теперь он настаивает на разоружении эскадры. Но моряки сохранили огромное влияние в сферах и всячески противятся этому. Несколько позднее, после Высочайшего завтрака в Петергофе, обходя гостей, Государь подошел к отцу.

– Ну, а теперь у вас в Кронштадте все спокойно?

– Пока на рейде еще стоят неразоруженные суда, Ваше Величество… – ответил отец.

– Ах да, это эскадра Цывинского, – прервал его Государь и сразу же отошел в сторону.

Цывинский был старшим офицером на «Памяти Азова», на котором Николай II, будучи Наследником, совершал кругосветное плавание. Видимо, царь любил его и верил ему. Во время войны в Могилеве он вызвал местного крестьянина Цывинского к себе в Ставку и сердечно отозвался о своем бывшем начальнике.

Но ведь «Память Азова» выкинула красный флаг и вышла в Балтийское море одновременно с тем, как беспорядки вспыхнули именно в тех частях, где служил Государь: в 1-м батальоне Преображенского полка, в 1-й эскадроне лейб-гусар, в 1-й конной батарее.

Крепостной жандарм смотрел на дело иначе.

– Верьте мне, – повторял он при каждом докладе, – Крон штадт – это труп, разлагающийся и гниющий, и когда он лопнет, будет слышно по всей России.

Все, чего удалось добиться моему отцу, это было назначение на усиление гарнизона по очереди одного из полков гвардии при батарее. Когда же все пришло в норму, Великий князь прислал в Кронштадт своего помощника генерала Газенкампфа, а помощником отцу назначили генерала Адлерберга…

К этому рассказу Мария Николаевна[84] прибавила кое-что со своей стороны. В эти дни неминуемая смерть, наравне со всеми прочими защитниками последнего убежища, была бы для нее наименьшим из зол. Комендантский дом находился в углу старого крепостного верка[85], вдоль которого и направлялись атаки.

Позади сада, в полутораста шагах, находился склад 500 пудов пироксилина. Мятежники три раза пытались поджечь его. Отец днем и ночью сидел у подъезда, наблюдая за обороной. В различных концах города горели винные склады, казино, офицерские квартиры. Отец все время докладывал о происходящем. Кронштадт горел три дня, но помощь не

приходила. Тогда Мария Николаевна решилась на отчаянную меру: без ведома отца она обратилась к генералу Адлербергу, который немедленно организовал высадку на косе и явился туда со своим полком по собственной инициативе.

Без полного освещения событий невозможно вынести правильного суждения о происшедшем. К тому же я не считаю себя вправе касаться разбора исторических событий, так как пишу только личные воспоминания и притом описываю все лишь с субъективной точки зрения. Думаю все же, что если б на месте Государя находился Великий Петр, он поступил бы иначе – явился бы в Кронштадт, как снег на голову, и одним своим появлением расколол бы сопротивление и увлек массы за собою. Потом четвертовал бы несколько сот или тысяч бунтовщиков и щедро наградил бы верных и мужественных. Николай I поставил бы на колени первые ряды мятежников и рассеял бы остальных картечью. Но чего можно было ждать от коронованного льва или тигра, было невозможно ожидать от кроткого царя, который обладал всеми достоинствами, кроме талантов кормчего во время бури, и не сумел, подобно Великой Екатерине, ни выбирать, ни удерживать подле себя достойных помощников. То, что он пережил в те дни, было именно то, что случилось на дне – но там подле него уже не было людей.

Через несколько месяцев после описываемых мной событий отцу попалась на глаза статья «Биржевых ведомостей», где радостно комментировался уход «этого самого генерала Беляева, который залил кровью Кронштадт».

Отец тотчас явился с этой газетой к Великому князю Николаю Николаевичу и спросил его, как совместить эту информацию с обещанным ему назначением главным командиром порта и вновь созданной первоклассной крепости Кронштадт.

– А вы читаете эту жидовскую газету? – иронически спросил его Великий князь.

Через две недели та же информация «из высокоавторитетного источника» была повторена «Русским словом».

– Кому же вы верите больше? – последовал ответ. – Газетам или Великому князю?

Но вот в «Новом времени» появилось известие: «На замену генерала Беляева, уходящего в отставку, выехал герой японской войны генерал Н. И. Иванов[86]».

– Да, это верно, – подтвердил Великий князь, – по цензу вы увольняетесь и передаете командование генералу Иванову.

Горе

I could not think where are thou art
Tou hast forgotten me;
But I forgot, then by thy side,
Tou coudst but mortol be!

Montgomery[87]

Наверное, существуют поветрия не только в виде эпидемических заболеваний, они захватывают массы и в других отношениях. Не успел я тайно повенчаться, как выяснилось, что не я один прибег к такому способу разрешения этого жизненного вопроса.

Через несколько дней писари показали мне секретнейший запрос, исходивший от командующего войсками гвардии о предоставлении ему списка офицеров, находящихся в тайном браке. Великий князь сам только что обвенчался без огласки и теперь заинтересовался, кто еще додумался до такого решения.

В бригаде были офицеры, находившиеся в постоянной связи, но женатых церковным браком без огласки не оказалось.

Всем известен брак молодого конногвардейца Биркупского, связавшегося неразрывными узами с певицей Ряльцевой. Как мне говорили, товарищи поддержали его морально, предоставив дамам самим принимать юную чету или уклоняться от этого. Он с женою бывал у моего брата Николая Тимофеевича, своего товарища по выпуску.

Брак был заключен по самой пламенной любви; впоследствии он отдал свою кровь, чтоб спасти ей жизнь. Кто бы посмел становиться между ними в этом случае?

– Маруся, – сказал я однажды, вернувшись домой, – на всякий случай: если ко мне нагрянет неожиданный визит, будь готова.

– А что мне делать тогда, Заинька?

– А вот что: приготовь себе место в гардеробе и, в случае чего, спасайся туда…

Предчувствие меня не обмануло. После обеда мы оставались одни, прислуга побежала за покупками. Вдруг звонок…

– Маруся, спасайся!

Я подошел к дверям. За ними стоял капитан Свидерский-Пономаревский, мой новый командир.

– Ты не занят?

– Нет, нет, как раз кстати… Милости просим!

– Вот, решился нанести тебе визит.

– И прекрасно. Хочешь взглянуть на мое новоселье?

– Какая прелестная уютная квартира! Это столовая?

– Да. А направо мой кабинет. На кушетке всегда спит мой отец, когда приезжает из Кронштадта. Ему нравится, что там села одна пружина, и он уверяет, что эта ямка доставляет ему величайший комфорт.

– Там спальня… заходи!

– О, как уютно! Это портрет твоего батюшки?

– Да, он был тогда помоложе.

– А эта дама?… Какая красавица!

– Это моя мама. Я не знал ее, она скончалась через пять дней после моего рождения.

– Какое чудное лицо! Ну, я ведь только на минутку, пора домой! Я запер двери.

– Маруся!

Моя фея уже выпорхнула.

– Не догадался?

– Может быть, и догадался. Но ведь я не хотел его компрометировать в качестве сообщника моего преступления. Так спокойней и мне, и ему!

При всем нежелании углубляться в решения социальных вопросов, я не могу удержаться здесь, чтоб не высказать моего личного убеждения. Ранее на офицеров не накладывалось никаких ограничений в отношении брака. Мой отец в 22 года женился на 20-летней девушке, имел от нее пятерых детей, и лишь неожиданная болезнь прервала их счастье десять лет спустя.

– Мои дети, – постоянно говорил он, – не получат от меня наследства. Я оставляю им только безукоризненное имя и безупречную кровь.

И это была правда: все врачи, лечившие его потомство, подтверждали это. Но на его детей уже было наложено тяжелое ограничение: в наше время офицеру разрешалось жениться только в 23 года, и то при условии внесения реверса в 5000 руб., как гарантии, что супруги могут жить прилично; в наше время офицеру в 28 лет уже можно было жениться без реверса, но, тогда как прежде для брака требовалась лишь санкция командира, теперь уже требовалось разрешение общества офицеров (суда чести).

Таким образом, правительство накладывало двойную узду на цвет отборной молодежи. Сказать девушке: «Дожидайся меня пять лет», – это значило отказаться от ее любви. Требовать приданого,

значит, надругаться над святыми ее чувствами.

Юноша в 22 года, если он вполне здоров и нормален, должен жениться, иначе его организм будет жестоко страдать. У иных подобное воздержание действует на психику, у других – на сердце. Есть исключения, которые под влиянием беспредельной любви, чувства стыда и чести или глубокого религиозного подъема борются с этим, – но это подвиг, которого нельзя требовать от масс, точно так же, как нельзя заставлять каждого ходить по канату.

В нашем выпуске было 70 молодых людей. Из них девять окончило училище такими же чистыми, как любая их сверстница. Но общий взгляд на нравственность был иной. С казенной точки зрения, училищный врач доктор Николаев в первые же дни поступления прочел лекцию по обращению с проститутками, дабы не захватить болезни. Взгляд его был чисто утилитарный: для изучения серьезных наук необходимо ясное и спокойное мышление; для сохранения душевного равновесия надо жить нормальной половой жизнью. Результаты немедленно сказались: трое захватили сифилис с первого же отпуска. Сколько же переболело поздней? Более счастливые находили разрешение в связи с замужними дамочками – по их мнению, в Петербурге все были «такие». Интимная жизнь остальных мне осталась неизвестной. Но среди молодежи вообще существовало убеждение, что каждому приходится переболеть «детской болезнью» в той или иной форме. Вот что выродило наше поколение! Вот что сгубило наше потомство! Война и революция докончили остальное.

Никакая цивилизация, никакая медицина, ни даже гигиена не восстановят того, что погубило отсутствие духовной культуры, презрение к идеалам, аукцион всего святого ради получения каких-то засаленных бумажек, которыми дьявол дурачит лучшее создание Творца.

Кто получил от этого материальную выгоду, не берусь решать: проститутки, «дамочки», врачи – но государство вместо здорового, хотя и обнищалого поколения получило тысячи венериков, не способных на какой-либо душевный порыв и позабывших стыд и совесть.

Аналогичные переживания происходят и в девушке, немного ранее. В наши времена абсолютная чистота, возвышенное представление о любви, унаследованное от родителей, вера, строгий семейный режим вынуждали некоторых жестоко страдать, уходить в монастырь, даже кончать жизнь самоубийством. Или же, под влиянием опытной матери, девушка шла на компромисс, отдавая свои драгоценнейшие чувства

случайно подвернувшемуся человеку, которого прикосновение заставляло ее содрогаться от отвращения и покидать мечту о своем волшебном принце, который клялся любить ее до гроба и с которым она была бы так счастлива… На помощь приходит Пушкин, которого всеобъемлющий гений находил поэзию во всех мелочах жизни, но колоссальная популярность которого, быть может, основана именно на том, что он писал для масс, и если изображал также и героев, то они скорее являлись декоративными фигурами, но не образами, неотразимо влекущими за собою. Его Татьяна, милая, славная деревенская девушка, заслужила ореол героини лишь одной только фразой: «Но я другому отдана и буду век ему верна…» Но исполнила ли она эту клятву до конца?

Ведь самая лучшая девушка, не испытавшая счастья полной взаимной любви, если первое время и находит себе какой-то «Ersatz»[88] в новизне положения, подходя к роковому для женщины возрасту в 32–34 года, уже не находит себе места.

Если она не встретит любовника, который заменит ей хотя отчасти ее будничного мужа, если не утонет «в развлечениях», то совершенно неожиданно бросится на шею любому хорошо сложенному парню, пока не убедится, что то, что она нашла в нем, так же похоже на любовь, как обезьяна на человека.

Зачем же все это? Разве государству, которое искусственно разводит у себя облагороженные породы животных, невозможно уделить немного внимания на сохранение крови своих граждан, не ожидая, пока все лучшее в мире измельчает и покроется плесенью и жизнь превратит всех нас в двуногих скотов? На закате дней только среди простых людей я видел неиспорченных юношей, которые стрелялись из-за неотвеченной любви, видел девушек, которые честно смотрели в глаза и говорили:

– Не бойтесь, начерно я не пойду замуж!

Счастливым браком можно назвать лишь такой, в котором безграничная и безотчетная любовь, и пламенная страсть сливаются в одну божественную гармонию. С этим счастьем уже ничто не может сравниться на земле. Такая любовь перерождает обоих, наполняет их души небесной радостью, заставляет их забывать все тягости жизни… Чувствовать себя любимым тем самым существом, которое вы любите как свою душу, – что может быть выше этого? Если вы нашли такую любовь, о-о-о! Не щадите для нее ничего! Все остальное – прах в сравнении с неземной радостью обладания. А разве легко встретить подобное чувство на земле?

Какое право имеет человек или даже государство становиться между теми, кому Провидение ниспослало этот драгоценный

талисман, залог бессмертия и небесной любви? Какое оправдание тем, кто ставит препятствия между любящими, стремящимися соединиться между собой навеки?

И если этот исключительный случай упущен, что ожидает каждого из них? Их ожидает полное разочарование. В их голове проносится мысль: «Нет в мире ничего, кроме материального блага. Все эти святые чувствования – увлечение, страсть, похоть, не более…» Нет, нет и нет! Не обманывайтесь. Всеми силами души я протестую против этого!.. Если вы не нашли этого клада, если вы прошли мимо него – виноваты прежде всего вы сами. Виноваты без прощения все те, кто вдохнул в вашу душу яд сомнения и цинизма… Эта небесная любовь, это соединение двух существ во единое тело, во единую душу существует, и сто крат счастлив тот, кто сознает это и прямой стезей идет к этой заветной цели. Это Царствие Божие на земле, это райское блаженство. Нет лучшей доли во всем нашем земном существовании, и только смерть прерывает его… впрочем, ненадолго! Папа часто останавливался у нас. Маруся ухаживала за ним от чистого сердца, вспоминая своих стариков. Он иначе не называл ее, как «моя милая доченька». Ему нравилось все в нашем простеньком хозяйстве, а нам его приезд вносил радостное оживление.

– Мне нигде так не уютно, – говорил он, лаская Марусю. – У вас я забываю все на свете… У вас так хорошо!

Мало-помалу мы побывали у всех братьев. Ближе всех сошлись мы с Мишей и Махочкой. Офицеры иногда заходили к нам, но редко: у каждого было свое счастье. Ранней весною моя батарея опять ходила в Кронштадт. Это дало нам возможность погостить две недели у папы на Пасху. У папы было 20 комнат, прелестный сад, и иногда мы выходили в море на его яхте, купленной у лорда Абердина за 5000 фунтов (он заплатил за нее 80 000).

Не могу не упомянуть здесь одного трогательного эпизода. Через несколько дней после свадьбы мне сообщили, что одна дальняя родственница, Ольга Андреевна Эллиот, была бы очень рада познакомиться с моей женой.

Мы тотчас же отправились к ней и нашли ее во вдовьем доме на Васильевском острове. Она уже потеряла свою старушку мать, и хотя сохранила еще привлекательные черты молодости, но уже очевидно склонялась к закату. Видимо, она немало пережила в жизни. Из ее сердечных слов было ясно, как высоко она оценила нашу романтическую любовь и мое отчаянное решение. Она со слезами расцеловала мою Марусю и тотчас, выйдя в другую комнату, вернулась с узелком, в котором заключалось все ее

девичье приданое: браслеты, броши, серьги.

– Возьмите это, – сказала она, обнимая Марусю. – Быть может, они принесут вам большое счастье!

Последний мой командир дивизиона полковник Зедергольм был хороший и интеллигентный человек. Видимо, Нищенков и еще более Лехович горячо рекомендовали ему меня, так как он вполне доверялся мне во всем и где только мог пользовался мною.

К сожалению, и у него были слабости. Сам бывший паж, он долго командовал гвардейской запасной батареей в Павловске, и между гусарами и стрелками привык к кутежам и безалаберной жизни. Женат он был на скромной симпатичной даме, подруге по Смольному моей сестры. Она бывала у нас в доме, и часто они играли в четыре руки. С ним перевелся и его младший офицер подпоручик Бутовский, которого – после ухода Баклунда в академию – он намечал своим адъютантом.

Но его попытки втянуть наш скромный дивизион в кутежи всегда оканчивались неудачей.

Однажды мы сидели в нашей уютной лагерной столовой.

– Наверное, надвигается гроза, – заметил кто-то, – темно, как в «Аиде» в последнем действии, где жрецы собираются душить Радамеса, а вот и эфиопы идут.

Зедергольм оглянулся в окно и увидел группу цыган.

– Идут… Идут сюда, – ликовал он, – Маруська Танцуй и Шурка Змейка, а вот и их подруга… Вы знаете их? Не позвать ли их к нам в Собрание?

– Как прикажете, но до сих пор у нас бывали только жены или невесты офицеров или их хорошие знакомые.

– Поставить на голоса! С младшего… Бутовский!

– Как прикажете.

Но следующим был стрелок со стойкими традициями.

– Я – против.

– Вы?

– Против.

Дошла очередь и до меня. «– Против!»

Зедергольм поморщился, вынул новенькую бумажку и послал ее Маруське Танцуй.

Но один раз он все-таки отыгрался.

Как-то по соседству к нам зашли два стрелка 4-го батальона. Несколько лет назад они вчетвером приходили провожать нашу 2-ю батарею, уходящую на Восток, – это были адъютант Мандрыка, граф Апраксин и оба брата Притвиц. После этого у нас завязались постоянные отношения. Иногда мы угощали друг друга, они нас русской кухней и французскими винами, а мы их французской

кухней и русскими винами. Они вносили в наш монастырь веселую, безобидную струю беззаботной жизни, рассказывали анекдоты из своей практики, предупреждали о приезде Царя, который нередко ужинал в их батальоне – тогда из-за высокого отделявшего нас забора слышались нескончаемые тосты, сопровождавшиеся криками «ура!» и звуками «Пьяного марша». Оба Притвица, особенно Филофей старший, явились уже под градусом, и нам пришлось тотчас же послать за Pommeric Ser – шампанским их любимой марки…

– Поверьте, не пили целых две недели, – уверяли они со смехом. – Напились мы у гусар до зеленого змия и возвращаемся к себе через парк. Вдруг он толкает меня под локоть: «Ты… видел?!.»

– Я – нет!.. А ты видел?

– Я – нет!

Через две недели не выдержали, опять поехали к гусарам.

– Что вас давно не видно? Ведь вы знаете, сейчас же после вашего визита весь полк выходил по тревоге. Сбежал белый слон, подаренный императрице Чекрабенем, и мы его загоняли всю ночь.

– Слон! Так это же наш слон: чего ж ты уверял, что его не видел?

– А ты-то что мне морочил голову? Я ведь был уверен, что мы напились до белого слона!

– Ну так сегодня выпьем за вашего слона! – Зедергольм ликовал. Видимо, желая создать еще более интимности, он, слегка пошатываясь, начал чокаться со всеми по очереди, предлагая каждому выпить за то, что привлекает его в женщине более всего.

– А вы что находите в ней лучшего? – спросил его Филофей, слегка сощуривая глаз и почесывая свою русую бородку. Ответ Зедергольма воскресил во мне самые циничные кадетские анекдоты.

– А вы? А вы?.. – Старых стрелков уже не было никого, остальные повторяли то же гадкое слово.

– А вы? – он обратился ко мне последнему. – Что вы считаете в женщине самого лучшего?

– Сердце, – отвечал я, не задумываясь.

– Ну, вы!.. Неисправимый идеалист!

В пьяной компании бесполезно было бы отстаивать свою точку зрения.

Но я знал, откуда явилось это презрение у самого Зедергольма. Как-то раз в своем кабинете он показал мне большой портрет, написанный масляными красками.

– Вот из-за нее я пустил себе пулю в сердце, – проговорил он задумчиво. – И этот клок седых волос в бороде остался у меня на память. Но когда я очнулся, жажда жизни охватила меня… Никогда не хотелось мне жить, как тогда! И все из-за нее…

Вот откуда является цинизм у мужчин.

В заключение попойки на мою долю выпала задача доставить в свою семью наиболее пострадавшего, Бутковского. Но бедняга так накачался, что то и дело падал на землю.

– Опять ты свалился, – говорил он мне. – Ну, давай руку. Ох, какой ты тяжелый, да как же ты назюзился… Ну, держись за меня крепче, я как-нибудь постараюсь доставить тебя домой… А куда мы идем?

– Идем к твоей благоверной. Она тебя сразу приведет в чувство.

– А, пожалуй, ты и прав, – согласился он, когда я, наконец, прислонил его к калитке их дачи. – Пьян-то ведь я, а не ты.

Бедная женщина всплеснула руками и положила мужа на кушетку. Он уже совсем присмирел под ее руками. Я помог его раздеть, и она стала отпаивать его всякими зельями… Больно было смотреть на все это!

Они поженились всего несколько месяцев назад. Оба маленькие, прехорошенькие, с румянцем на щеках и блестящими глазами, перед аналоем они производили впечатление игрушечной свадьбы. Никто не мог смотреть на них без улыбки, даже герцог. Хотелось посадить их к себе на колена обоих и любоваться ими. И вот!.. Что за талант обращать людей в свиней, и где та Цирцея, которая умела бы сделать обратное?

На солдат это произвело отвратительное впечатление: «До сих пор между нашими господами офицерами такого не было», – хмуро повторяли они, качая головами. И это был первый и последний раз.

Первое лето мы с Марусей провели в Леонтьевском. Это был единственный случай, что я не был в лагере. Весной следующего года мы урвали месяц, чтоб начать осуществление давнишней мечты и построить хуторок на культурном участке в Красной поляне на Кавказе. Маруся осталась там еще на два месяца. Она приехала в конце лета, и мы сняли дачку недалеко от Бутовских. Я исчезал там все свободное время. Бутовская очень подружилась с нею… Она горько плакала, провожая Марусю на место последнего упокоения… Плакали и все мои близкие!

– Мне легче умереть, – говорила она в последние минуты, – но мой Заинька остается один… что с ним будет?

У тихой пристани. Встреча

Суженого и конем не объедешь.

Поговорка

Оставшись один, я уже не находил покоя. Везде, повсюду я встречал молчаливое участие. Но этого мне было мало… Сначала я отводил душу в разговорах с сестрою, затем с моим милым братом Мишей; оба своими полными веры словами пытались вернуть меня к жизни. Старший брат мой, Сережа, уговорил меня переехать к нему, чтоб в его уютной домашней обстановке я нашел успокоение. Это было и желание Маруси. Она считала его, сухого и сдержанного на вид, наиболее способным прийти на помощь в подобную минуту.

В офицерах я встречал искреннее сочувствие, но нигде не находил столько успокоения, как среди моих солдат. Особо подчеркнутой исполнительностью, вниманием к каждому моему слову, каждому движению они всячески старались выразить то участие, которое светилось в их глазах. Но через год, через два они разойдутся по домам и на смену им придут другие. Товарищи… Я уже знал, что они не будут моими спутниками на всю жизнь. Братья… Но у каждого из них своя семья, свои заботы и огорчения… И я остаюсь один со своей безысходной тоскою… Так жить невозможно! Умереть! Я искал возможность уехать в экзотические края. Парагвайского представителя в Петербурге не оказалось. Мексика, Филиппины и другие страны отказали в приеме иностранцу…

В темный декабрьский день я пошел в почтовое отделение на Саперном, откуда год назад посылал письма и посылки Марусе на Кавказ. Наверху уже все было закрыто, пришлось спускаться вниз. Там отпускали две барышни.

Когда я вошел, я сразу заметил, что одна из них меня узнала. Ее прелестные ручки работали не переставая, но она все время перекидывалась словами с соседкой и не спускала с меня глаз. В ее очаровательном лице было что-то родное, близкое моей душе. Это была та самая, которую я видел раньше наверху, но теперь, в этом освещении и в вечернем туалете, она казалась иной, в ней уже проснулась женщина.

Выходя, я невольно обернулся… до самых дверей она провожала меня сиянием своих глаз и лучезарной улыбкой. Сам Господь посылает ее мне в минуту величайшей душевной агонии!

– Кто эта барышня? – спросил я у бравого швейцара на

парадной лестнице.

– Не могу доложить вам, – ответил он. – Об них все спрашивают, но не велено сказывать. И провожаем мы их с черного хода, потому, извольте видеть… – он показал на фигуры, темневшие на углах улицы.

– Слушай, дорогой! Ты солдат, и ты поймешь меня! Я не случайный волокита и отдам всю жизнь той, которую полюблю. Ни один солдат, ни один офицер моего дивизиона не положит тени на мое имя. Я должен узнать, кто она и где живет, и она будет моею!

– Зовут их Александра Александровна, а живут они на Басковом переулке, в третьем этаже второго дома от Бассейной. Помогай вам Бог, я уже вижу, какие вы будете!

На другой же день без семи минут восемь я шел по Бассейной на встречу… Она!.. Как дикая козочка, в своей норковой шубке со зверьками на шейке летела она к переулочку на почту. Я догнал ее лишь у самого входа.

– Простите, что я осмеливаюсь!.. В котором часу открывается ваше бюро?

– Ах, Боже мой!.. – Она окинула меня с ног да головы радостным взглядом своих лучезарных очей! – Ровно в восемь; я уже опаздываю!

– Одно слово: я не хочу более потерять вас из виду! Вы меня не знаете, но вот моя карточка. Никто не скажет против меня ни одного худого слова. Скажите, ради Бога, где я могу найти вас? Могу представиться вашим родным или хотя случайно встретить вас в театре, на балу, у знакомых?

– Но как же? К родителям – ни за что! А в других местах – я не знаю, когда буду… Но я уже опоздала, простите!

– Но ведь не можем же мы расстаться так и навсегда!.. Где и когда я вас увижу?

– Ну, так и быть! Послезавтра в пять вечера я буду здесь. И она помчалась как серна.

В этот день мы провели на улице целых два часа. Было холодно, и я закутал ей ручки своим башлыком. Мои первые слова были:

– Скажите мне, согласны вы быть моей женой?

– Как же?.. Ведь я вас совсем не знаю!

– Как не знаете? Ведь вот я весь перед вами такой, какой есть! И я знаю вас, и знаю, кто вы, с первого взгляда. Недавно я потерял мою любимую жену, и раз жизнь не покидает меня, я уже не могу оставаться один… Будьте моею! Клянусь вам, я буду беречь и лелеять вас, как свою душу, и никогда не обману вас! Верите ли вы мне?

– Вы знаете, я сама не знаю почему, но я верю каждому вашему слову… Но что скажут другие? Разве они не будут смеяться над нами?

– И пускай смеются, лучше пусть смеются, чем плачут. И мы будем смеяться – от радости.

– Постойте, а как же вас зовут?

– Иваном!

– Ах, Боже мой, ведь моя старая няня всегда говорила, что я выйду за Ивана, только за Ивана, и притом за вдовца, – а эти все не настоящие! Вы знаете, когда я вас увидела год назад, я все старалась узнать, кто вы, я заметила кольцо и не знала, женаты ли вы. Я даже отказала многим, говорила, что буду ждать вас хотя еще год – и вот: как раз год, и вы пришли!

…После этого мы стали видеться уже почти каждый день. Бывали минуты, когда все прошлое вновь ставало передо мною и являлось волновать мою душу. На коленях перед нею я заливался слезами, а она, обдавая меня небесным светом своих лучезарных очей, повторяла:

– Плачь, мой Заинька, плачь, так тебе будет легче! Я понимаю, понимаю все. А мне весело на душе, так как я знаю, что ты мой и ни кто тебя от меня не отнимет!

Однажды я застал ее в слезах…

– Смотри, какое гадкое письмо! Теперь и ты, наверное, от меня откажешься.

За эти дни Аля успела посвятить меня в ее семейные дела: ее отец, уроженец Бежецкого уезда Тверской губернии, в ранней молодости женился на молоденькой красавице Ульяне и бежал с нею в Питер, спасаясь от помещика, сын которого сам влюбился в прелестную крестьяночку. Мало-помалу он разжился, нажил несколько домов на Фурштатской, Сергиевской и на Бассейной, приобрел кирпичный завод на Неве и завел крупную торговлю сеном в родном уезде. Сам он, развитой и начитанный, ходил вольнослушателем в университет и водился с представителями лучших богатых семей – помещиков Хилковых, Забела, Радзивиллов, с которыми сошелся по поставке сена. Брат Ульяны, начавший службу простым моряком, отличился в севастопольской кампании и кончил адмиралом. В семье Захаровых маленькая Аля среди красивых братьев и сестер выделялась необыкновенной красотой и тонкой, благородной душою.

Большую роль в ее жизни играла сестра Захарова, Мария, вдова богатого московского купца Кузнецова, который оставил ей огромное состояние. Она постоянно брала ее к себе, возила не только в Москву и за границу, но даже в Америку, о которой у Алечки хранились яркие воспоминания. С нею она постоянно

бывала в семье графа Стенбока, удивительно благородного и добрейшей души человека, полковника кавалергардов, который, приезжая из лагеря к себе в Ропшу, часто забавлялся с толпой детей, которых Алечка переодевала и раскрашивала индейцами по своему американскому опыту. Кузнецова постоянно баловала ее богатыми подарками и обещала оставить ей свое наследство. В Москве она познакомила ее с блестящим немецким офицером, бароном фон Вальценом, которого прочила ей в женихи. У Алечки в это время было много прекрасных молодых людей, которые жаждали возможности предложить ей руку и сердце. Все ей нравились, все подходили ей по положению, но, даже увлекаясь, она не могла полюбить ни одного из них, тем менее этого немца.

Как только она встретилась со мною, она написала тете восторженное письмо. Каково же было ее огорчение, когда она получила сухой и жесткий ответ, где тетка писала ей, что раз она устроила свою жизнь, не посоветовавшись с нею, то и в дальнейшем не должна рассчитывать на какую-либо помощь, ни на обещанное наследство. Вскоре Кузнецова сама вышла замуж за этого авантюриста и уехала с ним в Германию.

– А ты думала, что я когда-нибудь рассчитывал на твои средства? На кусок хлеба хватит у нас пока что, а Господь пошлет остальное.

Напротив, я рад, что ты будешь любить меня еще крепче, я счастлив уже тем, ты хочешь быть моею.

– Но ведь я и так люблю тебя всеми силами моей души! Однажды мне случилось зайти к моей доброй тете Аде, которая давно уже овдовела и жила лишь своими детьми. Так как времени у меня было мало – я пробирался к моей Але, – я сидел недолго.

– Милый Ванечка, – сказала мне тетя, – ты ведь знаешь, после моих Коки и Зои я люблю тебя больше всех. Мне больно, что ты все еще тоскуешь. Но не печалься, твое счастье за дверями.

Я улыбнулся и полетел к моей Але.

– Одевайся скорее и едем к моей тете! Пора нам начать знакомиться с родными, а она отзывчивее всех и поймет тебя и меня.

Через полчаса мы уже звонили у ее дверей. Вышла Зоя.

– Ах, Ванечка! Наверное, забыл что-нибудь?

– Не забыл, а нашел! Только что твоя мама сказала мне: «Твое счастье за дверями», – так оно и есть, вот оно, мое счастье!

За полурастворенной дверью стояла моя Аля… Стоило взглянуть на Зою в эту минуту. Лицо ее все вспыхнуло, глаза крутились от изумления.

– Постой, я предупрежу маму!

Впечатление, произведенное этой неожиданностью, было невероятное.

– Ах, Ваня, – говорила тетя Адя, – ты всегда поражаешь сво ими неожиданностями… Но в этот раз!.. И где ты подцепил такую королеву? Я даже глазам не верю!

Аля через минуту болтала, как родная. Рядом со мною она чувствовала себя счастливой и уверенной и радостно отвечала на все вопросы, временами поглядывая на меня, как бы ожидая моего одобрения.

– Я и сама не знаю, как это случилось! Мне кажется, что я уже любила его до встречи…

– И я сразу увидел в ней что-то родное, близкое…

– А ведь правда, как она похожа на твою маму! Ну вот, берегите его, у него сердце нежное, любящее, и вы так подходите друг к другу!

Через полчаса мы ушли и побежали домой, весело обмениваясь впечатлениями.

После этого мы решились отправиться к папе. Он устроил так, что мачехи не было дома; сам вышел навстречу, вынес ей маленькое евангелие. Уселся с Алей на оттоманку, и в уютном сердечном разговоре мы забыли и время, и место.

– Какой твой папа прелестный, – говорила Аля, когда мы вы шли, – я положительно в него влюбилась.

К брату Мише мы пробрались через несколько дней. И сестра моя Махочка, и его жена были поражены слишком быстрым ходом вещей, смотрели на меня с негодованием и не могли понять, что Аля спасла меня от отчаяния, и, если б не ее неожиданная помощь, я погиб бы от невыносимого одиночества. Мой добрый Мишуша понимал это, но в присутствии жены не мог проявить обычной задушевности.

Когда мы, наконец, посетили их, в минуту общего разговора вошла Махочка, которая только что была у папы.

– Ну, что сказал папа?

Махочка взглянула на Алю, которая, углубившись в разговор с молоденькой племянницей, не замечала прочих.

– Папа сказал, что она изумительная красавица и немудрено, что Ваня потерял голову. Кроме того, он сказал, что она – живой портрет мамочки.

Лед растаял. Через несколько минут милый Мишуша уже осыпал мою Алю своими шутками и прибаутками, которые делали его таким приятным в домашней обстановке.

– Теперь я уже и в него влюбилась, – говорила мне потом Аля, – и в твою сестру. Какие они все чудные!

После этого мы стали бывать у них постоянно. С прочими братьями мы сошлись уже позднее. А затем Аля повезла меня к своим, которые жили на квартире в Главном почтамте.

Александр Андреевич сразу напустил на меня туману. Как истый коммерсант, он начал выхвалять свой товар. Говорил, что у Али – женихи, все время толпятся графы, и князья, и доктора, и инженеры, но что он свою дочь не отдаст за кого попало. Жена его, уже пожилая, но все же красивая женщина, держала себя совсем просто, но, видимо, я ей очень понравился. Вскоре мы разговорились и вернулись счастливыми.

Аля занимала красивую и прекрасно меблированную комнату. Кроме хозяйского, у нее была своя шикарная никелированная кровать, накрытая роскошным брюссельским кружевом – подарок тети… За комнату она платила баснословно дешево и потому выкраивала себе достаточно на довольствие. Тетя временами дарила ей хорошенькие вещички, и одевалась Аля не без ее помощи. Обыкновенно я приходил к ней после вечерних занятий и заставал у нее одну из сестер или же добрейшего Василия Ивановича Добронравова, который в самый тяжелый момент ее жизни, когда Захаров «лопнул» и все пошло с молотка, устроил ее в Почтамт. Он всегда привозил ей целую корзину чудных фруктов.

– С-с-с-смотрите, Иван Тимофеевич, – говорил он, слегка заикаясь, – вы берете т-т-т-такую чудную невесту… Берегите же ее как зеницу ока, не дайте ей плакать из-за вас. Бог не простит вам этого!

Аля часто говорила мне потом: «Я нередко плакала ради тебя, но никогда не плакала по твоей вине».

Квартирная хозяйка, простая женщина, в ней души не чаяла. Она ревниво оберегала ее от всего, что могло повредить ей, но мне она доверяла вполне.

Хлопоты о свадьбе шли медленно. Надо было раздобыть всевозможные свидетельства, а главное, получить разрешение суда чести, который отвечал за пристойность брака.

С другой стороны, усилились давления заинтересованных лиц. Однажды Аля просила меня зайти немного позже, так как ее уговорили прийти на званый обед.

– Ах, как я счастлива, – повторяла она, когда я вошел. – Ты зна ешь, генеральша Воронянская зазвала меня на обед. Сервировка была роскошная. Подле меня сидел граф Татищев. Он стал расспрашивать меня о тебе: «Так это тот неизвестный, которого мы ждали целый год, не зная, кто он? А если теперь, при виде стольких затруднений он не решится бросить своей бригады ради вас? – А вы? – Я – другое дело! Я сейчас же уйду к принцу Ольденбургскому. – Но и он ради меня пойдет на все!»

И Татищев и Воронянская все время подливали мне шампанского, и у меня начала кружиться голова.

– А если он предложит вам сойтись гражданским браком? – Никогда! Он слишком меня любит, чтоб оскорбить меня такой низостью!

Татищев вынул роскошное бриллиантовое колье:

– Слушайте, вы под угаром, – сказал он, – подарите мне два месяца отсрочки, и ожерелье – ваше! А потом, когда угар пройдет… – Ни за какие бриллианты я не отдам своего жениха!.. Но я опаздываю, он, наверное, уже меня ожидает… Щеки ее горели, глаза сверкали:

– Дуська мой, ненаглядный мой, ни на кого я не променяю тебя!

Мало-помалу все стало налаживаться. Документы удалось раздобыть подходящие; свидетельство об окончании учебного заведения – тоже. Казалось, все подходило уже к концу…

– Торопись, мой Заинька, торопись скорее! К лагерю ты уже должен взять меня с собою. Если я останусь одна, ты видишь, они давят на меня со всех сторон. И потом… И потом… ты видишь, какая я нетерпеливая… Я уже сама не своя!

Дни шли за днями. Наш дивизион в конце апреля выступил в лагерь. Разрешение уже вышло в приказе, но оставались выклички… и, наконец, 20 мая настал желанный день…

По обычаю, я не видел своей невесты с самого утра. Посаженым отцом был В. И. Добронравов, шаферами – мой брат Тима и старый мой товарищ по дивизиону. Собралась вся бригада. Впервые все мы были в парадной форме защитного цвета. Тима поехал за невестой – раньше это делалось в карете, теперь, как редкость, они подкатили в роскошном автомобиле. Я был в сильном возбуждении, маскируя волнение, оживленно разговаривал с гостями. Но вот запели «Гряди, голубица», и показалась моя Аля, как прелестное видение, вся в складках серебристой фаты.

Когда мы рядом подошли к аналою, я заметил, что ее прелестное личико было бело, как перчатка, и свеча танцевала в ее пальчиках. Она смертельно боялась, что кто-либо из ее многочисленных поклонников всадит мне в спину кинжал. Лишь когда раздалось «Исайя, ликуй», на ее щечках вспыхнул яркий румянец, и она засияла лучезарной улыбкой. Всю церемонию проводил мой милый Боб Сергиевский, который то и дело удерживал нас от какого-нибудь неправильного шага и священнодействовал со шлейфом.

По окончании церемонии мы поехали к родным. Захаровы не были в церкви, они благословляли нас на дому. И, наконец, переодевшись, отправились к себе в Дудергоф.

В дивизионе у меня всегда были полны руки работы. Сейчас,

кроме постоянных функций, все время, когда нужна была ответственная стрельба или участие в Высочайшем смотре или маневрах, я командовал то одной, то другой батареей, а то и всем дивизионом. Теперь, сверх всего, на меня возложили работы по постройкам и заведование офицерской столовой. Офицеры других эшелонов платили шальные деньги, и их отвратительно кормили случайные повара. Я взял кухарку, которая со слезами просилась к нам, так как никто не брал ее с дочкой, больной падучей болезнью; она держала превосходный стол с квасом двух сортов, давала по субботам чудные булочки и по воскресеньям – роскошные кулебяки. И все это за 30 рублей в месяц (прочие платили по 45, 60 и 80).

Поэтому добрейший командир дивизиона, полковник Горбачевич, сам предложил мне весь верхний этаж его дачи, включенной в состав лагеря, с отдельным входом и прелестным садом на главную дорогу.

Когда, отдохнув немного в роскошном купе, мы очутились у входа, окруженные толпой наших солдат, и стали подниматься по лестнице, раздалось оглушительное «ура!» и сверху на нас посыпался овес – это поджидали нас офицеры, чтоб еще раз выпить шампанского.

Только в 12 часов ночи, бесконечно счастливые, хотя и утомленные хлопотами и треволнениями, мы, наконец, очутились в нашей крошечной, но чрезвычайно уютной спальне… Вдруг стук в дверь и голос вестового:

– Ваше высокоблагородие. Телеграмма!

– Что такое?

«Желаю самого безоблачного счастья – Огоновский – Подать в 12 часов ночи 20 мая».

Милые, невозвратимые дни, часы, минуты… «Я вижу, – говорил мне мой добрый старый дядя Николай Михайлович[89], – что вам самим Провидением предназначен особый путь. Не волнуйтесь ни о чем: “Les marriages font dans les alerte[90]”». «Твое счастье за дверя ми», – твердила мне тетя Адя.

Бабушка, прожившая 55 лет с мужем и вскормившая 12 детей, повторяла: «Как может Толстой хулить брак, когда это самое лучшее в нашей жизни!»

Милые светочи, освещавшие первые шаги мои на тернистом жизненном пути! Как глубоко безошибочны оказались ваши святые слова…

Какое неизъяснимое блаженство чувствовать, что ты не один, что есть кто-то, для кого ты дороже всего в мире, кто, просыпаясь, встречает твой взор полными любви глазами и повторяет: «Как я счастлива… А мне приснилось, что это всего лишь волшебный

сон!» И, засыпая в моих объятиях, шепчет: «Нет между нами никаких преград! Сам Господь соединил нас воедино – такое счастье возможно лишь только в раю…»

Утром, любуясь чудной панорамой Дудергофского озера, мы переходили от одного воспоминания к другому и сделали целый ряд открытий.

– Вы жили на Вороньей горе? Наверное, ты ходила за водой к Дудергофским ключам? Так я тебя видел тогда еще девочкой-подростком.

– Конечно! Я заплетала тогда две косы и была очень худенькая.

– Так это ты и была! Когда я увидел твое прелестное личико с большими темными глазами и густыми бровями, я сразу подумал: «Если б я только мог знать, что ты будешь моей, я не искал бы другой!»

– Да, а потом мы жили на Кавелахтах…

– И там я помню тебя! Ты бежала вверх по улице и звала бывшего с тобой мальчика: «Коля, Коля, не отставай от меня!»

– Ну, конечно, это были мы с братом.

– Так значит, вы жили в Кавелахтах? Поздней осенью мы проходили как-то там на проездку. Дачи уже пустовали, лишь в садике перед маленькой дачкой сидела совсем юная барышня с книжкой на коленях, поглядывая на нас своими большими темными глазами… Вдруг порыв ветра, ее розовенькое платьице облаком поднялось кверху, и она, закрывая руками пылающее личико, помчалась на дачу.

– Это была я! Ах, как мне было стыдно тогда, ведь все меня видели! А вот по этой дороге, кругом озера, мы ходили на Фабриканку в торговые бани. Как-то раз, как только мы собирались свернуть в улицу, мимо нас на красивом коне пронесся молодой офицер: «Алька, Алька, – закричала моя сестренка Катя – она всегда все видела и замечала, – смотри, смотри, что он делает!.. Сумасшедший, он разобьется…»

Катя побледнела, и ей стало дурно: «Перескочил, перескочил через этот страшный ров… Вот он уже несется по дороге на Военное поле…»

– Это был я! Я садился на коня перед собранием и едва занес ногу в стремя, как мимо пронесся элегантный кабриолет с двумя шикарными дамами. Скакать за ними по дуговой дороге было бы неудобно, перегонять еще хуже. Я пошел напрямик.

Два дня назад по тому же пути проскакал начальник кавалерийской школы полковник Кайгородов, тренировавший своего кровного коня. Вообще, я избегал брать барьеры, желая всеми силами сохранить идеальные ноги моего скакуна. Но тут

меня захватило, и я широким галопом понесся на препятствие. В темп галопа он взвился на невероятную высоту и махом перенесся через ров… Прыжок был так размерен, спуск так эластичен, что я не почувствовал толчка. Поравнявшись с кабриолетом, я отсалютовал в ответ на восторженные улыбки дам и помчался далее на Военное поле.

– Так вот я и не догадывалась тогда, что мимо меня пронес лось мое счастье! Потом на Дудергофском вокзале, где мы провожали Гугочку Бере перед отъездом в Маньчжурию, Катя подозвала меня: «Вот, смотри, тот офицер, который сделал такой сумасшедший прыжок». Но пока я оглядывалась во все стороны, ты уже исчез.

– Глаза большие, а ничего не видит, – говорила потом Катя. Однажды утром она проснулась какая-то совсем особенная. Глаза ее сияли каким-то чудным светом. Сидя на постели в своем матине и легких туфельках, она удерживала меня за рукав мундира:

– Не уходи, Дуська мой, я хочу рассказать тебе, что я видела во сне. Я видела, что сижу на той скамеечке, что ближе всех к домику Петра Великого, на вершине Дудергофа. Вдруг ко мне подходит твоя Маруся, такая светлая и радостная, обнимает меня и говорит: «Ну вот, я отдаю тебе моего Заиньку!.. Береги его…» И я проснулась.

– Но как же ты узнала ее? Ведь ты ее никогда не видела!

– Нет, нет, мы были знакомы; когда я гуляла с Гугочкой перед его отъездом на войну, я часто встречала ее. Она жила на шоссе на даче Иголкина и, когда я проходила, всегда говорила мне что-то приятное. Однажды она сказала мне, что она безумно счастлива, что у нее такой чудный жених офицер.

Шел дождь, и я дала ей зонтик, чтоб добраться к себе.

– Так это про тебя она все мне рассказывала? Ведь она мне показывала твой зонтик и сказала, что ей одолжила это «одна чудная дамочка» и что она желала бы, чтоб я представил тебя ей… Но почему же ты раньше ничего не говорила мне об этом?

– Я видела, что с переездом в Дудергоф на тебя вновь нахлынули воспоминания, и не хотела волновать тебя. Но теперь ты должен успокоиться. Она сама соединила нас своей любовью.

Скамейка под домом Петра Великого была та самая, на которой впервые сидели мы с Марусей в наше первое свидание.

– Видишь, как все чудесно! Мы самим Богом предназначены друг для друга… Ну, а теперь ступайте, – добавила она, улыбаясь, – можете ехать в Петербург, но помните: на ходу с трамваев не прыгать, на барышень не засматриваться и не забывать вашей Альки!

Так вот что значат товарищи и дружба! Вот к чему приводит незапятнанная, безукоризненная служба, покрывшая блеском родную часть, ставшую недосягаемым образцом для других: без минутного колебания бросавшуюся на спасение попавшего в мышеловку монарха, на выручку охваченной пугачевщиной крепости, щита столицы!

Среди недавно попавших к нам офицеров нашелся один, который, болтаясь среди гуляющей по Дудергофу толпы, наткнулся на сведения о семье, в которой провела детство моя Аля.

Его не затронуло то, что Долгорукие и Татищевы доискивались ее руки, что ее сердце не тронулось ни блеском короны наследника сиамского престола, ни бриллиантами, ни золотом и что она отдала его простому офицеру, которого полюбила с первого взгляда, которого ждала, как обещанного ей Богом спутника всей жизни.

Ему нужно было докопаться, что когда-то, в минуту полного отчаяния, потеряв все нажитое богатство вследствие временного банкротства отечества, вызванного войной, проигранной малодушием выродившейся интеллигенции, глава этой семьи был вынужден схватиться за первое, что попалось ему под руку, и стоять за прилавком своего буфета…

Когда мне бросили это в лицо те самые, которые годами жили в обществе случайных подруг, отдавались за деньги, не брезгали чужими женами, я предложил поединок неизвестному доносчику. И когда мне было отказано в его имени, снял мундир, предпочитая любовь верной жены фальшивой дружбе.

Когда я сошел с крыльца и сел на коня, в соседнем полку раздались звуки марша – это было мне прощальным приветствием.

– Прощай, мой верный товарищ, – говорил я, в последний раз трепля по шее моего неразлучного друга. – Прощайте и вы, дорогие! Передай им, – сказал я ординарцу, – мой последний горячий привет. Они уже не увидят меня более!

– Мы давно знали все, – отвечал мой вестовой, – это все из-за нас!

– Алечка! Под нашими ногами раскрылась пропасть!.. Но Господь нас не оставит. Мое имя блеснет еще раз среди тех, кто никогда более не удостоится моего рукопожатия!

Узнав от Сережи о происшедшем, Великий князь Сергей Михайлович вызвал меня к себе.

– Я беру вас в свое управление. Но не волнуйтесь. Вы будете командированы в Артиллерийскую школу, и затем я дам вам лю бую батарею. Я знаю, вы отличный работник, вы везде найдете

себе будущее!

Перелом

По возвращении с Кавказа мы сняли прелестную квартиру в пять комнат на Заротной улице, в самом центре моих родных. Обставили ее очень уютно и радовались на свое счастье. Так как у нас оставалась еще одна, совершенно лишняя комната, в ней поселилась, по особой рекомендации, мадемуазель Мачинская, серьезная девушка, кончавшая инженерные курсы. Она нам нисколько не мешала, работала целый день дома или на курсах и придавала семейный уют. Достали хорошую прислугу и завели чудного породистого фокса, оживлявшего квартиру в мое отсутствие. Когда я возвращался домой, я всегда приходил в восторг при виде моей Али, в своем легком платье сидевшей на низком диванчике зеленого гарнитура с беленькой собачкой у ног. Вечера мы почти постоянно проводили у Мишуши, в доме Гарновского, где, кроме его семьи, жила сестра Махочка с дочерью. Иногда ездили к тете Аде, к другим братьям или к папе. Но насколько папа очаровал мою Алю, настолько мачеха сразу же заставила ее насторожиться.

В первое же свидание она задержала Алю у себя в спальне и долго с ней разговаривала. От нее Аля вышла расстроенная, сразу собралась домой и, когда мы очутились на улице, резко обернулась ко мне:

– Может быть, и вы такого же мнения?

– Какого?

– Как ваша мачеха?

– Не думаю! Ведь ты уже давно могла заметить, что все мы относимся к ней более чем сдержанно. В семье нашей мамы всегда господствовали особые взгляды.

– Ну хорошо… Знаешь, о чем она мне говорила? Она начала внушать мне, что жена бедного офицера и сама должна уметь подработать себе на тряпки и на другие вещички, а не висеть на шее мужа и его родных. И, если понадобится, посодействовать его карьере, суметь завести отношения с его начальством и обеспечить ему будущее.

– Какая низость! Аля моя, неужели ты могла думать, что я придерживаюсь подобных воззрений?

– Я и не думала… Но меня взорвали ее слова. Разве в вашем доме говорилось что-либо подобное?

– Никогда! Но и все мы, дети нашей мамы, глубоко презираем эти взгляды и держим себя корректно с мачехой только ради папы.

– Ну, тогда я уже тебе во всем признаюсь: я была в Перинной

линии, разглядывала новости, вдруг слышу за спиной мою фамилию. Я насторожилась.

– Вы говорите, младший сын Тимофея Михайловича? Этого не может быть! И сам он, и все его сыновья – краса и гордость гвардейской артиллерии, а младший – я знаю его кадетом – это эмблема чести. Я не знаю, кто с ним сравнится в благородстве души.

– Но все говорят об этом браке… Он только что женился в самой романтической обстановке, и у нее нет никаких средств. Вот они и придумали эту лотерею.

– Но я ручаюсь вам, что он не такой человек. Ни сам не пойдет на аферы и не допустит, чтоб его жена подпадала под чье-либо влияние. Это – принц. У Тимофея Михайловича есть дети от второго брака, быть может, кто-нибудь из них и пошел по следам матери».

Я обернулась на говоривших и встретилась глазами с мужчиной. Его лицо было мне знакомо, по-видимому, и он узнал меня.

– Во всяком случае, я против благотворительной лотереи с коммерческим интересом», – сказала дама, прощаясь.

Мужчина обернулся ко мне:

– Простите меня, но я уверен, что мы знакомы, – сказал он, снимая шляпу. – Я – Иван Николаевич Калачов, управляющий делами Великого князя Михаила Николаевича. Не могу только догадаться, где я вас видел.

– И я вас узнала, – отвечала я. – Но незачем далеко ходить, мы познакомились в доме Беляевых, я ведь жена Ивана Тимофеевича.

– Ну, в таком случае от души и вдвойне поздравляю вас обоих. Вы можете гордиться своим мужем, а он – своей прелестной женой!

Как я была счастлива услышать это про моего принца!

Канцелярская работа была совершенно неутомительна. Я приходил на службу к девяти, уходил в три и еще уделял 20 минут на завтрак. Я познакомился с состоянием нашего вооружения до японской войны, с ходом перевооружения, с отчетами военных агентов и резолюциями министров, но ответственности я не нес никакой. Бывал с поручениями в других министерствах и вошел в курс государственной машины со всеми ее недостатками. Но лично меня это не затрагивало, не ставило в постоянный конфликт с начальством или товарищами.

В три часа я ехал домой, как школьник, вырвавшийся на свободу, к моей милой, которая уже ждала меня в уютной гостиной зеленого бархата, с беленьким фоксиком на коленях,

всегда с каким-нибудь сюрпризом.

– От Богуславских приглашение на «Снегурочку». Сегодня в Мариинском театре они сняли ложу и приглашают нас и своих племянников, Балюков.

Николай Аристархович Богуславский был заслуженный профессор во всех высших технических заведениях. Жена его очень любила меня с детства. Балюк был мой товарищ по скамейке. Он женился на очень милой, красивой барышне, бросил службу и достал себе место в Институте путей сообщения. Его маленькая дочка была идеалом дяди. А нас стали все время приглашать к старикам, которые жили в своем роскошном доме на Каменноостровском, или к Балюкам, где собирались их друзья.

Я никогда не бывал в балете. Даже в балетных интермеццо я не смотрел на сцену, так как отлично понимал, куда все это гнет. Но теперь, рядом с моей «Снегурочкой», ничто уже не могло меня смутить.

И вот мы сидим все вместе, рядом с литерной ложей, молодые дамы спереди, старики за ними, а мы с Балюком позади, в глубине. Впереди нашей ложи, в переднем ряду, – три александрийских гусара. Они стоят, пока поднимут занавес, и один из них все время поглядывает в нашу ложу.

В антракте дамы выходят в фойе. Исчезают и гусары. Все являются как раз к поднятию занавеса. Во втором антракте – та же картина. Дамы появляются уже в темноту.

– Зайка, Зайка, – шепчет Аля. – Обрати внимание на этих троих в первом ряду, – ее голос дрожит от волнения, щеки пылают.

– Да, у этого – посередине – удивительно знакомое лицо. Он странно напоминает портрет твоего первого жениха, Гуго Бере.

– Правда. Но это невозможно. Я ему отказала. Он уехал на вой ну, там был убит… Я плакала о нем, ездила на Стеклянный завод молиться за него… А теперь… но, Боже сохрани, не думай заговаривать с ним.

Спектакль кончился. Все мы двинулись к выходу. Но ведь надо же узнать, он ли это?

– Нет, нет, ради Бога…

Перед выходом – все трое выстроились в шеренгу. Я оставил дам и прямо подошел к старшему из них.

– Скажите, ротмистр, не вы ли павлогвардеец Гуго Бере, про которого мы слыхали, что он убит японцами?

– Я самый! Но, слава Богу, я был только ранен…

– В таком случае, разрешите представить вас вашей старой знакомой.

– Маленькая Шурочка, вы совсем не изменились!

– Так уж позвольте просить вас завтра на обед, чтоб не стоять здесь на сквозняке. Наверное, у вас найдется, что вспомнить.

…После обеда я удалился к себе в кабинет и оставил Алю со своим гостем. Через полтора часа он откланялся, чтоб возвратиться к себе в Ломжу. Он говорил, что при выходе из театра они решили взять лихачей, чтоб во что бы то ни стало узнать, что и как с Алечкой и где мы живем.

– Гугочка уже не такой, как был, стал застенчивый и деликатный. Он сознался, что после моего отказа он стал другим… А теперь все прежнее вспыхнуло в нем: «Я знаю, что я негодяй, – говорил он мне, – что я плачу подлостью за благородство вашего мужа. Но… скажите мне одно слово, и я увезу вас с собой навсегда!»

– Для меня нет другого, кроме тебя… Мы сделали ошибку, что пригласили его. Он не заслужил этого.

Через несколько дней мы опять получили от Богуславских билеты на концерт в пользу 2-го Кадетского корпуса в зале Армии и Флота. Алечке заметно недоставало обычных в ее прежней жизни балов и концертов, и она радостно торопила меня. Приходим к самому началу и занимаем места. Ал. Ив. Богуславская уже сидит в третьем ряду, слегка покачивая головою в такт музыке. Заметив нас, она пробирается к Але, садится около нее на пустое место и делится с нею своими впечатлениями.

– Как вам нравится этот квартет? Не правда ли, какие они изящные!

– Правда, все как на подбор.

– А которая вам нравится больше других?

– Та, в розовом… Она, по-моему, самая красивая и симпатичная.

– А вы не знаете, кто это?

В эту минуту я от души пожелал и ей, и мандолинисткам со всем концертом провалиться сквозь землю.

– …Разве Иван Тимофеевич никогда не рассказывал вам, что в нашем доме он познакомился с мадемуазель Медем, и, видимо, они очень понравились друг другу – но потом, не знаю почему, все разошлось. Вы не знаете, почему?

– Нет… я ничего не слыхала об этом!

В сущности, дело было очень просто. Мадам Богуславская искренно желала видеть меня супругом своей молоденькой гостьи, на которую я произвел впечатление. Мне нравился ее восточный тип, она только что кончила институт в Полтаве с первым шифром и была полна самых розовых надежд. Но я совершенно не знал жизни, кровь бурлила, и все толкало на решительный шаг. И в то же время что-то отталкивало меня…

Иногда я чувствовал, что не буду в силах приковать себя к ней…

Я бывал у ее дяди, приглашал ее с подругой и тетей кататься верхом у нас в манеже. Провожал их на железную дорогу с цветами… До поцелуев у нас не доходило; я тогда считал, что первый поцелуй принадлежит мужу. Оставалось познакомиться с ее родителями.

– Мой папа немец, мама русская, а сама я хохлушка, – часто говорила она мне.

Но выяснилось, что отец ее был еврей, старый врач Полтавского кадетского корпуса, добрый и прекрасный человек, но кровный еврей.

Впоследствии, во время Гражданской войны, я заметил, что еврейские девушки находили во мне что-то, что вызывало в них искреннее и притом вполне бескорыстное влечение ко мне. Несмотря на всю разницу в положении и воспитании, я глубоко ценил эти искренние порывы и, со своей стороны, платил им искренним признанием их достоинств. Не раз выручал я их и их семейства от возмутительного отношения со стороны разнузданных негодяев, вызванного расовой ненавистью, подогретой корыстолюбием. Но все это – лишь в границах рыцарского обета защиты невинности от гнусного насилия. Я отдавал себе отчет, что вальтерскоттовская Ревекка стояла несравненно выше его бесцветной леди Роэны, но, подобно Айвенго, готовый на все ради ее жизни и чести, я никогда не мог бы назвать ее своею. Что же я мог бы ответить на вопросы ее близких? Передо мною она была святая, я открыто признавал это. В свое оправдание я мог привести лишь, что во всем виновата моя опрометчивость, что я глубоко преклоняюсь перед ее совершенствами и готов понести любое наказание.

– Смотрите, как я вас проучила, – говорила моя Аля, спускаясь по лестнице по окончании бала. – Я ни минуты не сидела, и вот мои трофеи… Ее руки были полны цветов.

Я глубоко чувствовал себя виноватым, но не перед нею… Когда мы вернулись домой, все недоразумения уже были забыты.

– Она действительно очень хорошенькая, – говорила Аля, – мы там с ней познакомились. Не сердись на меня, Заинька, я вспылила, меня уж очень подзудила Богуславская. Я ведь все это слыхала от тебя, не хотела только говорить с ней об этом… Но мне было очень весело. Вокруг меня все крутились, не хотели отходить. Поднесли массу цветов, а Николай Аристархович – самый большой букет – было чудесно!

Николай Аристархович вскоре еще раз отличился. Он вообще был большой чудак: раз, по капризу внучки, снял для нее целый трамвай, «чтоб покататься вдвоем». Другой раз мы ужинали у

Балюков. Вдруг он подходит и шепчет на ухо Алечке: «У вас теплая шубка? Да? Ну, я пригласил несколько троек, поедем на острова».

Головокружительная быстрота коней, мчавшихся вихрем под голубой сеткой, под звон бубенцов, шикарный кучер в шапке с павлиньими перьями, сверкавшие бриллиантовой пылью деревья и берега, – все это промелькнуло перед очарованными взорами наших дам. И когда, наконец, мы очутились в нашей теплой уютной спальне, с Джилькой, радостно прыгавшей перед нами, чтоб лизнуть в лицо свою хозяйку, мы еще сильнее почувствовали уют домашнего очага и невыразимое счастье остаться вдвоем.

– Ах, Зайка, как хорошо! Джилька, дай мне раздеться! Какой он славный, Николай Аристархович! Джилька, не сумасшествуй! Зайка, ведь он все сделал только для меня, он знает, чем меня побаловать!

Но на Пасху старик превзошел самого себя. Я делал визиты, а Аля нежилась в кровати. Вдруг звонок… – визит! Она едва успела накинуть матине… «Скажите, что еще спят!» Но любопытство толкнуло ее к окну; внизу, подле швейцарской, стоял Николай Аристархович в шубе и с шоколадным яйцом невероятной величины в руках, тоскливо поглядывая на наш балкон…

– Заставили меня подняться второй раз на шестой этаж, – бормотал он, христосуясь, – правда, я к вам первой!

Пасха была ранняя; с заиндевевшей бородой и усами и с колоссальным яйцом в руках, он казался точным воплощением Деда Мороза.

В Петербурге весна приходит быстро. В начале апреля уже все говорит о ее приближении. Снежная пелена, широким саваном прикрывающая величественную Неву с ее бесчисленными разветвлениями, начинает терять свою белизну; лед синеет, местами дает трещины и, наконец, приходит в движение, ломая и унося с собою временные мостки. Нева тронулась. Река оживляется, на ней появляются ялики и мелкие пароходы. По улицам слышится смолистый аромат тополей.

В более пустынных кварталах, там, где начинает пригревать солнышко, из-под снега уже журчат ручейки; приходится выбирать дорогу в тех местах, где дворники уже успели отгрести снег своими деревянными лопатами. Звонко поют петухи. Временами становится жарко.

С удивленьем видит бард: Этакое чудо – Шубы движутся в ломбард, А пальто – оттуда…

Но весна капризна. Снова дует суровый ветер, настают холода… правда, уже ненадолго.

Неожиданно на бирюзово-синей Неве появляются

белоснежные обломки льда, целые ледяные поля. Это двинулся ладожский лед.

Одна за другою, огромные льдины перегоняют друг друга, лезут одна на другую и заполняют всю реку белоснежными обломками. Все снова кутаются в меха – но уже чуется победа весны: река свободна, ее плотно ослепляет яркой синевою.

И, наконец, выставляются зимние рамы. В квартиру врывается струя свежего воздуха, шум и стук городских экипажей, отдаленный звон церквей… Дрожки уже везде сменили санки, и пешеходы спешат во всех направлениях в легких пальто и весенних костюмах. Вот она, наша северная весна!

Sun is shining, ice is broken,
Bright's the sky and melts the snow,
And in human heart's awoken
Love of life and you and hope.[91]

– Зайка! Куда мы поедем? Ведь тянет в поле!

– Мне рекомендовали хорошенькую дачку на берегу, в Финляндии.

– Где именно? Я там бывала с тетей.

– В Оллиле. Там, говорят, скромно, тихо и недорого. У самого берега.

– И Джильку заберем?

– Разумеется!

Сказано – сделано. Вот мы уже на даче. Каждый день в четыре часа я уже дома, как истый дачный муж, до небес нагруженный пакетами. К поезду выходит Аля с собачкой на цепочке.

– А здесь очень мило! Все такие любезные! Тут рядом живет твой товарищ, высокий, красивый, с женою. Представь себе, у него такой же фоксик на цепочке. Он мне прямо навстречу, наши собачонки сцепились, начали играть, перепутали цепочки… Едва их разняли. Он покраснел, и я – тоже. Пришлось познакомиться, его фамилия Энден[92], жена его Боткина. Он даже твой родственник…

– Ну, вот тебе и знакомство… А это что за девочки?

– Ах, это мои маленькие поклонницы, Муся и Рита. Как только я выгляну, они уже начинают: «Дуська из голубой дачи, Дуська из голубой дачи!» Все время меня встречают и провожают. Уже на бегу кричат: «Моя ручка правая, моя ручка левая». Их папа бельгиец, а мама итальянка. Они перезнакомились со мною, обе такие славные и красивые. Но пойдем на пляж; очень холодно, мало кто купается, но теперь все гуляют, любуются на закат. Рядом Сестрорецкий курорт, многие заходят сюда.

На пляже разгуливали тепло закутанные дамы и мужчины в пальто. Только, видимо, чтобы не забывали, что это курорт, появилась дамочка в трико без малейших признаков платья. Ее окружала толпа поклонников. Подбежали Муся и Рита:

– Дуська, а ваш муж тоже привез конфет? Папа по субботам всегда привозит маме огромную коробку шоколада, мы уже знаем, что это значит. Дуська, когда мы будем уходить, выгляните из окошка!

– Ах, Зайка, в другой раз не забудь привезти масла. Я всюду спрашиваю чухонского масла, а они в ответ: «Тут нет чухон, тут только благородные финны». А напиваются хуже русских, вечером все ходят пьяные.

В августе мы уже были дома. «В гостях хорошо, а дома лучше». Это сейчас же почувствовали мы, когда, возвратясь в милый Питер, на нашу уютную квартирку, снова повидали всех родных и знакомых.

У Богуславских на званых обедах все было поразительно вкусно и прекрасно сервировано, и в то же время просто и патриархально. Собирались молоденькие племянники, которые потом «совещались» с тетей о своих нуждах, и два-три юных супружества – непременно Балюки с их маленькой дочкой, любимицей старика, садившейся рядом с «дедуськой» и поглощавшей все его внимание. Вначале Александра Ивановна наливала до краев полную тарелку борща и, поднимаясь, подносила ее мужу. Потом уже разносили гостям, и начинался общий шумный разговор.

В доме Марии Николаевны все было совершенно иначе. Впоследствии, уже на войне, я встречал ее гостей, которые удивлялись ее умению вести салон и едва заметно ставить каждого на свое место. «Мы прямо поражались, как ваша bellemere[93] умела держать себя с гостями – совершенно как Екатерина Великая».

На вечерах, перед ужином, нередко появлялись артисты, исполняющие под рояль красивые сольные номера и потом садившиеся за стол вместе с гостями. На больших обедах все было строго по этикету. Высочайшие гости (герцог Макленбург-Стрелицкий) помещались во главе стола. Вся столовая и салон были переполнены, и «свои» уже оставались в запасных комнатах. Там было непринужденно, были все близкие и родные. Когда все вставали, гости перемешивались между собою, и можно было встретиться с интересными людьми.

– Очень, очень рад познакомиться с супругой Ивана Тимофеевича, – говорил мой двоюродный брат Михаил Алексеевич Беляев[94], подходя к ручке моей Али. – Вы знаете,

ведь вы как две капли воды походите на первую жену Тимофея Михайловича. Какое сходство! Ведь я ее отлично помню, я был тогда уже почти взрослым. Всегда буду рад вас видеть у себя.

Это очень пригодилось впоследствии, когда он был назначен на высокие должности и в конце войны – военным министром. Обыкновенно сухой и черствый, он всегда отлично принимал мою Алю и при случае всегда находил для меня слова привета.

Вторая зима пролетела еще скорее первой. Как часто мы теряем время, а когда оно уже пробежало, зовем его назад!

К постоянным свиданиям с родными, вечерам у Богуславских и Балюков присоединились и еще новые друзья. Между ними первое место заняли наши милые соседи по Оллиле: супруги Гендрике и их прелестная дочурка. Родители были горячими патриотами России: «Если б вы знали, с какой радостью мы вернулись из-за границы после долгих лет, проведенных там, – говорила мадам Гендрике. – Я готова была броситься на шею к жандарму, когда он звякнул шпорами и потребовал наши документы. Здесь все открыто, все нараспашку. А там мы задыхались, как замурованные в душной комнате…»

Появились и товарищи по артиллерийской офицерской школе, каждый уникум в своем роде: пожилой подполковник Дмитриевский, живой портрет армянского католикоса, женившийся в Риге на красивой толстой немке, которая не давала ему дышать своей ревностью; барон Таубе – по наружности точный слепок с императора Александра II, раб своего режима, которым он вызывал постоянные шутки товарищей; моложавый Бекеша, попытавшийся приволокнуться за нашей голубоглазой Анелей, которая потом не давала ему покоя, бросая на него негодующие взоры, пока не заставила покинуть поле сражения.

С переездом в Лугу, где мне надо было участвовать в стрельбах; мы сняли хорошенькую дачку в сосновом лесу неподалеку от брата Сережи, с которым поселились и Махочка с дочерью, так что Аля все утро гуляла с ними вместе. А напротив остановились офицеры 5-й конной батареи, которые, как только возвращались с поля, подходили поболтать к окошку нашей дачи.

Подъезжаем и мы с нашим веселым руководителем тактических поездок капитаном Савченко-Маценко:

– Петушок, петушок, золотой гребешок, – провозглашает он, – масляна головка! Выгляни в окошко, дам тебе горошка!

– Вы посмотрите только на Соловьева, – вторит Кологривов, толкая в бок своего товарища, – за какие-нибудь полчаса ожидания он уже вот какую дыру прогрыз в заборе.

Как-то Аля проговорилась, что хотелось бы сварить земляничного варенья, а она городская и не знает, как

приступить.

– Я знаю, – говорит Соловьев.

– Вы только посмотрите, какие он наливки изготовляет, – подтверждает Кологривов. – Вчера заезжал князь Масальский, он только повел носом, сразу догадался: «Эх, Соловьев, это вы!»

А у него под столом стоит пять огромных бутылей, и одна лопнула. Соловьев на самом деле взялся за варенье.

– Вот когда кончу, скажу вам один фокус.

– Ах, скажите сразу.

– Ну как, вам нравится?

– Превосходно! А в чем же загвоздка?

– Да я ведь и сам-то в первый раз варю варенье… Это я по наитию!

Как-то раз я немного опоздал. Аля – вся в слезах – бросилась ко мне навстречу. В руках письмо.

– Так вот вы какие! Вся Луга знает об этом, а я узнаю последняя!

– Что такое? Дай письмо!

Действительно: «Негодяй муж вам изменяет каждый день, вся Луга знает об этом!..» – без подписи. – А конверт? «25-я Конная батарея, получить жене повара такой-то…»

– Покажи, покажи. Не может быть!

– Ну, читай сама – при чем же я тут?

– Ах, Зайка, Зайка, я ведь проплакала все утро…

Другой раз наши вернулись с прогулки по городу под сильным впечатлением от инвалида, сидевшего за прилавком. Его покусала моровая муха, и ему отняли обе кисти.

Вдруг слышу: «Ах, смотри, меня укусила сюда желтая муха. Что ж я буду теперь делать?»

Мы тотчас приняли все меры. Продезинфицировали палец нашатырем, приложили спиртовой компресс. Послали за доктором, а он не едет. Побежала прислуга, а его все нет. На помощь пришли соседи, послали конных вестовых… Наконец появляется врач: «Пустяки, барынька, не плачьте, опухоль уже спадает на глазах… Постойте, я переменю компресс, и будьте спокойны. Ведь вы уже не чувствуете боли, не правда ли?»

Доктор получает гонорар и садится на извозчика: «Ну, успокойтесь, все фальшивая тревога».

Подъезжает еще извозчик: «Спасибо, доктор, уже все. – Слава Богу. – Позвольте внести вам гонорар».

На горизонте виднеется еще извозчик, который наводит справки о больной; я как сумасшедший бросаюсь к нему навстречу.

– Ну и денек!.. Перезнакомились со всей Лугой!

В субботу едем провожать своих на вокзал. Слышу за спиной: «Ах, это моя симпатия, я полюбила ее с первого взгляда. Смотри, какая хорошенькая! – Это которая? – Ах, это та дамочка, которую муха укусила!»

Кавказ издавна привлекал мое воображение. Когда, больной и замученный постоянными треволнениями в моих отношениях с Басковым – я вынужден был искать спасения в перемене обстановки, я нашел его на Кавказе.

С тех пор Кавказ стал мне второй Родиной. Когда, подъезжая к Минеральным Водам, на горизонте замечаешь едва заметные очертания горных вершин и перевалов, легких, как вечерние облака, прозрачных, как мираж, душу охватывает чувство глубокое и загадочное, которому и сейчас я не могу найти объяснения.

Меня не страшили его заоблачные перевалы – с больным сердцем я пересек их семь раз… Меня не пугали его дикие тропинки, висевшие над бездной; ни засады абреков; ни ледяной ветер; ни снежные бури, настигавшие нас в горах; ни величественные грозы, бившие камни вокруг меня и охватывавшие весь открывшийся с них горизонт. Мою душу очаровывали эти ночи в лунном сиянии; и скалы, и снега, и ледники казались волшебным краем, куда уносилось мое воображение под немолчный рокот тысячи ручьев и водопадов, сливавшийся в какую-то дикую мелодию. Играла ли тут роль наследственность – капля гурийской крови, полученной от матери моего отца, Софии Захаровны Кадьян[95], предки которой под турецким владычеством были наследственными ханами Гурии, – и Хевсуры при первом знакомстве качали головами, повторяя: «Картвели, картвели – он наш по крови». А черкесские старики, видя меня впоследствии в черкеске и папахе, уверяли, что я воскрешаю в их памяти живые образы убыхских князей[96] черноморского побережья, целиком ушедших в Турцию…

– Ваше высочество! Раз приходится оставить родной дивизион, разрешите просить вас заменить его название «гвардейский» именем, которым я могу не менее гордиться: «кавказский».

– Выбирайте любую батарею любого дивизиона, какая будет только свободна. Скажите это от меня Романовскому.

И вот на моих погонах уже блестят литеры: 1. К. С. А. Д.[97] Но в час разлуки с милым Петербургом, с близким сердцу Севером, с родными, дорогими лицами, которые окружали меня с детства, увозя с собою оторванную от всего, что любила, мою преданную и доверчивую жену, готовую на все неизвестное ради меня, невольно сжималось сердце и хотелось отдалить роковую

минуту отъезда… И все-таки она настала.

Все родные сидят за столом. Папочка рядом с моей Алей, мы посередине, неразлучные, как всегда: несмотря на этикет, мы всегда ютились друг к другу, вызывая улыбки окружающих, иногда – шутливые замечания нашего милого хозяина, дорогого моего Мишуши.

– Тусенька, – обращается он к жене, – ты бы поставила что-нибудь между Зайками, ну хотя бы букет или какой-нибудь большой графин. А то, видишь, Ванечка мешает Шурочке кушать суп.

– Чудо Алька, – спрашивает племянница, – вам еще не успел надоесть дядя Ваня?

Алечка бросает на меня один из тех взглядов, про которые говорили наши солдаты: «Как взглянет, то рублем подарит».

– Мой Заинька все время ютится ко мне… а к кому же другому?.. Ведь теперь нас только двое. Ему грустно расставаться со своими.

– А вам?

– Я ведь так привыкла ко всем его родным. Но с Заинькой мне не будет так жутко. Вдвоем с ним мы не скучали ни минуты. Вчера он прочел мне свое прощальное стихотворение. Хотите послушать?

…Громко засвистали птицы,
Зазвенело все вокруг;
Соловьи, щеглы, синицы.
Собираются на юг…
За деревней, у дороги,
Что-то много журавлей,
Важно выпрямляя ноги,
Маршируют средь полей.
Вдруг поднялись, закричали
И помчались к облакам…
Вон мелькнули и пропали —
Милый друг, пора и нам!
В добрый час! Друзья, прощайте!
Мы собрались в дальний путь.
Лихом нас не поминайте,
Пожелайте что-нибудь.
Будет время – воротится
Лучезарная весна;
И пернатых вереницы
Приведет сюда она.
Закричат под небесами

Журавли, как в этот час…
Нас тогда не будет с вами —
Вспоминайте же о нас…

– Ну, а теперь присядем перед дорогой, – говорит папа. – В добрый час, счастливого пути! – На его глазах блестят слезы…

На Кавказе

Милые горы, снова я с вами,
Радуйся, славный Кавказ!
Будешь гордиться своими сынами,
Снова услышишь о нас.

Сбор узденей

«…Река Волга, река Волга, река Волга», – выстукивают колеса поезда по длинному мосту, под которым внизу, в полумраке северной ночи блестит широкая полоса реки. Алечка просыпается… Утром мы уже будем в Москве. А вчера ее отуманенные глазки прощались с исчезавшими одна за другою вершинами Пулкова и других дорогих и знакомых с детства высот. Вспоминаются слова «Майской Королевы» Теннисона[98]:

> Я с лучами заката простилась, я глядела, как гаснут они,
> Унося мои детские годы, унося мои лучшие дни…

Бывало, Кавказ казался мне символом свободы и радости. Я ехал туда с жаждой чудных, незабываемых впечатлений – теперь, казалось, нас ждала там ссылка, неволя.

Но вот мы уже в купе владикавказской железной дороги, проскочили Вязьму с ее пряниками, проходим Воронеж и Лыски на Дону с их белыми мазанками. Кругом степи, бурые, пожелтевшие; уже виднеются сторожевые курганы… и, наконец, знакомые силуэты Бештау и Машука… Гор еще не видно, но вот перед закатом на горизонте вырисовываются их легкие воздушные очертания, так удивительно похожие на гряды низких облаков.

Там, у подножия, скрывается мой любимый Владикавказ, но мы сворачиваем на восток и несемся к берегам Каспия.

Утром вагон переполняется новой публикой. Армяне, татары, дагестанцы.

– Барышня, зачем такой скучный? – обращается к моей жене веселый молодой армянин. – Куда ты едешь? В Тифлис? У нас в Тифлисе нет скучный! Каждый веселый, каждый довольна… Стал скучна – ходи на мой лавка, ходи на наш Кура. Будем шашлык кушать, чахохбили, возьми чурек, вина.

Аля невольно улыбается милой болтовне радушного тифлисца, который, еще более одушевленный этим, продолжает рассыпаться в описаниях прелестной своей столицы.

– Смотри, уж фуникулер видно. Ва! Не знаешь, что такое фуникулер? Не видал гора Св. Давид?! Вот завтра пойдешь, увидим.

После этого всякий раз, когда случалось снова подъезжать к Тифлису, Аля уже сама одушевлялась, как и все пассажиры, у которых глаза начинали блестеть и лица расплывались в радостную улыбку. Казалось, струя воздуха, тянувшая с гор, вносила с собою какое-то особое чувство беспечного счастья, теплоты душевной и уюта.

Воспользоваться этим радушным приглашением так и не удалось. Переночевав в гостинице Ветцеля, лучшей в Тифлисе, но сильно смахивавшей на караван-сарай с его широким двором, обнесенным двумя ярусами номеров, мы уже мчались по Кахетинскому тракту, оставляя за собой еще чужой нам город, только что просыпавшийся при первых лучах восходящего солнца.

Это был один из последних дней чудной кавказской осени. Не пели жаворонки, которые так заливаются весной над широкой долиной красавицы Иоры, не встречались группы горцев, обычно спешивших на тифлисский майдан[99]. Но вот уже показались косогоры, на которых раскинулись немногочисленные домики Мухровани, слева поднялись гребни лесов, где на темной зелени чинар уже мелькали золотистые листья ореха, красные листы клена и других деревьев, своей осенней окраской вносящих в душу чувство неизъяснимой меланхолии. Вот мы уже в ущелье, а солнце стоит еще высоко, заливая высокоствольные леса замыкающих его вершин и коническую вершину Вараны вблизи Кахетинского перевала – мы уже в Гомборах.

Вот и она, наша Белгородская крепость, эпилог нашей юности… Я подзываю случайного солдатика, который тупо смотрит на новоприбывших, и посылаю его за фельдфебелем.

– Здравия желаем, – говорит сей последний, – так точно, есть одна свободная, доктора Бейера. Она сдается, можете прямо направляться туда. Я сейчас же вызову людей помочь сложить вещи.

Фельдфебель далеко не производил впечатления «первого из равных». Не было в нем ни отчетливости, ни умения угодить начальству, которое так характеризует эту касту, а лишь какая-то боязнь, что нарушат его летаргическое спокойствие.

– Есть у нас пролетка, а коней подходящих нетути. Да и кучер ушел в запас. А господа офицеры повсегда ходят пешки, бо недале че, – докладывал фельдфебель, вернувшись с парою солдат,

фигурой и выправкой напоминавших своего начальника.

Каков поп, таков и приход.

Мы вошли в дачу, довольно живописно и затейливо расположенную в большом саду, с хорошенькой верандой, но в состоянии полного разрушения. На куче чемоданов грустно уселась моя Алечка, непрошенные слезы струились по ее щекам.

Солдаты развернули чемоданы, я быстро переоделся и пошел являться по начальству и делать визиты. Все это надо было закончить сразу. Командиром оказался полковник Кожин, тип старого холостяка, скорее напоминавший захолустного помещика. Командиром 1-й батареи – несколько более культурного вида – был полковник Шауман, дядя убийцы Бобрикова[100].

– Что ж тут делать-то, – говорила его жена, еще молодая жен щина, дочь курского лавочника, – водимся с командиром дивизиона да с двумя-тремя семейными, а больше никого. Все индюшки да индюшки, хоть бы козой угостили. Только что разве Оат достанет через батарейную лавочку, коли не протухнет по дороге.

В Петербурге мы ликвидировали всю нашу мебель. Тащить ее сюда было бессмысленно: на деньги рассчитывали приобрести новую. Когда я вернулся, оба вестовые «раздостали» кое-что на первое время, и с закатом солнца, при керосиновой лампе, стало немного уютнее. Вечером подошел Оат, хорошенький молодой человек, пришедший первым отдавать мне визит. Он только что вернулся из Питера, куда был командирован для ознакомления с новой горной пушкой и где познакомился с моим братом Тимой.

– Если что надо, прикажите, мы живо все достанем, посуду и вещи. А потом сами добудете.

Я горячо поблагодарил его.

– Простите меня, ради Бога, – сказал он наконец, когда мы разговорились за ужином. – Мы все ломаем себе голову: ну как вы не нашли себе другой батареи, ну хотя бы гренадерской в Тифлисе или в Москве: ведь вы взяли самую паршивую батарею в самом захолустном дивизионе.

– Слушайте, как вы решаетесь отзываться так о своей части? Пусть так, но вы должны считать: где мы, там мы сделаем все, чтоб она стала первой из лучших. И вы увидите, что так оно и будет. Ряд одряхлевших начальников довел ее до такого состояния, но с завтрашнего дня она уже иная.

На другой день, ранее начала занятий, я был уже в батарее. Казармы, заново отстроенные, не оставляли желать лучшего. Матрасы были так искусно набиты, что казались пружинными. Но пища ясно указывала на участие фельдфебеля, а может быть, и

артельщика, и на полное безучастие офицера. Лавочка была разграблена. В ней оставался лишь залежавшийся товар, и доходность ее была близка к нулю. Лошади были плохого качества и в ужасных телах. И там царила фельдфебельская рука.

Батарея выстроилась в ожидании моего прихода. Молодцевато отрапортовал только что кончивший с первой премией Тифлисскую школу подпрапорщик Яков Васильевич Кулаков, в рябом, но открытом лице которого я сразу же почуял себе надежного помощника. Офицеров не было. Оат ускользнул под каким-то предлогом. Поручик Утовой был «командирован» за дикими козами, капитан Кузнецов еще не прибыл из Тифлиса, где несколько лет пробыл воспитателем в кадетском корпусе. Это облегчило мою задачу.

На мой привет солдаты замялись было, но тотчас же лихо подхватили: «Здравия желаем, ваше высокоблагородие!» – глаза у всех были обращены на меня, тусклые и безразличные вначале, они разгорались по мере того, как мои слова начинали вливаться им в душу. Я начал тихим голосом:

«Братцы! Высочайшей волей, по собственному ходатайству, я назначен командиром вашей батареи. Вы не знаете меня, не знаю вас и я. Но я знаю русского солдата, знаю, чего он хочет и на что он способен, когда понимает, куда его ведет начальник.

Много у нас на Руси богатых и красивых памятников. Но есть один, который ближе и милее моему сердцу всех других. И стоит он на дальнем пределе нашего отечества, в городе Ташкенте, в Туркестане. Изображен на нем славный Белый Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев[101], о котором, конечно, вы слыхали от отцов… Скачет он на своем белоснежном коне, а рядом с ним, со штыком наперевес, его верный солдат.

Я не знаю вас… Но этого солдата я знаю; и я верю, что вместе мы исполним наш святой долг перед Царем и перед Родиной, и что наша 2-я батарея 1-го Кавказского стрелкового дивизиона станет первой в рядах славной русской артиллерии.

За нашу будущую славу и за каждого из вас, за всех, кто верен долгу и чести – ура!..»

После революции 1905 года была введена в закон перлюстрация солдатских писем. Здесь, пожалуй, это было единственным занятием офицеров. Через пару дней мне показали пару интересных строчек…

«Новый командир, – писал солдат на родину, – думали, гвардейский трынчик, а он, как взялся за дело, так все разом перевернул – ну что твой орел! А барыня его – красавица: как взглянет, словно рублем подарит».

Батарея, которой раньше командовал мой предшественник,

Владимир Иванович Гах, добрый и аккуратный старик, смотревший на все лишь с формальной точки зрения, находилась в состоянии полного паралича.

Вооруженная крошечными старинными пушечками образца 1883 года, с ничтожным количеством плохих лошадей, в сущности, она и не могла иметь какого-нибудь боевого значения. Как и в прочих батареях, где командиры изощрялись в эксплуатации солдатского пайка для своих поросят и индюшек, командир и офицеры сохраняли лишь видимость военного звания и проводили все время за картами. Но именно сейчас, когда начало прибывать новое превосходное вооружение, лошади и амуниция и усиленные контингенты новобранцев (по мирному времени батарея должна была иметь 325 нижних чинов и соответствующее количество лошадей) – вот когда передо мной открывалось обширное поле деятельности, которой не могло ни стеснить, ни ограничить невежественное начальство и погрязшее в провинциальной тине офицерство.

– У нас в провинции все сводится к тому, чтоб суметь угодить своему начальнику, – открыто проповедовал чурбан, одетый в полковничью форму, который командовал дивизионом. – Нравится ему покушать – сумей угостить. Охотник он – раздобудь собачек. Увлекается картишками – составь ему партию. Не прочь поухаживать, не мешай поволочиться за женой – тогда все будет хорошо.

На этих основаниях он сжился с семьей Шаумана. Но я не гонялся ни за чьими милостями, и воспитанные в этой школе офицеры не могли служить мне помощниками. Лишь один из них, скромный труженик, отличный семьянин, оставался чуждым этой доктрине. Вынужденный искать убежище в Тифлисском кадетском корпусе, он вернулся теперь, надеясь на мою защиту.

Капитан Кузнецов – так звали этого офицера – был простой русский человек, самоотверженный службист, больше всего боявшийся ответственности. Его огромная семья – жена с матерью и молоденькой сестрой и с полдюжины ребят – осталась в Тифлисе, где они уже много лет снимали маленькую, но уютную квартирку. Поэтому он вынужден был оставить все там и лишь посещал их в свободные дни, а остальное время посвящал службе.

Командира дивизиона он боялся как огня: он ничем не мог бы угодить ему, и потому инстинктивно льнул ко мне. Для меня же это был сущий клад. Военной жилки в нем не было, но я мог вполне ему доверить бумажную отчетность, батарейное и артельное хозяйство, а сам всецело отдаваться строевой службе и организационной работе.

Патриотизм входит к солдату через желудок – этот постулат,

так ярко проведенный в жизнь Суворовым и Денисом Давыдовым («тогда и конь топочет и солдат хохочет»), я немедленно применил к жизни, взявшись за его фактическую сторону и добившись прекрасной пищи. Остальные батареи, пользуясь условиями провинциальной жизни, откармливали на котле поросят и индюшек – я откармливал их тоже, но туши оставлял к праздникам, а сало, по 20 фунтов в день, клал в котел. Не веря никому, я проверял котел днем и ночью, и это сразу же оценили солдаты. Этого я не мог добиться с лошадьми, пока мне не удалось сплавить негодного фельдфебеля и заменить его готовым на все подпр. Кулаковым.

С лавочкой я поступил еще круче. Штабс-капитану Оату я дал понять, что ему полезнее посвящать досуги картам, чем пачкаться с бакалеей, для чего назначил довольно сметливого фейерверкера из приказчиков. Вызвали охотника: я назначил ему хорошие наградные помесячно и посулил арестантские роты за утайку. И, сверх ожидания, наша лавочка превратилась в отделение экономического общества по обилию и разнообразию всего необходимого, начиная от мыла, спичек и сахару и кончая всеми номерами кахетинского и разливным шампанским, привозимым в бочках из Цинандали. Лавочник Таранченко летал все время с быстротой экспресса между Гомборами и Тифлисом, доставляя осетрину, овощи и фрукты по сезону и все, что только могла потребовать наша военная братия.

Здесь, в глуши, даже прокурорский надзор смотрел снисходительно на то, что у котла кормились гуси и свиньи.

– Какое это жалованье! Я только и живу, что с индюшек, – повторяла мать командира 21-й батареи. Я смотрел еще глубже. Вместо десятка поросят я завел целое стадо, где патриархами были два колоссальных йоркшира. В каждой части всегда найдется новобранец, которого по глупости ли его или по избытку ума совершенно невозможно превратить в солдата. Пока, наконец, потеряв терпение, его не увольняют «по полной неспособности». Изобличив такого, я превратил его в великолепного свинопаса, и этот «богоравный Эвмей» на третий год гонял по буковым и дубовым лесам окрестностей уже целое стадо в 150 голов. И когда наезжавшие комиссии намекали мне, что «борщ отзывается гусем», я просто отвечал им: «Нет. Это свиное сало от выкормленных в лесу кабанов – такая уж у нас традиция!»

Огород, не приносивший никакой пользы, я ликвидировал. Я снял пять десятин хорошей земли у соседа, унавозил ее всем пометом нашей конюшни, прежде исчезавшим неизвестно куда, и завалил кухню овощами. Огурцы, арбузы и дыни солдаты могли

таскать свободно, без контроля.

Солдаты сразу почувствовали все это.

– Здорово, братцы, – говорил я им, – заходи справа и слева. Давайте придумаем, чем еще скрасить нашу солдатскую долю. Песенники у нас уже есть. Но по воскресеньям по 30 человек стоит под ранцем по пьяному делу. Будет этого. Давайте наладим театр. Открывайтесь, таланты. Кто играл раньше на сцене?

– Так что я был раньше сельским учителем, мы устраивали спектакли в школе.

– А я играл с заезжей труппой.

– А я был режиссером у нас, в Екатеринославе[102].

– Ну, а на женских ролях? Мнутся…

– Может, пригласить барышень из слободы?

– Лучше опосля, ваше высокоблагородие… Мы пока сами, а когда оне попривыкнут к нам, сами понабиваются. Мы их не обидим… Только вы будьте с нами.

– Ну вот и дело в шляпе. А как же с музыкой? Балалайки?

– Да уж понабили оскомину: только и знают, что «Ручеек» да «Барыню».

– Так кто же?

– Позвольте доложить, ваше высокоблагородие. Я, Илья Сокольский, играю на корнете[103], а Иоффе, у него баритональный бас, сядет на тромбон.

– А ты, Магер?

– Я могу на первого корнета, я был два года в оркестре в Ломже.

– Ну, а где же мы достанем инструментов? Ведь они дорого стоят, И кто будет за капельмейстера?

– Вы уж не извольте об этом беспокоиться. Я, Илья Сокольский, возьму это на себя. А каталоги я уже достал, лучшие, заграничные, работы Юлия Генриха Циммермана из Москвы.

– Ну, посмотрим, может, на лавочные добавим из свиного фонда.

– Так уже хватит, Таранченко говорил, на будущий месяц лавочка даст вдвое. – Выписывать?

– Выписывай, в мою голову, и запоем, и засвистим, и захрюкаем на все лады. Ступай в канцелярию, пусть пишут требование.

– Извольте, я сам приготовлю. Я, Илья Сокольский, я могу печатать на машинке… И репертуар составим… А на басы посадим взводных, а на барабан сядет Яков Васильевич…

Последний, видимо, глубоко сочувствовал идее. Не успели появиться инструменты, как его честное, рябое лицо показалось у меня в дверях.

– Ваше высокоблагородие, счастье привалило – капельмейстер заявился.

– Что такое? Какой капельмейстер?

– А вот, извольте видеть.

В дверях нерешительно топчется человек в старой солдатской шинели. Глаза как угли, усы – в иголочку – как есть, настоящий картвелец. Говорит с явным грузинским акцентом.

– Так что ми били в тифлисском гренадерском полку, в хоре музыкантов. Очень я провинился, пропил корнета, меня прогнали, теперь без работы. Слышу, у вас хороший музыка, а играть не умеют. Думаю, зачем так, я сам могу за капельмейстера. Я и пришел.

– А ты у нас не пропьешь корнета?

– Ни-ни, я уже теперь совсем не хочу пить.

– Ну ладно, я тебе верю. А сумеешь поставить оркестр?

– Зачем не сумеешь? Все сумеешь: и марши, и лезгинку, и вальс – все сумеешь. Силы хорошие, всем понравится. Через четыре месяца будут играть на параде, и в кино, и всюду.

Осишвили исполнил свое слово: перед выходом в лагерь, на площади нашей сельской церкви, на удивление всех гомборских обитателей, под звуки артиллерийского марша показались стройные ряды наших батарей – никогда еще они не казались такими нарядными, такими молодцеватыми – люди будто переродились. А местные женщины и девушки так и впились в них глазами…

– А ну, братцы! Собирайся вкруговую – новое дело! Кольцом обступают ряды своего командира. Теперь уже в их глазах сияет ясная мысль, светится полная вера. С напряжением вслушиваются в каждое слово, чтоб не проронить, чтоб понять его.

– Вот что, братцы! Немало годков прожили мы с вами, а уму-разуму не научились. А есть царское слово, чтоб всем знать грамоту. И Суворов говорил: «За одного ученого двух неученых дают… нет, мало: давай десять». А хочу я, чтоб когда станете расходиться по домам, было бы чем помянуть свою батарею. Пора приняться за книжки. Поможете вы мне в этом деле?

– Так точно… Постараемся… Все сделаем, как прикажете. Ура!

Сказано – сделано. 4-й взвод, находившийся внизу, ликвидирован, и койки распределены по остальным взводам. В освободившемся помещении поставили большой круглый стол, мягкий пружинный диван и два кресла. Кругом такие же стулья, все из солдатской дачки. В углу – массивный умывальник с наказом: мыть лапы перед тем, чтоб браться за книги. На стенах повесили роскошные олеографии: «Ответ запорожцев турецкому

султану» и «Кто кого»[104]. Обе в раззолоченных богатых рамах.

Между окон красовалось большое простеночное зеркало, а на окнах – гардины из былой солдатской дачки.

На мягкой мебели могли восседать лишь более культурные элементы: фейерверкеры и наводчики. Ездовые, насквозь пропитанные конским потом, сидели на гладких стульях.

Во всех взводах, кроме икон и царских портретов, красовались изображения Государя в формах полков гвардейской кавалерии.

А между окон высокие простеночные зеркала с безукоризненным хрустальным полотном. Все рамы и мебель были сделаны из цельного ореха и изготовлены в нашей мастерской из соседних сухостоев, а мастерам выдано небольшое вознаграждение за усердие.

Согласно полученным каталогам, выписанным неистощимым Ильей Сокольским, мною были выбраны лучшие книги детских и юношеских библиотек, вплоть до иностранных авторов, могущих содействовать развитию мысли и нравственности, начиная с басен Крылова и «Конька-Горбунка» и кончая Гоголем, Тургеневым, Загоскиным, Лажечниковым, Толстым, Пушкиным и другими писателями, и до «Робинзона», «Дяди Тома», Купера, Майн Рида и Вальтер Скотта. Офицеры брали книги на дом под условием не держать их долее нескольких дней. Попутно сельский учитель преподавал грамоту отсталым и безграмотным и три раза в неделю преподавал разведчикам турецкий язык.

Здесь впервые пришлось мне столкнуться с еврейским вопросом. В гвардию не принимали солдат еврейского происхождения, тут у меня их была целая дюжина… С самого начала, когда я, по обыкновению, обращался к солдатам: «А ну, братцы, сотворим новое чудо», – я замечал среди них легкое колебание.

Но тотчас же слышалось:

– Ваше высокоблагородие, я, Илья Сокольский…

Он начал организовывать местный театр. Он выписал музыкальные инструменты и стал первым капельмейстером. Выписал и наладил библиотеку. По прибытии телефонного имущества организовал телефонную команду и связь, перепечатывал в спешном порядке Устав горной артиллерии, порученный мне Великим князем, провел электричество и выписал машины.

– Сокольский, придется тебе еще раз перекувырнуться, – говорил я. – А которое же это будет превращение?

– Наверное, восьмое или девятое, ваше высокоблагородие. А что теперь мне изволите поручить?

Если б не Украинский, не видать бы нам такой роскошной мебели в казармах. А после этого он оборудовал мне полный гарнитур на мою квартиру – столовую, кабинет, спальню, разумеется, за хорошее вознаграждение. Он же руководил постройкой лагерных бараков, конюшен и стенок для палаток двухаршинной высоты из четырехдюймовых сосновых досок, в которых прибыли новые орудия. У него были золотые руки, и он сумел наладить великолепную мастерскую.

Иоффе был отличный наводчик и своим баритональным басом служил красой и гордостью песенников; с помощью и под руководством нашего столетнего настоятеля он с Сокольским и Филоненкой создали великолепный хор певчих. Он совсем обрусел, мечтал перейти в православие и, в конце концов, крестился в бочке из капусты за неделю раньше, чем Сокольский. Тут сказалась разница в характере обоих друзей: стояла зима, было страшно холодно, и когда бедняга вылез из-за ширм, он дымился, как лошадь.

Хитроумный «Володя» Сокольский в следующее воскресенье умудрился натопить церковь как баню и нежился в бочке, как в хорошей ванне. Крестным отцом у Иоффе был фельдфебель, а матерью – командирша; у «Володи» отцом был я, а матерью кн. Сидамон-Эристова, супруга только что прибывшего офицера.

Эту картину дополнил «Лейба-фокусник» Глизер, бывший притом прекрасным ездовым. Но остальные из 12 колен были совсем никчемные и так и остались уборщиками на конюшне.

Один из них незадолго до моего прибытия обольстил сельскую учительницу, выманил у нее деньги и бежал в Аргентину, откуда написал мне нахальное письмо.

Одновременно со службою налаживалась и моя личная жизнь. Вскоре по нашем прибытии выяснилось, что институт Св. Нины, снимавший великолепный дом Мулина в одной версте от слободы, оставил помещение, и мы тотчас взяли его себе.

Дом имел всего пять комнат, но огромного размера; в одной мы устроили спальню, в другой столовую и в третьей приемный кабинет. Остальные две служили передней и музыкантской. Всю меблировку заготовили в нашей мастерской из цельного ореха. Стол был раздвижной, на много персон.

При доме был роскошный фруктовый сад на 35 десятин чудесных деревьев, а перед окнами расстилалась живописная долина, по которой вилась дорога на перевал. Густые леса покрывали сплошной пеленою оба боковые хребта, а ближе к перевалу долину замыкала гордая скала Вераны, увенчанная остатками арабской крепости. Дорогу то и дело оживляли группы конных и пеших горцев, сновавших между Тифлисом и Телавом в

Кахетии, шли целые обозы на буйволах, груженные огромными бочками кахетинского. Средневековые феодалы едва ли могли выбрать себе более роскошную и величественную резиденцию.

В слободе приезжающим совершенно негде было остановиться. И по давно установившейся традиции, и по естественной необходимости дом командира 2-й батареи всегда был очагом самого радушного гостеприимства. От моего предшественника я унаследовал в качестве вестового повара экспресса, который при обилии и дешевизне припасов и всего нужного, получаемого через лавочку из Тифлиса, делал возможным самое широкое гостеприимство. После скудного прозябания в столице, при увеличенном жалованье, положенном в Закавказье, мы не чувствовали нужды ни в чем, и появление начальства, инспектирующих лиц и заезжих гостей лишь служило поводом для праздника.

Командир дивизиона ни по взглядам, ни по воспитанию не мог иметь с нами ничего общего. Он доживал последние годы службы всецело в семье командира 1-й батареи, окруженный ее офицерами.

Д-р Морозов, очень серьезный и деловой, со своей молоденькой женой жили особняком. Когда появились молодые офицеры, командир дивизиона назначил ко мне несимпатичных ему кавказцев, а в другие батареи молодежь русского происхождения.

Но от этого я только выиграл. Во мне они нашли родного отца, а мои «старики» сами собой отвалились и перестали мешать мне в моей кипучей деятельности.

Как только вновь прибывшие представились мне в канцелярии, я повел их в батарею, уже стоявшую развернутым строем в ожидании, и обратился к моим молодцам:

– Братцы, вы видели, что целый год я отдавал вам все свои силы, чтоб сделать из вас настоящих артиллеристов. Канцелярию я оставил в руках у капитана Кузнецова, а вас обучал только я один с помощью нашего лихого прапорщика Кулакова.

Теперь Господь посылает мне двух драгоценных помощников. Они только что кончили учиться, взяли ваканции к себе на родину, и душой и телом они наши кавказцы. Они знают последнее слово артиллерийской техники, и от них вы получите все, чего вам еще недостает. Но они еще совсем не знают русского солдата. Покажите им, как вы показали мне, на что только не пойдет наш молодец, когда он живет душа в душу со своим начальником.

Вы, 1-я полубатарея, вам я отдаю вашего молодого командира, князя Сидамона Эристова. Вы, 2-я, вот ваш командир,

подпоручик Коркашвили. Берегите их как зеницу ока, слушайте все, что они вам скажут. А теперь возьмите их, поднимите их на руках, чтоб чувствовали они, что все мы одно, на славу и процветание доблестной 2-й Кавказской батареи. Ура!

И прежде чем наши новые однополчане могли собраться с мыслями, они уже очутились в воздухе, в верных руках своих новых подчиненных.

– Ну, а теперь, после крещения, пойдемте к матери-командирше.

Из канцелярии я уже успел сообщить обо всем домой, и сам поскакал туда по прямой стежке; а когда молодежь пришла и вместе с ними и все те, кто были назначены в другие батареи, за накрытым столом уже сидела молодая командирша, окруженная своим штабом и с огромным рыжим сенбернаром у ног. Все сразу почувствовали себя как дома.

– Ва, Петро, смотри, какой большой собака, не подходи близко к хозяйке, а то он проглотит тебя вместе с твоим горбатым носом и огромными усами.

– А ты, Самсон, видишь, что проиграл, что не попал к нам в батарею? Смотри, какой трубочка со сливками.

– Ну, ты, Сико, не увлекайся, а то нам ничего не останется.

– А это откуда?

– Это шампанское из Цинандал!..

– Ва, ведь моя мама в Телаве, значит, все вино оттуда! Мы в Петербурге и не нюхали кахетинского.

Эта кавказская непринужденность и теплота сердечная охватили всех, так что с тех пор уже каждое воскресенье вся молодежь собиралась с нами. Петро Коркашвили, как имеретин (а они все природные кулинары), сделался непременным организатором всех приемов, а Сико Эристов сразу же бежал на кухню, справляться у Иванова, будут ли его любимые трубочки. Когда появлялась музыка, по вечерам устраивались балы, и скоро весь дивизион стал находить себе уют и развлечение под нашей крышей. Кроме только старых штаб-офицеров и двух-трех их завсегдатаев, которые все время продолжали держаться в стороне.

Не привыкшая к ведению хозяйства в провинции, моя Аля сперва смертельно пугалась всякий раз, когда получала известие о налете гостей. Она приходила в ужас, откуда достанет все необходимое, как успеет все приготовить. Но все делалось само собою. Прежде, чем она успевала «прийти в отчаяние», уже талантливый фуражир Грицко являлся из слободы, обремененный курами и утками, а несравненный Иванов превращал все это в меню и спрашивал, с чем будем подавать пломбир. И ей оставалось только радовать гостей своим особым умением быть

приятной каждому, не позволяя никому завладеть ее исключительным вниманием. И я удивлялся такту, с которым она умела держать плохо воспитанных провинциалов, даже не давая возможности заметить их промахи.

Теперь мне приходилось бывать в Тифлисе. Добрейший генерал Воробьев уже ушел, и на его место был назначен генерал-майор Постовский, младший сослуживец моего отца по лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригаде, женатый на подруге моей сестры по институту. Я поехал отдавать ему визит.

– Не скрою от вас, – говорил он мне, – что я поражен всем тем, что видел у вас в батарее. Как вы могли в короткий срок добиться таких результатов? Как вы сумели вдохнуть вашу энергию в каждого офицера, в каждого солдата? И ваша милая жена, сколько уюта создала она всем вашим сослуживцам, всем, кого судьба заносит к вам в Гомборы! Но у меня есть к вам одна личная просьба: есть у меня на сердце одна большая забота. Здесь у меня две дочурки. Младшая, цветущая, жизнерадостная, все время пользуется успехом. Старшая, Оля, тихонькая, застенчивая, самоотверженная, все отдает сестре, стушевывается, чахнет, сходит на нет. Она совсем стала тенью, и мы волнуемся за ее здоровье. Мы с Софьей Генриховной решились обратиться к вам: возьмите ее с собой на недельку-другую, дайте ей подышать иной жизнью, где бы она уже не чувствовала себя тенью сестры, а самой собой, отвлеките ее от печальной повседневности и вдохните в нее жизнерадостность, которой у вас дышит все окружающее.

– Считаю за честь ваше поручение. Ручаюсь, что мы с Александрой Александровной сбережем вашу дочь и постараемся обновить ее душу переменой обстановки. Я сам был в таком состоянии и вполне понимаю ее. Я вам верну ее другою. За одно не могу ручаться, – это за ее сердце, об остальном не беспокойтесь. Когда она к нам пожалует?

– Берите ее сразу с собой, если только найдете место в экипаже.

– Я прискакал в легкой пролетке, на паре быстрых коней; я один, и места сколько угодно.

Через полчаса, в дорожном костюме и с маленьким чемоданчиком в руках, стояла моя будущая спутница. Высокая и элегантная, но, видимо, очень застенчивая, она протянула мне свою руку, и через полчаса мы мчались уже по безграничному полю, отделяющему Тифлис от красавицы Иоры, наслаждаясь свежим весенним воздухом и пением бесчисленных жаворонков. Между нами лед растаял мгновенно, и за разговорами мы и не заметили, как долетели до Мухровани.

– Горцы приучили меня к мысли, – говорил я, – что дорожный товарищ семь раз ближе брата. Значит, вам со мною нечего бояться, ни стесняться. А будем дома, сами увидите.

Она отвечала радостной улыбкой.

– Я сразу почувствовала это, я вам очень, очень благодарна.

Солнце уже скрылось за гребнями ущелья, и тысячи звезд заискрились над головой, когда покрытые пеной кони остановились у казармы.

– Зайдите на минуту в канцелярию, пока сменяют лошадей. До дома по тракту три версты, но это крутой подъем, он очень утомляет. А пока я поговорю по телефону.

В опустевшей канцелярии не было никого, кроме фельдфебеля и дежурного писаря.

– Кулаков, я привез к нам дорогую гостью, дочку нашего нового начальника бригады. А что трубачи, почитай, уже все спят?

– А я их враз подыму. Для вас они всегда рады, и днем и ночью. Осишвили! Гайда на перевал!

– А мы уже готовы, все, сколько ни будет. Как увидали командира, решили, будем играть всю ночь.

– У телефона подпоручик Коркашвили. Иван Тимофеевич, что прикажешь?

– Петя, я привез редкую гостью. Организуйте там с Ивановым все как следует, не беспокоя Александру Александровну, а трубачи уже пошли на перевал. А кто там еще у нас? Сико? Попроси его пригласить всю нашу молодежь, будем праздновать прибытие дорогой гостьи. И попроси Алю к телефону.

– Зайка, это ты? Как ты скоро обернулся!

– Сейчас перепрягу коней, буду через несколько минут, везу тебе милую гостью, Ольгу Петровну Постовскую, она рядом со мною у телефона. – Последнее я прибавил, чтобы моя Алечка не «пришла в отчаяние» от неожиданности. – Ты ни о чем не волнуйся, все уже готово для ужина… Уже подают лошадей. Ну, с Богом!

– Олечка, собрались к нам… Как это мило! Гадкий Зайка, не предупредил меня…

– Ах, Алечка, все произошло так неожиданно. Я и не думала, как очутилась в вашем доме. Все это как сказка!

– А вы не волнуйтесь, Александра Александровна, – успокоительно говорил Коркашвили. – Все будет как нельзя лучше, даже землянику достал. Ступайте переодеться, сейчас придут гости.

В передней уже слышались глухие звуки инструментов и стук передвигаемых пюпитров. Когда наши дамы в вечерних туалетах

показались в дверях зала, где уже гремели стульями приглашенные, Осишвили грянул артиллерийский марш… Импровизированный ужин превзошел все ожидания. Невозмутимый Иванов всегда имел все наготове «на всякий пожарный случай», а когда откупорили кахетинское и появилось шампанское, толумбаш[105] провозгласил первый тост за нашу дорогую гостью – раздалось «Алаверды», аккомпанируемое музыкой, а затем юные кавказцы запели куплеты в честь гостьи на старинный мотив: «Тионет вардиано, Тамар нопо садиано» (расцвела в Тионетах роза, явилась туда царица Тамара) и в честь хозяев: «Чья хата всех светлее, хозяйка всех щедрей, чья шашка всех острее, скакун всех чей быстрей» (бжедугская боевая песнь), «Пью вино, воды не пью – лишь тебя одну люблю», «Когда вижу балкон белый, сердце бьется еле-еле» – и прочую милую чепуху, которая так скрашивает кавказскую пирушку… Раздвинули столы, начались танцы. А под конец загремели урначи, и под их дикие звуки вылетел молодой красавец Тушин, случайно забредший сюда на огонек за стаканом вина и ломтиком баранины…

При первой же встрече со мною ген. Постовский рассыпался в благодарностях.

– Вы сделали с моей дочуркой что-то невероятное… Правда, правда, она приехала вся в синяках в результате всех этих кавалькад, даже еще более похудевшей, но полная жизни и в восторге от всего пережитого. Впечатления лились из нее как из ведра, только и слышались имена всех ваших офицеров. От вашей Алечки она в восторге, не знает, как и благодарить ее за удивительную заботливость о ней.

Однажды, совершенно неожиданно, под нашими окнами показалась целая толпа горцев с копьями, щитами, мечами и даже с кольчугами. Это были мои закадычные друзья-хевсуры, проведавшие о моем появлении в Гомборах. Их привел мой верный спутник Гага Циклаури. Ужас Али перед толпой дикарей скоро сменился искренней симпатией. Гага, поселившийся близ перевала, потом часто приходил навещать нас. Он часто с любовью всматривался в мои черты:

– Вот, – говорил он, – тогда был у тебя ус тонкий, как бровь, а теперь даже стал с бородой. А помнишь, как ты полез на крутой скала и тебя увидела дочка с другой стороны ущелья, бросилась на колени и стала молиться – и вдруг видит: ты уже на вершине, перекрестился и ударил шашкой о скалу три раза. Чуть-чуть ты не пропал тогда.

Как-то раз он пришел поздней ночью. В каждой руке он нес по маленькому медвежонку, величиной с крысу. Бедняжки сразу

набросились на подогретое молоко, которое Алечка давала им из импровизированной соски, сделанной из намоченного хлеба, завернутого в тряпку. Сейчас же за ними прибежал командир дивизиона и выпросил их себе.

– Ведь я один-одинешенек, – говорил он, – а теперь нас будет трое.

Как только он достал для них соску, мы передали ему обоих. Они росли не по дням, а по часам, но оставались все время ручными, сосали ладонь каждому, кто только ее протягивал, сверкая крошечными, как бисер, глазками. Вместе с Кожиным они ходили в лагерь, где постоянно катались, как с горки, с солдатских палаток и крали, где только находили, мед и сладости.

Апофеозом всех наших достижений являлся домашний театр. Вначале приходилось репетировать с каждым в отдельности. Но с течением времени появились настоящие артисты, двое из них работали впоследствии на провинциальной сцене. В хоре певчих открылись великолепные голоса: первый тенор, Филоненко, пел раньше в хоре Архангельского; другие прекрасно разбирались в нотах. Балалайкам и мандолинам было отведено второстепенное место. Хор трубачей, увеличенный до 20 инструментов, открывал спектакль и заканчивал его балом. В качестве интермеццо служили характерные танцы и номера «любимца публики, мага и волшебника М. Глизера» – надо было видеть общий восторг, когда два здоровенных кузнеца дробили на его груди 19-пудовый камень или когда он босиком поднимался на пирамиду отточенных как бритва шашек. Бал открывался вальсом адъютанта с командиршей, после чего оставался лишь дежурный офицер, прочие приглашались к нам на ужин. Во все время не было ни одного инцидента.

Но все это было только развлечением. Строевая работа шла по часам. С утра я уже слезал с моего молодого, только что сповоженного коня и пускал машину в ход.

Обучение верховой езде я взял в свои руки, гоняя по пяти смен в сутки, так как езде обучались все, даже новобранцы. Мало-помалу некоторые смены я передал Кулакову. Подготовленные в Петербурге наводчики руководили обучением материальной части, каждый с прислугой своего орудия, под общим руководством артиллерийского техника. Сложные упражнения по наводке с контрольным прицелом я обошел тем, что предложил технику вставить отрезок трехлинейной винтовки в выхолощенный снаряд; номер стрелял из своего орудия, как пехотинец с помощью прибора для стрельбы дробинкою из винтовки. Этим сразу постигается секрет мертвого хода – а их

было восемь в механизмах орудия, лафета и дистанционной трубки. Тайна, не поддававшаяся никаким теоретическим объяснениям, – и с этим становились излишними все контрольные приборы.

Стреляли по призовой мишени уменьшенного в десять раз размера, на дистанцию, вдесятеро меньшую против положенной, и полученные пробоины давали ту же картину, как при боевой стрельбе.

Лучшие орудия получали призы – по полфунту белого хлеба на человека, а лучшие наводчики – по фунту.

Как только люди освоились с материальной частью и наводкой, я начал налаживать стрельбу батареи, причем за взводных ставил особо подготовленных фейерверкеров, для которых ввел сокращенные правила стрельбы. Путем соревнования и выдачи поощрений в виде белого хлеба я добился того, что люди увлеклись своим делом, как спортом.

– Наш командир, – говорили солдаты, – что ни день да чем-нибудь подвеселит. Мы что ни день едим белый хлеб.

Наказаний накладывать уже не приходилось, все шло от сердца, был лишь один случай пьяной драки. Виновный, повесив нос, стоял под шашкой, когда я подошел к нему и резким движением сорвал с него мундир; он был совершенно убит. «Бессовестный негодяй, – сказал я ему, – ты напился как свинья, вступил в драку и вдобавок еще позорно бежал с поля сражения. Ты не заслужил чести даже под шашкой стоять в мундире нашей батареи». – «Виноват, ваше высокоблагородие, ей Богу, больше в рот хмельного не возьму», – говорил бедняга, захлебываясь от волнения. – «Ну ладно, Бог с тобой. Я тебе верю, вложи теперь шашку в ножны и ступай к каптенармусу, чтоб он тебе выдал другой мундир вместо того, который я тебе порвал». Радостно бросился солдатик в цейхгауз[106] и мне не пришлось более карать ни его, ни кого другого. Казалось бы, что блестящее обучение, образцово налаженный общий порядок и, наконец, целый ряд военных праздников, вносивших радостное оживление во всех и каждого, – все это могло лишь радовать командира и служить живым примером командирам других батарей, фактически оставшимся без руководства, – в сущности, оно так и было. В первой батарее был только что выпущенный из фельдфебелей Павловского военного училища молодой подпоручик Расторгуев, видимо, мечтавший завоевать руку и сердце подраставшей дочки командира батареи. Он сумел привлечь и прочих, и они употребляли все усилия, чтоб не отстать от наших хотя бы в отношении строевой подготовки. Но наряду с этим похвальным соревнованием были пущены в ход и

интриги.

Совершенно неожиданно мне доложили, что в батарейной лавочке похищено 148 руб. 60 коп. выручки. В минуту головокружительных успехов это для меня было потрясающим ударом.

Я тотчас же приказал выстроить батарею. Напряженное внимание, глубокое огорчение сменили на этот раз на лицах солдат обычное выражение радостного ожидания.

– Сегодня, – сказал я им, – я собрал вас, чтоб поделиться с вами глубоким огорчением. Нашелся между нами недостойный, который украл молоко из груди родной матери. Вы знаете, куда шли лавочные деньги, вы видели, как мы украсили нашу жизнь теми экономиями, которые годами пропадали напрасно. Еще позавчера начальник артиллерии предлагал мне одну из гренадерских батарей в Тифлисе, где меня ожидала легкая карьера, а мою жену – спокойная городская жизнь. Я отказался. Я сказал, что для меня нет батареи лучше нашей, нет радостей, которых я не мог бы разделить с вами. Теперь мне приходится раскаиваться: нашелся негодяй, который доказал мне, что не все мои солдаты понимают меня, не все готовы меня поддержать, не все дорожат честью своего имени, имени нашей батареи.

Едва сдерживая негодование, я бросился на коня и ускакал домой. Ни шуток, ни песен не слышалось в эту ночь среди солдат. Плохо спали люди, собирались кучками, и судили, и рядили, как изловить вора и что ему сделать. Не спалось и мне: что пришлось бы внести эти деньги, это было бы еще не так важно. Но судебное разбирательство влезло бы в нашу жизнь до мелочей и наложило бы свою мертвящую лапу на все мои начинания, а завистникам развязало бы языки.

Как всегда утром, я сел на коня и стал спускаться по дороге к Гомборам. Но не успел я отъехать на сотню шагов, как навстречу на неоседланной лошади, в одной рубахе, с шестом, на котором болтался пустой мешок, вылетел один из моих солдат, задыхаясь от волнения.

– Ваше высокоблагородие! Честь имею представить: я нашел сполна все деньги. Не хочу отдавать их никому, окромя вас… Извольте получить.

– Что такое? Как ты их нашел, герой ты этакий?

– Извольте видеть… Я, значит, хлебопек, пошел спозаранку выколачивать мучные мешки об дерево, что рядом с кухней. Глядь, а на дереве – кол, а на колу веревка, спущена в дупло. Я за веревку, а на ней мешок, а в мешке все до копейки, 148 руб. 60 коп. Это, значит, ночью мы все не спали, судили, рядили, что сделать вору, когда он попадется, а он под утро и подкинул. Вот,

извольте, все сполна.

Надо ли описывать взрыв радости, последовавшей за кошмаром вчерашнего дня! Я очнулся лишь тогда, когда при криках «ура!» солдаты внесли меня на руках в канцелярию. Большего триумфа я и ожидать не мог бы. Одним ударом возвращено все: и доверие, и радость, и уверенность.

Но за этим ударом последовал неожиданно другой, посерьезнее. У часового нашей батареи сорвали печать, находившуюся под его сдачей. Дело грозило каторгой солдату, тяжелой карой всему караулу, срамом нашей батарее и позором командиру.

– Вот как было дело, – докладывал фельдфебель. – Я вижу, стоит часовой, отдает честь дежурному офицеру, подпоручику Расторгуеву, а тот ему что-то приказывает. А в это время ихний фельдфебель – рукой за спину часовому и сорвал печать.

– Так ведь это вооруженное нападение на караул. Катайте сейчас же рапорт на Высочайшее имя. Кто еще видел это?

Рапорта подавать не пришлось. Как только командир дивизиона получил его, он вызвал меня, упрашивая, чтоб я взял его обратно, а рапорт Расторгуева порвал при мне. Я ограничился этим, но не мог понять, как в припадке зависти шли на всякое преступление, не понимая, что они же первые пострадают и покроют позором всю часть.

Но этим не кончилось. По окончании лагерного сбора я собрался на месяц в отпуск, пользуясь затишьем до прихода новобранцев. Как всегда, мы остановились у Ватцеля и мечтали встать попозже, как вдруг швейцар разбудил меня словами, что меня спешно просит приехавший генерал. Быстро одевшись, я выскочил к нему – это был Андреев, начальник 2-й Кубанской казачьей дивизии.

– Вот, дорогой мой, вам урок на будущее время. Вся ваша блестящая служба сводится на нет, если вы не заручились личными отношениями. Ваш негодяй командир дивизиона (мы его хорошо раскусили), получив приказ о пробной мобилизации одной из его батарей, нарочно дал вам уехать, чтоб в ваше отсутствие оскандалить вашу батарею. На счастье, эту неожиданную поверку должен был произвести один из моих бригадных, генерал Арутюнов, который просил меня предупредить вас, так как вы знаете, что отсутствующие всегда виноваты.

К счастью, я не успел еще отправить лошадей, Александру Александровну я оставил у друзей, а сам через несколько часов сидел уже в канцелярии. На вопрос командира дивизиона, почему я вернулся, я сказал ему, что забыл документы по имению. А

через час примчалась вся поверочная комиссия.

– Мобилизация прошла прекрасно. Арутюнов подал рапорт о блестящем состоянии батареи, на котором расписались все члены комиссии, и все мы тронулись обратно в Тифлис.

Перед выходом в лагери я построил всю батарею и сказал им приблизительно следующее:

– Вы знаете, мы выходим в лагерь, а оттуда на общий сбор с пехотой. Вы знаете также, что я ни к кому не придирался. Все мы работали не как холопы, а как дети одной семьи. Промахнулся кто, не отдал чести, я не видел этого; ни мне, ни тебе не было на это времени. Пешим строем, на который пехота убивает все свое время, я не докучал вам, было кое-что поважнее. Но чужие командиры, особенно пехотные, так не будут смотреть. Им не видна суть дела. Они будут глядеть на выправку, отдание чести, пеший строй. Смотрите же, не подкачайте. Сегодня и завтра я прикину с вами пешее ученье, а послезавтра потребую, чтоб везде и всюду вы так отдавали честь, как при встрече с самим Государем.

Командир дивизиона знал наперед, что нам будет влетать за выправку. Потому и он, и оба прочие командира спланировали, предоставив мне вести дивизион. Но тот энтузиазм, который овладел моими, с поразительной быстротой охватил всех.

И когда мы пошли на смотр начальника бригады, и вслед за батальонами двинулся наш дивизион, и начальник бригады генерал Воробьев, бывший финляндец и товарищ моих дядей, пропустил последнюю батарею, он обратился к полковым командирам:

– Не могу похулить ваших молодцов, гг. командиры. Ни за выправку, ни за равнение в строю. Но вот удивительно: ведь артиллеристы оставили вас далеко позади. Они действительно представились великолепно. Отчего это?

– Но, ваше превосходительство, ведь у них шашки, шпоры – это все придает им такой лихой вид.

– Ну нет. Тут, видно, что-то другое… Спасибо вам, командующий дивизионом, ваши люди могли бы выдержать сравнение с любым гвардейским полком.

Незадолго перед выступлением во время полевой поездки с командирами пластунских батальонов я ознакомился с положением дел в Александрополе, где мы отбывали артиллерийский сбор.

Высокая горная долина, замкнутая снеговой вершиной двуглавого Алагеза, с великолепными горными пастбищами по боковым кряжам, сплошь покрытым алыми, розовыми, голубыми и фиолетовыми цветами, представляла незабываемую картину

величественной красоты. Воздух был поразительно чист и прозрачен. Внизу, в балке, ютился грязный армянский городок, по ту сторону которого стояли казармы Северского драгунского полка и на краю притулился крепостной сад «Крепостное собрание», единственное место развлечений полка и артиллерии. Лагерь был обозначен рядом линеек, где, каждая на своем месте, становились артиллерийские части. Единственным зданием, заслуживающим этого имени, было «Артиллерийское собрание» с огромным салоном-столовой, где офицеры каждой части со своими семьями садились за стол, каждая батарея отдельно.

На нашем участке, находившемся неподалеку от собрания, в сущности, ничего не было. Поэтому терять времени не приходилось.

Я тотчас же вызвал рабочих команды пилить камень вулканической породы. Его распиливали на огромные плиты, которые сразу же складывали на фундамент офицерского барака и на цоколь под солдатские палатки. В Гомборах Украинский с плотниками и столярами подготовлял лес, купленный у соседнего помещика Церетели, жившего тотчас за перевалом. К выходу в лагерь было готово все: широкие и высокие двери и окна для офицерского барака, центральные столбы для палаток со стойками для холодного оружия вокруг каждого из них. Щитные заборники для сена, доски для полов, материал под крышу и для навесов, которые вместе со стенками, ограничивающими участок, образовали широкие и светлые конюшни по обе стороны участка, гонг и материал для крыш – словом, все мелочи, чтоб не теряя времени, разом собрать и поднять все постройки.

Таким образом, Александре Александровне не пришлось долго оставаться в наемной городской квартире, отапливаемой вонючими «кизяками» (сушеным навозом); через несколько дней и она, и мой единственный офицер Кузнецов с сынишкой-кадетом перешли в готовый, с иголочки барак, где душистый запах сухого дерева и аромат горных трав сменили едкий смрад сухого навоза. Широкие веранды по обе стороны барака давали возможность пользоваться красивыми картинами природы.

Барак был поделен пополам, каждая половина состояла из двух смежных комнат. Мы помещались в одной половине и скромно, но уютно убрали ее походными вещами. Рано утром я уже выходил в парк к орудиям, Аля все еще нежилась в кровати, когда за дверьми раздавался робкий голос Мити Кузнецова, просившего разрешения сыграть ей серенаду Брага или еще что-нибудь из его репертуара. Играл он очень мило и чувствовал себя счастливым, когда слышал похвалы от тети Али.

На рассвете нас будила другая музыка – давно знакомые

звуки артиллерийской зари. А на закате вечерняя заря сменялась стройным пением молитвы «Отче наш» выстроенных на передней линейке батарей.

К обеду все офицеры собирались в зал Собрания, знакомые подсаживались к «кунакам», и перед десертом по очереди по столам раздавалось пение «Аллаверды», сопровождаемое аккомпанементом музыки оркестра. Иногда после обеда появлялись северцы, и начинались танцы. Я был очень рад, когда замечал, что наиболее элегантные и симпатичные офицеры просили разрешения представиться моей Але, и видел, как она порхала по залу среди других дам и барышень. Длилось это, пока в столовой не появлялся начальник Сбора – суровый генерал Махмандаров и прикомандированные для ознакомления с артиллерией к моей батарее генералы Баратов, Абациев, Роде, Арутюнов, начальники штабов корпуса и дивизий и пр. Тогда молодежь стушевывалась, и вниманием Али завладевали старшие по чину. После занятий пили чай у нас в бараке.

Во время первого своего посещения генерал Махмандаров, не разобравшись, положил свою щегольскую фуражку на подоконник, где лежал лист «Смерть мухам»[107].

– Ну вот, – заметил грозный генерал, увидев свою оплошность, – теперь все будут говорить, что генерал Махмандаров был у очаровательной Александры Александровны и влип.

Мало-помалу завязались знакомства. Особенно льнули к нам кубанцы. Чтоб не иметь соперников, они зазывали нас к себе и угощали неприхотливыми, но удивительно вкусными кавказскими блюдами под пение их несравненных песенников. Когда репертуар приходил к концу и заводили: «Як дивчина ухмыльнется, у казака сердце мре», все оглядывались на юного хорунжего, который густо краснел при привычных фразах.

В Крепостном саду доминировали северцы, между которыми водились свои доморощенные «львы». Конноартиллеристы держались немного отдельно, группируясь около молоденькой Эммочки, богини скейтинг-ринга[108], которая потом вышла за адъютанта дивизиона Сербина. Пешие артиллеристы были скромнее всех, пока наши ряды не пополнились молодежью, которая могла конкурировать с кем угодно.

Уже давно лишенная удовольствия бывать на балах и концертах, Алечка веселилась как дитя, забывая, что через два часа я уже должен был выходить на стрельбу, умоляюще смотрела мне в глаза и повторяла:

– Заинька, один, только один вальс… меня приглашают… и я так счастлива.

Переход из Александрополя в Саракамыш, где нас ожидал общий сбор, был приятнейшим пикником. За орудиями следовала наша пролетка с кучером Шеффером на козлах, в которой, закутанная вуалью от солнца и пыли, сидела наша командирша, бросая направо и налево любопытные взоры.

За один или два перехода до места нас обогнал начальник артиллерии корпуса генерал Махмандаров.

– А вот и очаровательная мм. Беляева, – говорил этот суро вый и недоступный для всех старик. – А где же наш огненный командир?

За короткие недели в Александрополе этот грозный генерал, служивший пугалом для всех своих подчиненных, оценил мою энергию и уменье и горячо рекомендовал всему начальству.

– Вот такого рода вещь… – это было его обычным предисловием. – Теперь, значится, поедем блистать в Бакинское и Елизаветпольское собрание. Ну, а потом куда же?

– Мой муж хотел провезти меня в Красную поляну, там мы достали себе чудный участок подле строящегося царского охотничьего дома на самом краю великолепных лесов.

– Ну вот, и я буду на побережье, в Батуме и, может быть, в Сухуме… А сейчас проеду вперед, поздороваюсь с батареями.

И, сверкая черными глазами из-под косматых бровей, старик с юношеской энергией погнал своего белоснежного кабардинца в голову колонны.

В Саракамыше самый тяжелый вопрос заключался в помещении. Обогнав своих, я попытался найти хотя бы комнату. Наконец разыскал домик, где помещалась с мужем, отставным капитаном, очень славная кабардинка, кроткая и миловидная.

– Никак не могу уступить вам комнаты. У меня только одна свободная, и в ней каждое лето помещается супруга принца Каджар[109] с молоденькой дочкой. И еще, вы говорите, дама. А я так боюсь дам.

– Не бойтесь моей жены, – защищался я. – Если б вы знали, какая она прелестная! Вы ее сразу полюбите, как родную. Ее все на руках носят.

Она улыбнулась.

– Приходится вам поверить… Можете вы поместиться в одной комнате?

Комната была крошечная, узенькая, в ней стояла только одна железная кровать. Но для меня и то было раем. После нескольких дней пути Аля с радостью раскинулась во всю ширину кровати; мне пришлось улечься на железном перильце – но и этого было достаточно: я спал как убитый.

– А вы сказали мне сущую правду, – говорила мне потом

хозяйка. – Какая она прелестная. Как я ей рада!

Добрая слава предшествовала моей Але. На другой день ночью мы пробирались по парку в полковое собрание. Перед нами промелькнули две дамочки, видимо, пробиравшиеся туда же. Мы пошли за ними.

– Ты знаешь, – говорила одна, – сюда приехала новенькая – жена одного из командиров батарей. Она чудная и, главное, прелесть какая симпатичная.

Дня через два приехали Каджары… Рохсара-ханум с прелестной молоденькой дочкой, которая сразу же влюбилась в мою Алечку. С первого дня они уже стали неразлучны, везде и всегда появлялись вместе.

– Орел уже отдохнувши, сбрую я почистил, экипаж вымыл керосином, блестит как новый, – горячился кучер Шеффер (немец из Сарепты и большой патриот нашей части). – Пусть поедут кататься барыня и молодая принцесса, а старую оставим дома. На них все смотрят, все удивляются. Все спрашивают, какой батареи.

И вправду, нельзя было оторвать глаз от прелестной парочки. Как они подходили друг к другу! Алечка, в расцвете женской красоты, поражала тем особым мягким выражением душевного равновесия, которое является у женщины, достигшей предела своих желаний. Глядя на возбужденное лицо своей спутницы, она переживала все то, что перечувствовала за последние месяцы перед свадьбой. А Фируза казалась истинной гурией восточного рая. Сверкая иссиня-черными глазами, казавшимися еще более темными от густых, длинных ресниц, с дугообразными бровями, видневшимися из-под копны волос цвета вороньего крыла, с горящими щеками и ослепительной улыбкой, казалось, она не отдавала себе отчета в своей красоте и даже стыдилась ее. На Алю она смотрела с тем обожанием, которое нередко проявляется у девушек к замужним подругам. Она казалась ей счастливой обладательницей всех тех заветных тайн, которыми было полно ее сердце и о которых она боялась даже подумать.

С утра обе уже бежали в собрание, где навстречу им сразу же попался генерал, только что вылезший из отведенной ему комнаты. Они увлекли его с собой в сад, усадили на качели и, умирая со смеху, совсем замучили старика; щегольская фуражка съехала ему на затылок, белая борода качалась из стороны в сторону, а сам он вцепился в доску, заклиная остановить качели.

– Помилосердствуйте, Алия-ханум, вы и так вскружили мне голову. – Ради Бога, Фируза… Остановите пароход, я не выношу качки… Такого рода вещи, я сейчас поеду в Ригу…

– Вот, Алия-ханум, – говорила Рохсара, – выходите замуж за Махмандарова, он в вас влюблен. А вашего Зайку отдайте моей

Фирузе.

Но наши шалуньи совсем закусили удила. Аля с Фирузой вновь и вновь переживали лучшие годы своего девичества и переходили от одного приключения к другому.

В соседнем богатом осетинском ауле устроили праздник: «Бик резил, баран резил, лапу (мальчик) джигитовал, чиж (девушка) плясал». Наших красавиц нарядили в туземные костюмы, затянули в корсажи с горизонтальными полосками литого серебра на груди, с чадрой на голове и с восточными туфельками на ногах. Целую ночь пировали, танцевали «уго» и только к четырем часам покатили домой, сопровождаемые сотней джигитов, окружавших экипаж и потрясавших воздух криками, выстрелами и гиканьем: «Кары ябах… У, марджья гьяур иаха… Согревай коня. Вперед, собачья кровь!»

По дороге обратно, в Карс[110], Аля со всеми новыми друзьями водрузилась в наш экипаж. Все были закутаны шалями, вуалями и пледами до самых глаз от дорожной пыли.

– Вот – я теперь одна, совсем одна, – говорила хозяйка, отирая слезы, – я так боялась вашей жены, а теперь она разбила мое сердце и увезла половину с собой.

Она ревновала ее к молоденькой Фирузе и не раз плакала от ревности.

Потянулись и мы по дороге в Карс, где общий сбор оканчивался штурмом крепости на высотах Ибрагим-табии, откуда открывался вид на все исторические места, взятые приступом в турецкую войну. В ушах звучали слова солдатской песни:

> По фронту наш полковник отважный проскакал. —
> Ребята, не робейте, – он ласково сказал.
> Кавказские вершины, увижу ли вас вновь?
> Вы, горные долины, кладбище удальцов.

Разбор маневра кончился забавным эпизодом. Молодой корпусной командир, генерал Клюев, по окончании его обратился к собравшимся:

– Между нами я вижу несколько героев Порт-Артура. Быть может, теперь, на этих высотах, они припомнят какие-либо слу чаи или легенды, драгоценные для тех, кто еще не был на войне, и поделятся с нами этими, так сказать, перлами своего боевого опыта.

На лице Махмандарова, к которому, в сущности, был обращен этот вопрос, промелькнуло озлобленное выражение.

– Мы применяли на войне все то, чему нас учили

существующие инструкции, – сухо отвечал он, – своего мы не вводили ничего.

– Быть может, вы поделитесь с нами чем-нибудь? – обратился Клюев к седому выслужившемуся из юнкеров командиру 4-го полка, на простодушном лице которого было написано искреннее желание сказать что-то.

– Так, ничего особенного, ваше превосходительство, а была-таки у нас своя сноровочка…

– Ну вот, вот, расскажите, пожалуйста.

– А вот, ваше превосходительство, брали шпагат (он выговорил «Г» по-хохляцки).

– Шпагат? Что это такое?

– Шпагат, ваше превосходительство, – тоненькую веревочку.

– Ну, и что же?

– Вперед полез разведчик со шпагатом в кулаке. А за ним связь, держась за шпагат… другой, третий… Опасно, нужно придержать, разведчик дернет за шпагат – и все стоят. А можно вперед – разведчик дерг-дерг два раза – и все опять идут. А за связью ротный, держится за шпагат, а за ним взводный 1-го взвода, а за ними…

– Экой чудак, – произнес громким шепотом только что выпущенный из Академии капитан Морозов, – ведь этак он, пожалуй, целую дивизию нанижет на шпагат.

Полузадушенный смех окружающих помешал мне расслышать заключение этого доклада и резолюцию начальства.

Вторая зима в провинции прошла для нас еще оживленнее первой. Кроме прибытия целой пачки молодежи, облегчившей мне работу, а для Али создавшей атмосферу большой семьи, со всех сторон появились новые друзья. Кроме милой, скромной семьи Кузнецовых и Постовских то и дело мы заезжали к Каджарам, где Рохсара-ханум с Фирузой, а когда бывали дома, и принц с сыном-кадетом встречали нас, как родные. Алечка ходила с Фирузой в театр или «кружок» с Постовскими. Там они познакомились с родственниками Фирузы, дочерьми старого генерала Каджара, приятеля Махмандарова, с семьей доктора Габаева, где встречались с его сыном и его неразлучным товарищем Шервашидзе, прославившимися своими шалостями и беспрерывно сидевшими на гауптвахте за свои «подвиги». В Тифлисе она обшивалась, освежалась и отдыхала от своей роли хозяйки и потом возвращалась с целым ворохом забавных рассказов.

Первый артиллерийский сбор выяснил превосходную подготовку батареи, вышедшей почти без офицеров, кроме лишь Кузнецова, медлительность и страх перед начальством которого

сильно отражались на работе батареи, особенно тогда, когда требовались быстрота соображения и команды. И тем не менее батарея стала сразу же во главе прочих, и начальник батареи, бывший пугалом для невежественных и ленивых, тотчас же оценил это. Но второй артиллерийский сбор уже был для нас рядом триумфов. Великолепно выдрессированная прислуга, где каждый номер был сознательным наводчиком, где каждый фейерверкер готовым взводным командиром, каждый строевой солдат – прекрасным наездником, при двух отличных молодых офицерах, вполне подготовленных и быстрых в исполнении, – это служило гарантией непрерывных успехов.

По окончании общей программы все показанные стрельбы поручались только нам. Апофеозом была ночная стрельба при свете прожектора по движущейся цели, для которой давалось всего 2–3 минуты при самых тяжелых условиях наблюдения. Я выставил боковых наблюдателей и скоростью стрельбы (не говоря об идеальной меткости) побил все рекорды.

Махмандаров был поражен. Но когда ему доложили о предельной скорости огня – он пришел в ярость. Прочие командиры уверили его, что это невероятно.

– Слушайте, – возмущался он, – вы можете втирать очки пехоте, но я ведь старый артиллерист… 19 секунд выстрел – никогда не поверю.

– Извольте сравнить с записями наблюдавших контролеров. Они показывают еще большую быстроту стрельбы.

– Хорошо. Я сделаю вам проверку, и если вы дадите скорость огня хоть немного меньшую, объявлю в приказе, что считаю это невероятным рекордом.

Проверки делать не пришлось. На другой день получена была телеграмма, что генерал-инспектор артиллерии Великий князь Сергей Михайлович через три дня прибудет на полигон для смотра боевой стрельбы 39-й артиллерийской бригады, Кавказского горного дивизиона и 1-го Кавказского стрелкового дивизиона. Это уже был экзамен самому Махмандарову.

– Ну, дорогие, – говорил я солдатам, – настал час, к которому я готовил вас все эти два года. Я знаю, чего хочет Великий князь, и думаю, он останется нами доволен. – Не извольте сумлеваться, ваше высокоблагородие, – дружно отвечали мои молодцы. – Не подкачаем. Мы уже не те, что были год назад…

Наша стрельба была назначена на семь часов утра. Накануне Великий князь присутствовал на стрельбе 39-й бригады и конно-горного дивизиона и остался ими крайне недоволен. Когда наши батареи выезжали на позицию, я получил приказ открыть огонь по дальней артиллерии и немедленно сообщить данные

пристрелки. Свита Великого князя и высших генералов провела лошадей через мои телефонные линии и порвала связь с батареей. Но у меня были превосходные сигналисты. Не теряя ни секунды, я повторил приказания флагами, и загремели выстрелы. Низкими разрывами все восемь орудий задымили всю цель. Новая очередь – небольшой перелет… Вилка взята и передана соседям. Я переношу огонь по поднявшейся пехоте – та же картина; по перебежкам – видно, как вылетают дреки и падают мишени подвижной цели.

– Видите, как стреляет мое управление? – говорит Великий князь. – Полковник Бородаевский! Видали, горные шрапнели рвутся как по ниточке. А ваши? – он показал рукой зигзаг. – Нет, это не материальная часть виновата.

Секрет был в том, чтоб внушить солдату, как справляться с мертвым ходом. Мы устранили его, подводя все механизмы с одной стороны, а понимания этого достигали стрельбой пулею из орудия.

– А вы поедете в Петербург в комиссию по перевооружению представителем от горной артиллерии, – продолжал Великий князь, обернувшись ко мне. – Уверяю вас, господа: ни во Франции, которая гордится своей стрельбой, ни в одной батарее нашей артиллерии я не видел ничего подобного. Спасибо, молодцы, за отличную службу.

– Рады стараться, Ваше Императорское высочество! – загремели мои герои. Я вскочил на коня и повел их домой, по пути осыпая всех и каждого ласковыми словами и поздравлениями.

– Сейчас нам осталось только одно испытание, – говорил я им, – это – война.

Война была уже не за горами – и мы были готовы.

Много позднее я получил приказ по артиллерии, повторивший лестный отзыв Великого князя, распространенный на все три батареи нашего дивизиона.

Под окнами Собрания нас ждала музыка. Под звуки артиллерийского марша я поднимал бокал за бокалом за батарею, офицеров, за каждого солдата, за нашу славу в мире и на войне. И в заключение тигровым прыжком вылетел из окна и, подхваченный в воздухе руками трубачей, еще и еще взлетал в небеса по всему пути в наш барак.

– Ура, ура! – раздавалось со всех сторон. – Ура! – отдавалось из столовой, где наши молодцы получили по чарке водки и праздничный обед.

Отуманенный шампанским и опьяненный головокружительным успехом, делился я радостью с моей

Алечкой, которая, не отдавая себе отчета во всем происшедшем, радовалась моей радостью. Она была вне себя от счастья, когда поняла, что на несколько месяцев мы уедем в Питер, увидим всех близких, родные очаги, милый, милый Петербург… Уедем с триумфом, достигнутым на глазах всего лагеря, и появимся среди родных, окруженные ореолом громкой похвалы от скупого на слова генерал-инспектора всей русской артиллерии.

Грустно было одно. Великий князь резко обошелся с Махмандаровым, с которым мы так успели сродниться, но которого он недолюбливал. Обиженный старик подал рапорт по общему командованию вместе со своим старым другом генералом Ирмановым; оба они получили пехотные дивизии, с которыми впоследствии прославились на войне. Больно было также оставлять, хотя и на время, родную батарею, солдат, дорогих офицеров, милые Гомборы и ставший таким близким и родным Кавказ с его дремучими лесами, альпийскими лугами, снеговыми вершинами и хребтами, нависшими ледниками – и все, и все…

Петя Коркашвили провожал нас до Тифлиса. Ночь мы провели у Ветцелей, и я слышал, как он рыдал, как дитя, думая о предстоящей разлуке… Промелькнула Военно-Грузинская дорога, скрылся из глаз Владикавказ. Экспресс уносил нас на Север, а солнечные лучи догорали на исчезавших вдали линиях Кавказских гор… Со слезами радости, со слезами грусти глядели мы друг на друга, опять одни, опять вдвоем, тесно сплетясь руками на пороге этого нового этапа нашей жизни.

Накануне

«Еще раз, братья, обернемся
К местам, где прожили года.
Мы не вернемся, не вернемся,
Мы не вернемся никогда»[111].

Этот год, пожалуй, счастливейший в истории России, был последним счастливым годом и в нашей жизни. Мало думалось о том, что ожидало нас впереди…

По мере приближения к Петербургу мы стряхивали грустные мысли, и перед нами вставало радостное «завтра». Чем далее, тем веселее становилось наше путешествие. Осень завалила своими дарами все на нашем пути. На каждой станции виднелись пирамиды абрикосов, винограда, яблок и груш, стояли возы с арбузами и дынями. На платформах суетились бабы с крынками топленого молока, зажаренными курами и поросятами. На станциях нас ждали накрытые столы с дымящимся борщом, жарким… Все дышало довольствием и изобилием.

Солнце сияло всю дорогу до Москвы. Под Питером нас пора зили чащи тонкоствольных берез, осины, пустыри, занятые городом, и дым тысячи фабрик, сливавшийся с серыми тучами пасмурного неба. Но «и дым Отечества нам сладок и приятен»… Вот мы уже мчимся по знакомым улицам, влетаем по парадной лестнице дома Гарновского; звонок – двери отворяются, и мы бросаемся в объятия родных…

– Тетя Аля! Зайка! Как вы загорели у вас там на юге!

– А это кто же? Дети? Боже, как они выросли! Какая чудная у вас квартира! А где же Махочка и Ангелиночка? Живут подле папы на Сергиевской? Получили наследство?

– Вы, конечно, у нас – вот ваша комната, подле нашей спальни. Тут дети не будут мешать вам. Идите к себе, раздевайтесь, помойтесь, и сразу же будем обедать. А ты надолго? На два месяца! Ну, будет время потолковать обо всем.

Ночью мы кувыркались на большой городской постели, прыгали по паркету, гоняясь друг за другом, как дети, пока не раздался голос из соседней комнаты:

– Может быть, у вас что-нибудь случилось, что вы так распрыгались?

Сбылось предчувствие нашей милой тети Ади. Она скончалась, не дождавшись нашего возвращения. Умер в Варшаве и профессор А. Л. Блок, муж моей сестры[112].

Первая жена его, восемнадцатилетняя дочь профессора Бекетова[113], известного ботаника, покинула мужа сразу же после замужества и вернулась к родным с ребенком. Через несколько лет после этого А. Л. стал ухаживать за моей сестрой, которая жила в доме отца, тогда командовавшего 4-й батареей 3-й бригады. Положение ее в доме мачехи было тяжелое, она преподавала в гимназиях… Будучи религиозной, как вся наша семья, она постоянно бывала в церкви. Блок все время являлся туда же, становился за нею, опускался вместе с ней на колени и производил впечатление кающегося грешника, обожающего свой идеал.

Летом сестра уехала к нам в деревню, где находился и я с родными. Мне было всего 14 лет, я ничего не понимал в ее разговорах с тетей Туней, которая была, видимо, против брака. Осенью другая моя тетя потихоньку от сестры пошла к Бекетовым и просила профессора сказать ей чистосердечно свое мнение о Блоке. «Человек он порядочный, – отвечал старик, – но ваша племянница не уживется с ним и года. Его обуревают такие страсти, что при всем желании она не останется с ним».

Так и случилось: первый ребенок родился у нее мертвый, вторая, девочка, рисковала погибнуть, и сестра решилась бежать. Тетя Туня прислала ей телеграмму от имени отца, которой он звал ее проститься перед смертью.

– Я предчувствую, что ты ко мне не вернешься, – сказал Блок, – но Тимофей Михайлович не позволит себе солгать. Поезжай.

Отец не мог простить тете ее обмана, но сестра спаслась от верной гибели. Ее приютил брат мой Михаил и, когда муж приехал требовать ее обратно, твердо настоял на отказе. Блок клялся, что в корне переменит свое поведение, сестра волновалась между горькой правдой и иллюзиями, но брат настоял на своем.

Девочка была в ужасном состоянии. Она заикалась, и это осталось у нее даже до окончания педагогического института, где она получила золотую медаль, и это же помешало ей следовать своему призванию: быть учительницей.

Умирая, Блок оставил все сыну. Его пенсию профессора выхлопотали сестре, которая тогда служила в гимназии, где воспитывалась ее дочь, и обе ютились под кровом самоотверженного брата.

Александр Александрович Блок познакомился с сестрою уже после смерти своего отца, который оставил ему все. С редким великодушием он принес ей половину наследства (75 тысяч), представился со своею женой, эффектной дамой, дочерью

профессора Менделеева, и затем стал часто бывать в нашей семье. Все время он проводил с сестрою, сидя на диванчике в темном углу зала. Ангелина[114], прелестная, чистая, даже святая девушка с привлекательной наружностью, с нежным сердцем, сильно реагировала на все, что могло коснуться ее брата, который, со своей стороны, почувствовал к ней неотразимое влечение. О чем они беседовали, посторонние могли только догадываться. Думаю, что одна лишь «мамти», с которой Ангелиночка делилась всем, могла знать происходившее.

К чаю все собирались в столовую. Общий разговор завязывался.

– Скажите, Александр Александрович, – говорил простодушно мой брат, – отчего я никак не могу понять ваших стихов? – Ангелиночка бросала на него взгляд, полный упрека.

– Чтоб понять стихи, – скромно отвечал поэт, – нужно особое настроение.

Впоследствии, в конце 16-го года, Ангелиночка, как всегда застенчивая, робко подошла ко мне.

– Дядя Ваня, у меня к тебе большая просьба!

– Прикажи.

– Александра Александровича призывают. Он хотел бы узнать, не возьмешь ли ты его к себе вольноопределяющимся.

– С радостью! Будь спокойна, я сделаю для него все.

Она бросила на меня благодарный взгляд: «Ты знаешь, он очень изнежен… Утром он не может встать с постели, не напившись чаю. Он боится всех этих суровых испытаний, которым он будет подвергаться у вас».

– Пусть не боится, мы его побережем. Я буду держать его у себя в штабе; он помаленьку втянется в нашу жизнь, сам не замечая. Без чая мы его не выпустим, – прибавил я смеясь, – если я сам не буду иметь чего-либо, он всегда получит желаемое.

Несколько месяцев спустя Блок устроился в «земгусары». Теперь сестра моя устроилась в скромной квартирке на Сергиевской улице, на втором дворе, на четвертом этаже, но со всеми удобствами. Она завела себе нашу деревенскую Феклушу в качестве кухарки, с племянницей Сашей[115] вместо горничной. Одну комнату отдала старшей дочери дяди Феди, который скончался после японской войны, а маленьких его детей брала в отпуск из института и корпуса. Сама с Ангелиночкой постоянно ходила в церковь и держала себя как святая.

Это, впрочем, не мешало ей принимать молодежь, старших Эллиотов, служивших в Преображенском полку[116]. Алечка, ее подруги, а также заезжие офицеры вносили в их жизнь живую струю, играли на рояле, пели, хотя сами хозяева держались как-то

в стороне.

Как-то за обедом, после визита одного молодого человека с еврейской фамилией Фишер[117], всегда молчаливая и сдержанная, Ангелиночка обратилась к моей жене:

– Чудо Алька! Скажите мне, пожалуйста, какого вы мнения вообще о евреях?

– Что же я могу вам сказать? – отвечала Аля. – Я ведь не знаю их как народ. Но между ними я встречала, и не раз, прекрасных, достойных людей, которые превосходно относились ко мне.

– Чудо Алька, – сказала задумчиво Ангелиночка, – вы действительно чудо, Алька! – Это название, которое как-то сорвалось с моих губ, так и осталось за нею.

Отец мой, уже генерал от артиллерии и почетный опекун нескольких институтов, доживал последние годы. Мачеха увезла его на дачу где-то за Нарвой, по Балтийской железной дороге, и я поехал к нему туда. Он уже заметно сдал и относился ко всему пассивно, но мое прибытие оживило его. Вскоре он вернулся в Питер и поселился на Греческом пр. № 6, где она (мачеха) устроила ему небольшую, но вполне аристократическую квартиру.

Как ни странно, но на старости лет он начал писать масляными красками прекрасные портреты.

Прочие братья были уже на зимних квартирах. Дети их подросли, но жены, все еще цветущие и моложавые, придавали уют и прелесть их вполне налаженному и счастливому очагу.

Заседание Комиссии по перевооружению артиллерии открыл мой двоюродный брат Михаил Алексеевич Беляев, впоследствии последний военный министр Российской империи. Выказав большую заботливость о прибывших артиллеристах и их личных нуждах, он сказал несколько общих фраз и передал председательство своему помощнику генералу Каменскому, моему товарищу по артиллерийскому училищу.

– Надо знать, господа, – начал Каменский, – что мы делаем все усилия, чтоб догнать рост вооружений Германии… К 1 января 1916 года мы надеемся достичь этого. Времени мало, и, чтоб не задержать хода вооружений, мы должны ускорить свои работы. Сейчас распределим их и назначим сроки. От времени до времени будем собираться для обмена мнений. Благоволите оставить свои адреса и, по возможности, телефоны.

Казалось невероятным, чтоб в Европе нашлись сумасшедшие, которые пожелали бы разрушить все успехи мирового прогресса, достигшего, казалось, апогея. Мы приписывали это безумие Кайзеру. Это была грубая ошибка. Это безумие охватило весь германский народ, и начало болезни надо искать еще сто лет

назад.

«Если правительство твердо, а народ верен своему правительству, то нет силы в мире, которая могла бы сокрушить его», – эти слова Клаузевица, сказанные им после наполеоновских войн, вошли в плоть и кровь тевтонского племени. С присущей им методикой немцы ковали оружие, испытывая его на слабых соседях – Дании, Австрии, Франции, но это была лишь подготовка к мировому владычеству. «Все или ничего» – стало девизом Германии.

В 1910 году Кайзер сделал попытку вовлечь Англию в Мексиканскую авантюру, надеясь столкнуть две величайшие мировые державы, С. Ш. и Англию, и завладеть морями. С Россией можно было подождать. Японская война низвела ее на степень второстепенной державы, и она и так была под ферулой могущественной немецкой партии. Немецкая фамилия была дворянским титулом, купленная в Берлине за 8000 рублей частица «фон» делала аристократом. Чтоб сделать карьеру, надо было жениться на немке или закончить образование в Германии. «Умлаут»[118] давал доступ ко двору – Рейн становился Рейном. Можно было быть сыном простого мужика, но германофилом – и доверие высших сфер открывало карьеру.

Первым прозрел император Александр II[119], он женился на природной русской княжне и уже дал новый курс политике, но он погиб. Преждевременная кончина русского душой императора, Александра III вновь оживила германофилов. Все это сулило Германии паралич русского фронта. Кайзер решил довершить его трактатом в Биорке, необдуманно подписанным Царем.

Но обстоятельства еще раз изменились. Победа славян над Турцией вызвала новое вмешательство центральных держав на Балканах. Необычный рост России, вооружившейся с помощью Франции, назревавший союз с Англией вызвали необходимость немедленного решения.

Но все еще не верилось в неизбежность мировой катастрофы…

С зажмуренными глазами встретили мы 1914 год.

Счастливые и отдохнувшие, возвращались мы из Питера… Нас уже не пугали чуждые небеса, чужие лица. Все казалось родным. Тотчас по приезде ген. Абациев сообщил мне о новой попытке со стороны моего ближайшего начальства. Полковник Кожин дал мне возмутительную аттестацию, могшую погубить всю мою карьеру. Когда ее открыли, представитель аттестационной комиссии заявил Кожину, что если он немедленно не переменит ее на соответствующую, то комиссия единогласно подпишет ему волчий паспорт и он уйдет в отставку

ошельмованным. Угроза подействовала.

Когда мы приехали в Гомборы, все было тихо и спокойно. Батарея была в великолепном состоянии, служба доведена до идеала. Молодые и женатые, все с восторгом встретили наше возвращение, один только Коркашвили первое время пытался держаться в стороне, но тотчас же и он не выдержал и снова занял обычное место у нашего очага.

По инициативе Расторгуева меня выбрали председателем офицерского собрания, прося организовать его в хорошеньком домике, который мы сняли подле церкви, где проходило шоссе. Мы тотчас же оборудовали его по образцу прежних наших работ, все было обставлено чрезвычайно уютно, и он сразу же послужил нам не только для приема проходивших пластунских батальонов, но и для более редкой цели.

Молоденький офицер, только что назначенный ко мне в батарею, уже женился на прелестной княжне Амираджиби, которая с матерью и сестрами явилась умолять выхлопотать ему разрешение раньше положенного срока. Переговорив с командиром дивизиона, мы нашли выход. Жених подал мне рапорт о вступлении в брак, не дождавшись разрешения, за что я арестовал его на две недели – но за неимением гауптвахты – в офицерском собрании, где молодые и провели счастливо свой медовый месяц. Молодежь все время посещала их, родные безотлучно находились подле них, словом, все были в восторге, и слепая Фемида зажмурилась еще более.

Занятия наши шли своим чередом; чтоб увеличить интерес, мы приняли участие в зимней стрельбе с пехотой, и в одно прекрасное утро на вьюках поднялись на вершину Вераны, откуда дали пушечный выстрел, прокатившийся по всем горам. Герой Дзюба внес на плече главную часть орудия туда, куда уже никто не мог пробраться со вьюком.

– Это оставил его прадед, – говорили солдаты, убиравшие мой кабинет, указывая на олеографии, изображавшие долину Рейсы и знаменитый Чертов мост – память швейцарского похода, – тот ходил с Суворовым, да и этот не отстанет.

В этом году наши весенние смотры закончились блестящим праздником в честь начальника бригады.

…Молчаливая долина под окнами нашей резиденции, прорезанная белыми зигзагами шоссе, сегодня полна народа. Все жители и многие горцы из соседних селений уже здесь, даже раньше, чем первые лучи солнца озолотили скалистую вершину Вераны, замыкающую амфитеатр. По зеленым откосам боковых косогоров виднеются группы солдат, заканчивающих дорожку, трассированную для пробега в конной запряжке. Другие

расставляют машины для рубки с коня – высокие прутья, соломенные жгуты, натянутые на машины, конусы свежей глины, набитые травой чучела в рост всадника и пехотинца, которые наездники будут колоть и рубить под всякими углами.

Начальник бригады подъезжает в коляске и под звуки артиллерийского марша здоровается с конным строем и со взводом всадников под командой Коркашвили, героя праздника.

Подается сигнал «Рысь». Под звуки карусельной польки «Говорят, что я кокетка» орудия, каждое со своим фейерверкером во главе, выходят, одно за другим, проходят под разукрашенной флагами аркой и идут на препятствия. Они спускаются с крутого ската, проходят опасный мостик, подымаются на крутой берег, змеей извиваются по «восьмеркам» и поворотам и, наконец, стрелой летят к триумфальной арке, где наблюдающие офицеры собирают данные о скорости пробега, о числе сбитых колышков. А между тем машины для рубки уже на местах, подле них рабочие, готовые заменить их новыми прутьями и жгутами. Появляется соломенный барьер и «корзина» из двух рядов ощетинившегося хвороста.

– Шашки вон! – командует Коркашвили. – Справа по одному, на десять лошадей дистанции… Галопом, марш!

Петрос сегодня в ударе. Откуда у него такая верность глаз, такая львиная хватка? Впереди всех, на своем вороном коне, он рубит и колет во всех направлениях – сверкая своим острым булатом, и от него во все стороны летят срубленные колья, прутья и куски глины, срезанные, словно бритвой. За ним – лихой Кулаков… фейерверкеры… разведчики, трубачи – все как один. Вот они берут соломенный барьер, рубят направо… корзину… колют налево и, один за другим, становятся снова в линию, сдерживая разгоряченных и взмыленных коней, которые нетерпеливо грызут удила и рвутся на новое препятствие – это линия стрелков с колена, изображенная рядом шапок на низких колышках.

– Марш – марш… – шашки сверкают молнией, шапки летят в воздух, и вся линия всадников, как вкопанная, останавливается перед зрителями под громом аплодисментов. Начальник бригады горячо пожимает руку Коркашвили, но тот едва слышит, что ему говорят.

– Довольны вы мной сегодня? – шепчет он командирше.

– Ах, милый Петя! Сегодня вы превзошли самого себя… Начинается выдача призов: серебряных часов, портсигаров, кружек. Все присутствовавшие офицеры и дамы идут к нам в дом, где неутомимый и невозмутимый «Ватель и К» уже разносит чашки с горячим бульоном и роскошную кулебяку. Сико приходит

в волнение: «Грицко, трубочки? – Никак нет, пломбир с вафлями, а потом кофе и ликеры».

– Вы нам готовите еще что-то? – спрашивает Постовский.

– В программе уже нет более ничего, ваше превосходительство… Но я хотел предложить вам и всем желающим прокатиться в Цинандали, где заведующий давно приглашал меня провести с ним одну ночь.

– В Цинандали? Едем! Едем все!

Нечего задерживаться: дорога далека, а солнце уже за полдень. Кавалькада поднимается на перевалы и, любуясь чудной панорамой всей Кахетинской долины и окружающих ее лесных шапок, спускается по излучистому пути в долину, уже подернутую предзакатной дымкой.

– Боже ты мой! Вот неожиданный визит! – встречает нас про стодушный хозяин. – Да сколько же вас всех-то? У меня ничего не заготовлено. Придется посылать в Телав. Ну, не беда, не беда. Не останетесь голодными. А пока пойдем в библиотеку.

Ужин действительно немного запоздал. Его подали только в десять часов. Но жалеть об этом не приходилось. Дамы пошли отдыхать в царские приемные комнаты, где несколько лет назад останавливался Император Александр III с супругою, а мужчины в «библиотеку», огромный погреб, уставленный винами, хранившимися от начала организации имения за 30 с лишком лет.

Перепробовав марки всех сроков, мы решили двинуться на соединение с дамами. Но так как большинство едва могли двигаться на своих двоих, решили встать на четвереньки, чтобы всем караваном явиться пред их ясные очи и сперва испросить себе прощения за долгую отлучку, а потом уже идти к ужину.

Ужин простой, но удивительно вкусный, прошел быстро, и милый хозяин указал каждому свою кровать. Аля устроилась на постели Императрицы Марии Федоровны, а мне отвели покой Императора Александра III. Где положили генерала Постовского и всех прочих гостей, я не помню, так как остаток вечера я уже провел в тумане и заснул как убитый.

А утром, тем же порядком, от души поблагодарив радушного хозяина, мы двинулись на перевал.

С выходом в лагерь пошли прежние интриги. Кожин остался в Гомборах, доживая там последние дни до приезда нового командира. Заместивший его подполковник Шауман вместе со старыми командирами окружили нового начальника артиллерии, генерала Менайлова, который сразу поддался влиянию моих завистников. Но им не повезло: Менайлов объявил тревогу, моя батарея только-что сменилась, и лошади пошли было на водопой.

Тем не менее она все-таки пришла во втором номере.

– Что же это такое? – говорил возмущенный Кулаков. – Изволь те взглянуть на приказ. Наша батарея пришла почитай что первой, после дежурной, а они нам клеют выговор!

Действительно, выговор за то, что, будучи дежурной, батарея вышла по тревоге второю.

Я бросился к начальнику артиллерии. Тот сначала не поверил, напялил очки и стал читать по складам.

– Ведь после 12 часов на дежурство вступила батарея 39-й бригады.

– Да ведь я же приказал им играть тревогу до 12 часов!

– А трубач исполнил ваше приказание на несколько минут позднее.

– Ну, тогда извините меня! Я исправлю свою ошибку в приказе. Но это хорошая примета: раз сразу у нас начались шероховатости, потом все пойдет как по маслу.

Но дальнейшего уже не предвиделось: неожиданно ко мне в барак вошел Шауман с телеграммой в руках.

«Австрия объявила войну Сербии, – читал он голосом, прерывающимся от волнения, – Россия объявила войну Австрии, Германия – России…»

– Ура! – отвечал я. – Да здравствует Россия – смерть врагам!

– Сумасшедший, – прохрипел Шауман и как ужаленный выскочил из барака.

Лагерь опустел с самого утра. Я подъехал к батарее, стоявшей в резервной колонне на сомкнутых интервалах, и прочел солдатам телеграмму, прибавив:

– Вы знаете, мы исполнили долг наш перед Царем и Родиной в мирное время… Теперь смело можем тягаться с любым врагом и не посрамим русского имени. За нашу будущую славу – ура!

Солдаты встретили войну сдержанно. Они отдавали себе отчет в ее последствиях.

Мобилизация – дело трудное и спешное – для нас не представляла затруднений. Во-первых, мы только что проделали ее в условиях мирного времени, во-вторых, за одиннадцатидневной мобилизацией оставался еще полуторамесячный срок до посадки на станции железной дороги.

Но встретились два крупных затруднения: работа на совесть при керосиновых коптилках была задачей; я решил пожертвовать запасным капиталом, оставленным Гахом, – деньги все равно быстро теряли ценность. За дело взялся неистощимый Володя Сокольский и его «Лейба-телефонисты». Сам он полетел в Тифлис за установками, а его люди занялись проводами, и через несколько дней машины застучали, а казарма вспыхнула огнями,

как жар-птица.

С водой дело грозило худшим. Горный ручей, бежавший с перевала, летом превращался в жидкую струйку воды, едва достаточную для питания сотни-другой лошадей. Колодцами с трудом пробавлялось население. Пришлось снова, как в сказке, прибегнуть к «Коньку-Горбунку».

– Братцы, – говорил я перед фронтом, – через две недели пригонят тысячу коней. Инженерное ведомство составляет смету уже третий год, и лошадей придется гонять за десять верст на реку Иору. Надо задержать здесь воду водоемами. Может, кто из вас знаком с этим делом?

– Я знаю, – бодро отозвался один из молодцев. – Мы работали на цемент. Пожалуйте две бочки портланду и людей с инструментом, и через три дня наладим водопой.

Любо-дорого было смотреть на их работу. Они вырубили в известняке три квадратные цистерны – одну для водопоя, другую пониже, – для купанья и третью для стирки белья. За одну ночь вода накапливалась до краев, и когда утомленные дорогой и путевыми лишениями кони прибыли в Гомборы, они могли вдоволь пить и фыркать, полоща ноздри в кристальной влаге.

– Вы прямо как Моисей в пустыне, – говорил мне почтенный столетний батюшка, настоятель церкви. – Каково? Воду из камня высекли?

И он, и его сестра, как и он – столетняя грузинка, очень полюбили нас и всю нашу батарею. Он журил нас только за празднества во время поста, связанные с неожиданным прибытием гостей. Он был прав – это был пир Валтасара[120]. Спешившие в Тифлис запасные, тянувшиеся всю ночь с перевала, главным образом туземцы, тушины и пшавы, оставались погреться подле разложенных для них костров; мы их подкармливали остатками из котла, так как свиней и поросят жалеть уже не приходилось. Музыка гремела почти всю ночь, костры пылали, и все принимало вид какого-то туземного праздника.

– Этак и умирать легко, – говорили горцы, прощаясь. – Спасибо вам за все!

Подходили и наши пополнения. Орудийного расчета комплектовать не приходилось: он был великолепен. Но с ним прибыло несколько прекрасных конных разведчиков: взводный унтер-офицер Хаджи-Мурза Дзаболов, которого мы сразу же назначили старшим в команду разведчиков, кавалерийский унтер-офицер Алавердов, тихонький и скромный на вид; бывший конный разведчик 22-го Сибирского стрелкового полка унтер-офицер Кириленко, георгиевский кавалер, идеал русского

солдата. Всегда исправный, всегда на сытой, вычищенной лошадке, без рисовки готовый на любой подвиг, незаметный, но безукоризненный всегда и везде. Остальные пошли к зарядным ящикам и в парк. Бывшие пехотинцы были вооружены карабинами и кинжалами: в трудные минуты эти «чукчуры» или «килипучуры», как мы их прозвали, рассыпались впереди батареи или патрулировали ее фланги, заменяя прикрытие, рыли окопы и производили все вспомогательные работы.

Но вот настал назначенный день. Нас отправляли не на турецкий фронт, а на западную границу, куда – неизвестно. Но к посадке мы должны были прибыть на станцию Закаспийской железной дороги в Тифлис.

Батареи выстроились на церковной площади. После молебна батюшка обошел конный строй, кропя коней и всадников святой водою. Все население высыпало на площадь, теснясь между запряжками. Многие плакали. Плакал и сам престарелый священник. Вот точное описание нашего выступления:

Помню я, как выступали мы в этот последний поход…
Радостно трубы звучали, кони рвалися вперед.
Вышел с крестом седовласый батюшка наш полковой,
Благословил нас, заплакав, на подвиг наш боевой.
– Добрые люди, прощайте, – был командирский ответ.
– Со славою нас ожидайте – или возврата нам нет.
От командирского слова дрогнули наши сердца;
Музыка грянула снова и прокатилось «Ура!»
Много годов пронеслося, многих в живых уже нет.
Только буквально сбылося то, что пророчил ответ.
Страха не зная, мы дрались, наш трепетал супостат…
Жертвой измены мы пали и не вернулись назад!

Во главе уходила наша батарея с командиром и конными разведчиками впереди. За ними трубачи на белых конях, далее, одно за другим, орудия с прислугой, за батареями – парки. Позади всех мчался только что приобретенный щегольской экипаж с неизменным Шеффером на козлах, в белых перчатках и щегольском кафтане. В нем – закутанная вуалью и улыбаясь, словно не отдавая себе отчета в будущем, с верой во все лучшее, – верная подруга моей жизни, а рядом с ней – молоденькая Тася, сестра мм. Кузнецовой.

Вот и мост на Иоре, за Мухрованью… Копыта тысячи коней посылают ей наше последнее «прости»…

Шуми волнами, Иора!

Красавица, прощай!
Вернемся мы не скоро,
Так нас не забывай…

Два дня в Тифлисе прошли под угаром. Улыбки, слезы, поцелуи, объятия… Один за другим грузятся и уходят пехотные эталоны… Раздирающие сцены…

Свистит поезд, старушка мать на фаэтоне увозит молодую даму, раскинувшуюся в полном обмороке… Кому было нужно все это?

Только что приехавший совершенно юный офицерик, князь Сосико Церетели (брат веселого Самсона), забился под койку, откуда его вытащили лишь в момент отъезда. «Не могу видеть, как плачет мама», – говорил бедняжка. Его мама, модель грузинской красавицы, вне себя от горя, спрашивала мою молодую жену, можно ли надеяться, что сберегут жизнь ее сына…

– Когда объявили войну, – говорила Але Фируза, – я увидала, что соседка-немка бросилась в церковь ставить свечку… Я за ней… Она поставила налево, за Кайзера; а я за нашу Россию…

Аля все время держалась бодро. Только когда трубач дал сигнал к отходу, она разразилась рыданиями у меня на груди.

Она оставалась среди друзей… Но… когда и где нам суждено было встретиться опять?

Часть вторая
Сквозь дым и пламя

Верным сынам России

За Родину!

Закавказье уже спалено летними жарами, мы ползем с медленностью классического Bummelzug – «Осетинской молнии». Уже миновали Дербент, «Железные ворота», уже повернули на Ростов. Пожелтелые поля, повыжженные степи… Простились с вами, милые горы, ставшие мне родными – надолго, навсегда… Кто знает?

В Ростове присоединился к нам красавец Иванов, повар экстра-класса, прослуживший у меня всю службу и уволенный в запас как раз накануне войны. Я запомнил его просьбу вызвать его и его адрес: Луговая, 7. И вот он теперь опять принялся за привычное ремесло… Всегда вспоминаю его последние слова: «Поедете по железной дороге, будете на вокзале и захотите рыбы – не соблазняйтесь на осетрину или стерлядь – это верная смерть: берите только “naturelle”[121]».

Эти мудрые правила, по-моему, применимы и не только к рыбе… Я старался внушить их офицерам под Варшавой.

Сворачиваем на Киев. Степь, снятая жнива… зелень садов, из которых выглядывают купола церквей… При виде их какое-то затаенное чувство охватывает душу. В ушах звенит:

Снова мы, как в дни былые
Собралися на врагов.
Поминай же, мать Россия,
Своих преданных сынов.
Пусть раскинутся весною
Твои нивы и поля,
Изумрудной муравою
Пусть покроется земля;
Пусть потонут твои села
В дивной зелени садов.
Будь счастливой, будь веселой
До скончания веков!
За предел твоей державы
Нас теперь ведут вожди…
Мы воротимся со славой,
А иначе нас не жди!

Оглушительный гудок прерывает эти мысли. Поезд описывает кривую и подходит к большой станции. Уже на ходу раздаются крики:

– Осишвили, лезгинка!

Но музыкантов не приходится уговаривать. Все они комфортабельно расположились в теплушке и при первом сигнале хватаются за свои инструменты, и раздаются опьяняющие звуки, которые в душе каждого азиата будят все, что только радовало его душу с раннего детства. Выбившихся из сил музыкантов сменяют зурначи, потом наурская, потом все те мелодии, которые воскрешают последние минуты перед отходом: «На сопках Маньчжурии», «Бабочка», «Испанка». Двухтысячная толпа подростков и детей (взрослых почти не видно) с восторгом глядит на воинственный Кавказ, который идет умирать за Россию, как на бранный пир…

Подбегают к офицерам: «Как зовется ваш полк? Какие славные у вас люди! Первый раз мы видим таких отчаянных ребят, какой порыв! Можно проехаться с вами до следующей станции?»

Полтора часа проходят как одна минута. Но поезд еще не закончил свою погрузку… Мы остаемся еще, но каждую минуту слышится:

– Осишвили, лезгинку! Осишвили, гопака!

Офицеры стоят в стороне от кипящего водоворота. О чем они задумались? У каждого своя кручина. У молоденького Сосико слезы навертываются на глаза: он вспоминает свою маму. Ишхнели тоскует по своей красавице «юной, от которой и ласк не принял, но дарами осыпал». Старший офицер, Петя Коркашвили, затаил глубокую сердечную рану – ему даже не остается надежд «умереть в ее глазах»…

Мне вспоминаются слова моего верного проводника хевсура, сказанные им в момент выезда в погоню за абреками: «Слюшай, Ванучки! Теперь уже не время загадывать вперед! Не надо, чтоб люди сказали, что ты сдрейфил…»

Я подхожу к кольцу: «Теперь, родные, в честь этого доброго города и его милых обитателей – ура!..» Поезд трогается под оглушительным криком и безумящими звуками азиатской лезгинки.

Та же картина повторялась и далее, в Ромнах, в Дубнах. Киев мы обошли стороною. Далее все уже пахло войной. Навстречу шли поезда с ранеными и пленными. Временами получались короткие телеграммы об изменении маршрута. Колоссальные победы на австрийском фронте подавали большие надежды.

– Этак, пожалуй, война кончится в четыре месяца, как проро чили оптимисты!

Один Коркашвили упорно твердил свое:

– Как не так! Как бы эта война не оказалась семилетней, а не

то и тридцатилетней!

Стали получаться известия, которые давали понять, что что-то неладно в Восточной Пруссии, что два наших корпуса подвернулись под удары тяжелой артиллерии, вышедшей из крепостей Торна и Грауденца, и два другие отрезаны… Вспоминается «Бронберга не миновать» Александра Финогенова…

Высшее командование, видимо, что-то скрывало, недоговаривало. Нас повернули на север – пропали наши надежды на Карпаты!

В Слониме нас ждала огромная толпа жителей, сбежавшихся при первых звуках лезгинки… Поезд еще не остановился, как наши «калипучары» уже горохом сыпались со всех вагонов, перегоняя паровоз в своей дикой пляске. Барышни со своими маменьками и подругами заняли все свободные места в поезде. И те, и другие с восторгом смотрели на разудалых кавказцев. Но в их глазах уже виднелась грусть, предчувствие. Всех давила мысль, что эти беспечные, жизнерадостные лица уже не встретятся больше на их жизненном пути…

– Господин начальник! Мы уже задержали ваш поезд на полтора часа сверх расписания. Жалко расставаться с вами! Но уж позвольте давать сигнал.

Резкий звук трубы: «Ездовые, на коней!.. По вагонам садись!» Оглушительный свисток и гостеприимный Слоним, его пестрая толпа, веселые домики – все уже скрылось за полосой густого соснового леса.

Мы подходим к Гродно. Стрелки свернули в сторону, мы остались одни. В вагонах душно, слышится запах гари…

Раздается тревожный гудок… Другой, третий… Поезд останавливается. Торопливо пробегает начальник поезда: «Лесной пожар – по обе стороны пути загорелись леса. Прикажите вашим людям помочь остановить его».

– Трубач! Сигнал: огонь! Слезай, калипучары, вперед!

На зареве лесного пожара все в дыму и огне, дикие фигуры с кинжалами наголо рубят заросли, валят толстые стволы смолистых сосен, которые мгновенно вспыхивают, образуя огненную завесу. Одна огненная стена идет на другую… Но вот все проясняется, кругом остаются лишь тлеющие остатки стволов… Пожар стихает. Путь свободен.

– Садитесь скорее! В нескольких минутах за нами следует экс пресс Великого князя Николая Николаевича.

Мы подкатываем к последней станции, поезд убирают на запасной путь, батарея выстраивается для встречи, и в ту же минуту, плавно скользя по рельсам, бесшумно подходит поезд Главнокомандующего. Великий князь принимает мой рапорт и

проходит по фронту под звуки встречного марша, вглядываясь в бравые лица расчета, в почернелые от пожарного дыма рожи «калипучаров». За ним следует Янушкевич, начальник штаба, – бывший офицер 4-й батареи 2-й бригады, с которым когда-то мы снимались на прощальной группе уходившего командира, полковника Неводовского.

– Наша артиллерия завоевала себе место царицы сражений, – говорит он мне тихонько, – пехота на нее молится…

Гигантская фигура Главнокомандующего вновь появляется в окне купе. Раздаются звуки «Боже, царя храни». Он берет под козырек, и с последними аккордами поезд трогается так же плавно и бесшумно, как прибыл.

Маэстро Осишвили замирает перед своим хором… Он вне себя от прощального экстаза. Трубачи опускают трубы…

Кто из нас думал, что мы слышим эти звуки в последний раз?

Комендант Гродненской крепости ген. Кайгородов встретил нас с величайшей радостью. Он жестоко волновался, крепость была в совершенно беззащитном положении, лишь кое-где виднелись саперные команды, укреплявшие промежутки между фортами. Но, по счастью, немцы прекратили наступление и начали перегруппировку; а между тем подошла вся бригада. Нас направили на Сувалки.

– Куда вы? – удивленно спрашивал меня ген. Головачев, попавшийся навстречу. Он был начальником артиллерии корпуса, и его финляндцы двигались как раз в противоположном направлении. – А, понимаю, chassee croisee[122]. – Когда-то, в дни молодости, он дирижировал на балах Зимнего дворца и теперь вспомнил старинную кадриль…

Нас перегнала 22-я бригада, вместе с нею встретился и мой кузен доктор Стефанович, догонявший своих верхом и в воинственном облачении. Он успел сообщить мне кое-что о всех наших… Почта с начала войны пришла в плачевное состояние, и мы питались только газетами.

Неожиданно мы врезались в другую колонну. Во главе батареи ехал подполковник Барский, они уже были в бою, и его люди производили хорошее впечатление. От него я получил краткие, но ясные сведения о том, что нас ожидало.

В сжатой форме он дал мне картину полной пустоты полей современного боя, сообщил, что немецкая легкая артиллерия несравненно ниже нашей, но что при каждой дивизии имеются 10-сантиметровые гаубицы, а при корпусе – 15-сантиметровые, против которых надо обеспечивать себя глубокими окопами. Те, кому снесло голову, уже не протестуют, но раны осколками в ноги и в нижнюю часть тела производят ужасное впечатление.

Немцы отходили по всему фронту, прикрываясь легкими арьергардами. Первые дни наступления походили скорей на маневры. Шедшие в голове полка ежедневно сменялись, но артиллерия все время оставалась в авангарде. Первое столкновение произошло под Войнюмцами. С фронта наступали финляндцы, против них, на опушке, действовала моторизованная батарея 10-сантиметровых гаубиц. Мы тотчас же заставили ее замолчать, одно орудие осталось на месте. Полк развернулся и двинулся во фланг, обходя противника справа. Я поскакал вперед, чтобы выбрать новую позицию. Довольно было бы нескольких выстрелов, чтоб сбить сопротивляющихся. Я тотчас послал приказание старшему офицеру прислать мне скрытым путем одно орудие, так как батарея осталась далеко и нельзя было терять драгоценного времени.

Минуты тянулися часами… Неприятельское расположение было все как на ладони… Наконец немцы бросились наутек, все-таки это стоило нам десятков двух убитыми. «Почему вы немедленно не прислали мне орудие?» – спросил я своего старшего офицера. Его ответ дал мне понять, что вперед в таких случаях я могу рассчитывать только на себя.

Но в следующем бою предусмотрительность и осторожность Коркашвили спасла положение. Батарея, далеко в голове, попала под жестокий огонь немецкой легкой артиллерии, засевшей между озерами, прикрывавшими дер. Тартак. Заметив это, Коркашвили по собственной инициативе вывел на ближайшую позицию свою полубатарею и метким огнем подавил неприятеля, дав нам возможность выскочить из западни.

Сувалки

Изо всей Великой войны стоянка под Сувалками оставила во мне самое тяжелое воспоминание.

Уже на подходах к городу нас охватило мрачное предчувствие: это была полная картина разрушения. Город мы проходили под вечер. Улицы были пусты, дома разграблены. Прекрасное собрание александрийских гусар опустошено, обломки дорогой мебели сложены на топливо. Деревни, разбросанные там и сям вокруг города, стояли пустыми. От многих оставались лишь печные трубы. Жуткая картина. Переночевав кое-как, с утра мы выехали на рекогносцировку позиций, которые лично указывал нам командир 52-й артиллерийской бригады генерал Мартынов, совершенно не считаясь с видимостью. Как только он ускакал, на нас посыпались тяжелые снаряды. К счастью, я задержал батарею за укрытием, передки ускакали в одно мгновение, и в то же время люди, отлично предупрежденные, с невероятной быстротой отрыли глубокие ровики с отвесными стенками.

Лично меня постигло большое горе: осколком был смертельно ранен мой конь. Ветеринарный врач прикончил его выстрелом из револьвера.

52-я бригада поплатилась дорого за открытый выезд своих батарей. Было видно, как они шли развернутым фронтом на указанные места и как среди орудий рвались шестидюймовые снаряды, поднимая целые смерчи черной земли и дыма. Командиру одного из дивизионов, подполковнику Склифосовскому, оторвало голову, сын Мартынова и много людей и лошадей поплатились за этот опасный выезд.

Почти одновременно на противоположной опушке, за открытыми полями и болотами, можно было видеть, как подошла и развернулась целая германская дивизия. Она повернула фронт на нас и мгновенно исчезла, рассыпавшись по линии. Невозможно было обстрелять ее, так как она маневрировала вне нашей досягаемости.

В районе наших цепей стали рваться тяжелые снаряды, казалось, что это фугасы. Но вскоре немцы перенесли огонь в глубину, а к ночи стали обстреливать тыловые деревни, которые запылали, бросая яркое зарево во все стороны. Наши атаки по болоту под убийственным пулеметным огнем не привели ни к чему. Связи между пехотой и артиллерией не существовало, батареи противника оставались невидимыми.

На другое утро командир дивизиона отправился к командиру

бригады, при которой и оставался все время. Меня он вызвал к себе и приказал немедленно соединиться с ним телефоном. Расстояние было почти в восемь верст, и у меня оставалось всего две катушки для связи с наблюдательным пунктом и батареей. Около нас стояло прикрытие: штабс-капитан Гургенидзе с полуротой от 2-го полка, но и у него не было контакта со своими. От времени до времени приходили приказания от ком. дивизиона, который посадил своего конюха в пехотные окопы и от него получал указания цели.

Возвращаясь из штаба бригады, я набрел на нашу третью батарею, которую поставили на открытое место. Отдельным попаданием там было выведено из строя целое орудие, убит офицер и немного спустя ранен в живот капитан Шихлинский. Его спасла тучность; так как осколок в три дюйма длины остановился в жировой подушке и не коснулся жизненных частей. Командир третьей батареи все время оставался в хате при дивизионе для «передачи технических указаний».

Не знаю, кому мы могли принести пользу своим огнем, но этим навлекли на себя жестокий обстрел неприятеля. Считая, что мы за полчаса выпустили до 400 снарядов, можно сказать с уверенностью, что мы получили не менее 1500 – шести-, четырех– и трехдюймовых. Вся наша позиция была изрыта воронками. Но окопы были вырыты так искусно, что только один человек получил легкую рану в мягкую часть зада, и то высунувшись из окопа.

Чем дальше, тем больше затягивались мы в технику дела. Негодяй Тумский – другого имени ему не придумаю – по совету другого опытного мерзавца, Харкевича, пытался, как он шутил, «заработать себе лампасики» и представил себя и его к Георгиевскому кресту, основываясь на колоссальных потерях батарей, которые выставил под обстрел и заставил стрелять напропалую. Но ни того, ни другого он не получил. Убедившись в полной неспособности артиллерийского начальства руководить огнем, батареи направили в наиболее угрожаемые места. Но общий план не удался. Пехота понесла жестокие потери, и наше наступление выродилось в пассивную оборону.

Возвращаясь ночью от командира дивизиона в полной темноте, я сбился с пути и попал на место атаки 4-го полка, откуда с большим трудом добрался до соседнего финляндского полка, где мне дали проводника. Спотыкаясь о трупы, засыпанные снегом, я нашел разорванную и окровавленную тетрадь полкового дневника. Последние строчки гласили: «Смертельно раненный поручик Габаев всю дорогу до перевязочного пункта осведомлялся, взята ли третья линия неприятельских окопов…»

Мир праху твоему, веселый, беспечный сотоварищ всех тифлисских похождений!

Дня через три нас перевели на другой участок боя, где, стоя рядом с батареей Барского и пользуясь его связью с пехотой, мы сразу заработали благодарность в приказе по корпусу за действительную помощь своей пехоте. Все восемь верст провода оставались у командира дивизиона, но нам удалось добыть до 20 верст провода, и мы стали действовать самостоятельно.

Ровно 30 дней стояли мы под Сувалками, в грязи, среди разлагающихся трупов, временами переходя с одного участка на другой, пока в одно прекрасное утро не были поражены наставшим спокойствием…

«Вдруг затрещали барабаны – и отступили басурманы…» Но без барабанного боя, без шума, противник ночью очистил позицию… Высланные в 10 часов утра разведчики обнаружили отступление врага по всему фронту. Казалось, произошло нечто невероятное… казалось, что кончилась война…

Но неприятель не был разбит. Опираясь на укрепления Летцена на Мазурских озерах[123], он начал переброску главных сил на Варшаву. На фронте остались лишь ничтожные арьергарды, и мы без усилий дошли до реки Ангерап и снова ворвались в Восточную Пруссию.

Эти арьергардные бои – Бакаларжево, Запален – напоминали скорее маневры, а самый поход был отдыхом.

Под Бакаларжевым мы блестяще форсировали реку, сопровождая огненным валом атаку 16-го и 17-го стрелковых полков. Под Запаленом произошел интересный случай. 4-й Кавказский полк, при котором мы находились, остановился на самой околице деревни. Было уже поздно, и все спешно бросились по халупам.

Рано утром на дальнем конце деревни послышались выстрелы. Мы быстро заамуничили лошадей, стрелки двинулись вперед. Оказывается, на другой окраине деревни заночевали немцы, и теперь они заняли опушку ближайшего леса. Не разговаривая долго, я сам схватил первый взвод, вылетел с ним на ближайшую позицию и открыл беглый огонь по опушке. Этого было достаточно, стрелки бросились на «ура» и прогнали противника без сопротивления. Немецкие наблюдатели попали в плен, не успев слезть с деревьев, куда их посадили…

Жители бежали, оставив готовую пищу на столе. Путь победителей был усеян перьями и пухом ощипываемой птицы… Но ненависть, пробужденная бессмысленным уничтожением наших деревень и безобразиями немцев в захваченных ими краях, вызвала ответное отношение. Тогда как раньше свято сберегалось

имущество бежавших жителей, теперь уже невозможно было удержать солдат от уничтожения всего, что попадалось им на глаза. Крестьяне тоже бросились грабить немецкие хаты, в оправдание они приводили бессмысленное разорение и пожары своих очагов.

Наступило затишье. Пользуясь густой сетью железных дорог, немцы предупредили нас под Варшавой, их наступление было остановлено только что прибывшими из Сибири полками всего в 15 верстах от Варшавы. Неожиданно и мы получили приказ о переброске туда.

Под Варшавой

Мы прибыли уже поздно и сразу же остановились в районе предместья «Воля», где нам указали высланные вперед квартирьеры. Распорядившись оцепить наше расположение цепью парных часовых и строго запретив людям отлучаться, я поскакал через мост в Варшаву в штаб Главнокомандующего, который находился в Лазенках. Штаб занимал громадный зал, в котором за множеством письменных столов стучали на машинках и переговаривались между собой несколько десятков штабных. Мне указали стол в оперативном отделении, где сейчас же изготовили и подали мне подписанный приказ: не задерживаясь в Варшаве, немедленно явиться в штаб фронта. В эту минуту подошел только что приехавший с фронта подполковник в форме генерального штаба.

– Ну, как у вас там, все благополучно? Нет прорыва? – я не услышал ответа, но понял, что на фронте держались на честном слове, то и дело ликвидируя немецкие попытки прорваться. О наступлении не было и речи. Не теряя времени, я поскакал обратно.

На биваке меня ожидал сюрприз.

– Так что, ваше высокоблагородие, все благополучно, – говорил Кулаков, – только извольте видеть, – глаза его заблестели веселым юмором, – мы-то от них отгородились парными часовыми, а оне-то туто, в самой середке, по одной в каждой комнате.

Оказывается, мы попали в лупанарий.

– Так что же теперь делать?

– Не беда. Я их всех посунул вон в тот домишко, поодаль, и к воротам часового приставил. А помещение все вымыли и вычистили.

Вот она Воля, которую штурмовал мой дед. Вот она Прага, которую брал Суворов… Мы прошли мост на Висле и потянулись по всем главным улицам, а потом свернули к выходу на прямое шоссе, еще со времен Екатерины обсаженное раскидистыми деревьями, в направлении на Блоне, оставляя позади грязные жидовские кварталы с извилистыми переулками и покосившимися домами, которых, наверное, не ремонтировали, не чистили со времен «Круля Саса», курфюрста Августа Саксонского, который женился на еврейке и наводнил Польшу вывезенными из Германии евреями.

Из штаба фронта нас двинули в штаб армии, где мы расположились на квартирах в огромном фольварке[124], в

стороне от шоссе. Хозяин встретил нас с распростертыми объятиями, отпустил фуража, сколько в душу влезет, угостил прекрасным обедом офицеров и накормил до отвала солдат. И много дней спустя, уже стоя на позиции, мы посылали к нему за овсом и сеном.

Названия его фольварка я не помню, ни имени владельца, так как оно сразу же заменилось другим, навсегда врезавшимся в память всех нас, до последнего солдата именем «доброго пана», при упоминании которого даже лошади ржали от радости и благодарности.

– Для вас ничего не пожалею, – говорил он, отпуская припасы, – пусть достается вам, а не проклятым германам. А вы нам дайте крулем вашего Великого князя Николая, и заживем по-старому.

Вообще по всему шоссе поляки встречали и провожали нас с благословениями. Особенно отличился один придорожный помещик. Стоя на дороге против своего фольварка, он обнимал офицеров, приговаривая: «Ступайте, ступайте бить проклятого германа. Мы все теперь с вами… Ну, когда кончится война, будут и у нас свои счеты, а пока…»

– Это все они так думают, – ворчал доктор Бронн, – я-то их знаю, у меня здесь, в Варшаве, родня… Только не все говорят это так откровенно.

Чем далее, тем пустыннее становилась местность. Великолепные деревья по сторонам дороги были срублены. Кругом по деревням жизнь замерла, не пели петухи, застыли в воздухе крылья огромных мельниц. После Блона, где сибирякам удалось остановить германский натиск на Варшаву, мы передвигались только ночью – во избежание воздушной бомбардировки. Из штаба армии нас направили в корпусной резерв, оттуда – в резерв дивизии…

Пушечная канонада, все время напоминавшая нам наше будущее, стала усиливаться, становиться слышнее. Орудия всех калибров гремели сильнее и сильнее, среди них стали ясно различаться отдельные выстрелы сверхтяжелых пушек, залпы скорострельных батарей. Разрывы стали приближаться все ближе и ближе, временами ветер доносил до нашего слуха треск пулеметов. Все сливалось в какую-то мрачную вагнеровскую мелодию, пахло уже не только гибелью старых богов, но и концом всего человечества.

В полночь нашу батарею вместе со вторым полком вызвали на позицию. Мы должны были сменить одну из гренадерских батарей, уже ранее находившихся в деле. От нее мы получили данные о целях и, что было особенно приятно, уцелевшую

комнатку подле самой позиции.

В уголку ее еще оставалась икона Остробрамской Божьей Матери, которая придавала необычный уют этой бедной лачуге. Казалось, вместе с мерцающим сиянием ночника она посылает нам свое благословение среди тысячи опасностей…

Устроившись, я пошел к командиру полка, находившемуся по соседству. Полковник Томилин лежал на соломе, накинутой на пустую кровать, – обычная поза командира пехотного полка на выжидательной позиции. Рядом, на стуле, сидел офицер Эриванского полка, смуглый и коренастый, с энергичными чертами лица.

– Так это вы капитан-кромобой, про которого написано в приказе по корпусу, что он не спит ни днем, ни ночью?

– Не время теперь спать, господин полковник! Как бы всем нам не заснуть вечным сном… Вот вам записка от князя. Он просит немедленно занять указанные в ней позиции на линии огня. Каждая минута промедления может вызвать катастрофу.

Томилин обернулся ко мне.

– А ваша батарея?

– Стоит на отличной позиции со всеми настрелянными данными, полученными от предшественников. С вами двинутся телефонисты и ночные наблюдатели. Как только осмотритесь, укажите цели, и мы образуем перед вами огненную завесу.

…Полк исчезает во мраке. Но через 15 минут раздается бешеный треск пулеметов, и, почти одновременно, появились отдельные бегущие солдаты.

– Стойте! Куда вы?

– Вай мededау, пулемэти!.. Весь полк погиб, командир убит… мы одни остались!

– Ну ладно, оставайтесь с нами! Чукчуры на линию, в прикрытие батареи!

Проходит несколько минут тягостного ожидания. Наконец трещит телефон.

– Ваше высокоблагородие! Мы здесь, рядом с командиром полка, во рву. Деревня, что впереди, занята противником. Мы попали под пулеметы, но здесь проходит глубокая трещина, и весь полк с нами во рву. Полковник просит открыть заградительный огонь.

– Открываю огонь! Давайте наблюдения!

…Мрак начинает редеть. Уже забрезжил свет, но все равно ничего не видать: туман густой, как молоко, окутал все кругом. Уже восемь, девять… Наконец, туман как будто начинает подниматься… Правее нас в сотне шагов вырисовывается фигура всадника. Это личный ординарец генерала Мищенко, старого

артиллериста, отдававшего себе отчет, что в момент катастрофы пехоте будет не до них и они будут брошены на произвол судьбы.

Но, по-видимому, и немцы понесли тяжелые потери. Иначе трудно объяснить их неумение использовать минуту, когда остатки корпуса, смененные несколькими батальонами кавказских стрелков, были вынуждены к полному бездействию и пополнялись запасными по ту сторону Бзуры.

Наш полк сразу же занял позицию впереди фольварка. Батарею поставили в парке, по обе стороны Божьей Матери, а наблюдательный пункт я выбрал на крыше господского дома. Так провели мы спокойно два дня, пользуясь гостеприимством управляющего, у которого нашлось помещение и для нас, и командиру полка со штабом; он просил только в случае отступления захватить обеих дочерей хозяина, так как тот застрял по делам в Варшаве.

Так мы и сделали. Когда ночью полковник Томилин разбудил меня спешным приказом о выступлении, первое, что я сделал, это было отправить обеих паненок в телефонной двуколке под защитой моего верного Крупского, который благополучно доставил их к «доброму пану» и, вернувшись, привез нам тысячу благодарностей и благословений уже на пути к Сухачеву, где мы должны были занять активную позицию впереди Сухачевского моста в составе отряда, сведенного из остатков наших трех полков. Четвертый, пострадавший менее прочих, должен был прикрывать Бзуру левее моста.

Положение нашего арьергарда было тяжелое. Прижатые к глубокой реке, мы должны были выиграть время, необходимое для восстановления гренадерских полков, в некоторых из них уцелело не более 30 человек.

Под моей командой остались две наши батареи, 3-я находилась уже за Бзурой при 4-м полку. Позади, в нескольких сотнях шагов за мостом, теснились каменные постройки Сухачева: несколько халуп и сараев было разбросано впереди реки, маскируя нашу позицию. Обойдя боевые линии и сговорившись с командирами рот, я пристрелял несколько целей по фронту и вернулся к начальнику отряда, который помещался недалеко в крошечной халупе.

Первые два дня прошли спокойно. Методические, как всегда, немцы поджидали, пока устроится их тяжелая артиллерия, подвезут припасы и перегруппируются войска. Постепенно местами начала загораться перестрелка, везде встречавшая твердый отпор от наших, к которым мы тотчас же приходили на помощь несколькими выстрелами. На третью ночь, с наступлением темноты, огонь стал интенсивнее, натиск

назойливее.

Сукачев и Боржимов. Роковая ночь

Никто не спит в эту ночь. После каждого ураганного огня я иду к командиру полка выяснять положение.

Полковник Томилин лежит на соломе. Перед ним сидит Гургенидзе. Позади их в полумраке теснятся телефонисты и вестовые.

– Противник все время наседает, – говорит Томилин, – то и дело неустойка на фронте, то там, то сям. Резервы растаяли, осталась только полурота 5-й роты. Иван Константинович то и дело ходит восстанавливать положение. Пока что, благодаря этому и с вашей своевременной поддержкой, мы держимся. Но завтра с утра немцы, наверное, обрушатся на нас своей артиллерией и пойдут в атаку.

Трещит телефон…

– А, это вам, – он подает мне телефон.

«С получением сего обеим батареям перейти через Бзуру и выбрать там новые позиции для поддержания пехоты – Тумский».

– Смотрите, господин полковник! Что же вы будете здесь делать без артиллерии? Слушайте, я отправлю 1-ю батарею, а вы поддержите мое ходатайство об оставлении нас при полку, так как без нас вы не продержитесь ни минуты.

Ухожу распорядиться. Наши ждут меня у первого орудия.

– Первая батарея переходит на ту сторону, – сообщаю я им, – наша, вторая, останется при нашем втором полку. Положение тяжелое… С рассветом немцы бросаются в атаку… по ним мы выпустим все оставшиеся снаряды, а потом… Через мост мы уже не перейдем, они засыплют его бомбами. Но Дзаболов нашел брод, и мы спустим в реку все орудия, станем на позицию на другом берегу у того белого столба. Батарею поведет поручик Коркашвили, я останусь последним у этого колеса. И не тужите ни о чем. Вспомните Кольно, Барково – всюду спасал нас Господь. Он и здесь нас не оставит… А теперь спите спокойно.

Возвращаюсь в штаб полка.

– Опять неустойка, – встречает меня Томилин, – сводная рота 1-го полка бросила позицию… Что будем делать, Иван Константинович?

– Ничего не поделаешь. Пойду восстанавливать положение…

– Болигловка, давай набалдашник. А вашу артиллерию прошу по первому зову дать завесу оградительного огня.

Опять телеграмма… Отказано… Артиллерии уходить. Передать снаряды в 3-ю, которая уже стоит на новой позиции.

Снова возвращаюсь в штаб. Иван Константинович уже опять

сидит на своем стуле.

– Ерунда все это, паника… Люди изнервничались… Вернул их в окопы и снова здесь, – говорит он, протягивая свою вязанку вестовому и отирая струящиеся капли пота. – А у вас?

– А вот, смотрите!

– Что же вы будете делать?

– Задержусь до рассвета… Ведь сейчас уже три часа. Расстреляю по наступающим все патроны, а потом буду уходить…

Третья телеграмма:

«Немедленно исполнить приказание. В случае промедления будете расстреляны – Тумский». Ну, прощай, наш второй полк!..

Уже светает… Бесшумно, как тени, с обмотанными соломой колесами скользим мы по мосту, переходим на ту сторону и идем на указанное место. Едва пройдя Сухачев, слышим бешеный рев тяжелых и легких орудий, треск пулеметов и ружейную пальбу. Слезы градом льются из глаз… Там погибают последние, лучшие бойцы, с которыми мы сроднились в стольких боях… А мы, а мы…

В четвертом полку осталось всего тридцать человек. Я посетил его командира. Бедный старик – это был тот самый, который «нанизал целую дивизию на шпагат», – обезумел от горя: «Наша третья батарея бросила нас сразу, противник раздавил нас без сопротивления».

Правая колонна отошла почти без потерь. Под разумным руководством Томилина и благодаря геройству Гургенидзе отряд выскользнул из железного кольца между фланкировавшими его пулеметами и огненной завесой тяжелой артиллерии.

– Когда мы увидели густые массы немецкой пехоты, – говори ли мне потом, – вот была бы цель для нашей батареи!.. Но тут же получили приказ об отходе и, прежде чем немцы пошли на штурм, уже очистили позиции.

Ни 1-я, ни 3-я батарея не выпустили ни одного снаряда. У них не было ни связи с пехотой, ни надежного наблюдения.

После перехода Бзуры Гургенидзе засел в Сухачеве с остатками полка. Я нашел его там в подвале большого каменного дома, который он обратил в опорный пункт. Стимулируя атаку, немцы открыли по нему бешеный огонь чемоданами[125]; под его защиту понабилась детвора, неизвестно почему застрявшая в городе. Больно было глядеть на эти искаженные ужасом личики.

– Перестаньте реветь понапрасну, – успокаивал их Гургенидзе, пряча их под фалдами своей шинели. – Ну, убьют, так убьют… Тут слезами не поможешь…

Эта картина навсегда врезалась в мою душу.

Разочарование

То, что было далее, не поддается описанию. Неожиданно остатки бригады были вызваны на ближайшую станцию железной дороги для отправки на Кавказ, где Энвер-бей[126] угрожал Тифлису. Простояв три часа в ожидании посадки, мы получили телеграмму об отмене. Разом рухнули все надежды на свидание с милыми, мечты о родных горах, на короткий отдых в вагонах… Пехоту бросили под Боржимов, где, по слухам, полки атаковали семью волнами траншеи, забитые пулеметами, под градом снарядов всех калибров до 12 дециметров включительно, которые одним выстрелом погребали взводы артиллерии, где пехота висла на проволочных заграждениях, тщетно пытаясь разрезать их ножницами или взорвать ручными гранатами.

После этого я уже не видел знакомых лиц среди офицеров, кроме 2-го полка, который уцелел каким-то чудом от поголовной гибели.

Когда остатки полков отвели на исполнение, мне удалось найти одного солдата 1-го полка, который рассказал мне грустную повесть о гибели его товарищей. Не привожу ее здесь по причинам, которые поймет читатель.

Артиллерию впервые отвели на отдых; причина заключалась в том, что еще не начали прибывать горные снаряды, а боевые комплекты были совершенно истощены.

Я воспользовался этой стоянкой, чтобы съездить на батарею брата Коли, которая стояла тут на позиции. Это было глубокой ночью, она вела непрерывный огонь, в то время как он вместе с командиром дивизиона полковником Кулацким находились на наблюдательном пункте, куда я уже не мог пробраться. Мы перекинулись лишь парой слов по телефону. Его батарея, только что сформированная, производила впечатление налаженной сбитой части. Два молоденьких прапорщика, один из коих был «старшим офицером», ясно и отчетливо подавали команды. Дисциплина огня была превосходная.

Я не мог оставаться долее нескольких минут, каждый час мы ждали переброски.

Это было на Рождество… В Рождественскую ночь в соседнем храме служили вечерню… Последнюю Рождественскую службу, которую я слышал в России.

Так же неожиданно батарея получила приказание возвращаться под Сухачев, где мы заняли пассивную позицию с единой задачей: парой сотен остававшихся еще снарядов гарантировать мост на Бзуре.

Позиция была идеальная во всех отношениях. Наблюдательный пункт я выбрал в верхнем этаже механической мельницы, откуда все было видно как на ладони. Обыкновенно я пробирался туда до рассвета и возвращался в сумерки, так как неприятельская артиллерия стреляла по отдельным всадникам. Все-таки один раз я попался. Меня спешно вызвали днем, и тотчас же два взвода стали охотиться за мной с двух сторон. Обыкновенно я выворачивался, постоянно меняя направление, но тут над моей головой сразу лопнуло два бризанта[127]; раскаленный осколок скользнул по руке, державшей поводья, и струя горячей крови хлынула в сапог выше стремени. Мой конь зашатался и, проскакав несколько шагов, грохнулся мертвый – я едва успел соскочить на землю.

– Вы ранены, ваше высокоблагородие… – трубач подвел мне своего коня.

– Нет, нет, забирай седло и езжай за другим конем, а я добегу пешком.

Трубач недоверчиво покачал головой: кровь бежит ключом из сапога.

Но нет, это была кровь моего бедного Казачка, которому большой осколок открыл аорту.

Добежав до наблюдательного пункта, я открыл огонь по сменявшейся пехоте и выместил на ней смерть моего коня.

Уже в темноту, на новой кобыле, я подъехал к нашей позиции. Меня ожидала вся батарея и с криком «ура!» внесла на руках в мою землянку.

В тот вечер нас ожидали письма с Родины… от моей Али, от всех близких… Наш посланец привез от них кучу посылок для всех и, главное, чистое белье. Переодеваясь, мы бегали – как русалки при свете луны – по усыпанному снегом полю.

На родине Шопена

– Ваше высокоблагородие, вас просит к телефону доктор Брон!

– Доктор! Уже вернулись из Варшавы? Достали все, что нужно? Что? Как? Что вы говорите! Кого привезли? Кто приехал из Тифлиса? Александра Александровна? В Варшаве? Здесь, у вас? Не может быть! Еду сейчас… Трубач! Коня! Крупский, все чистое! Барыня приехала из Тифлиса, она в обозе, ждет меня!

Темно, как в подземелье… Ни месяца, ни звезд. Только по сторонам догорают спаленные немцами деревни. Я давно уже никуда не отлучался из батареи и, если б не трубач, не нашел бы дороги. Наконец, при отблеске вспыхнувшего пламени замечаю силуэты халуп и очертания обозных повозок.

В ближайшей хате мелькает слабый огонек… У порога кто-то стоит.

– Доктор! Где?

– А вот здесь, я очистил для вас эту халупу. Заходите!

При свете коптилки я вижу мою Алю в легком ночном капотике. Чтоб согреться, она прыгает кругом раскаленной докрасна железной печурки.

– Алечка моя!

– Зайка! Я к тебе прямо из Тифлиса! В Варшаве меня разыскал доктор и сразу же привез сюда.

– Малютка моя, залезай скорее в кровать, я укутаю тебя всеми одеялами – ведь этак ты можешь простудиться!

– И ты со мной?

– Хорошо, вместе будет теплее… Как-нибудь проведем часа три-четыре, а потом я тебя сразу отправлю в Варшаву, а сам полечу на позицию. Ты должна уехать непременно в полную темноту; ты видишь, что здесь делается!

– Ну, Зайка, а ты?

– Я отпрошусь на несколько дней, благо так близко. Уж раз ты здесь, пока Варшава под нашей защитой, – оставайся, а чуть что – уезжай в Питер к Махочке, там ты будешь в полной безопасности. А где ты остановилась?

– На улице Соколова, 2, у пани Ковецкой. Постой, я расскажу тебе все по порядку… Но какой ты смешной… загорел, весь оброс бородой! Как чудесно, что я так скоро тебя разыскала… А как я тебе нравлюсь? Много я изменилась? Я ведь приехала сюда в папахе, черкеске и в бурочных валенках, я думала, что вы карабкаетесь где-нибудь по горам. Ну, я тебе все это оставлю. Теперь слушай все по порядку. В Тифлисе я остановилась у

Кузнецовых. Город не такой уж большой – две главных улицы – Воронцовская и Михайловская, только и всего. Скоро все перезнакомились. Мы всегда собирались вместе: Фируза, я, Тася и Таточка Федорова. Стали заходить знакомые, Молостовы и другие. Их сестра уговаривала меня помогать ей с ранеными. А тут приехал знакомый инженер из Баку, который несколько лет назад мне делал предложение. Тот самый, которого я смертельно боялась, что он убьет тебя в день свадьбы: «Как вы меня разыскали? – Но я все разузнал о вас, и где ваш муж, и куда он ушел с батареей». Через день он должен был возвратиться в Баку и перед отъездом еще и еще раз уговаривал меня бросить тебя и ехать с ним. Я прямо сказала ему, что безумно счастлива с тобой. Так он и уехал… А тут Отрежко… Ты помнишь этого казака, который встречал нас с песнями в лагере под Александрополем? Он был летчиком на кавказском фронте. Заболел нервной лихорадкой с температурой до 40 с лишним и прислал мне письмо, умоляя зайти хотя на минуту. Мне было его страшно жалко, но я опасалась какого-нибудь необузданного поступка с его стороны и звала его к нам. Когда температура упала, он вернулся на фронт и написал мне письмо, полное упреков: «Ведь я боялся дышать подле вас, чтоб не оскорбить вас своим дыханием… – писал он. – За вас я готов был на все… Как вы не могли подарить мне на пороге смерти хотя бы минуты счастья, чтобы я мог сказать вам все, как я пламенно люблю вас, сказать, что самый этот припадок – это следствие моей безумной страсти».

Мне больно думать, что я так жестоко его обидела. Но я смертельно боялась этого свидания, которое могло кончиться безумием с его стороны. Он уехал на фронт, не повидавшись со мной, и вскоре погиб.

И вот мы с Таточкой решили пробиваться на фронт. Все наше имущество я оставила на квартире у ее мамы, мы взяли только легкие чемоданчики и сели в вагон. Поезд шел при нормальных условиях, и, когда мы очутились в Варшаве, наши спутники указали нам комнату – во всех домах сдавались свободные помещения. Не обошлось без забавных инцидентов.

Ночью Варшава тонет во мраке ради возможного налета цеппелинов[128]. Вечером возвращаемся из театра. Все разом погасло. С трудом нашли нашу лестницу, отворяем дверь в квартиру, нащупываем вход в свою комнату. Открываем свет – что за превращение! Мебели нет, стоит одна кровать, стол и ширма. «Ах, – думаю, – это опять хозяйка “заняла” нашу мебель, чтоб сдать свободную комнату жильцу». Делать нечего. Залезаем обе вместе под одеяло… Вдруг кто-то отворяет дверь и открывает электричество…

– Прошу, пани… – оказывается, мы залезли этажом ниже в чужую спальню, благо расположение во всех квартирах одинаковое!

– Ну, а как ты? Я представляла себе войну совершенно иначе.

– Что же, ведь я писал тебе обо всем. Здесь мы стоим относительно спокойно. Стрелков отвели в резерв. Нас включают то в участок Тифлисского, то Эриванского полка. От немцев наша пехота отделена только рекой Бзурой шагов в 60–70 шириной. Ружья лежат в амбразурах, чуть кто шевельнется – пуля в лоб. У меня тесная связь с наиболее угрожаемыми участками, все цели пристреляны, чуть немцы пошевелятся – мы им гранату, в самый окоп. Намедни они притащили какие-то аппараты. Стали бросать в наших бомбы, а мы их сразу гранатами. Так они тут же стали кричать: «Рус, перестань стрелять, мы больше не будем кидать бомбочек».

Батарея стоит подле самой Железовной Шопы – эта деревушка – родина Шопена, там стоит его чугунный бюст. А наблюдательный пункт ютится то в одной, то в другой хатенке недалеко от берега. Как только немцы заметят движение, начинают нас обстреливать легкой артиллерией, приходится удирать во все лопатки в другое место. Но их орудия избегают бить по нашим окопам, боятся попасть в своих, их легкая артиллерия далеко не меткая. Рядом с нами мортирная батарея подполковника Тимашева, он был адъютантом у папы в Тифлисе, я его хорошо знаю. Он такой милый, выдержанный, но, бедняга, совсем уже глухой. Мне с ним так уютно, его батарея напоминает большую семью… Ого, да ты уже закрыла глазки… Спишь, наверное.

– Ах, Зайка… Я вздремнула… видела во сне, что мы с тобой опять в Гомборах, и никакой войны нет. Ах, как все это было хорошо…

– Ну, засыпай, мое ненаглядное дитятко. Храни тебя Христос и все Его святые Ангелы…

Я тихонько снимаю ее руки, которые все еще обвивают мою шею, и соскальзываю на холодный пол…

– Трубач!

– Здесь я… Осторожнее, ваше высокоблагородие, тут голдобина. Держите влево, прямо на то дерево, под которым проходит шлях…

Ночной туман рассеялся. Весь небосклон усыпан звездами. С поля повеяло сыростью, пробежал предрассветный ветерок. А там, на востоке, уже загорается ярким пламенем утренняя звезда.

– Теперь по шляху можно идти галопом, – говорит трубач, – к рассвету попадем на батарею.

Кольно, Малый Плоцк и Скрода-Руда

Бригада переброшена на Кольно. С вечера мы расположились на дальней его околице. Мне отвели чудесную квартирку – роскошь, невиданная с начала войны. Какое наслаждение сменить белье, раскинуться на перине, утопая в подушках!

Но через час наш разъезд (так называют его казаки) принес тревожное известие: раненый германский офицер сообщил, что целая дивизия с кавалерией и при 20 орудиях всех калибров сосредоточивается в окрестностях, чтоб ударить на нас завтра. Завтра… но сегодня еще успеем отдохнуть!

Бедняга не пытался ничего утаить от терзавшего его расспросами штабного с книжкой в руках. Он только жалобно повторял: «Lassen Sie doch mich schlagen, bitte sehr!»[129]

– Три дня я охотился за ним, – ликовал взявший его в плен хорунжий. – Наконец-то он мне попался!

На другой день с раннего утра загремели пушки, наши крошечные горняжки прижались под деревьями к самой кладбищенской ограде, сложенной из дикого камня. Правее нас стреляла 8-я конная батарея. Впереди, в 300 шагах, – две ветряные мельницы, с которых видно все до ближайшей опушки. На правой – командир конной батареи, на левой – я. Наших не видать. 2-й полк где-то влево, но связь с ним потеряна; остальные правее, за шоссе, перерезающим городок.

Мы спокойно поджидаем врага: стрелки не бросают своей артиллерии. Но вот тяжелый снаряд поднимает смерч пыли в ста шагах от нашей мельницы. Цели сняты, пора слезать… И вовремя: вот заалела правая мельница. На месте нашей поднимается огромный пылающий факел. На опушке показываются каски. Снимается конная батарея, уходит галопом под огнем неприятельской батареи… А наших все нет… Ни слуху, ни духу. С монумента, с которого я наблюдаю, ясно можно видеть наступающие цепи, они все ближе и ближе.

Я соскакиваю со своего пьедестала и подбегаю к колесу первого орудия:

– Передки на ближний отъезд! Поручик Коркашвили, после этого залпа уводите батарею на тыловую позицию. Я останусь отстреливаться до последнего.

– Прицел 10, на картечь!

– Беглый огонь, без очереди!

– На задки, галопом, марш!

…В городе уже пусто. Батарея уже вне опасности. Когда я догоняю своих, из окна последнего дома высовывается начальник

штаба, капитан Морозов.

– Куда?

– На тыловую позицию!

– Кто в городе?

– Немцы.

– А стрелки?

– Никого. Мы в прорыве. Последним залпом мы били на картечь. Немцы уже за кладбищенской оградой.

Немцы, как всегда, ограничились намеченным успехом. Теперь они засыпают наши тылы тяжелыми снарядами, но мы уже на новой позиции, в трех верстах за городом, и их пехота не преследует нас далее.

Сумерки. Крошечные пушчонки укрыты соломенными крышами сараев. За ними все в ряд лежат офицеры и прислуга.

– Иван Тимофеевич! Иван Тимофеевич! – кто-то тянет меня за сапог. – Это я, прапорщик Попов из парка!

– Что прикажете?

– Константин Дмитриевич послал меня в Кольно за 50 снарядами. Мы их там забыли при отступлении, в сарае, на околице.

– А есть с вами люди?

– 50 человек калипучаров, все с карабинами и кинжалами.

– Ну, пожалуй, этого будет маловато, там уже целая дивизия.

– Так что же мне теперь делать?

– Спите себе спокойно до завтра, а там подойдут подкрепления, отберем их обратно… А есть у вас потери?

– Тирлингу оторвало руку снарядом. Его отправили в Ломжу и снабдили деньгами из батарейного капитала.

– Ну, с Богом!

Прошло много, много лет… Белые заняли Харьков, только что брошенный большевиками. В лучшем отеле города Кутепов, его начальник штаба и я. У меня в приемной толпа народа. Среди них элегантный молодой человек с букетом чудных роз в руке, другая прячется в пустом рукаве.

– Тирлинг?… Еще не забыли своего командира?

– Таких не забывают! А это от меня вашей барыне. На сто рублей, данных ему на дорогу, Тирлинг жил два месяца, пока выучился писать левой, получил место в конторе и теперь пришел навестить тех, о ком думал столько бессонных ночей.

Но утром никаких подкреплений не подошло. Совершенно обратно: из авангарда мы превратились в арьергард. Прикрывшись 4-м полком и выводом моей батареи, которые задерживали немецкое наступление у деревни Маркова, мы продолжали отходить на Малый Плоцк, где сосредоточивалась

целая армия, формировавшаяся из Гвардии и частей, вновь прибывших с Дальнего Востока.

Встревоженный упорной пальбой в Баркове, я оставил батарею и поскакал туда. Я нашел наших еще по ту сторону Скроды; но пехота уже отступала, переходя реку вброд, блестяще выполнив свою задачу при великолепном содействии взвода Шихлинского, боевая работа которого вызвала общий восторг.

– Что будем делать? – обратился он ко мне. – Искать брода уже нет времени. Идти через мост? На него, наверное, обрушится вся артиллерия!

– На мост! – отвечал я. – На мост и марш-марш!

Мы пролетели мост, прежде чем немцы успели очнуться, и спокойно присоединились к своим уже за Малым Плоцком. Прилагаю описание этого блестящего дела со слов участников.

Много лет спустя, уже в Парагвае, на банкете у американского посла ко мне подошел граф Ведель, германский уполномоченный в Асунсьоне.

– Не знаю почему, генерал, но я уверен, что мы с вами встре чались на войне. Вы были под Плоцком, под Барковым. В то время я был воздушным наблюдателем и видел блестящие действия вашей горной артиллерии.

– Это была моя батарея, граф…

– Не могу достаточно выразить вам своего восторга. Во всех боях вы покрыли себя бессмертной славой. Помню, под Барковым, когда мы думали, что сопротивление пехоты уже сломлено и начальник дивизии собрал свои полки, чтоб сделать им смотр, вы осыпали нас гранатами и заставили разбежаться куда попало. И меня с моей колбасой в том числе.

– Значит, мы с вами в кровном родстве. Мы крепко пожали друг другу руки.

Ступайте в ж…

Малый Плоцк – это крупное местечко, все дома которого вытянулись в две параллельные линии почти до самой Скроды, которая вместе с Писсой орошает заболоченные луга междуречья. Северный край местечка сливается с группой маленьких деревушек, напоминающих островки болот и влажных лугов. Впереди и позади местечка расстилаются волнистые поля, а в тылу тянется ряд деревень, вытянувшихся в том же направлении. Верстах в семи позади расположена Ломжа, крепость, ликвидированная пред самой войной, но теперь снова спешно приводившаяся в боеспособное состояние. Шоссе Ломжа – Кольно пересекает местечко под прямым углом, где в самом центре его возвышается великолепный костел с двумя высокими колокольнями в виде готических башен. Я немедленно воспользовался им как превосходным наблюдательным пунктом и, пока еще не подошла немецкая тяжелая артиллерия, пристрелял все важнейшие точки впереди всего фронта. Свежие войска – это были сибиряки – уже занимали указанные им места и отрывали неглубокие окопы. Я разыскал командира 36-го полка, установил с ним связь и посвятил его в курс дела. Корпус явился совершенно не подготовленным к современной войне и притом необстрелянным, но командир полка быстро освоился со всем, что только могло быть ему полезным, и ясно отдавал себе отчет о необходимости тесной связи с артиллерией. Он немедленно приказал укрепить окопы до полной профили, и наше содействие обеспечило его участок в течение ближайших дней и ночей. Все попытки немецких блиндированных машин прорваться по шоссе пресекались тотчас же нашим ураганным огнем.

– Ты только посмотри, что выделывают эти самоеды, – ворчал Коркашвили. – Пошел бы ты научить их уму-разуму. Ведь этак они погубят себя и нас!

Действительно, новые батареи, подходя одна за другой и занимая позиции, становились совершенно открыто, вне всякой связи с пехотой и даже между собой; выбирали слепые наблюдательные пункты вблизи батареи.

Чему они учились в мирное время? И кто руководил их обучением?

Я вернулся на батарею совершенно измученный, обежав десяток позиций, где всякий раз приходилось твердить одно и то же: о необходимости тесной связи с пехотой и немедленной пристрелке по всему фронту; об укрытии резервов и миметизации

орудий, об отрытии глубоких ровиков для прислуги и щелей на случай интенсивного огня от тяжелой артиллерии…

– Ваше высокоблагородие! – встретил меня Кулаков. – Только что было здесь начальство, важный генерал. Сказывал, ваш кунак по Александрополю. Передавал поклон и просил прибыть в Малый Плоцк на совещание к 12 часам.

– Кто же это мог бы быть? Офицеры не видали его, они сидели в землянке. В Александрополе! Ах! – меня осенила мысль. – Ну да, это и не мог быть никто другой… Мусхелов! «Чурчхелов», как мы его называли.

Теперь для меня разом стало ясно все: и полузакрытые позиции, и батарейные резервы, колбасой (по-кавказски, чурчхелей) вытянувшиеся за первым орудием.

Узкоумный и упрямый, «Чурчхелов» деспотически настаивал на своем, уверяя, что лучший метод укрытия ящиков – это ставить их в затылок один за другим, подставляя, как он уверял, под взоры и выстрелы противника лишь одну запряжку, а прочие 17 укрывая за первой… Что-то он теперь готовит своему другу? Возвращаюсь через полчаса к своим совершенно убитый.

– Ну, что он тебе преподнес?

– Да уж не знаю, как и отвечать: «А, мой милый друг» – говорит, а потом вдруг: «Ступайте в ж..!»

– Это что еще?

– А вот, давайте скорее обедать, и людям раздайте пищу, а потом сами увидите. Крупсик! Есть молочко? Горло пересохло.

У Крупского всегда во фляге найдется молоко для своего командира. Когда он, не снимая ее, дает сделать из нее несколько глотков, на его лице появляется выражение кормилицы, питающей своего младенца.

– Ну вот, – вынимает карту. – Вот, милый друг, видишь эту надпись поперек поля: «Железова Воля»?

– Вижу.

– Так вот, сейчас ровно 12 часов. Туда (мерит циркулем) ровно 10 верст. К четырем часам ты должен быть в букве «Ж» и открыть оттуда огонь во фланг по всей немецкой позиции.

– Ваше превосходительство!..

– Ровно в четыре часа. Ну, ступай скорее! Там был командир полка. Я к нему:

– Да ведь вы без меня не продержитесь и ночи!

– Ну что же! Он и слушать не хочет. Был там и Тумский.

– Скажите ему, что ведь «Воля» на нашем фланге, а буква «Ж» за версту, в тылу у немцев. Куда же я пойду один?

– И слушать не хочет.

Вот тебе и кунак! Удружил. Отправляйтесь в «Ж»! Упрямый

ишак!

– Ну что же, не впервые нам исполнять дурацкие приказания, – резюмирует Коркашвили. – Что же ты думаешь делать?

– А вот увидишь.

Не в первый раз чувствовал я себя Иваном-дураком у царя Берендея.

В сумерки подходим к перелескам на крайнем фланге корпуса. Влево остается деревушка, эта самая «Железова Воля». Она взята сибиряками. Надпись на карте пересекает ее выше и углубляется на целую версту в немецкий тыл. Севернее деревушки – болото, не охраняемое никем, – прорыв между нами и 1-м гвардейским корпусом. На противоположном берегу болота заметны кое-какие окопчики: немцы. Возвращаюсь к своим.

Ну что ж? Дальше идти некуда. Здесь прорыв. Кто знает, где там еще находится гвардия. Рассыпаем по опушке чукчуров, а сами направим одно орудие в ориентир, а остальные в запряжках пусть будут готовы уходить при первой попытке неприятеля перейти в наступление. Пошлем связь к сибирякам.

Завертываюсь в бурку и ложусь у первого орудия. Прислуга тоже. Лошади стоят в запряжках, понуря голову.

Все стихло… Но вот я слышу размеренный шум шагов. На опушке мелькают какие-то тени. Солдаты в гвардейской форме с синими петлицами, окаймленными алыми выпушками… Я вскакиваю и поспеваю вовремя, чтоб остановить замыкающего прапорщика.

– Скажите, какая часть?

– 3-й батальон лейб-гвардии Семеновского полка. Нас послали сюда, чтоб восстановить связь с первым флангом Сибирского корпуса.

Какое счастье для нас!

– Не откажите доложить вашему командиру, что здесь находит ся 2-я Кавказская горная батарея, всегда готовая открыть огонь по его первому зову. Просим также не забыть нас в случае перемены в расположении.

– Слушаю, господин полковник. Ну, теперь можно снимать штаны!

– Кулаков! Раздавайте людям ужин и навешивайте торбы ло шадям.

Ранним утром появляется тот же прапорщик.

– Полковник Свешников просит вас зайти к нему. Забираю с собой Джаболова и наблюдателя с двурогой трубой. За ними протягивают телефон.

– Господин полковник, моя батарея уже заняла позицию и

находится в полной готовности.

– Очень приятно.

– К вашим услугам. Что прикажете?

– Видите ли, рядом в деревушке фланговый батальон сибиряков. К северу от болота начинается участок гвардейского корпуса. Нам приказано закрыть прорыв, заняв позицию на опушке по эту сторону болота. Противника не видно, но вот напротив под большим дубом какой-то подозрительный бугорок. Наверное, наблюдательный пункт. Не найдете ли возможность пустить в него одну или две гранаты.

– Слушаю.

Передаю команду на батарею: «Орудиями, первое!» – Первый выстрел режет утренний воздух, граната разрывается у подножия холма, поднимая столб пыли. Из-под него выскакивает немец и мечется, видимо, не находя подходящего закрытия.

– Еще, еще! – Свешников входит в азарт. Мы посылаем еще две гранаты. Внезапно раздается целый взрыв пулеметного огня, немцы осыпают всю нашу опушку, срывая сучья и срезая верхушки деревьев. Свешников и его люди ссыпаются в полуготовые ровики. Но наши телефонисты уже сидят в надежном окопчике за толстым стволом векового дуба.

– Идите к нам сюда! – кричит Свешников.

Не торопясь, мы с Дзаболовым подходим к нему и садимся у входа. Мне не хочется ударить в грязь лицом перед гвардейцами.

– Да их тут целый муравейник, – говорит Свешников. – А это что?

Левее нас раздается невероятный грохот. – Крак-крак… крак-крак. Немцы бьют по деревне бризантами. Беспечные сибиряки, застигнутые врасплох, сыплются крупой из деревни, окутанной дымом рвущихся снарядов.

– Смотрите, Сиверс! Сибиряки бегут… Надо идти восстанавливать положение. Третья рота останется прикрывать наше расположение.

– Очень прошу вас, – обращается он ко мне, – поддержать мою атаку.

Все тонет в облаках дыма. Живым огненным валом мы сметаем все впереди наступающих целей. Через несколько минут Свешников и его люди возвращаются обратно.

– Блестящей атакой мы мгновенно восстановили положение, – говорит он, стирая пот, струящийся с его лица. – Под нашим натиском немцы тут же очистили деревню, мы потеряли всего одного солдата убитым и прапорщика Ватаци, который получил рану в колено. Сибиряков я водворил обратно, они совсем необстрелянные. Не знаю, как благодарить вас, –

обратился он ко мне. – Я никогда еще не видал такой эффективнейшей артиллерии. Какая блестящая работа вашей батареи!

Я подхожу к телефону, чтобы передать благодарность начальника отряда.

– Voila sicvors, – продолжает Свешников, обращаясь к своим офицерам, – est ce que vous avez vu de chaoses paroilles voileses braves Gicassiens qui n'ont pas peur de rien, qui se prominent sous le feu de metrille comme si c'etait au balle. Et nos artilleurs de la Garde qui ne s'assomeent jamais dans nos lignes, qui n'ont pas un seul sousofcier pour faire des observations… Подполковник, скажите мне, к чему я могу вас представить: к Георгию, к…

– Mersi, mersi. Vos paroles, les sinceres eloges que vous avez fait sontles meilleures recompenses pouv mes caucasiens. Onim a presente doja a la Croix d'Honneur et a l'Epee, donc je vous Serais oblige trop si l'on pouvait transmetre quelques uns de vos eloges e mes vieux camavades de la Garede qu'ils sachent qu'il y a quelque valeur militia e hors de leurs fles…[130]

Все раньше думают, а потом уже говорят. Но я всегда раньше говорил и даже поступал. Как это часто бывает, все эти представления о наградах бесследно пропадали в штабах и управлениях… Но для меня все это было к лучшему.

Свешников крепко пожимает мне руку.

– Какое счастье работать с такой артиллерией!

Не успеваю отойти – телеграмма: «С получением сего вести батарею в штаб дивизии для переброски на левый фланг корпуса». Показываю ее Свешникову.

– Какое несчастье!

– На все Божья воля…

Прибываю в штаб дивизии. Ею уже командует наш начальник бригады генерал Полянский. Он крепко жмет мне руку.

– Ну, поздравляю вас… Со всех сторон на вас и на вашу бригаду сыплются похвалы. Теперь у вас нет более врагов в тылу, только с фронта.

– Но этих я не так-то боюсь, развяжите мне только руки.

– Как только вы оставили позицию, сюда приехал командир Семеновского полка генерал-майор фон Эттер, давал мне за вас целый дивизион гвардейцев. Я послал ему взвод 3-й батареи, вашего Илико, вас не могу отдать, вам вместе со 2-м полком придется ликвидировать обход левого фланга под Скродой-Рудой.

Прорыв на фланге армии

В полном мраке движемся мы по дороге, ведущей на Скроду-Руду. Временами по правую руку вырисовываются контуры халуп и сараев какой-то мертвой деревни. Подле дверей последней хаты видна чья-то тень.

– Здесь помещается штаб 34-го Сибирского стрелкового пол ка, – отвечает голос нам на вопрос. – Заходите!

В тускло освещенной комнате за столом сидит седенький старичок, командир полка, и двое его офицеров.

– Ничего не могу сообщить вам, – говорит он. – Командир 2-го полка в версте дальше, поджидает сосредоточения своего отряда. Сама деревня занята германцами, мы находимся на открытом фланге. Наверное, немцы думают отсюда прорваться на Ломжу, она всего в семи верстах, и там никого нет.

– Слушай, Петя! Устраивай батарею в этой роще, которая виднеется там, правее дороги, а я возьму с собой разведчиков и телефонистов и пойду нащупывать командира полка.

– Смотри только не напорись на немцев, – говорит Коркашвили. – Дело пахнет чем-то скверным, я расставлю патрули из чукчуров. А где же у нас фронт?

– А вот прямо, куда смотрит твой нос… под прямым углом к общей позиции.

– Выходит, что нас обошли?

– Почитай что так… Ну, пока, до свиданья.

– А наблюдательный пункт? Где ты думаешь его выбрать?

– Сейчас не скажу. Ведь зги не видно. Хоть глаз выколи. Сперва переговорю с командиром полка, а там пошукаю во мраке.

Кое-как добрались до командира полка. В крошечной халупке, со щелями, завешанными шинелями и одеялами, чтоб не пропустить ни искры света, расположилось несколько человек.

За столом сидит полный, невысокий полковник в штабной форме – это новый командир полка: Томилин уже генерал-квартирмейстер на Кавказе. Перед ним, в неизменной вязанке, мой старый друг Гургенидзе. У меня сразу камень сваливается с сердца.

Возвращаюсь к себе и приступаю к выполнению задачи. Темно и мокро, как в чернильнице. Дождь все время льет, не переставая, то усиливаясь, то ослабевая, то снова возьмет да окатит нас душем холодной воды. Но наблюдатели не дают маху. Один справа, другой слева, они корректируют каждый выстрел. У немцев нет артиллерии, они бросают наудалую какие-то импровизированные бомбочки, но те попадают в болото.

С рассветом мы продолжаем методически обстреливать окопы и самые халупы, которые все время окутаны дымом взрывов.

– Когда же начнется атака? Предупредите.

– Когда загорится деревня…

Я понимаю. Хитрый Гургенидзе оттягивает минуту атаки до прибытия всех подкреплений.

– Все время над нашей батареей крутятся неприятельские авионы, но предусмотрительный Коркашвили так укрыл наши орудия, что и орлиный глаз не разглядит их. А стреляем мы, лишь только они отлетят в сторону.

Вот уже снова темнеет. Мы расстреляли целый комплект, а пехота все еще не шевелится. Наконец…

– Вот теперь поддайте ураганного огня, – сообщает Гургенидзе по прямому проводу. – Поднимаю людей, идем в атаку!

…Через две минуты: «Я уже в Скроде, прекратите огонь. От немцев остались только обугленные трупы и исковерканное оружие. Деревня наполовину сожжена, но мост уцелел. Сейчас перехожу мост и поворачиваю фронт под прямым углом на запад. Прошу сопровождать огнем по нашим указаниям. Лучше согласен получить пару снарядов в спину. Только не прекращайте огня!»

– Немцы все время отступают, я их преследую…

– Приближаемся к брошенным кавалерией позициям, я их преследую…

– Положение восстановлено! Прекратите огонь! Спасибо лихой батарее…

Высота 70,9

Все затихло на фронте…

И одновременно, казалось, успокоилась и вся природа… Холодные дожди, сырость, туман уступили место ясному небу и сухому, живительному дыханию ветерка. Прояснело и на душе.

Но где-то в глубине человеческого организма заложено шестое чувство, открывающее ему то, что недоступно для глаза и для слуха. Это чувство присуще всякому, кто душой отдается своему делу. Оно предупреждает моряка о грозящем ему циклоне, поднимает на заре земледельца, будит бдительность пастуха и пробуждает инстинкт охотника. Это же чувство толкает меня с восходом на наблюдательный пункт, с которого, при первых лучах восходящего солнца, отчетливо вырисовывается весь горизонт – и влажные луга между Писсой и Скродой, и холмистые поля, по которым разбросаны домики деревень Конты и Попки, и возвышенные гребни за ними, где находятся главные позиции немцев…

– Батарея! Кто у телефона?

– Прапорщик Кулаков.

– Не спите, Яков Васильевич?

– Никак нет! И люди уже подле орудий. Только что заходил сюда старичок, командир 34-го полка, что правее нас. Заходил со своими офицерами. Говорили: «Хочу взглянуть на вашу батарею». Говорили, что по всему фронту молчат, наша артиллерия выпустит гранату-другую и снова затихает. А эта крошка все время огрызается, все время посылает в немцев свои снаряды, одна за всех. Все-то она щетинится, все-то она ежится во все стороны… Так мы ее и прозвали «Ежиком»…

– Так-то оно и есть! Придется нам и еще поежиться… Ведь теперь приходится повернуть орудия под прямым углом, так как стрелки ликвидировали обход и выровняли фронт. Теперь перед нами уже новые цели.

– Так я сейчас доложу капитану Шихлинскому. Они еще спят…

– Рустам-бек! Наша задача уже закончена. Стрелки по ту сторону моста выходят на общую линию фронта. Теперь мы остались у них за флангом, надо пристрелять главные точки перед сибирскими полками…

– А что же делает их артиллерия?

– Не знаю. Думаю, что ничего. Пьет чай.

– Так что же, мы одни за всех?

– Как всегда. Потому-то всегда и выходим сухи из воды.

– Да ведь у нас туда может стрелять только одно правофланговое орудие.

– Так я с ним и начну пристрелку, а прочие пусть меняют фронт и роют окопы.

…Готово! Уже пристреляно 11 целей по всему фронту. Но вот эта командующая высота… Она в стороне от других, далеко, почти за пределами нашей досягаемости.

– Цель Н.12. Высота 70,9.

Рустам-бек протестует: «Люди валятся с ног от утомления, ведь три дня и три ночи ведем сумасшедшую стрельбу, вздремнули только перед рассветом. Теперь меняем фронт, заново вырыли все окопы».

– Ну, скажи нашим молодцам, чтоб не обижались, – эта цель уже будет последняя!

Цель пристреляна. С легкой совестью я кончаю работу. Оглядываюсь по сторонам и вижу: шагах в двухстах левее и позади организуется наблюдательный пункт, а за ним, слегка маскируясь складкой местности, батарея… Пойду взгляну, что это за люди…

Люди эти оказались – 1-я батарея Гвардейского стрелкового артиллерийского дивизиона… Нет, бригады… Та батарея, которая создалась нашими руками, руками моих любимых товарищей, офицеров и солдат – из ничего, из случайных взводов 1, 2 и 3-й бригад финляндского артиллерийского полка. Сколько имен, сколько лиц проносится в моей памяти! Это та батарея, в которой солдаты плакали, прощаясь со мной, узнав о моем уходе… А теперь это все чужие, незнакомые лица, – только одна эта пушка, которой ствол я обнимаю своими руками, если б в ней билось сердце, могла бы вспомнить былое!

Батареей командовал М. Н. Безкорнилович, бывший когда-то моим помощником по обучению новобранцев во 2-й бригаде. Я знал его мать и трех сестер, был шафером на свадьбе старшей и провожал его с молодой женой в дни его медового месяца.

Такой же простой и наивный, с одним зеленым глазом, а другим голубым. Всегда чему-то удивляющийся – «Мика-удивика».

Помню, как мой отец озадачил его, послав поклон его батюшке, своему старому товарищу.

– Вот чудак! – говорил Мика. – Как же передам ему поклон, когда он давно уже умер!

Мы пошли на его наблюдательный пункт. Я иду рассеянно, мысли унеслись далеко-далеко в прошлое, а глаза, по старой военной привычке, блуждают по горизонту, по неприятельским позициям.

– Стой! А это что такое?

На голых очертаниях гребней, окружающих высоту 70,9, чернеет какой-то забор… Он движется! Это неприятельские цепи… За ними другие, третьи… Я лечу на свой командный пост…

– К бою! Цель Н.12 – беглый огонь без очереди! Задыхаясь, хватаю двурогую трубу: на переднем скате – целая лавина, макензеновская фаланга… Наши взрывы, меткие, низкие разрывы шрапнелей лопаются между ними, образуя бреши в живой стене. Я меняю прицел и угломер, но куда ни летят мои снаряды, они бьют и косят неприятеля, – все поле полно им. Вот у рощи, левее и ближе высоты, появляется батарея на белых конях… по ней! Запряжки разлетаются во все стороны… Снова бью по цепям; они уже не наступают, окапываются; видно, как их солдаты выбрасывают белый песок, как растут линии свежих окопов.

– Одна граната, две шрапнели! Три патрона, беглый!.. Вздымаются столбики черной земли, немцы выскакивают из него товых окопов, но тут им в лицо пыхают облачки разрывов шрапнели.

– А что же другие батареи?

– Сибирская, что вправо за горою, дала две очереди и замолчала, та, где вы только что были, как будто молчит.

Я один! За 45 минут я выпустил весь свой боевой комплект. Зарядные ящики ушли галопом в парк за пополнением… Они уже возвращаются… Но бой затихает. Неслыханная, бешеная атака захлебнулась. Батарея разбита, не дала ни одного выстрела. К шести часам на поле сражения воцарилось полное молчание.

Я посылаю разведчиков во все концы, выяснить картину всего случившегося. Вот она.

Позиция 33-го Сибирского полка, за переходом 2-го Кавказского на тот берег Скроды, растянулась на семь верст по фронту, углом вдаваясь в немецкое расположение… Лейб-гвардии 1-й стрелковый полк со своей батареей явился, чтоб укрепить фланг в последнюю минуту, но, видимо, немцы уже успели подвести большие резервы и неожиданной атакой, без обычной артиллерийской подготовки, обрушились на сибиряков, отрезали два батальона и смяли остальные. Бешеным огнем наших орудий удалось дать возможность гвардейцам и остаткам 33-го полка укрепиться, задержать атаку и совершенно пресечь попытку немецкого командования обойти позиции 11-й Армии, прикрывавшей Ломжу, чтоб прорваться к беззащитной крепости.

…Зашел к Мике. У него застал Баклунда, который приходил прощаться при отъезде в Италию, куда его командировали в помощь военному агенту… Академикам не сидится на позиции.

– По чему ты стрелял? – удивленно спрашивал меня Мика. – Я потом присоединился к тебе по разрывам твоих шрапнелей. Но видя, что ты и сам справляешься, прекратил стрельбу.

Едвабна

После тяжелых боев под Варшавой, разочарования, вызванного нашей несостоявшейся отправкой на Кавказ и последовавшим упадком духа – результатом ряда непрерывных боев в самых невероятных условиях, – стоянка под Едвабной казалась нам раем. Командир дивизиона отпросился в отпуск. Подполковник Харкевич тотчас же уехал вместе с ним, и в дивизионе наступило полное успокоение. Погода стояла отличная, на небе – ни облачка, и все пахло приближением весны.

Батареи стояли впереди Едвабны на пассивных участках, прикрытых нашими кавказскими стрелками и полками 24-й пехотной дивизии. Находясь на позиции, мы имели возможность ночевать в нерасстрелянных хатах деревушки Янчово среди мирного населения. На другой же день к нам приехал начальник артиллерии корпуса князь Масальский.

Это был глубоко порядочный человек, я помнил его еще командиром конной батареи. Характера твердого и благородного, он был пуританином в лучшем смысле этого слова. Однажды на царской охоте Великий князь Николай Николаевич вздумал подшутить над ним и шепнул что-то Государю. Царь сам налил ему рюмку и произнес, улыбаясь:

– Может быть, князь, на этот раз вы решитесь выпить за мое здоровье?

– Покорно благодарю, Ваше Величество! – отвечал Масальский. – Никогда в жизни я не пил и не буду пить, даже и сегодня.

Под его командой я почувствовал себя как дома. Кроме наших трех батарей, он подчинил мне также три батареи 24-й бригады. Скоро явился и весь командный состав дивизиона, возглавляемый старым-престарым полковником греческого происхождения и тремя симпатичными капитанами. Меня поразила наружность старика. Его загнутый нос, бесчисленные морщины, лучами расходившиеся от глаз, и белый клок волос, упрямо торчавший на маковке, придавали ему вид какой-то экзотической птицы. Сходство увеличивал его голос. Когда он говорил что-нибудь, его глаза начинали блестеть непритворной веселостью, а в смехе слышались какие-то совершенно нечеловеческие звуки.

«Веселый Какаду»… Это и было его прозвищем в офицерской среде. Однажды он остановился перед своим адъютантом и молча вперил в него свой насмешливый взор.

– «Веселый Какаду»… Как вам это нравится? Тот опешил.

– И ведь как к нему подходит!.. – и он громко расхохотался. Оказывается, он подцепил на лету это слово, и когда стал до пытываться, к кому оно относится, ему назвали другого.

Отрекомендовался.

Веселого Какаду оставили в покое. Из прочих самым живым и энергичным оказался командир 4-й батареи. Но и остальные были на высоте.

Мы тотчас распределили роли. По моему способу каждая батарея связывалась прямым проводом с передовой ротой своего участка, подготовляла данные для стрельбы по всем опасным направлениям и направляла каждое орудие в соответствующую цель. Днем и ночью по первому зову оно должно было отвечать одним или двумя выстрелами по этой цели. В случае необходимости остальные орудия присоединялись к стрелявшему. Таким образом, малейшая попытка со стороны неприятеля встречала немедленный отпор. «Артиллерия, – говорил я, – это мать больного ребенка. Мы не несем столько потерь, но днем и ночью должны следить за биением пульса своей пехоты, чтоб всегда быть готовым прийти к ней на помощь».

В неприятельском расположении было несколько чувствительных точек. Как только немцы начинали долбить один из наших окопов своими гранатами, ближайшая батарея била по противоположному окопу, и каждая из прочих посылала по 2–3 гранаты стрелявшей батарее. У неприятеля была одна тяжелая 15-сантиметровая батарея, которая иногда начинала бить по тылам, где находились наши штабы и обозы. В этом случае пять батарей одновременно с разных сторон осыпали ее своими снарядами, а остальные начинали долбить те места неприятельского расположения, где были обнаружены ею чувствительные точки.

Благодаря этому неприятель совершенно перестал нас тревожить. Труднее всего было справиться с авиацией: за неимением лучшего, с ней боролись обыкновенными орудиями, подвешенными на особых деревянных установках. При этом не обошлось без забавных эпизодов.

Самыми неутомимыми воздушными наблюдателями, оказывается, были тыловики. Неожиданно прискакал к нам наш ветеран Гургенидзе:

– Ва! Сбили авион! Я видел своими глазами! Поздравляю!

Авион оказался аистом, который свалился турманом от пролетевшего мимо снаряда. Его, как маскотту[131], присвоила себе сбившая его батарея.

Наступившая тишина дала возможность наладить нашу внутреннюю жизнь. Брон заведовал столовой. Иванов готовил, вестовые разносили. Теперь все получили возможность обедать у

меня в хате, где находились телефоны батарей и связь с начальником бригады и начальником артиллерии. Ободренные жители вернулись в свои хаты. В нашей жила вдова с несколькими дочерьми. Про одну из них, Станиславу, молва шла широко и далеко, называя ее первой красавицей округи. Молва не преувеличивала ее достоинств. Высокая и стройная, с безукоризненной фигурой и чертами лица, она вполне заслуживала общее признание. Большие серые глаза, чудный цвет лица и очаровательная улыбка делали ее еще привлекательнее. Вся семья держала себя безукоризненно, не упуская ничего, что могло бы быть нам приятным, но в то же время избегая малейшего повода к нареканиям.

Со своей стороны никто из офицеров не допускал мысли о том, чтоб поволочиться за своими хозяйками. Но после хорошего обеда Шихлинский, которого по просьбе офицеров я решился принять к себе, чтоб дать ему отдохнуть после тяжелой раны, огорошил меня вопросом:

– Мне кажется, здесь как раз по одной красавице на каждого из нас. Почему бы после обеда не поделить их между нами по выбору, начиная с младшего?

Меня взорвало:

– Я отказываюсь понимать твои слова, Рустам-бек, – возразил я. – Меньше всего ожидал я этого от тебя! Что бы сказал ты, если я задал тебе этот вопрос где-нибудь в Джалал-Оглы или Хунзахе?

– Но ведь там совершенно другие обычаи, другие верования… Там строго соблюдается вековой адат, шариат. Разве можно сравнивать наших туземцев с этими мужиками?

– Но я рекомендую не забывать, что те и другие поданные русского Царя, и это оружие, которое он доверил нам, дано не для насилия, а для защиты его подданных от всякого, кто только посягнет на их спокойствие.

Вечером хозяева просили меня разрешить им вечеринку. Наша милая молодежь может сколько угодно любоваться на их танцы. Они будут веселиться спокойно, все здесь находятся под крепкой защитой!

Я искренно пожалел, что принял к себе этого грубого варвара, который пожирал глазами жареного барана и, одновременно, подававшую ему красавицу, и, видимо, независимо от многоженства, считал себя вправе наложить руку на любую русскую или польскую девушку.

Это живо напомнило мне турецкого пашу из оперетки «Хаджи-Мурат», который, расхаживая по сцене и жестикулируя, повторял:

«Я в принсипе против многоженства… Однако можно…

немножко заменить, немножко пюрменить, штоби полза була».

На другой день меня ожидал большой сюрприз… Доктор Брон передал по телефону, что здесь находится моя жена, приехавшая с моим младшим братом Тимой, отлучившимся на пару дней в Варшаву и соблазнившим ее сделать налет на нашу позицию. День был тихий, и все мы провели вместе несколько счастливых часов.

– Как здесь у вас хорошо! – повторяла моя Аля.

– Хорошо-то хорошо; только все-таки не очень высовывайся за двери. У немцев хорошее воздушное наблюдение, раз они заметят что-либо, начнут сыпать 15-сантиметровыми бомбами…

Тима снял с меня фотографию «кодаком». Я долго хранил эту карточку с надписью: «“Джон-булату” от его маленького братишки».

Все-таки, когда они уехали, мне стало спокойнее на душе. С ничтожной артиллерией, с ограниченным количеством выстрелов на орудие мы сдерживали многочисленные немецкие батареи с колоссальным запасом снарядов, но каждую минуту это равновесие могло нарушиться.

Так и случилось. Когда через несколько дней наш дивизион сняли с позиции и отправили на юго-западный фронт, проклятая 15-сантиметровая батарея проснулась снова, засыпала своими снарядами Янчово, разогнала ее жителей и сожгла ее дотла. Остались одни почернелые трубы.

Немцы предупредили нас о переброске… Накануне, когда мы еще ничего не знали, они выставили на своих окопах огромные плакаты:

«До свиданья – на Карпатах!»

На Карпатах. Яворник

Какому служишь королю?
Молви иль умри.

Шекспир

Я стою на самой высокой точке Яворника, на узкой прогалине, которая тянется вдоль всего хребта. Кругом, впереди, позади поднимаются стволы столетних буков, стройные, серебристые, подобно мраморным колоннам древнего храма. Этот лес покрывает морем лесных верхушек все скаты, всю долину, которая отделяет нас от другого хребта Солис и от той скалы, чьи резкие очертания висят в воздухе и теряются в голубой дали.

Позади шалаш, у входа которого красуется надпись: «Штаб 125-го Курского пехотного полка». Там ютятся телефонисты связи с корпусом и батальонами. Левее, под самым гребнем, – орудия взвода Коркашвили, другой взвод, под командой Шихлинского, находится в двух верстах правее нас на том же хребте.

– Вчера, – обращается ко мне командир полка, – мы дорвались до самой их горной батареи, которую мы придушили вашими выстрелами. Даже успели захватить панорамы. Но тут подошли подкрепления, и нам пришлось отступать. Здесь, оказывается, против нас тройные силы. Сейчас – только что – получили приказание из штаба корпуса переходить на другой участок. Наверное, там будем атаковать снова. Мы ведь являемся ударными частями корпуса!

– А мы?

– Вы останетесь здесь, на пассивном участке, с двумя батальонами Грязовецкого полка. Это лучший полк 74-й дивизии.

– Значит, придется занять прежнюю позицию, намеченную для обороны?

– Разумеется, вам уже не придется стрелять по Сохлису на пределе досягаемости… Постойте, что это такое? Ведут пленного!

Действительно, между деревьев показываются наши патрульные. Между ними австриец, который что-то лопочет по-польски.

– Ты где попался? Какого ты полка?

– 126-го пехотного Орловского полка, ваше высокоблагородие!

– Как так? Ведь ты же австрияк!

– Так у них я в 1-м Цесарском; когда меня забрали в плен, то

и говорят: «Ты же поляк, тебе все равно за кого драться, за Николая или за Францишку Юзефа. Бери ружье и ступай с нашими». Я и пошел.

– Так ты, мерзавец, дезертир! Тебя расстрелять надо!

– Не могу знать… А тут я отошел немного вперед, где вода бежит по балке, меня и забрали.

– Как же ты сюда попал?

– Так ведь наш полк уже весь там внизу. Сейчас здесь вся Австрия будет. Приказано к десяти, а уж за полдень.

– Как так? Телефонисты, всем немедленно занимать оставленные позиции – сейчас начнется атака! Вызвать мне начальника штаба корпуса… Вы слышите? Ну да, сейчас нас атакуют, я остаюсь на месте!..

– В оружие! Ротам занять боевые участки!

– Орудия к бою.

Ружейная и пулеметная трескотня заглушают последние слова.

Австрийцы уже под гребнем. Коркашвили слева, Шихлинский справа присоединяются своими выстрелами к общему концерту. Там, как слышно, уже бьют на картечь. Потом вдруг все затихает, но лишь на мгновенье… Весь ад просыпается вновь, но в нем уже не слышно более знакомого рева наших орудий…

– Ваше высокоблагородие! Честь имею представить вам замок 2-го орудия. Оно осталось в руках у неприятеля!

Передо мною наводчик с затвором в руках…

– Разведчики, ко мне!.. Передай замок поручику Коркашвили, а сам веди меня на место! Петро, дай несколько выстрелов во фланг австрийцам против 1-го взвода и скатывай орудия на тыловую позицию. Здесь им не место в цепи… Господин полковник, иду выручать своих.

– Далеко?

– Будет шагов шестьдесят.

Мы нагоняем редкую цепь – это 13-я рота курского полка.

– Братцы! Австрийцы ворвались на нашу батарею… Не дадим ее врагу… Вперед, за мной!

– Вперед, вперед, ребята! – повторяют мою команду два бравых черноусых ундера. – Не задерживайтесь, молодцы, вперед, вперед.

Над нашей головой, разрываясь и вспыхивая голубым пламенем, как град сыплются австрийские пули. Проклятые, вопреки всем договорам и конвенциям, стреляют разрывными (пулями). Где-то внизу, правее, слышится осипший голос Шихлинского, который уговаривает пехотных солдат: «Братцы, дело общее…»

– Близко?

– Двадцать шагов.

– Братцы! Наша пушка в руках у врага. Вырвем ее у австрийцев! В штыки, ура!

– Ура!.. Ура!..

Мы залегли сейчас же за гребнем. Впереди нас, вверх колесом и с сорванным щитом лежит мое орудие и, перекинувшись через лафет, тела его защитников…

Противник не выдержал натиска. Австрийцы уже в мертвом пространстве, на своей опушке… Нельзя терять ни секунды.

– Разведчики, вперед, к орудию!

Кириленко и наводчик бросаются под лафет. За ними еще двое и еще… Они расшатывают орудие, стараясь поднять его на колесо. Австрийцы проснулись и сыплют в них пулями… Они прикрываются щитом… Поднимают пушку… и скатывают ее по круче…

Орудие спасено…

– Где Сосико? – спрашиваю я подбежавшего Шихлинского.

– Убит наповал. Тело отправлено в обоз 2-го разряда, где передано Самсону.

– Скатывай орудие на тыловую позицию. Я пойду доложить командиру полка.

– А там, на правом фланге, как будто намечается успех, – встречает меня полковник Панфилов. – Вы слышали «ура»?

– Простите, это мы нашумели… Оба орудия уже на тыловой позиции. Указывайте цели!

– Теперь бейте по их батареям. По той горной, впереди, и по гаубицам, что в направлении на скалу. Здесь австрийцы засели в мертвом пространстве; с фронта мы будем бить их ружейным и пулеметным огнем, были бы патроны. Можете помочь нам доставлять их из парка? Иначе не продержимся.

– В моем распоряжении парки всего дивизиона. Я эшелонирую их до местного парка, они галопом будут доставлять вам все, без перерыва. Пойду распорядиться.

– А потери? Моих два нижних чина убиты и один ранен, по-видимому, смертельно. Но я в отчаянии: убит мой младший офицер, почти ребенок – князь Церетели… Что я скажу его матери?

– Я его представлю к Георгию… вместе с командиром 13-й роты. Он тоже убит – четвертый сын командира дивизиона Кавказской гренадерской бригады… все они убиты. Он ездил на две недели жениться, и вот теперь…

– Что тут такое? Вы уходите на тыловую позицию? – спрашивает меня неожиданно выросший как из-под земли

штабной. На нем чистенькая шинель и все с иголочки. «У меня приказ начальника отряда генерала Май-Маевского расстреливать всякого, кто сойдет с позиции».

– Прикажете вернуть австрийцам мои орудия? – спрашиваю опешившего штабного.

– Но у меня приказ… Я начальник штаба корпуса!

– Оставьте его, – кричит издали полковник Панфилов. – Это герой, я представляю его к Георгию за спасение батареи и личное руководство в атаке, которой он восстановил положение у нас на правом фланге, когда австрийцы сбили нас с позиции и захватили батарею.

На батарее меня ожидало новое горе: убит наповал мой верный трубач. Стакан разорвавшейся гаубичной шрапнели ударил его между лопаток, и он свалился без единой раны, без единого вздоха. Он был также любимцем всей батареи. Ему на месте вырыли могилу, поставили белый крестик с надписью и убрали холмик цветами… Там он лежит до сего часу.

Бой длился без перерыва три дня и три ночи. Даже под Варшавой я не слышал такого ружейного огня. Парки летали галопом, едва успевая подавать ящики, которые мы поднимали на руках на гребень и распределяли по ротам. Мы все время били по обеим батареям ураганным огнем, заставляя их оставить в покое наших стрелков. Проливной дождь не мог загасить бешеного огня. К концу боя все великолепные чинары на гребне стояли голые… Солдаты ободрали кору, чтоб накрываться ею от дождя… Многие деревья были срезаны пулеметным огнем.

На четвертые сутки противник исчез. Перед нашими окопами окровавленные тела устилали землю в пять рядов. Между ними расхаживал полковой священник, неистово ругая санитаров, которые, не заботясь о раненых, выворачивали им карманы.

– Мы взяли пленных от различных 20 батальонов, – говорил Панфилов. – Думают, что у противника было не менее 5000 потерь. Как вы полагаете?

«Но знаю, что вы не считали», – вспомнились мне слова Лермонтова.

Австрийцы откатились на 20 верст. А на другой день отступили и мы на 15.

Почему?

Это было началом Великого отступления Русской армии…

Ясиновец – развязка

Когда бы чуточку пониже,
Но тут же был бы мне конец.

Фигаро

Курский полк ушел в другой отряд. Удивительно, он отделался потерями, ничтожными по сравнению с потерями противника. Солдаты уходили такие же веселые и беспечные, с булками на штыках, шли так же бодро, как пришли.

Вспомнилось «Слово о полку Игореве»: «И вы, куряне, под трубами, повитые, концом копья вскормленные».

Мы остались одни при полках 74-й дивизии, лучший полк которой, Грязовецкий, осадил под Яворником и оставил наши орудия, а его храбрый командир, раненый, все еще лежит в обозе.

Наши арьергарды занимают ряд высот, отделенных между собой незащищенными пространствами в 5–6 верст.

Наш «Ляс Чарный» напоминает собой корабль, врезавшийся носом в необозримые луга и поля, где лишь кое-где виднеются рощи. Особенно выделяется одна, слишком близко подходящая к нашему правому флангу.

У левой опушки нашего леса ютится покинутая жителями деревушка Ясиновец. Мы с командиром одного из полков дивизии подъезжаем туда уже в темноту, и он указывает мне линии, где пехота роет свои окопы.

Кроме наших батарей, мне придается еще мортирная под командой капитана Докучаева, бывшего моего товарища по 2-й бригаде. В те дни, оба веселые и беспечные, мы с ним часто встречались в доме брата, жена которого собирала молодежь вокруг своей сестры Кати Мусселиус и ее подруг, и мы сражались с ними в крокет и бегали в горелки… Когда-то!

Наблюдательный пункт я выбрал себе «на носу корабля», под прикрытием раскидистых деревьев и кустов. Со мной поместился Шихлинский и телефонисты всех батарей. Свою батарею я оставил на прогалине, в версте сзади, прочие по обе стороны леса: 1-я под укрытием деревушки; 3-я за уступом леса. Наблюдательный пункт Докучаева был рядом с моим, всего в 30 шагах, а его батарея крутой траекторией внедрилась в чащу леса. Таким образом, мы могли бить тремя батареями в любую сторону и всеми четырьмя с фронта. Я вернулся на ночлег, когда уже

стемнело.

За полчаса до рассвета мы были разбужены отчаянной стрельбой по всему фронту.

– Тревога! По местам! Орудия к бою!..

Застегивая портупею на ходу, я лечу с разведчиками на наблюдательный пункт.

– Ни днем, ни ночью не дают покоя! – вырвалось у меня. Пехота отдыхает в резерве, офицеры уезжают на несколько дней или недель в тыл залечивать свои раны… Но нам нет отдыха!

Впоследствии Дзаболов не раз напоминал мне эти слова:

– Бог тотчас же услышал вашу молитву, – прибавлял он при этом всякий раз.

Австрийцы атаковали нас без поддержки артиллерии. Впоследствии я не раз слыхал от пленных, что их артиллерийские начальники – почти поголовно евреи – наблюдают издалека, откуда ничего не видно.

Атака была отчаянная. Наша пехота – это уже не был ни Курский полк, ни наши кавказские стрелки. Наблюдательный пункт находился всего в 300 шагах от линии огня. Но ураганный огонь всех батарей, сосредоточенный на главой точке атаки, сделал свое дело. Наступление было отбито. Впереди наших окопов остались только раненые, которые махали платочками, умоляя прекратить огонь.

– Прикажи остановить стрельбу, – обратился ко мне Шихлинский, – дадим им убрать раненых.

– Ваше высокоблагородие! Говорит начальник дивизии. Иван Тимофеевич, дорогой! Что у вас там делается? От командиров полков не поступает никаких донесений. Ближайший в восьми верстах от окопов. Вы там совсем близко. Скажите, в чем дело?

– Сейчас все спокойно, ваше превосходительство! Австрийцы рассчитывали захватить нас врасплох, но были отбиты артиллерийским и ружейным огнем. Теперь перед фронтом остались одни раненые.

Добрейший генерал Шипов очень привязался к нам за последние дни. Во время боя на Яворнике он набросал с меня прелестный эскиз и поднес мне его с надписью: «Дорогому другу и герою И. Т. Беляеву, представленному мною к ордену Св. Георгия». На рисунке я был неузнаваем, в позе Фра Диаболо, с надвинутой на бровь папахой и башлыком за плечами, я казался настоящим Залим-ханом. В приложении к «Новому времени» в Петербурге мне потом показывали аналогичные рисунки его карандаша, но я не решился печататься в газетах.

Казалось, бой затих… Но вот опять вызывает меня мой правофланговый разведчик Алавердов.

– Ваше высокоблагородие, в опасной роще, которую вы мне поручили наблюдать, заметно какое-то движение. Как будто уста навливают пулеметы.

– Пойду направлю туда батарею Докучаева, – говорю я Шихлинскому. – Пускай угостит их парой своих снарядов.

– Ты бы не высовывался из блиндажа…

Но добрые советы чаще всего пропадают даром. Я уже лежу на окопчике Докучаева.

– Махните-ка по этой роще!

– Слушаю.

В эту минуту чувствую удар по боку и сильную боль в руке. Кругом сыплются ветви, срезанные пулеметным огнем.

– Я убит, – передаю команду старшему. – Носилки! Поддерживая левою разбитую правую руку, иду в блиндаж. Са нитары уже тут.

Появляется розовый бинт, меня раздевают.

– Вот человек, – говорит Антоненко, – скрозь просадило, а крови нету.

Хватаюсь рукой за спину: между позвонков застряла пуля, она торчит под кожей, словно наперсток! Спереди маленькое сквозное отверстие.

– Не трогай руками! – кричит Рустам-бек. – В окопе это верный столбняк! Ложись на носилки, пусть они тебя несут на перевязочный пункт.

– Ну, прощайте! Телефонисты, передайте батареям: я ранен и передаю команду капитану Шихлинскому. Всем чинам сердечную благодарность за блестящие действия в сегодняшнем бою.

– В ногу, ребята, чтоб не побеспокоить раненого! – но четверо молодцов несут меня так заботливо, что я чувствую себя как младенец в руках любящей матери. Временами их сменяют другие; я вижу, как они отстают, чтобы стереть слезы. Навстречу Коркашвили. Меня несут мимо моей батареи. Я останавливаю носилки.

– Не вздумай говорить, – протестует доктор, – это может убить тебя.

– Но как же я могу расстаться с батареей, не попрощавшись…

– Радуйтесь, братцы! Мы победили, враг отступает по всему фронту… Стойте твердо, бейтесь крепко и… помолитесь о своем командире.

Мои солдаты вынимают платки…

До перевязочного пункта восемь верст. Только однажды, при переезде через какой-то ровик, меня слегка встряхнули. Я лежу неподвижно, глядя на голубое небо, просвечивающее сквозь листву ясеней и кленов. На душе все ясно и спокойно, как в

церкви в тихий воскресный день.

– Мне кажется, это лучший день в моей жизни… Я исполнил свой долг перед Богом, перед Родиной, перед Вами… Если что еще не дает умереть мне спокойно, это мысль о моей жене. Еще вчера я получил от нее письмо: «Умоляю тебя не бросаться опять в атаку… Всякий раз, когда ты сделаешь это, вспомни, что твоя Алька на коленях, со сжатыми ручонками умоляет тебя пожалеть ее и себя!»

В огромном операционном зале меня уже ждут доктора.

– Руку – это дело второстепенное. А тут? Чувствуете боль?

– Нет.

– Здесь?

– Нет.

– Тут?

– Тоже нет!

– Попробуем вынуть пулю…

В углу икона Божьей Матери. Я останавливаюсь взглядом на Ее Лике и крепко сжимаю пальцы, чтоб не застонать. Изо всех окон на меня глядят испуганные лица наших обозных. Я стараюсь улыбнуться им… Пуля вынута!

– Поздравляю, – говорит доктор. – Считайте, что вы выиграли двести тысяч. Если б на волосок, были бы затронуты позвонки. И кишечник не пострадал. Вас спасло то, что вы были натощак и лежали на боку. Рука – это пустое. Мы сейчас возьмем ее в лубки, а там вас загипсуют.

– Готово! Теперь отдыхайте, можете кушать и пить все, что хотите. Сейчас за вами приедет санитарный фургон, мы отправим вас в Станиславов.

– Иван Тимофеевич, дорогой! Как вы? – перед моей по стелью генерал Шипов. – Как я счастлив, что опасность миновала… Я пошлю вас прямо в собственный лазарет Ее Величества, поручу вас самой Государыне… Но пока кушайте, вестовой принес вам чай.

Вместе с чаем Крупсик принес мне карточку жены и ее последнее письмо. Я всегда носил их на груди.

– Скажите, что я мог бы для вас сделать?

– Я чист перед всеми. Перед одной моей женой я остался в неоплатном долгу. Она у меня одна, в случае чего она останется беспомощной сиротой. Напишите о ней Императрице, чтоб она не осталась на улице.

– Я сейчас же напишу ей обо всем, – отвечал глубоко тронутый старик. – Хотел бы я видеть ее!

– Вот ее карточка. Я всегда ношу ее особой, и сейчас Крупский вытащил ее из моего простреленного мундира.

– Какая она прелестная… Если моя дочь еще в Царском, она сама представит ее Императрице. Сейчас пойду писать письма.

Путешествие в Станиславов было не из приятных. Неподрессоренный фургон подскакивал на каждом шагу, и разбитая рука давала себя знать. Когда мы, наконец, прибыли на место, меня положили в общий зал между молоденьким прапорщиком с пулей в кишечнике и австрийским офицером, раненным в коленную чашечку. Прапорщик уже впал в забытье. «Ах, как мне теперь хорошо!» – были его последние слова.

– Это всегда так при перитоните, – шепнул мне Брон, – перед концом.

Перед расставаньем Коркашвили принес бутылку шампанского и налил всем по бокалу.

– Чокнемся, друзья и враги! Выпьем за все, что близко сердцу, за Родину, за славу наших знамен, за тех, кто для вас дороже жизни… за живых и за тех, кого уже нет. Алаверды!

Венгерец сунул мне в руку адрес его родных с просьбой послать им телеграмму. Сестра моя исполнила это поручение тотчас по моем приезде.

Свежая рана не болит. Но с наступлением ночи меня стала трясти лихорадка. После первой дозы морфия доктор, наверное, стал потчевать меня чистой водой, я не мог забыться ни на минуту. Бывало, в детстве мне снились белые грибки, прятавшиеся в моховой подушке, рыжики, выглядывавшие из-под опавшей хвои… Потом розовые и белоснежные платьица танцующих барышень… Теперь, в полубреду, мне грезилось опрокинутое орудие, тела убитых, слышались слова команды, невнятные фразы: «Грязовецкие осадили… Наша пушка осталась у австрийцев… Вперед, не задерживайся… Он убит наповал, разрывная пуля снесла ему черепную кость…»

– Морфию, доктор, еще хотя одну дозу…

В лазарете Ее Величества

– Зайка… ранен… Ну, я так и знала! – слышится взволнованный голос под окнами вагона. – Я поняла все, как только получила телеграмму!

Передо мною моя дорогая, любимая…

– Ах, Зайка, Зайка! Ну разве можно быть таким неосторожным?.. Я ведь тебе писала… Умоляла тебя…

Несмотря на острую боль, которая не дает мне вздохнуть, я не могу не улыбнуться.

– Как же можно хлопотать вокруг плиты и не обжечься? Но успокойся, опасность миновала, раны будут заживать помаленьку. А главное, ведь мы наконец вместе!

Появляется доктор Брон с носилками.

– А это к чему же? Разве ты не можешь сам?

– Не волнуйтесь, Александра Александровна! Так ему будет спокойнее. Все заживет, не надо только тормошить его.

– Куда же мы теперь?

– Сейчас едем к папе, он ведь близко, на Греческом. А потом Бронидзе справится по телефону в Царском. Ведь у меня письмо к Императрице, меня обещали принять в ее частный лазарет.

Дома была одна только Мария Николаевна. Она была потрясена неожиданностью. Пока что меня устроили на софе, в запасной комнатке. «Папанчик» был в церкви; вскоре я услышал его встревоженный голос:

– Ваня ранен… лежит… Боже мой!

При его приближении я поднимаюсь во весь рост.

– Не волнуйся, ради Бога, раны не опасные! – мы крепко об нимаемся.

Бедный папанчик! Он уже сильно постарел. В тяжелом зимнем пальто, с просвиркой в руках, со слезами, катившимися по щекам, он уже не имел того мужественного, энергичной наружности вида, которым поражал нас еще не так давно. Но когда Мария Николаевна пригласила нас к столу, он уже успокоился и принял прежний вид.

– Вот, никогда не думал, – говорил он задумчиво, – что самый тихонький, самый беспомощный из моих детей и вдруг… – он не договорил своей мысли, – вернулся весь израненный, с письмом на имя самой Императрицы, Георгиевский кавалер!

Как часто родители ошибаются в собственных детях! Он не подумал, что ведь я же привел к нему в Кронштадт свою батарею в самый трудный момент, когда он с горстью людей отчаянно защищался от 20-тысячной матросни; но вспомнил мои

отчаянные поездки по Кавказу!

– А вы тоже кавказец? Грузин? – спрашивает Мария Николаевна милейшего доктора, который рассыпается в похвалах своему раненому командиру.

В нашей маленькой семье мы всех окрестили кавказскими именами и распределили по-своему. Благодаря этому из Брона вышел Бронидзе, из Кулакова – Кулакидзе. Брона признали «михайлоном», а ветеринара «костопупом».

– Я… еврей, – проговорил бедняга, уткнувшись в тарелку. В эту минуту вошел брат мой Коля.

Мы крепко обнялись. Он уезжал в постоянную командировку в Лондон, к начальнику артиллерийского снабжения генералу Гермониусу. Он только что женился и ехал туда с молодой женой и тещей. Я горячо поздравил его со счастливым браком.

– Я догадывался об этом уже давно!

– Как так?

– А помнишь, когда я был на твоей батарее под Боржимовым, я присылал к тебе моего старшего разведчика Хаджи-мурзу Дзаболова? Вскоре он уехал в отпуск и, когда вернулся, сообщил мне, что видел, как ты садился в петербургский экспресс в Варшаве, веселый и радостный, в сопровождении двух элегантных дам. «Наверно, они собираются жениться, – сказал он. – Для них война уже кончилась».

Прибежала Махочка (Ангелиночка осталась в лазарете с ранеными солдатами). Она со слезами обняла меня.

– Но разве ты не носил мою ладанку с девяностым псалмом? – это был ее первый вопрос.

– Носил, не снимая. И каждую ночь, как бы ни был измучен, повторял этот чудный псалом наизусть.

Видимо, ее верующую душу смущала мысль, как же я мог пострадать, несмотря на все это.

– Успокойся, – отвечал я. – Если за что я жарче всего благодарю Провидение, так это именно за эти раны. Они дали мне возможность еще раз увидеть всех вас и спасли меня от конфликта с командиром дивизиона, который в этот самый день вернулся из отпуска.

После обеда доктор Брон отвез меня в лазарет, где меня сразу устроили в отдельной комнате.

Помещение производило чрезвычайно уютное впечатление. Низенький домик был расположен в небольшом саду. Вдоль фасада, снабженного передней и крыльцом, шел длинный, светлый коридор, куда выходили двери целого ряда небольших комнат, занятых койками для раненых. Все было окрашено светлой масляной краской, окна защищены сетками от мух.

Мне отвели отдельную комнату и сразу же сняли радиографию с разбитого локтя.

Доктор Брон тотчас же уехал, унося мои сердечные пожелания батарее и всем оставшимся на позиции. Одна за другою появились сестры, засыпавшие меня вопросами. Старшая была дочь донского генерала Грекова, высокая и представительная, с большим опытом. Две другие, помоложе, – одна довольно приличной наружности, другая очень некрасивая, горбатенькая. Узнав, что я женат и что жена моя здесь, обе первые тотчас же исчезли, осталась третья, которая все время старалась чем-либо услужить мне. Но я ни в чем не нуждался.

– Почему вы не стонете? – спрашивала она. – Неужели вам не больно? Все-таки это облегчает страдания.

– Мне больно не только от стонов, но даже от каждого вздоха, – отвечал я. – Наверное, поврежден нерв. Поэтому я и молчу, как рыба.

– Ну, если вам что-нибудь понадобится, позовите, я буду здесь, в коридоре.

На другое утро ровно в 10 часов подъехала Императрица с детьми. Все, кто только мог стоять на ногах, ждали ее приезда в коридоре. За ней явились обе старшие дочери. Меня пригласили в перевязочную. Императрица сидела, рядом с ней стоял старший врач, княжна Гедройц и помогавший ей доктор. Она взяла из моих рук письмо генерала Шипова и бегло пробежала его.

– Невероятный случай, Ваше Величество, – сказал доктор, осматривая раны, – сквозное ранение живота, пуля прошла на волос от позвонка и не разбила ни кишок, ни кости… Это чудо!

Входное отверстие уже затянулось.

– Кости руки тоже уже зарастают, вот радиография, – продол жал врач. – Мы уже сняли лубки и наложили гипсовую повязку.

Общее состояние удовлетворительное, но заметно полное истощение организма!

Девять месяцев непрерывных боев дали-таки себя знать!

Я быстро освоился с жизнью в лазарете. В конце коридора в отдельной комнате лежал барон Таубе, которого я знал еще с первого года в дивизионе, так как он был тогда адъютантом лейб-гвардии первого Его Величества стрелкового батальона; потом мы сражались бок о бок под Скродой-Рудой. Ему оторвало ногу, но он уже шел на выздоровление. За ним ухаживала Грекова, которая потом и вышла за него замуж. В соседних комнатах работала вторая сестра.

В центре лежал очень тяжело раненный капитан Гаскевич, у него все время отслаивались сектора от голенной кости, и он был под страхом, что ему отнимут ногу. Далее за мною находилась

группа молодежи: маленький кирасир Ноне, совсем юный, уже выздоравливающий штабс-капитан лейб-гвардии Егерского полка и несколько эриванцев со своим капитаном князем Головани. Все были веселые, симпатичные и жизнерадостные, и, когда одна из княжон помогала матери, а другая отдыхала в коридоре, они окружали ее и заставляли смеяться своим выходкам.

– Смотрите, какие прелестные эти эриванцы, – повторяла заведовавшая столом Величковская. – Совсем не то, как наши чопорные преображенцы. (Ее муж, наш дальний родственник, был старший офицер Преображенского полка.)

Иногда, по вечерам, все собирались к роялю, стоявшему в передней комнате, играли и пели. Княжнам больше всего нравилось:

«Это девушки все обожают, от принцесс до крестьянок простых.

По ночам об одном лишь мечтают, чтоб сбылися мечтания их…»

Оживление молодежи достигало апогея, когда по праздникам появлялись Мария, Анастасия и маленький наследник. Все бежали в сад и начинали играть в крокет.

У Ольги Николаевны ее правой рукой был молоденький прапорщик Шах-Багов, хорошенький, как картинка, и застенчивый, как девочка. Он всегда стоял немного в стороне и вспыхивал ярким румянцем всякий раз, когда его глаза встречались с глазами Ольги.

У Татьяны был свой любимец: рябой и некрасивый Мелик Адамов, тоже прапорщик Эриванского полка. Кстати и некстати он сыпал шутками и прибаутками, которые всегда встречали одобрение, делал отчаянные прыжки на одной ноге (другая была в гипсе), размахивал крокетным молоточком и потихоньку учил маленького наследника поджуливать, незаметно подкатывая шары.

После операции маленького Ноне уложили в постель подле окошка. А ночью Мелик Адамов умудрился посадить на штору куколку-бебе с такими же голубыми глазами и со следами пуха на голове.

– Смотрите, смотрите, Ваше Величество, – докладывал он утром Татьяне и Ольге, – за ночь у Ноне родился ребенок – вылитый пор трет родильницы, а он злобствует, скрежещет на него зубами и все время пытается его уничтожить, только не может встать с постели.

Сходство действительно было поразительное – без смеха невозможно было глядеть на обоих.

Вечером вызвали Татьяну (она обслуживала телефон матери)

и сообщили ей в шутливой форме о состоянии больных.

Князь Головани тоже не давал маху. Но он метил повыше. Доктор заметил, что Императрица благосклонно к нему относится, и как-то сказал ей:

– Вот, Ваше Величество, смотрите, какой результат компресса – рана уже заживает (у Голованы был раздроблен большой палец руки).

– А наша молодежь с компрессами разъезжает по театрам.

– Ну, – вставил Голованы, – был бы и я молод, разве вы удержали бы меня вашими компрессами?

– Сколько же вам лет?

– Сорок, Ваше Величество, уже за сорок перевалило!

– Но, князь, ведь и я иногда смотрюсь в зеркало!

– Зачем, Ваше Величество? – прогремел веселый кавказец. – Не верьте зеркалам, верьте нам, мужчинам!

Кроме офицеров, в лазарете лежало еще 12 тяжелораненых солдат. Помню одного из них – это был хохол, красавец с синими глазами, чернобровый, кровь с молоком. У него также были раздроблены кости пятки, и после длительной операции он с трудом приходил в себя.

Ольга Николаевна стояла, опираясь на перильца его кровати, и с участием смотрела в лицо раненого. Неожиданно в его глазах мелькнул луч сознания. Он впился в нее глазами.

– Эх, касаточка ты моя! – простонал он. – Красавица ты моя!.. Сколько же я перепортил вашей сестры! Бедовый я был!..

К стыду нашему, среди интеллигенции немало было людей, которые не могли отдать себе отчета в трудах Государыни и Ее дочерей, которые тратили все свое время и все свои силы на лечение людей, чуждых им по среде и по воспитанию. Был один доктор со сложным переломом в локте, который все время заговаривал со мною о придворных интригах:

– Распутин, вы не знаете, кто такой Распутин?..

При следующем посещении отца я узнал от него все, что только было и что так невыгодно для императрицы старался мне внушить этот доктор. К счастью, он скоро закончил свое лечение и уехал на поправку. Другой был капитан Гаскевич, глубоко возмущавшийся неудачным лечением его ноги. В конце концов, Императрица перевела его в Ортопедический госпиталь по соседству, где ему спасли ногу. А молоденькая его жена, которая день и ночь хлопотала о муже, осталась на все время его болезни в колоннаде Большого дворца с женами и матерями других раненых офицеров.

По окончании перевязок все выходили на крыльцо провожать Императрицу и княжон. В нескольких шагах от госпиталя через

дорогу проходил желоб, и при переезде через него автомобиль слегка встряхивало. По установившейся традиции Татьяна пользовалась этим толчком, чтоб обернуться и еще раз кивнуть провожавшим, которые отвечали ей поклоном, причем Мелик Адамов, стоявший позади Ноне, неизменно пригибал его голову рукой.

По праздникам и во дни именин и рождений кого-либо из Царской семьи в автомобиле приезжали все дети. Они всегда просились провести с нами свой день.

– Ваше Высочество, что же вам подарили сегодня? – спрашивала Величковская Анастасию, которая застенчиво прятала под рукав тоненькие платиновые обручики. – А, уже вижу! Это подарила вам мама?

– И папа, и мама!.. Из старых маминых вещей…

Милая девочка, краснея, старается спрятать ожерелье, которое блестит на ее беленькой шейке.

– А это?

– То же самое! Из старых маминых вещей…

Мария Николаевна уже не девочка. Полненькая и пышноволосая, она застенчиво стоит в стороне, временами поднимая свои большие глаза, окаймленные густыми ресницами. По-видимому, она стыдится себя самой, ей кажется, что все замечают, что она уже взрослая… Маленький Наследник иногда приезжает на своем крошечном автомобиле вместе с Деревянкой. Однажды он влетел обиженный и прямо подскочил к Ольге:

– Почему вы меня не подождали?

– Я же говорила тебе, что мы выезжаем ровно в десять.

– Но ведь ты видела, как я бежал!..

На помощь является неистощимый Мелик Адамов:

– Ваше Величество, пойдемте петь! Слушайте:

Вот лягушка по дорожке
Скачет, вытянувши ножки —
Ква-ква-ква-ква…

У маленького Наследника уже высохли слезы. Его губки шевелятся, и он тихо повторяет: «Ква-ква-ква-ква!».

– А теперь пойдемте приготовлять крокет!

Ко мне подходит Снарский, молоденький эриванец: «Что мне делать? Императрицы сегодня нет, к ней я уже привык. Перевязывает Татьяна. А у меня рана вот где!»

Он краснеет и указывает на то место, которое испанцы называют portes posaderas.

Государь выехал в ставку незадолго до моего прибытия. Ранее

он тоже иногда бывал в лазарете и однажды долго сидел у кровати тяжело раненного подпоручика 22-го Сибирского стрелкового полка. Тот с жаром рассказывал ему всю правду…

Они расстались в слезах… Плакал офицерик, плакал и Царь…

Временами он приезжал на несколько дней и теперь. Однажды, катаясь по парку вдвоем с Наследником на его игрушечном автомобиле, он встретил мою жену. Она была в морской блузке.

Государь что-то шепнул Наследнику, и тот отдал честь по-военному. Жена сделала глубокий реверанс и Государь с улыбкой ответил ей поклоном.

Накануне дня рождения Императрицы я получил от генерала Шипова длинное письмо и запаянную жестянку с цветами, которые он просил преподнести ей в этот день. Я все не вставал, доктор с трудом разрешил мне это. Но были затруднения: меня доставили с поля сражения в одном белье, завернутого в бурку. И когда раскрыли коробку, от нее несло лимбургским сыром, а ландыши, за немногим исключением, пожелтели и почернели.

Но так ли, иначе ли надо было исполнять желание моего начальника и друга. Дело было под вечер. Я вызвал Татьяну Николаевну по телефону, и в ту же минуту она ответила, что мама примет меня завтра в два часа пополудни.

Все наши пришли ко мне на помощь. Явился главный садовник оранжереи графа Стенбока и немедленно совершил над цветами чудо превращения. На другой день я уже держал в руках прелестный букет свежих ландышей, одетый в коллективный костюм всей эриванской палаты, с богатой кавказской шашкой, на клинке которой золотом была высечена надпись: «Моему милому мальчику от его мамы». Ровно в два часа я уже стоял перед дворцовым караулом.

Меня ввели в запасную приемную, где пришлось подождать с полчаса. Наконец, придворный арап провел меня по широкому, светлому коридору и указал на открытую дверь.

В большом приемном зале, сплошь заставленном душистыми белыми розами, сиренями, нарциссами и другими серебристыми цветами, стояла Императрица в роскошном белом туалете. Она милостиво протянула мне руку и взяла письмо и букет.

– Ваше Императорское Величество! Генерал Шипов просит повергнуть к вашим стопам эти ландыши, которые он сам собирал для вас на Карпатских гребнях. Смею уверить вас, что в его лице вы имеете вернейшего и преданнейшего слугу. Это настоящий рыцарь старого поколения, храбрый и благородный.

– Он всегда был таким, – с чувством отвечала Государыня. –

Вы были с ним в последних боях? Он писал мне об этом… Но какая это ужасная война! Сколько свежих, молодых гибнет с обеих сторон, возвращается искалеченными к своим женам и матерям! Ведь я вижу это каждый день, они проходят через мои руки.

– Что делать, Ваше Величество! Такова наша доля… Но пусть погибнем все мы до последнего, останутся жены и дети. Ведь дело идет не только о чести России – о самом ее существовании!

Что же иное мог ответить своей Государыне верный русский солдат?

В течение нескольких минут разговор вертелся около ужасов войны. «Когда же она кончится?» – повторяла все время Императрица. Я доложил ей, что вместе со мной вышли в поход все шестеро моих братьев, но пока что все мы живы. Лишь один имел несчастье попасть в плен под Сольдау.

– Как с ним обращались в плену? – с живостью спросила Императрица.

Он писал, что сперва было плохо. Но когда их перевели во Фрейбург, в Гессене обращение стало несравненно лучше. Видимо, там вас еще не забыли, Ваше Величество!

Этим закончилась аудиенция. Обо многом думал я, возвращаясь в лазарет.

Я не раз слыхал о подобных разговорах с Государыней. Быть может, мне следовало бы принять иной тон. Но я всегда говорил то, что у меня на сердце, и поэтому сперва говорил, а потом уже думал.

В Большом Царскосельском госпитале при обходе раненых Государыня выразила свое глубокое соболезнование молоденькому офицеру одного из сибирских стрелковых полков, потерявшему ногу.

– Не беда, Ваше Величество, – возразил тот, – приделаю деревяшку и пойду гнать немцев до Берлина!

– Зачем так далеко? – отвечала Императрица.

Другого она спросила, где и когда он был ранен и с кем ему пришлось иметь дело.

– Против нас были гессенцы, – отвечал раненый.

– Чем же кончилось сраженье? – спросила Государыня.

– Гессенцы бежали.

– Не может быть! – возразила Государыня. Краска бросилась ей в лицо. – Гессенцы никогда не бегали от врагов!

К нам привезли солдата с отрезанными ушами, как живую улику варварского отношения со стороны немцев.

– Как это случилось? – спросила Государыня, осмотрев раненого.

– Так что был я контужен и лежал в бесчувствии. А когда подошли наши, отбили немцев и унесли меня с собой.

– Но как же ты говоришь, что немцы тебя изувечили. Ведь ты же был в обмороке?

– Так, Матушка Царица, как яны взялись за мои ухи, я тут же и очухался!

Факт был налицо, далее сомневаться было уже невозможно. Все мы слышали про унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла, но даже Гоголь не решился утверждать, что заседатель сам себе откусил оба уха!..

Мне кажется, нетрудно было понять Императрицу. Ведь она родилась в своем родном Гессене, лучшие годы провела среди своих, кто может упрекнуть ее за то, что ее сердце разрывалось в тяжелом положении между близкими ее мужа и родными по крови. Ведь все ее братья сражались против нас… Корни ее души, конечно, остались в родной земле…

Это было глубочайшей трагедией ее жизни. Будучи любящей женой своего Ники – к черту всех, кто порочит ее честь! – беспредельно привязанная к своему детищу, самоотверженная мать, она отдавала все свое «я» на служение раненым, с неподражаемым искусством заботясь о каждом из них. Кто может обвинить ее за то, что она не могла и не хотела разделить общего негодования, охватившего нас при виде возмутительных актов со стороны людей, для которых мы были вековыми друзьями и которых считали образцом корректности, честности и культурности?

Но разве этих слов ждал каждый из нас от Русской Царицы?

…В эти дни положение на фронте стало трагическим. Когда меня принесли в лазарет, первое, что я сделал, – это было сообщиться с телефоном Великого князя Сергея Михайловича… Подошел Драке, личный адъютант.

– Сообщите Его Императорскому Высочеству, – спросил я, – что после двух блестящих боев на высотах Яворника и под Ясиновцем наш дивизион остался без снарядов. Умоляю сделать все, чтоб ускорить их получение.

Я не знал тогда, что это было общее явление… В пехоте стали отпускать по пять выстрелов на винтовку, в артиллерии – по пять снарядов в день!..

– Прощайте, господин полковник, не поминайте лихом! – Молоденький Шах-Багов, тот самый, который одолжил мне свою шашку, со слезами на глазах жмет мою руку. – Еду на фронт и, если не вернусь с Георгием, то меня принесут на носилках…

…Милая Ольга уже три дня не приходит на перевязки… Сегодня она явилась, наконец, но ее щечки потеряли обычный

румянец, а глаза покраснели от слез – чудные девичьи годы, милое чистое сердце…

Все стихло в лазарете, крокет заброшен, на нем показывается зеленая травка. Даже неугомонный Мелик Адамов не балаганит. Проходит неделя, другая. Появляются новые раненые… Вдруг по коридору летит Мелик Адамов, вприпрыжку, на одной ноге… Господин полковник, телеграмма… «Необходима спешная операция, прошу вернуться в госпиталь. Шах-Багов». Вот шарлатан, наверное, придумал себе аппендицит. Бегу к телефону!..

Но бедняга был ранен на самом деле. Тотчас по возвращении на фронт он пошел в атаку и теперь вернулся с раздробленной ступней, бледный, на носилках. Ольга и Татьяна тотчас водворили его на прежнее место в Эриванской палате. Его немедленно оперировали, загипсовали ногу и, так как требовалось полное спокойствие, он остался надолго прикованным к постели. К Ольге вернулось ее прежнее настроение, ее милые глазки заблистали вновь, щечки покрылись прежним румянцем. В крокет уже не играли, но на другой же день принесли и поставили подле больного огромный зеленый стол, где шарики из слоновой кости катались миниатюрными молоточками сквозь расставленные по столу металлические дужки.

Какое наслаждение вздохнуть полной грудью! Мне кажется, оно не сравнимо ни с чем. Раньше я не замечал этого, но вот теперь, когда каждый глубокий вздох причиняет мне нестерпимую боль, я сознаю это. Вот что задерживает мое выздоровление и подкашивает мои силы! Порой мне кажется, что я уже никогда не вздохну свободно.

Но нет! Боли начинают ослабевать, я уже встаю с постели чаще и чаще, даже временами выхожу на двор.

– К вам пришли! Ваша жена дожидается вас в саду.

Вход посетителей разрешается после обеда, от двух часов. Сейчас не время визитов. Наверное, что-нибудь важное! Я накидываю халат и выхожу на крыльцо.

– Зайка, попросись проехаться со мной в город! Я перебывала во всех магазинах и не могла найти себе подходящей шляпки! А у тебя хороший вкус, ты сейчас же найдешь мне что-нибудь подходящее.

В ее лице столько игры, что невольно залюбуешься ею. Забываешь войну, кошмары позиционной страды, раны… Столько детской свежести в этом личике, что не хочется отрывать от него глаз.

Она улыбается, и смеется, и жмурится, и сердится, и опять

радуется чему-то, в чем для нее сейчас заключается счастье и радость бытия.

– Ведь теперь весна… и ты со мною! Отпросись на несколько часов, поедем вместе!

Иду просить разрешения – ведь это будет мой первый выход. Навстречу Ольга…

– Кто это? Ваша жена? Какая хорошенькая! Почему она приехала? О чем вас просила? Разве так трудно выбрать себе шляпу?

– Это только предлог. Ей просто хочется прокатиться со мной по городу. Ведь скоро год, как она скучает одна!

Разрешение получено. Мы садимся в вагон и катим в Петроград.

Быть может, это иллюзия, но мне кажется, что все с участием глядят на нас. Никто без улыбки не смотрит на оживленное личико моей спутницы. Правда, здесь уже ее все знают, она каждый вечер ездит навещать меня в лазарете.

– Вам уже свободно можно выезжать. После нескольких уси ленных массажей вы можете являться в лазарет только через день, пока не удастся хорошенько разогнуть руку. Императрица поместит вас с женою в колоннаде Большого дворца. А потом вас отправят в Евпаторию на грязи.

Номер, который нам отвели в самом конце колоннады, был тот самый, в котором в счастливые мирные дни мы останавливались, когда дивизион ходил в Царское на Высочайшие смотры. Тогда, накануне парада и торжественного обеда, мы отдыхали здесь. Молодежь балаганила, запирали друг друга в огромный платяной шкаф и выкидывали разные штуки… Теперь в комнатах помещались жены и матери опасно раненных. Мы занимали две смежных комнаты с широкой двуспальной кроватью, софой и прелестной мебелью. Напротив, в одной комнате жила жена капитана Гаскевича, в другой – милая парочка молодоженов: поручик Новороссийского драгунского полка Лепеха и его юная супруга, оба жизнерадостные и по уши влюбленные друг в друга. Все мы очень сдружились между собой. Утром, едва мы успевали протереть глаза, как уже раздавался легкий стук и в соседней комнате появлялись лакеи с огромным серебряным подносом, на котором едва помещались чашечки китайского фарфора, кофе, сливки, сахар, сухарики и булки всех сортов, сыр и масло.

– Обед в двенадцать, ужин в пять, – а вечером чай в восемь часов, – предупреждал старший лакей, – без опозданий. Но для вас мы всегда оставляем, как бы поздно ни вернулись! Для вас всегда все готово!

И действительно, даже когда нам случалось вернуться ночью, раздавался обычный стук, и на низеньком круглом столе нашего будуара появлялся роскошный поднос с его вкусным содержимым. Совсем как в сказке: «Столик, накройся!»

– Зачем?.. Зачем вы так о нас беспокоитесь?

– Для вас всегда найдется, – твердил, улыбаясь, лакей.

Однажды днем во внеурочное время раздался стук в дверь. Я вышел в другую комнату и обмер от удивления: передо мною стоял наш бессменный фуражир, которого я всегда встречал первым, подъезжая к батарее, и всегда оставлял последним, отъезжая.

– Вачейшвили!.. Какими судьбами?

Да, это был сам Вачейшвили, выдержанный и спокойный, такой, как бывал всегда – и на полях сражений, и в разъездах, и везде. В руках он держал огромный портфель со всей батарейной канцелярией.

– Извольте подписать. Вот сдаточные ведомости, батарею принимает капитан Кузнецов. Прудкий – он уже классный чиновник – просит передать, что «Инвалидный капитал» пришлось расписать по другим рубрикам, командир дивизиона все доискивается, откуда у нас такие деньги. Раненых ведь теперь совсем нет. Снарядов мало, стоим все время на пассивном участке. Вас все вспоминают. Не то было время! Тогда мы работали один за всех.

– Спасибо, родные! И я вас не забываю. Я заказал 525 маленьких фотографий в кавказской форме и с Георгием. Передай каждому на память.

– Все думали, что вы помрете. Больно уж вы себя не жалели.

– А офицеры?

– Все шлют привет. Теперь ведь и Кулакова произвели в поручики. Дзаболова представили в офицеры.

– А поручик Коркашвили?

– Уже произведен в штабс-капитаны.

– Не написал мне?

– Никак нет. Только вот господа офицеры послали вам телеграмму с получением Георгия. А орден командир дивизиона заслал в Киев, когда вы его еще получите!

Я получил его только перед самым отъездом на позицию.

Коркашвили не писал мне по понятными причинам. Когда меня унесли из боя, никто не верил в мое выздоровление. Через несколько дней, уже в лазарете, Алечка принесла мне его письмо.

– Смотри, что мне написал Петька! Да он с ума сошел!

Я давно уже видел все, что происходило в его душе. Перед выходом в поход Аля была с ним сердечнее обыкновенного.

– Милый Петя, – говорила она ему, – вы знаете нашего командира. Себя он не жалеет, он грудью стоит за своих… В нем ваше счастье, и честь, и слава вашей батареи. Ради всего святого, ради вас самих, ради меня… берегите его, не дайте ему стать жертвой своей удали.

С тех пор во всех боях я замечал, что в его душе происходила борьба. Если командир будет убит, быть может, в первом порыве отчаяния она бросится к нему в объятия… И вот всякий раз, когда мне предстоял выбор между бесславным бездействием и безумной опасностью, он являлся ко мне.

Это живо напоминало мне шотландскую балладу:

Скакать, вперед – и смерть, и ад…
Вернуться – преступленье. —
Чтоб сделал ты, мой сквайр, когда б
Стал графом на мгновенье?

Я уже заранее знал его ответ, тождественный с ответом оруженосца.

Но когда начиналось сраженье и снаряды засыпали мой наблюдательный пункт, неожиданно появлялся Коркашвили и умолял меня уступить ему свой пост. Но Бог меня хранил, подо мной убивали коней, засыпали меня осколками, но я оставался цел… до последнего случая, когда с 300 шагов расстояния я получил пулевые раны… Теперь, казалось, для него наступил желанный час. Письмо его было написано в огненных выражениях. Наконец-то судьба посылает ему награду за тысячу страданий, которые он выносил молча! Одно слово, и он прилетит к ней!

Я часто вижу его во сне и всегда в одном и том же виде. Милый Петя, сколько раз я думал о тебе, вспоминал тебя, сколько раз видел тебя во сне. Я спешу обнять его… и просыпаюсь.

Но все-таки это письмо поразило меня, как неожиданный удар кинжала…

Дни быстро сменялись днями. С фронта стали приходить более утешительные известия. Неслыханное отступление Русской армии закончилось. У власти стало деловое, патриотически настроенное министерство. Наши заводы и фабрики стали вырабатывать колоссальное количество снарядов. Кружным путем, через Владивосток, через Романовск на Белом море стали прибывать огромные запасы вооружения… Во главе армии стал сам Государь… Еще одна великая держава – Италия – присоединилась к Атланте – все, казалось, сулило желанный успех.

Но то, что не видели или не хотели видеть другие, для меня было уже ясно… Была нарушена «белая линия» – убиты, искалечены, ранены те офицеры и солдаты, в которых держался дух армии – те чувства, без которых, как тело без души, начинает разлагаться ее безжизненный организм. Последние кадры, увлеченные надеждой на близкую победу, погибнут в целом ряде бесцельных атак, и тогда…

Однажды, вскоре по прибытии в лазарет, я проснулся в слезах. Я отчетливо видел во сне смерть Гургенидзе, доблестнейшего офицера 2-го Кавказского стрелкового полка, который во всех боях после Сувалок фактически командовал своим полком. Сменялись командиры батальонов, полк переходил из рук в руки, штабные офицеры делали на нем карьеру, уходя на тыловые должности, – но пока тихий и незаметный, но твердый и хладнокровный Иван Константинович оставался в строю, полк выходил сухим из воды и творил невозможное. Последний резерв был Гургенидзе и полурота его пятой роты. «Что будем делать? – спрашивал командир полка. – Ничего не поделаешь, надо восстанавливать положение… Болигловка, давай набалдашник!» Он напяливал на свою облысевшую голову теплый колпак и шел водворять порядок и спокойствие на прорванном участке…

– Не хотите ли взглянуть на «Инвалид»? – спрашивает сестра. Я развертываю газету, и сразу же мне бросается в глаза:

«Убитый, исключается из списков 2-го Кавказского стрелкового полка, штабс-капитан Иван Гургенидзе»…

Уже поднявшийся, встретил на улице одного из бывших солдат, произведенного только что в подпоручики. А затем его простой рассказ дополнил командир полка полковник Лобачевский. Под Якобштадтом их бросили в атаку на непроходимое болото, защищенное немецкими пулеметами. Боевой частью, как всегда, командовал Гургенидзе… Он протестовал, Лобачевский горячился… Штаб настаивал.

– Меня расстреляют за неисполнение приказания, ступайте, ступайте, – настаивал Лобачевский по телефону. – И вот, – говорил мне Лобачевский, – мне приносят телефонограмму: «Доношу, что я убит и службу Его Императорского Величества нести не могу.

Штабс-капитан Гургенидзе». Я бросился на место. Пуля пробила ему голову, но он еще дышал. Мне показалось, что он еще глядит на меня с упреком. Телефонограмму он передал перед тем, как двинулся в атаку… Это я убил его!

Бесплодные усилия

Что Кассандре дар вещанья?

Шиллер

С тех пор как я получил возможность отлучаться в столицу, я стал употреблять все силы на то, чтобы открыть глаза тем, кто мог бы принести пользу армии.

Каждый «спасал Россию» по-своему. Каждый объяснял по-своему, почему блестящие успехи на Австрийском фронте и на Кавказе привели к тому, что Германия при полном бездействии союзников обрушилась на Русскую армию, которая истратила последние боевые запасы на спасение Западного фронта.

Поглощенные пространством и самоотверженными усилиями армии, германцы остановили свой натиск. Они поняли, что с Россией не справиться, и снова бросились на Западный фронт. Поняли и союзники, что Русская армия без снарядов и патронов не может облегчить их положение, что блокада Дарданелл, открытие которых было гарантировано Англией, делает подвоз их невозможным, и что надо прийти навстречу России в ее отчаянных усилиях организовать подвоз через только что оборудованный Мурманск и через Владивосток. «Деловое» министерство добилось колоссальных успехов в заготовке снаряжения и завалило фронт боевыми припасами. Но было упущено из виду нечто, едва ли не самое главное.

Со школьной скамьи все повторяют известный афоризм Наполеона, что на войне дух дает 3/4 успеха, а остальное всего 1/4. Но почему-то считается, что дух этот со времен Бородина и Полтавы составляет неотъемлемую часть нашей армии, и заботятся лишь о материальной стороне дела.

Духом наполеоновской армии был его гений. Боевой клич «Vive I'Empreur'!»[132] являлся гарантией победы, так как он наполнял сердце каждого француза уверенностью в неизбежности победы – а вера горами двигает.

Дух армии основан на вере, что спасение заключается в победе, а победа зависит от беспрекословного исполнения распоряжений начальства. Пока начальство твердо и работоспособно, оно внушает полное доверие солдату своей стойкой моралью. Носители этой морали – это ничтожный процент лучших офицеров и старых солдат, которых каждый знает и кому каждый доверяет свою жизнь. А те, кто теряет

голову, идут за ними, как бараны за вожаком.

Но когда и эти герои нелепыми распоряжениями, исходящими свыше от неосведомленных штабов и случайных карьеристов, гибнут во имя исполнения необдуманных приказов, тогда уже немыслимо восстановление боевой мощи. Оно так же невозможно, как исцеление копыта лошади после нарушения «белой линии»…

Чтоб спасти Париж, было пожертвовано четырьмя отборными корпусами. Чтоб дать время англичанам мобилизовать силы для занятия 50 километров по фронту, чтоб облегчить натиск на Верден, чтоб «выручить» Италию и Румынию – при полном бездействии «наших славных и доблестных союзников», как их называли «кадеты», отправлены были в пасть Молоху последние кадры бесценных солдат и офицеров, и лучшие полки обратились в аморфную массу, для которой уже не существовало ни долга, ни чести, ни знамени, ни веры… Артиллерия спасла свои кадры до конца войны, кавалерия, особенно казаки, сохранила их в значительной мере, но пехота к концу войны уже лишилась тех, кто составлял когда-то ее дух и сердце, и обратилась в толпу вооруженных людей, ничем не связанных между собою.

Обратиться с докладной запиской по команде, как сделал это в свое время родоначальник партизанской войны знаменитый Денис Давыдов? Не те люди стояли теперь во главе армии. За деревьями они не видели леса. Кто бы осмелился подать ее грозному главнокомандующему?.. Посылать доклад Янушкевичу? Я знал его когда-то как бывшего офицера 4-й батареи лейб-гвардии 2-й бригады, в которой я начал свою службу, я видел его в поезде Главнокомандующего, когда мы представлялись ему, выходя на войну. Но посылать ему доклад – значило получить жестокий нагоняй за прямое обращение. Идти к военному министру – еще хуже. Мой двоюродный брат Михаил Алексеевич Беляев был далеко. В Румынии… Но и здесь этот прекрасный человек, но педант и формалист, и слушать бы не захотел моего голоса. Надо было искать свежую лазейку, свежих людей.

– Что же, собственно, вы предлагаете? – обратился ко мне Шингарев, к которому я явился с рекомендацией от С. Ф. Ольденбурга, всегда отзывавшегося на все доброе.

– Я предлагаю проект, который может спасти самое драгоценное, чем обладает сейчас наша оборона: остатки кадров, которыми еще держится армия.

– Каким образом?

– Организуя в глубоком тылу ряд запасных батальонов от каждого полка, где тяжело раненные и даже искалеченные офицеры и солдаты могли бы воскресить среди зеленой молодежи

те традиции, которыми жила армия, которая уже вся полегла под ударами немецкой техники ради спасения западных союзников. Эта свежая армия, явившись в последний момент, решила бы судьбу России и, в случае преждевременного заключения мира, осталась бы залогом будущего спокойствия страны.

– Но ведь на это понадобятся годы… Все идет к этому. На смену убитым и раненым мы выпускаем (он назвал какую-то астрономическую цифру) тысячи молодых студентов, образованных, культурных, вполне готовых пополнить недостатки армии и количественно и качественно. Вы можете быть спокойны: армия будет восстановлена. А вот, кстати, объясните мне: что такое миномет?

Армию могли возродить Суворов, Румянцев – можно ли было ожидать, что она вылетит из портфеля бывшего земского врача, как Минерва из головы Юпитера, в полном вооружении блестящих доспехов? В свое время нашлись люди, способные принять и осуществить простой и ясный проект Дениса Давыдова и вызвать к жизни войну, погубившую Наполеона. Но кто из нынешних людей, занятых личными или партийными интересами, стал бы теперь слушать голос рядового офицера?

Собравшись с силами, я поехал в Гатчину, где доживал последние месяцы мой старик-отец.

– Ты предлагаешь мне решиться на отчаянный шаг, – отвечал он мне. – Неужели ты думаешь, что меня допустят подать мое мнение Государю? Разве ты не слышал, что говорят при дворе? «Как можно тревожить израненое сердце Их Величеств этими тяжелыми во просами?» Ведь ты помнишь, когда я был в силе, когда Кронштадт и Петергоф были спасены нами от катастрофы, что я мог сделать, чтоб открыть глаза Царю? Помнишь, как меня вызвал к телефону Великий князь и сказал: «Не смейте тревожить Государя этими докладами! Как вы не понимаете, что этим вы терзаете человеколюбивое сердце нашего милосердного монарха». И для чего ты добиваешься всего этого? Неужели и в тебе дрогнуло сердце накануне возвращения на позицию?

– Как ты можешь так думать обо мне, милый мой папочка? – возразил я, жестоко уязвленный упреком. – То, что я делаю, я делаю для других, для армии, для России. Во всяком случае, я возвращаюсь на позицию и выпью чашу до конца. Но я иду туда, как шел Гектор на свой последний бой, зная наперед, чем он кончится.

Два года спустя, при расставании, Мария Николаевна припомнила мне этот разговор. «Как точно ты предсказал будущее, – говорила она. – Я часто вспоминала твои слова!»

Участь Трои была предрешена. Не спасли ее ни плач

Кассандры, ни предостережения Лаокоона. И когда не нашлось возражений на его мудрые слова, вышли змеи и задушили его и его детей.

А жизнь протекала своим порядком. От нее не уйдет ни мудрый, ни неразумный, ни предусмотрительный, ни беспечный…

Перед отъездом на грязи в Евпаторию меня осматривал доктор Боткин, лейб-медик Царской семьи.

Не люблю, когда доктора слушают мое сердце. Он повторил все сказанное мне 20 лет назад доктором Николаевским.

– С вашим сердцем вам нельзя служить в строю. Вы можете выдержать лишь в условиях строгого режима тыловой жизни.

– Но как же, доктор, с этим самым сердцем я делал под огнем версту и две бегом, проводил дни и ночи в пылу сражения, забывая о себе!

– Чувство долга иногда может нас вынудить далеко перейти предел возможного. Но на этом нельзя строить расчеты. Покажитесь мне еще раз по возвращении из Евпатории.

Пребывание наше в Крыму было сказкой. Дуван, подаривший эту санаторию Императрице, делал все возможное, чтоб развлечь и успокоить своих гостей. После спектаклей мы ездили к нему в именье, катались под парусом по лазурным волнам Черного моря, ночью всей царскосельской компанией ездили в bau Rivage («Буриваш» по местному произношению), где нас ждали традиционные чебуреки; забывая все на свете – и настоящее и будущее. Пока, наконец, я получил неожиданную телеграмму из Питера: «Приезжайте немедленно, – писала Мария Николаевна, – папа при смерти».

Я бросил лечение – оставалось еще несколько грязевых сеансов, – и мы помчались обратно. Подвод не было, нам грозило бесполезное пребывание на почтовой станции, но в эту минуту к крыльцу подкатило роскошное ландо – Паша Богуславский, племянник Николая Аристарховича, с женою, уже инженер, начальник дистанции. Мы с восторгом приняли его предложение и поспели как раз к экспрессу.

Отца я застал уже в последние минуты, окруженного всеми близкими. Все братья, кроме Володи, находившегося в плену, и Коли, который уже занял свой пост в Лондоне, явились с фронта. Он еще узнавал нас, хотя говорил с трудом и вскоре закрыл глаза. Последние его слова были: «Мир в Петрограде, мир в Берлине»… Его похоронили в Сергиевой пустыни рядом с мамой согласно завещанию. В Царском я встретил Боткина.

– Удивительно, – говорил он, осмотрев меня, – ваше сердце неузнаваемо! Оно функционирует превосходно, вы можете ехать

куда угодно!

Я пошел прощаться к Императрице. Она благословила меня маленьким серебряным образком Св. Георгия Победоносца и молитвенником, как всех своих пациентов, дала также каждому по пакету с бельем. Княжон я уже не видал. Шах-Багов снова поправился, но его устроили начальником санитарного поезда, который ходил с фронта прямо в Сибирь и обратно, не заходя в Питер. Князь Геловани уехал начальником санатории в Евпаторию, Мелик Адамов оставался еще там, на грязях, там же мы распрощались с Лепехами и Таскевичами. В лазарете Ее Величества уже осталось мало знакомых лиц.

За последние дни передо мною промелькнули почти все близкие, родные, так как все были на похоронах у папочки. Из незнакомых особенно врезались мне в память молодой моряк со старушкой-матерью: «Панаев 4-й! – произнес он, представляясь. – Последний…» Его братья, ахтырские гусары, все пали смертью храбрых. Я знал старшего: это был чудный юноша, чистый, как девица, и благородный, как лев…

Сережа уже командовал артиллерией армии, Мишуша[133] был начальником артиллерии корпуса. Семьи их и Володи жили в столице, летом – в Гатчине, все часто собирались у Марии Николаевны, где проводил отпуск Тима, уже командир батареи во 2-й бригаде. Алечку я оставил под крылышком у Махочки, там я был спокоен за нее. Накануне отъезда нам не спалось всю ночь, я все время прислушивался к ее сдержанным рыданиям и уехал на фронт с подорванными нервами.

На дебаркадере слышались крики:

– Проклятые… проклятые! За вас еду умирать, – кричал вдребезги пьяный пехотный ундер. – Оставайтесь, буржуи проклятые, еду умир-р-р-рать!..

Командовать отдельным дивизионом – это уже не то, что я пережил со своей родной горной батареей… Теперь я ехал в 4-й Отдельный полевой тяжелый дивизион, стоявший в Могилеве-Подольском. Но там меня ждало все новое: офицеры, солдаты, даже незнакомые орудия Виккерса калибра 105 морского типа на импровизированных лафетах с огромными колесами, напоминавшими колесницы фараона.

В тылу

Дивизион стоял на позиции. 3-я батарея с самого начала находилась где-то на севере. С ее командиром, старым крепостным артиллеристом, я встретился уже много позднее, в изгнании. Остальными двумя командовали совершенно юные штабс-капитаны, только что окончившие Артиллерийскую академию, братья Шафровы. Дивизионом командовал назначенный в Киевском военном округе полковник Самборский, мой товарищ по училищу.

Командир корпуса, генерал Каледин, встретил меня очень радушно, но пожелал, чтобы я принял дивизион уже после атаки Черновиц, для чего все уже было подготовлено. А пока знакомился бы с личным составом и заканчивал формирование управления.

Я остановился в огромном селении, где были расквартированы штаб корпуса и управление артиллерии, а также наша хозяйственная часть и парки батарей, и тотчас же ознакомился с внутренней жизнью дивизиона. А ранним утром пошел взглянуть на батареи.

Командиры находились на наблюдательном пункте. Они впервые попали на позицию, и молодые прапорщики, оставшиеся при орудиях, слабо отдавали себе отчет в том, что их ожидало.

Батареи, особенно первая, ввиду колоссальной настильности траектории морских орудий, стояли открыто, и с момента открытия огня неминуемо должны были стать жертвой неприятельской артиллерии. Никто даже не потрудился отрыть окопы.

Я тотчас же пояснил им все это и, еще не будучи вправе приказывать, посоветовал старшему прапорщику немедленно обеспечить людей окопами, и на случай жесткой бомбардировки отрыть вблизи глубокую узкую щель – убежище, что было немедленно исполнено. Затем прошел на наблюдательный пункт, где уже не было никого.

Там сразу же попросили меня к телефону.

– А, Иван Тимофеевич!

– Откуда? Кто говорит со мною?

– Это мы, «Фирма».

– Какая фирма?

– Фирма Кирей, Яковлев и я… Мы здесь нанимаемся для руководства целесообразным употреблением артиллерии… Это наша специальность. Предлагаем свои технические услуги… Теперь мы здесь на гастролях.

– С кем же вы собираетесь сотрудничать?

– Со всеми начальниками групп и командирами частей.

– Кто же вас сюда направил?

– Это долго объяснять. Мы с вами поговорим об этом на квартире.

– Пока что можете обратиться к полковнику Самборскому, который еще не сдал мне командования. А меня вы можете найти через начальника артиллерии, которому я подчинен и от которого я должен получить распоряжения…

Это что еще за явление? Какая-то странная «фирма», какие-то «гастролеры»… Двое – мои товарищи по гвардии, ушедшие в академию. Третий, видимо, бывший ранее в распоряжении Великого князя. В управлении генерал Неводовский попытался объяснить мне, что эти господа разъезжают по фронту, сообщая артиллеристам новинки техники ведения артиллерийского боя, которые нахватали в иностранных журналах. Я был очень рад, что от них отделался.

Неводовский в первые дни моей службы был моим командиром. Это был глубоко порядочный человек и уравновешенный, и для меня было на руку, что я остался под его непосредственным командованием.

В данную минуту мне оставалось лишь обратить внимание на внутренний быт моих подчиненных.

Артиллерийская подготовка атаки Черновиц не удалась. Чему приписать это, я не мог судить, не зная всей обстановки. Орудия Виккерса, могущие оказать услуги при демонтировании неприятельских батарей, не могли принести серьезной пользы против проволочных заграждений и по своей беззащитности сразу же открывались неприятельской артиллерии. Они могли пригодиться лишь местами, для специальных задач. Мы получили приказание отправляться в тыл, чтоб закончить формирование.

Перед уходом мы все-таки оказали услугу нашему доброму начальнику артиллерии. Ночью он вызвал меня.

– Знаете, поставленная вчера на вашей позиции шестидециметровая пушка Кане не может выполнить главной своей задачи. Каледин рвет и мечет. Ведь это зверь… Он способен расстрелять меня, требует, чтоб завтра же пушка действовала по деревне, на которую он поведет главную атаку.

– Но ведь вчера он указывал совершенно другие цели!

– Все равно, с ним не сговориться. Я не знаю, что делать, – бедный старик схватился за голову.

– Не волнуйтесь, ваше превосходительство, – вмешался Самборский. – За ночь можно срезать верхушку высоты, которая мешает обстрелу.

– Я вам пришлю всех своих людей с шанцевым инструментом, – прибавил я, – и к утру все будет в порядке.

Ранним утром, когда измученные ночной работой солдаты садились в вагоны, Неводовский с Калединым поехали наблюдать стрельбу орудия Кане. Но что могла сделать одна пушка с полусотней бомб против бетонированного и опутанного проволокой опорного пункта?

Формирование дивизиона заканчивалось в глубоком тылу, в местечке Атаки, предместье Могилева Подольского, отделенном от города рекой Днестром, через которую был переброшен понтонный мост.

За это время ко мне успели присоединиться мой неразлучный Крупский и Дзаболов, о переводе которых я хлопотал с первого дня моего назначения.

Будучи в Петербурге, мы с Алечкой часто бывали у Постовских, которые всей семьей обосновались там вскоре после начала войны. Генерал вначале был назначен начальником штаба к Самсонову и после постигшей его армию катастрофы, откуда ему удалось ускользнуть в последнюю минуту, был короткое время начальником дивизии на Карпатах и затем ушел на тыловую должность.

– У меня прекрасная лошадь, – говорил он мне, – вместе с трубачом она еще при мне. Я передам вам их обоих, по крайней мере, буду знать, что оба находятся в верных руках.

Я уже выписал себе молодую лошадь из конского запаса и теперь сразу получил обеих.

Красотку привел трубач Стежка, Кокотку – Дзаболов, командированный за нашими лошадьми. Обе кобылы были чудесные и как две капли воды подходили друг к другу.

Обоих командиров я отпустил в Петербург, снабдив их письмами домой. Веселые и беспечные, они считали, что их служба начинается и кончается на наблюдательном пункте, а в остальное время вели безалаберную жизнь и совершенно не думали о своих батареях, где царил хаос.

Я сам взялся за внутренний порядок – и меня глубоко тронуло, что весь дивизион, как один человек, отозвался на мой призыв. За несколько дней была налажена кухня, люди повеселели; за лошадьми был установлен должный уход; молодым офицерам объяснены их обязанности, и к приезду обоих гастролеров они могли уже без труда «командовать» своими частями. Вскоре нас направили на Северо-западный фронт, где дивизион распался: управление осталось в Минске, а обе батареи попали в Барановичи, откуда каждая получила назначение в различные армии.

Отпустив батареи, я остался на станции один. В эту минуту ко мне любезно обратился начальник стоявшего подле санитарного поезда и радушно пригласил к себе. До утра мне деваться было некуда; поезд возвращался в Минск лишь на другой день. Я с удовольствием отозвался на приглашение и очутился в уютной столовой. Это был поезд, оборудованный польскими аристократами, обосновавшимися в Москве, начальник был единственный русский, персонал состоял из сестер католического центра! Меня приняли как старого друга.

– Мы вас уже хорошо знаем, – наперебой говорили мне все. – Когда подошли ваши батареи, мы стали расспрашивать ваших людей, кто командует, все, все в один голос восторженно отзывались о вас. Ничего подобного мы еще никогда не слыхали… Вот мы и решили командировать нашего шефа, чтоб познакомиться с вами поближе. Как это вам удалось добиться такого обожания от ваших людей?

Впоследствии, в разгаре революции, ночью, при отступлении из Тернополя мои разведчики встретились с батареями 4-го дивизиона. «Видим, катят какие-то чудные пушки на восьмерках лошадей с саженными колесами. – Вы, – говорят, – 13-го дивизиона? Так это у вас наш дорогой командир полковник Беляев? Ох, как же мы за ним тужили! Вот был командир! Теперь бы нам его, мы бы его на руках носили!»

В Минске я нашел своего старшего брата Сережу, который был назначен Эвертом в качестве начальника артиллерии фронта. При нем для распоряжений состоял Н. М. Энден, наш дальний родственник, бывший офицер лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. Брат мой был полон надежд, ехал на фронт и должен был через несколько дней вернуться. Он посоветовал мне подождать немного до приезда Великого князя Сергея Михайловича, чтоб хлопотать о новом назначении.

Через несколько дней явился и Великий князь. Но он был уже не тот, каким я видел его, когда посетил его в Михайловской дворце: больной, загнанный преследованиями «Прогрессивного блока», который в те дни обрушился на безответственных министров и Великих князей. Теперь его окружала целая свита любимцев и, когда он появился в зале в походной форме и сапогах на высоких каблуках, то казался титаном среди пигмеев, которых он душил облаками своей колоссальной сигары и которым безапелляционно подносил готовые решения.

Брата моего, с его самостоятельными взглядами на все, он, видимо, уже не переносил.

– Ступай переговорить о себе с Барсуковым, – шепнул мне брат на ходу. У него самого, видимо, порвались связи с Великим

князем.

Я знал Барсукова, сейчас он был его правой рукой. Тот принял меня сердечно.

– Первый открывающийся отдельный дивизион будет ваш, – отвечал он мне. – А покамест отдыхайте!

Я воспользовался этими днями, чтоб съездить еще раз в милый Питер. Явившийся на смену брата Али-Ага Шихлинский со своим окружением не произвел на меня приятного впечатления, а Сережа уехал обратно в свою армию.

У своих я нашел полное успокоение и умиротворение душевное. Моя Алечка, казалось, в мое отсутствие расцвела еще более.

Когда мы очутились одни в уютной, чистенькой гостиной сестры и, сидя рядом с нею, я изливал ей все, что накопилось в душе, она, казалось, и не слышала моих слов. Глядя на меня своими лучезарными глазами, с радостной улыбкой на устах она повторяла только:

– Ах, как я рада, как я счастлива!

Теперь все родные объединились вокруг Марии Николаевны, которая в своем одиночестве стала как бы центром всей семьи. Там читались письма от Коли о его жизни в Лондоне, туда приезжал с фронта Тима, ставший любимцем племянник, туда приходила Елизавета Николаевна со всей Сережиной семьей. Лиля приносила письма от Володи из плена. Мария Николаевна хотела перетянуть к себе и Алю, предлагая ей отдельную комнату в опустелом доме. Но Махочка с Ангелиночкой не хотели отпускать ее от себя, она стала для них очагом домашнего уюта, источником тихих интимных радостей. От меня с фронта к ней приезжали всегда молодые офицеры, к ней прибегали барышни Постовские и другие знакомые, и кругом нее всегда била живая струя, она озаряла всех лучами радости и счастья – пели романсы, даже танцевали и скрашивали тихую, почти монастырскую жизнь Махочки и ее дочери.

А для бедной «Анжель» жизнь складывалась печально. Ее мечты о преподавании рухнули благодаря тому, что она все еще продолжала заикаться. Она искала успокоения, сбиваясь с ног работой с ранеными солдатами, которые потом писали ей трогательные письма. Но с детства она затаила любовь к сыну соседнего помещика Кошкарова. Он приезжал к нам еще кадетом. Когда оба подросли, их соединяла тысяча деревенских воспоминаний… А теперь выяснилось, что он и не мечтал соединиться с нею, и все ее иллюзии пошли прахом… Знала обо всем одна только «Мамти»… Мне он никогда не нравился.

Его отец был безнравственный человек, сестра унаследовала

от матери-грузинки красоту и темперамент; она была близкой подругой Энденов, но ее жизнь была разбита негодяем-отцом. Офицеры 24-й бригады сообщили мне данные против их товарища. Так оно и оказалось впоследствии, когда он стал красным комиссаром.

Но сердце бедной Ангелиночки было разбито. Эту любовь она лелеяла в груди и намеренно закрывала глаза на все окружающее. Только иногда безобидное веселье молодежи вызывало на ее исхудалом личике сочувственную улыбку…

Короткие минуты отпуска я использовал, чтоб посетить последнюю оставшуюся в живых тетю Лелю.

После смерти мужа и старшей дочери она переехала на другую квартиру, но в том же доме, где и поселилась со своей любимицей Любой и ее детьми, подрастающей красавицей Зюзей и ее братом, маленьким Колей. Нередко к ним ездила Наташа, жившая в командирской квартире в Гатчине, куда она переехала с начала войны.

Тетя Леля сообщила мне адрес молодого барона А. П. Штакельберга, который еще студентом бывал завсегдатаем на их вечерах и к которому, хотя издали, я всегда чувствовал искреннюю симпатию. Он также часто справлялся обо мне, под конец я не выдержал и поехал к нему. Но это было почти накануне большевистского переворота, полтора года спустя.

Он принадлежал к стариннейшей остзейской фамилии, о которой говорили; обе семьи славились безукоризненно чистой моралью всех своих представителей. Их имя стоило титула.

Сам Саша Штакельберг едва кончил университет, как женился на дочери адмирала Пилкина, однако вскоре после свадьбы бедняжка лишилась ног, и он семь лет возил ее в колясочке. Но когда она скончалась, я нашел его уже женатым на цветущей молодой женщине, счастливым отцом двух прелестных малюток, таких же здоровеньких, как мамаша, и с таким же дивным румянцем, каким всегда поражал он сам. За чаем зашел разговор о грядущих событиях.

– Я не поклонник толстовских идей, – говорил я, – но мне кажется верным одно из его замечаний.

– Какое?

– У сверхинтеллигентов дети слишком истощены физически. Они развиваются махровым цветом, но засыхают прежде времени. Я согласен с мнением Толстого, что лучшего расцвета достигают дети сыновей простого крестьянина. В них уже нет отцовской грубости, но здоровая кровь дает им возможность работать так, как мы уже не в состоянии.

– Милочка! Благодари Ивана Тимофеевича за невольный

комплимент, – подхватил милый хозяин, – наши дети как раз подходят под это определение! Родители моей жены простые крестьяне…

Удивительный человек! Потомок древнейшего рыцарского рода, с детства увлекавшийся геральдикой, аристократ без малейшей тени снобизма. Светский человек, чистый, как ангел, прекрасный, как херувим. Потомок меченосцев, православный до мозга костей. Безукоризненный супруг, в течение семи лет прикованный к страдалице-жене. Сверхджентльмен, нашедший, наконец, себе тихую пристань в объятиях скромной крестьяночки. Непременный секретарь Академии наук и либеральнейший председатель, сам убежденный монархист и консерватор. И со всеми этими противоречивыми данными, человек недосягаемого благородства и кристальной души…

Таких людей могла взрастить только Россия!

Назначение мое командиром 13-го отдельного полевого тяжелого артиллерийского дивизиона вызвало мой спешный отъезд на фронт. Я уехал счастливым. Дивизион был прекрасный, я получил его из рук полковника Драке, бывшего ранее адъютантом Великого князя. Он находился уже на боевой позиции, в районе Луцка.

Ударный дивизион

– В пролом, еще раз в пролом,
Друзья дорогие!..

Шекспир. «Генрих V»

Дивизион, куда я ехал, принадлежал к серии только что выпущенных артиллерийских частей, снабженных новейшей материальной частью и прекрасно технически обученным персоналом. Во главе стояли молодые, но опытные командиры батарей, молодежь большей частью была только что выпущена из лучших учеников Сергиевского артиллерийского училища. Все поголовно были серьезные и работящие. Нижние чины прекрасно справлялись со сложной материальной частью, так как дивизион был сформирован в Петербурге, главным образом из бывших рабочих технических мастерских и заводов. Это, впрочем, не могло, к сожалению, не отразиться на их морали.

Драке сдал мне дивизион, его позиции близ колонии Мариановки, и на другой же день уехал. Блестящей наружности, храбрый и знающий артиллерист, он обладал замкнутым и тяжелым характером, выработанным в давящей атмосфере канцелярии Великого князя, не переносившего чужих мнений, и наводил панику своим грозным «Надо соображать!». Его неудачное столкновение с академиками во 2-й бригаде сделало его недоверчивым к людям и оставило в нем глубокий след раздраженного самолюбия. Поэтому, несмотря на все его достоинства, мое появление в дивизионе вызвало общую радость и внесло успокоение. Я сразу же заметил это. Все мои указания схватывались на лету и исполнялись от чистого сердца.

Через несколько дней я получил ясное доказательство, что и солдатская масса почувствовала ко мне безграничное доверие, одна из батарей, 2-я, с самого начала находилась в отделе, и Драке, торопясь с отъездом, сдал мне ее заочно. Но едва он уехал, как я получил от нескольких солдат этой батареи письма, которые показали мне, что не все там ладно.

Если нижний чин решается принести жалобу на своего начальника, это показывает уже не только безысходность положения, но и глубокое доверие к высшему начальству, так как я не знаю случая, чтоб подавший жалобу в конце концов не пострадал от этого еще более.

Я немедленно явился на батарею, приказал командиру выстроить всех чинов на инспекторский опрос, обратился к солдатам с официальным вопросом, положенным по уставу, не имеют ли они за прошлое время законных жалоб и претензий.

Впервые увидал я нечто подобное. На мой вопрос из рядов выступило 20 человек.

Я тотчас же удалился в отдельное помещение и снял с каждого его заявление. Они были чудовищны.

Подполковник Сикорский с садизмом, далеко превосходящим обычное третирование и уставные строгости, терзал каждого из них, ставя их днем и ночью в сырую хату, по колено залитую водой, которая служила ему арестантской, и прибегал к всевозможным ухищрениям пытки, совершенно игнорировал устав о наказаниях.

– Чем объясняете вы все эти противозаконные меры?

– Но, господин полковник, вы не знаете этих людей… Никакие человеческие меры не дают с ними результата!

– Хорошо! Я донесу обо всем по начальству!

– Но, господин полковник, это погубит всю мою карьеру! Ради Бога, умоляю вас! Даю вам слово…

– Пусть будет по-вашему! При малейшем повторении чего-либо подобного я отрешу вас от командования и отдам под суд. А этих 20 человек я перевожу сейчас же к себе в управление, где они своей службой докажут мне правдивость своих слов.

– Но этим вы подорвете дисциплину в моей батарее!

– Наоборот. Именно теперь ваша батарея увидит воочию, что дисциплина существует для всех!

…Как мог суровый, строгий службист Драке не заметить истязаний, совершавшихся у него за спиной?

Нужно ли прибавить, что этого было достаточно. Все как рукой сняло. И те люди, которых я перевел к себе, не оставили на своей службе ни единого пятнышка.

Бои, последовавшие за Луцким прорывом, закончились новым параличом на всем фронте. Наша артиллерия уже была в состоянии состязаться с германской, но для прорыва бетонированных и окутанных морем проволоки позиций этого было недостаточно. Последующие сражения ясно доказали, что ни самоотвержение пехоты, ни налаженная связь между всеми родами оружия не приводили к иному результату, кроме самоистребления. И делалось это в угоду «благородным союзникам», которые проводили свою мировую политику за счет неисчерпаемого запаса «пушечного мяса» в России.

Недостаточность тяжелой артиллерии вынуждала то и дело перебрасывать ее, и наш дивизион после каждой попытки

прорыва перекочевывал в соседние корпуса армии. В этой переброске противник имел огромное преимущество внутренних сообщений, пренебрежение которым в новой войне погубило Гитлера. Но теперь, в угоду Европе, мы сделали роковую ошибку и вместо стратегического отступления, сопровождаемого рядом тактических контрударов, безрасчетно погубили сотни тысяч людей, бросая их на верную гибель под огнем пулеметов и минометов на проволочных заграждениях.

Первое крупное дело, в котором участвовал дивизион под моей командой, была атака спешно укрепленных германцами позиций между деревней Ворончиным и урочищем Жука, где немцы для упорной обороны использовали кладбище, расположенное на высоком кургане в нескольких сотнях шагов от выступа огромного леса, находившегося в наших руках… После интенсивной, но короткой подготовки, в которой участвовали, кроме моих, несколько батарей 39-го корпуса, гвардейцы двинулись на главный оборонительный пункт, пользуясь заранее подготовленными подступами. Наша 1-я батарея удивительно удачными попаданиями переворачивала все вверх дном на кладбище, но на главном командном пункте все время работало семь пулеметов, видимо, находившихся под бетонированными укрытиями.

– Прекратите стрельбу, мы не можем продвигаться далее, – передавали из головного батальона. Но мы сами видели с помощью двурогой трубы, укрытой в расщелине между двумя стволами гигантского дуба, что как только прекращали огонь, уже после демонтирования всех пулеметов, на бруствере появлялось несколько солдат под командой блестящего храбреца в серебряных галунах, в упор расстреливающих укрывшихся в подступах гвардейцев.

– Дайте огня! – раздавался крик из головного батальона. Но упорные защитники, скрываясь на минуту, вновь появлялись после каждого разрыва.

Наконец, я посоветовал Калиновскому бить шрапнелью на удар. Непрерывное гудение снарядов, падавших один за другим, не давало уже возможности защитникам высунуться, а между тем шрапнель, зарываясь, была не опасна своим. Видимо, это подействовало. Сопротивление рухнуло, и внезапно по змеившейся в тылу врага дороге мы увидели целую колонну бегущих, бросивших всю линию обороны.

– Кавалерию, кавалерию! – раздались крики по всей нашей линии. Мой Дзаболов скрежетал зубами.

– Был бы в головном эскадроне полка, который стоит там, в складке за лесом, человек с сердцем, изрубил бы всех бегущих, –

говорил он с отчаянием.

Но кавалерия не двигалась. Только лишь наши шрапнели подгоняли беглецов, которые быстро скрылись за перелесками.

Не теряя времени, я поскакал к начальнику артиллерии корпуса, чтоб получить его разрешение прийти на помощь 125-й дивизии, бравшей Ворончин. Он устроил себе наблюдательный пункт на вершине огромного дуба в глубоком тылу, но когда я несся открытой поляной, отделявшей лес от селения, где возвышался этот дуб, послышалось зловещее гудение, в воздухе что-то закружилось и грянул страшный взрыв. Моя Красотка круто повернула влево и отчаянным прыжком взяла глубокий ров. Казалось, бомба разорвалась за ее крупом. Но Господь миловал, все мы остались целы. Другой «чемодан» лег уже гораздо дальше, и мы спокойно подъехали к дубу.

– Какого черта вы навлекаете на мой пункт этот адский огонь? – налетел на меня генерал. – Ведь как раз на этом месте на днях убили полковника Бассова, командира тяжелого дивизиона!

– Будьте уверены, ваше превосходительство, они до вас не добросят, видите, они бьют на пределе досягаемости.

Мой тон подействовал на генерала успокоительно. Несколько дней спустя, при расставанье, он сунул мне в руку боевую аттестацию, в которой горячо отзывался о моей блестящей храбрости.

Когда я прискакал в Ворончин, дело уже было кончено. Вслед за падением кладбища немцы очистили и правый фланг: задача была исполнена, и мы получили приказание переходить левее, где 125-я и 101-я дивизии должны были брать деревню Киселин.

Под Ворончиным я познакомился с боевыми качествами командиров. Оба находившиеся при мне оставили по себе самое лучшее впечатление. И тот и другой были очень храбрые люди, но каждый по-своему. Ковальский, спокойный и выдержанный, заботливый и внимательный к нуждам подчиненных, любимец окружавшей его молодежи, встречал опасность ясным взором своих небесно-голубых глаз и с легкой благодушной улыбкой, которая едва шевелила его длинные светлые усы. Калиновский, дрожа, как породистый охотничий пойнтер, лез в самые опасные места с увлечением охотника, преследующего загнанную дичь, все более и более входя в азарт, хотя отлично сознавал, что каждое новое движение грозит ему гибелью. Едва выйдя из боя, он уже забывал все переживания и с неподражаемым юмором в голосе и в каждой черточке лица увлекал собеседников рассказами о своих юношеских проказах.

– Нет, нет, я с самого начала не мог привиться в обществе, – говорил он с легкой улыбкой, которая не сходила с его тонких

губ. – Я споткнулся с первого шага. Многочисленное общество сидело за роскошным ужином, перед которым наш слух услаждала известная певица, воспроизводившая романсы Вяльцевой. Хозяйка во главе стола, закатывая глаза, повторяла слова романса:

И в душу вошел ей чужой, —
Ему безотчетно она отдалась…

Какие чудные слова – «И в душу вошел к ней!..» Я не выдержал:

– Интересно знать, – шепнул я соседу, – через какую щелку пролез к ней в душу этот негодяй?

Этого было довольно. Все разом ополчились на меня, я был изгнан общим взрывом негодования, и более уже меня не приглашали.

Ковалевский с утра выпивал одну рюмочку и закусывал, гостеприимно угощая своих спутников чудным малороссийским салом, которое молоденькая женка присылала ему из родных мест. Потом оставлял старшего офицера на батарее, а сам, в сопровождении обожавшей его молодежи, скакал на наблюдательный пункт, не обращая большого внимания на обстрел. Но вот однажды оба его спутника явились ко мне глубоко потрясенные.

– Он убит!

– Каким образом?

– Когда мы подъезжали к наблюдательному пункту, над его головой пролетел тяжелый снаряд. Он сделал безнадежный жест рукой и свалился с коня, как подкошенный. Его подняли уже без малейших признаков жизни.

– Последствия сердечного шока, господин полковник, – докладывал старший врач, кровный еврей, как все его окружение, опытный и деловой человек. – Несомненно, причиной был пролетевший снаряд, но он не причинил ему ни ранения, ни контузии. Шок, типичный шок! Но вы не беспокойтесь: мы выдадим покойному свидетельство о смерти от контузии, и жена его получит всю пенсию, положенную после убитого мужа.

Иначе она не получила бы ни копейки.

Один из вольноопределяющихся поехал в Нежин с гробом и документами, а место убитого заступил молодой капитан Безчастнов. Увы, также ненадолго!

В последовавших случайных боях 3-я батарея оказалась в отделе неподалеку от нас. Сражения носили нерешительный характер, позиции переходили из рук в руки.

Неожиданно оба молодые офицера 3-й батареи ворвались ко мне.

– Господин полковник, капитан Безчастнов пропал без вести!

– Как так?

– Сегодня наши позиции переходили три раза из рук в руки. Все мы стояли на наблюдательном пункте, то поддерживая атаку, то задерживая противника. Безчастнов заметил, что наши рассыпались под натиском австрийцев, и, видя, что у них нет офицеров, бросился сам и увлек бежавших в атаку. Разгоряченный преследованием, уже в темноте он остался где-то во взятых им окопах.

– А вы? Как же вы бросили своего командира одного, не зная даже, наверное, убили ли его?

– Но ведь он сам… С ним невозможно было спорить, у него невыносимый характер…

Вот вам свежеиспеченная мораль ускоренного выпуска…

– Телефонисты! Немедленно передать всем соседним частям: «Сто рублей и георгиевский крест тому, кто доставит сюда живым или мертвым капитана Безчастнова, павшего при взятии 3-й линии австрийских окопов несколько часов тому назад».

Долго ждать не пришлось. Еще до полуночи меня вызвали по спешному делу. За дверями стоял пехотный солдатик в полном походном снаряжении и с винтовкой в руках.

– Честь имею явиться за получением креста и ста рублей! Так что мы их доставили в перевязочный пункт!

Дело было так. По следам атаковавших солдатик добрался до нейтральной зоны, где не оказалось никого, кроме убитых и раненых. Там, во второй линии, он нашел Безчастнова прислонившимся к раненому австрийцу. Пуля пронизала ему затылок, но он был еще жив. Солдатик взвалил его себе на плечи и доставил в перевязочный пункт.

…Он выжил после этой ужасной раны. В конце 16-го года, когда я заехал за женой в Петербург, он явился ко мне на квартиру в сопровождении своей молоденькой женки. Он совершенно поправился, но «потерял азбуку» и теперь только она добралась с ним снова до конца алфавита. За этот подвиг он получил золотое оружие и, как я полагаю, уже не вернулся до конца войны.

Наступившее затишье позволило мне еще раз съездить в отпуск; на этот раз при возвращении я решил взять к себе мою Алю. Только слепые не могли видеть уже, куда клонится все это, и, что бы то ни было, я решился не расставаться с нею более.

Петербург уже обратился в огромный тыловой центр. По улицам бродили солдаты и люди в военной форме, трамваи были

забиты.

Все волновались, проклиная растущую дороговизну. Комментировались «филиппики Милюкова»[134], в последних словах явно атаковавшего Императрицу открытыми намеками на связь с врагами. Консервативное министерство (в том числе мой двоюродный брат М. А. Беляев в качестве военного министра), видимо, не могло справиться с положением. В Ставке лихорадочно приготовлялись к новому прорыву, не замечая, что вся страна готовилась к чему-то совершенно иному. Безобразия Распутина, совершаемые на глазах у всех, доходили до Геркулесовых столпов и производили тяжелое впечатление даже на самых преданных монархистов…

Махочка очень неохотно расставалась с Алей. Но у них самих уже назревало решение уйти в монастырь; они уже вели об этом переговоры с Лаушинским подворьем. Ангелиночка с Лилей, дочерью старшего брата, которая тоже впала в пиэтизм, все время бегали туда, изображая послушниц.

Накануне отъезда к нам зашел С. Ф. Ольденбург. Он был ровесник с Махочкой, часто встречался с нею когда-то в Варшаве, где он кончал гимназию, и очень высоко ценил ее чистую христианскую душу и просвещенные взгляды. И теперь, после стольких лет, они нашли многое, о чем поговорить.

Разговор шел, главным образом, на отвлеченные темы, касался и Франциска Ассизского[135], и народного взгляда на сущность любви: «люблю-жалею». Прощаясь, я не выдержал и навел разговор на милюковское выступление.

– Но где же его доказательства?

– Доказательства у него в кармане!

– И он еще не арестован?

– Он находился там, где его невозможно арестовать: в английском посольстве…

В 1923 году, уже находясь в Буэнос-Айресе, я прочел в лучшей южно-американской газете «La Prensa» сообщение о выступлении графа Дугласа, представителя стариннейшего шотландского рода. Он взял под свою защиту оклеветанное имя русской Императрицы и доказывал, что телеграмма об отъезде лорда Китченера в Россию, послужившая основой милюковских обвинений, была передана Вильгельму двумя телеграфистками-еврейками, работавшими в Англии. В первой инстанции граф выиграл. Обвиняемые перенесли процесс во вторую, где, по словам «Пренсы», он проиграл. Но удивительно: Бейлис тоже был оправдан.

После ареста Царской семьи в перлюстрации всех ее архивов революционные ищейки не нашли никакого намека на сношения

Императрицы с Кайзером. Где же были аргументы, которые находились в кармане у Милюкова, тогда уже всемогущего министра?

Скользя в южном направлении, мы участвовали в атаке под Киселином, где целая дивизия во главе со своим храбрым начальником повисла на проволоке, безнадежно атакуя под звуки музыки и с распущенными знаменами неприступные позиции противника.

Начальника дивизии я не видел, но на его командном посту нашел своего товарища по корпусу, маленького Энгеля, уже генерал-майором и начальником штаба 125-й дивизии.

Начальником штаба 101-й дивизии был полковник Сидорин, впоследствии отличившийся на Дону.

Но все это было только «демонстрацией». Главный удар готовился южнее, где неприятельские позиции тянулись от Шельвова и Волина через несколько искусно укрепленных рощиц («Квадратный лес», «Сапожок» и др.) на Корытницу. 14 июля мы должны были атаковать леса на левом фланге противника, самый прорыв был возложен на части 1-го гвардейского корпуса, пополнявшегося свежими силами в течение месяцев в Виннице.

Накануне был сбор всех артиллерийских начальников частей гвардейской артиллерии совместно с пехотным начальством. Там меня по-дружески сердечно встретили многие из товарищей, уже попавших на высшие роли: Пономаревский-Свидерский в роли начальника артиллерии 1-го Гвардейского корпуса, «Фриц» Альтфатер, уже командир 1-й бригады и др. Но и мне не стыдно было появиться среди них в качестве командира блестящего ударного дивизиона с Георгием, который уже тогда давал мне право на генеральский чин, полученный мною впоследствии как боевая награда – тогда как иначе я вынужден был бы оставить свой дивизион и получить назначение почти исключительно административного характера.

Я не сторонник многоголовых совещаний. По мне, начальник артиллерийских масс должен употреблять драгоценное время перед боем на то, чтоб лично обойти самые передовые окопы, нащупать слабые места противника, расположить каждую из своих батарей так, чтоб все они могли бить по точке прорыва и, сговорившись с ударными частями пехоты, начать подготовку. А затем направить огонь хотя бы некоторой части орудий на сопровождение атаки огненным валом и образовать могучую завесу перед ворвавшимися передовыми частями.

На этом собрании, кроме распределения боевых участков, был поставлен вопрос об употреблении присланных снарядов с «синими поясками», заряженных безусловно смертельным газом

циан-кали, против чего высказались поголовно все, считая это немецкое нововведение подлым и негодным средством. Один лишь «Фриц» высказал мысль, что стоило бы ответить немцам их же оружием.

На нашем правом фланге в мое распоряжение был отдан дивизион легкой артиллерии под командой энергичного передового артиллериста подполковника Приходько, сменившего уходившего на пассивный участок подполковника Щекина.

«Рыбак рыбака видит издалека» – мы с Приходько сразу же поняли друг друга. Уже накануне мы прошли по всем передовым окопам, где у него были свои «маяки» в каждой интересной точке расположения, где каждый «активный» командир роты был его закадычным другом. Мы распределили участки батарей и места, где работу легкой артиллерии должны были прикрывать мои тяжелые орудия. Выяснили местоположения неприятельской артиллерии, которую должна была нейтрализовать моя дальнобойная 42-линейная батарея, бившая на 17 верст, а французской гранатой даже на 19.

С рассветом все уже было готово, все находились на местах. В назначенный час наши орудия обрушились на неприятельские окопы, задавив их ураганом огня. После короткой подготовки пехота двинулась вперед и взяла первые линии окопов. Но за ними, в третьей линии, показались каски – немцы бросили туда свои отборные части, и развить успех уже не удалось. Немецкая артиллерия действовала слабо, но на наши тылы налетела эскадрилья аэропланов; не нащупав батарей, они осыпали бомбами наш бивак. В моей палатке сидел молодой офицерик, только что прибывший в дивизион, он был весь осыпан осколками, его мундир прорван, шашка исковеркана, но он остался целехонек.

Одновременно с нами на «Квадратный лес» и «Сапожок» в атаку пошли части 1-го Гвардейского корпуса. Это был главный удар. После потрясающей артиллерийской подготовки, почему-то – как говорили, по недостатку снарядов – прекратившейся в самый критический момент, Преображенский и Семеновский полки, оставив закрытия, поднялись стеной и двинулись на заграждения, опутывавшие опушку.

Но весь лес был перерезан линиями проволоки, уцелевшей от бомбардировки… Вне себя от волнения, ждали результатов… Увы, все жертвы были напрасны… Полную картину происшедшего читатель может найти в описании очевидца, офицера Семеновского полка Мажарова, раненного в этом бою.

Видимо, Верховное командование еще не отказалось от мысли закончить Луцкий прорыв новой крупной победой. Через

три дня по ликвидации операций, описанных выше, мы очутились уже в распоряжении 4-го Армейского корпуса, подготовлявшего прорыв у села Корытницы.

В обширной комнате штаба за шахматным столиком сидели двое: командир корпуса генерал Деникин и и. д. начальника артиллерии. Плотный и коренастый, с энергичными, хотя и несколько резкими манерами, Деникин, уже тогда двойной георгиевский кавалер, пользовался высокой боевой репутацией, заработанной им на Карпатах, где он командовал «железной дивизией». Его суровый, сухой прием и грубоватые манеры не произвели на меня очень приятного впечатления. Авринский, сидевший против него с выражением подобострастной фамильярности, напоминал мне Лисицу в басне перед Львом. Он оторвался на минуту от шахмат, спешно дал мне указания, на какие участки отправить батареи, и снова углубился в игру. Я едва ли много ошибся в своей оценке, так как в начале большевицкого переворота он (Авринский) сумел избежать отправки на «внутренний» фронт, искусно прикинувшись сумасшедшим.

Лишившись батареи, я расположился в удобной чистенькой хате отдельного хуторка, стоявшего в самом близком расстоянии от находившихся уже на позиции батарей, откуда тотчас же соединился со штабом и моими подчиненными, и, оставив все на попечение адъютанта и начальника связи – оба были уже новые, прежние ушли на должности командира парка и начальника хозяйственной части, – сам я отправился бродить по позициям.

Семья, занимавшая хутор, расположилась поблизости в пристройках, оставив лишь своего годовалого ребенка на попечение старого деда, устроившегося в углу на лежанке. Однако, наверное, солдатский борщ не пришелся по желудку мальчика, и старик спешно потащил его на двор, а наши люди с ведрами и вениками залили весь пол, заставив нас карабкаться по столам под взрывами гомерического хохота.

В самый разгар авральной работы в дверях показался моложавый офицер с двумя Георгиями на шее и на петлице. Это был генерал Ханжин – начальник артиллерии армии.

– Я решил заехать прямо к вам, – обратился он ко мне, – так как вы самый ближний к позиции и, наверное, сможете поставить меня в курс дела.

Мы живо закончили работы, развернули карты, и я в сжатой форме познакомил генерала с положением дел на фронте. Затем показал ему главные пункты на местах. Он уехал, видимо, довольный всем, что видел и слышал.

Батареи уже давно начали пристрелку по указанным целям…

Неожиданно, в самый разгар подготовки, я получаю приказание взять на себя руководство всеми 19 батареями корпуса… Куда делся Авринский, я так и не узнал. Времени менять что-либо уже не было. Пришлось поместиться на одном из готовых батарейных наблюдательных пунктов и спешно тянуть оттуда связь к хутору, благо он уже находился в сообщении со всем миром.

Счастье мое, что я детально изучил обстановку… В темноте я добрался до наблюдательного пункта 2-й батареи тяжелой бригады, расположенной в районе Корытницкого леса, на опушке которого находился пункт. Он оказался превосходным. С него, в непосредственной близи, были видны главные точки удара, которые отлично наблюдались во фланг и даже в тыл.

С рассветом канонада достигла высшего напряжения. В условленную минуту головной полк бросился в атаку… Изо всех передовых окопов посыпались оборонявшиеся, и все промежуточное поле между 1-й и 2-й зоной покрылось бегущими. За ними, как стадо оленей, как горная лавина, с ружьями наперевес – наши. Незабываемая атака… Немцы мгновенно скрываются, как провалившиеся сквозь землю, за завесой бризантных гранат[136]. Мы переносим огонь всех орудий на вторую зону и на их батареи. Но под пулеметным огнем наши залегли на открытой поляне, где держаться уже невозможно. Полк, брошенный на их поддержку из резерва, употребляет целых два часа, чтоб пройти три версты, отделяющие его от линии огня!.. Наши вынуждены отступить и скрываться в окопах первой зоны до темноты… А немцы уже подвели резервы и реорганизовали оборону тыловой линии.

Военное дело – вещь простая. Технические данные, касающиеся вооружения, подготовки позиций, сообщений и связи, всегда будут находиться под контролем натасканных специалистов; но бои, стратегические движения, сама душа войны требуют прежде всего здравого смысла и тех качеств, которые в течение тысячелетий являются отличительными чертами войны: личная храбрость, стойкость, самоотвержение, неутомимость, быстрота ориентировки и соображения.

Военная операция может быть успешна, лишь когда она всецело находится в руках одаренного подобными качествами. И степень успеха ее находится в зависимости от времени, употребленного на ее подготовку.

В данном случае в глаза бросается недостаточная обдуманность решения. Наполеоновское «tentez partout et puis osez»[137] было переведено на «толпитесь тамо и сямо», и везде противник успевал подвести свои подвижные резервы, которые тотчас же восстанавливали положение. Суворовский принцип

«глазомер, быстрота, натиск» сводился к одному лишь натиску и бесполезному пролитию крови. Но были еще и грубые ошибки в технике деталей: в момент атаки гвардии артиллерия замолчала – по недостатку снарядов, в самую решительную минуту. Подступы, дававшие возможность сближения с противником, не были рассчитаны на носилки для раненых. В результате они были забиты телами, и для атаки не оставалось ничего другого, как идти в открытую, как это было в квадратном лесу, или тратить два часа, чтоб пройти три версты, как это было под Корытницей. В конечном результате, в море крови потонули последние кадры, угас последний порыв.

Севочкины именины

Безумный пир, безумное похмелье…

Пушкин

Из-под Корытницы мы попали в Блудовские хутора, в 3-й Туркестанский корпус. Но не успели осмотреться, как скользнули далее к югу в Подкамень, где я встретил своего бывшего курсового офицера В. Д. Турова, уже успевшего попасть в генералы, поссориться со своим корпусным командиром и снова, в начале войны, оказаться в армии уже в качестве начальника артиллерии корпуса.

Встреча была далеко не сердечная. Меня поразило, что из живого дела Владимиру Дмитриевичу удалось создать такую мертвечину. В огромной комнате за столами сидело несколько десятков офицеров с линейками и циркулями в руках, нанося на карты румбы замеченных батареями неприятельских орудий в ожидании распоряжений начальства, которое собирало эти данные каждые три часа, но без чьего распоряжения никто не был вправе открыть огонь.

Через полчаса я вернулся к своим, но, к великой радости, нашел там уже телеграмму о новом передвижении к югу, где после двух-трех скачков, наконец, попали на позиции 6-го корпуса под Олеювом. Батареи сразу получили отдельные задачи, а я временно остался на квартире вблизи штаба корпуса, занимавшего участок, довольно широкий по фронту.

Петербург в это время переживал февральские дни. Но здесь, на позициях, это еще мало отражалось на нашей жизни; пользуясь наступившим затишьем, каждый проводил время по-своему.

Обосновавшись, я старался познакомиться с положением на фронте и, в то же время, войти в контакт с артиллерийским начальством и с командовавшими боевыми участками.

В Олеюве я познакомился с полковником Сушко, командиром 6-го мортирного дивизиона, временно и. д. начальника артиллерии и тотчас же поручил приглашение от находившейся с ним супруги, старинной знакомой семьи моего отца. Я помню отзыв о ней моей мачехи: «Она очень милая, эта мадам Сушко». Она действительно оказалась очень радушной, хлебосольной и приветливой хозяйкой.

– Вот и кстати, – встретила она меня, протягивая обе руки. –

Послезавтра Севочкины именины. Приезжайте непременно к восьми часам и привозите вашего адъютантика. Ждем вас обоих.

Под ее бдительным надзором десяток артиллеристов мыли и чистили помещение сельской школы, украшая его гирляндами еловых ветвей и разгребая сугробы снега у входа.

– А кстати, за вами три фунта масла. А вы, доктор, не забудьте насчет алкоголя.

Сам Севочка, полный приземистый человечек с небольшими висячими усами, усердно пыхтел папиросой, но, видимо, относился ко всему с пассивностью, выработанной годами.

В назначенный час мы с Лером уже подкатили на легких саночках к крыльцу школы. Она была неузнаваема. Стены тонули в зелени, окна маскировались легкими занавесочками. Полы были начищены и натерты воском. Приглашенные – свои, офицеры, врачи, сестры милосердия – толпились около столов, накрытых белоснежными скатертями и заставленных всевозможными заготовками.

Милая хозяйка сразу же подошла ко мне, прося занять место в голове стола напротив Севочки, который уже погрузился в мягкое кресло с сосредоточенным видом человека, готового приветствовать многочисленное собрание демосфеновской речью.

Хозяйка намеревалась усадить меня рядом с высокой стройной красавицей в элегантном костюме сестры милосердия, но я почувствовал, что нарушаю этим чьи-то жгучие интересы, и убедил ее, что я старый солдат, совершенно позабывший общественную жизнь, не имею никаких прав на исключительное внимание элегантных дам. Благодаря этому я очутился в противоположном конце длинного стола, где образовалась «траншея» завзятых кутил, возглавляемых типичным мортирным офицером, огромным и тучным, с характерной маленькой бородкой на красивом, но слишком полном лице с поразительно правильными чертами. Мне удалось водрузиться между доктором и моим спутником, юным поручиком Лером; здесь, отдавая должное чудным блюдам, я был до некоторой степени предоставлен самому себе.

Сосед, доктор, по-видимому, угадал мои тайные помыслы и сконфузил меня вопросом:

– Наблюдаете, полковник?

Против нас сидело несколько мортирных офицеров, увлеченных каждый своим делом. Далее, ближе к углу, между обоими столами, – высокий стройный красавец-поручик, чье внимание было поглощено той красавицей, опасного соседства с которой я только что избежал. Она, видимо, тоже мало обращала внимания на своих соседей, казалось, между обоими

протягивалась какая-то невидимая нить. Я невольно залюбовался молодым поручиком. Его глаза горели, красивые кудри, падавшие на лоб, придавали поэтический вид каждой черте его лица, и я замечал, как он от времени до времени приподымал свой полный бокал, стараясь незаметно уловить взгляд предмета своих мечтаний.

– Наблюдаете?

Этот вопрос моего соседа доктора заставил меня вздрогнуть.

– А теперь я попрошу вас выпить за мое здоровье, – обратилась ко мне обаятельная хозяйка. Она не имела постоянного места, все время обносила гостей и теперь стояла передо мной с кристальной влагой на широком серебряном подносе. За первой чаркой после довали еще и еще. Сперва я находил спасение, передавая налитую рюмку соседям, но после 2–3 неудачных попыток почувствовал, что голова моя начинает кружиться…

Стук ножей и вилок, шум веселых голосов продолжал увеличиваться. Под говор и звон бокалов я невольно задумался, устремив неподвижный взгляд на разукрашенную стену школы. Мои мысли унеслись далеко. Мне казалось, в тумане передо мной открывается знакомая картина… лесная прогалина, покрытая снегом… Кругом высокие ели с ветвями, подернутыми инеем… Вот между молоденьких елочек виднеется что-то… ближе и ближе… Носилки… Кучка солдат медленно, с трудом передвигается по глубокому снегу. На носилках из-под окровавленной шинели виднеется бледное лицо юного офицера…

Громкое «ура» прерывает мой мечты… Это тост за гостеприимных хозяев, за дорогого именинника и за очаровательную хозяйку.

– Тс-с-с – молчание! Слово за именинником…

Севочка поднимается со своего седалища, делает величественный жест рукою и снова опускается на кресло.

– Довольно, довольно!.. Понимаем все, – раздаются голоса со всех сторон. – Ура, ура, ура!!!

Гости подымаются. Под шум отодвигаемых стульев и звон бокалов обворожительная сестра протягивает через стол ручку своему визави[138], который встречает ее бокал своим… Давно жданная минута!

– Володя! Долой все преграды!!!

Мы с Лером не дождались конца. Пошли только попрощаться и поблагодарить радушных хозяев. В рекреационном зале мы их не нашли – там под рояль в вихре вальса кружилась молодежь. Заметнее других выделялись красавец-поручик и очаровательная его волшебница. Сделал один тур и тучный штабс-капитан с

такой же толстушкой сестрой – румынкой со жгучими глазами и пышными формами. Она кружилась с легкостью феи, но кавалер неожиданно поскользнулся на навощенном полу и рухнул на землю в самой неудобной позе, согнув две половицы и проломив третью и напоминая собою известную картину, изображающую мамонта, попавшего в яму.

Неутомимую хозяйку мы нашли в столовой за ликвидацией банкета, а Севочку Лер обнаружил между дверей, где он атаковал толстую румынку, пользуясь выходом из строя ее кавалера.

Выйдя на свежий воздух, мы бросились в санки и помчались домой.

– Как им не удалось вас накачать?

– Я совершил преступление: 15 рюмок этого божественного напитка незаметно, под салфеткой, спустил под стол. Другого средства спасения я уже не мог найти.

Через несколько дней после этого я получил приказание объединить артиллерию правого участка корпуса, в который, кроме моего и мортирного дивизиона, вошло две тяжелых батареи и легкая бригада. Пользуясь легковым автомобилем «фиат», я быстро объехал все расположение и сразу же уяснил себе, что ключи всей позиции находились вне моего участка, на крайнем левом фланге корпуса, в районе, где даже не было тяжелой артиллерии, только одна легкая бригада. Заметил также, что по всему тылу корпуса тянулась линия телефонных столбов, оставленная без употребления, на которую мы сейчас же навесили свой легкий провод.

На нашем участке траншеи противника находились на далеком расстоянии и не внушали опасения. В помощи нуждался только штаб, который временами обстреливали немцы, что я сейчас же прекратил, обрушившись на деревню Тростянец, где стоял штаб германской дивизии. На другой же день разведка выяснила, что он жестоко пострадал от нашего огня. Но как только восстановили телефонное сообщение с левым участком, я полетел в штаб полка, защищавшего самый опасный пункт – Золотую гору, и оставил в нем своего телефониста, который по первому требованию должен был вызывать меня лично.

Командир полка дал мне проводника к передовой роте, занимавшей гору, и я тотчас обошел все ее окопы, находившиеся в сотне шагов от германских, от которых их отделяла глубокая трещина. Однако вскоре неожиданные события отвлекли наше внимание совершенно в другую сторону.

Из Петербурга стали доходить тревожные, зловещие слухи о голодных бунтах на улицах, потом о мятеже… Наконец, неожиданно пришел Манифест о созыве ответственного

министерства, в котором, наряду с кадетскими лидерами, появился Керенский. Я заметил, как во время чтения манифеста солдаты переглянулись между собой при упоминании его имени. Они были большей частью призваны из петербургских рабочих и знали всю подноготную политики… Затем, как гром, грянул царский манифест об отречении, и я должен был прочесть его перед собравшимися батареями.

Когда адъютант, поручик Ташков, закончил чтение, я обратился к солдатам с двумя словами:

– Много лет назад я вступил в ряды Русской армии одновременно с восшествием на престол Государя Императора Николая Александровича. Под его знаменами все мы вышли на эту войну, которая – еще только усилие – и окончится разгромом нашего векового врага. Я надеялся, что сам Государь войдет с нами в Берлин. Этим мечтам не суждено сбыться… Нет более с нами нашего Царя, но осталась Россия… За нее все мы должны постоять до последнего. За нашу отчизну, за нашу победу – ура!

Из рядов выступил фельдфебель 2-й батареи.

– Товарищи, – сказал он, обращаясь к фронту, – в тяжелые дни наш командир принял этот дивизион. Он сразу стал отцом и за щитником солдат. Как родной, он не позволял никому обижать нас, как родной, заботился о нас и впереди всех находился в бою. С ним мы были, как у Христа за пазухой. Вспомним это теперь, станем все стеной вокруг нашего дорогого отца – командира… Ура ему!

Солдаты еще долго качали меня на руках. Я вернулся к себе, глубоко растроганный этой неожиданной овацией.

Иное произошло затем во 2-й батарее. Собрав своих, подполковник Сикорский на коленях умолял простить ему все жестокости, к которым он вынужден был прибегать «по требованию начальства»…

В отношении к прочим солдаты держали себя по-прежнему. Казалось, подчеркнутой исполнительностью они старались показать им свою преданность. Но было заметно, что они воспрянули духом. Им казалось, что война кончилась и что они получили все, о чем мечтали – «землю и волю».

Офицеры дивизиона были глубоко потрясены случившимся. Они с горечью комментировали все события и верно учитывали будущее. Но вот посыпались, как из рога изобилия, другие известия… Вышел приказ № 1…

На другое же утро ко мне явились оба молодых офицера 3-й батареи, Лер и Васюта, и представили ходатайство о производстве в прапорщики вольноопределяющегося Вайнштейна.

Я давно замечал, что этот еврей играет какую-то роль в батарее и пользуется среди молодежи особым влиянием. При Ковалевском он всегда бывал вместе с офицерами в его сопровождении. Безчастнов был, очевидно, слишком резок по отношению к нему; временно командовавший после него капитан Кванчхадзе недолюбливал еврея, но ему на смену уже ехал из Киева капитан Деполин, и пока что Вайнштейн все более и более забирал молодежь к себе в руки.

– Милые мои, – отвечал я им, – вы сами не знаете, чего просите! Все это придет в свое время. Посыплются производства евреев в офицеры. Это будет самоубийством для армии. Но не нам первым открывать им ворота. За революцией последует реакция, и тогда каленым железом будут выжигать все, что мы наделаем.

– Но ведь он – исключение! Готовый офицер, храбрый, георгиевский кавалер. Его так ценил покойный Ковалевский. Он даже не похож на еврея!

Пусть так, но за ним, как в отворенные ворота, посыпят другие. Моя рука никогда не подымется на то, что я считаю первым шагом к разложению армии.

– Вот, прочитайте это!

Начальник артиллерии, генерал Селиверстов показывает мне письмо, написанное четким каллиграфическим почерком, в котором Вайнштейн дословно повторяет мой ответ на ходатайство с подчеркнутыми красным карандашом, особенно резкими выражениями. Оно явно было направлено через штаб, чтоб попасть в цензуру!

– А вы знаете: командир корпуса, генерал Огородников старается всячески выслужиться перед Керенским – он хочет предать вас военно-полевому суду!

– Ваше превосходительство! Ведь вы старый гвардеец, товарищ по выпуску моих братцев. Неужели вы могли бы ожидать от меня другого ответа на ходатайство этого еврея, который заставит плясать по своей дудке и офицеров, и солдат?

– Что же делать? Ну хорошо, отправьте его в отпуск, я пока постараюсь замять это дело!

Вернувшись, подбегаю к телефону: «Спешно от командира полка на Золотой горе. Прошу немедленно приехать». Через 40 минут я уже в штабе полка.

– Полковник, на днях вы предлагали мне свою помощь. После вашего посещения немцы повели подкоп против Золотой горы. Наши саперы открыли контргалерею, но взорвали ее прежде времени всего в 30 шагах впереди нашего бруствера – и воронку заняли немцы! Теперь с минуты на минуту можно ждать атаки на

Золотую гору. Можете вы нас выручить своей артиллерией?

– Я сейчас же сосредоточу туда все свои батареи. Но попробуем связаться с вашей бригадой – ведь это ее участок.

– Ничего не выйдет, это безнадежно!

– Ну хотя бы для проформы!

– Бригада! Попроси командира…

– Спять, и не приказано будить!

– Адъютанта!

– Бреются…

– Видите?

– Ну, тем лучше… Не буду терять времени. Сейчас сам начну пристрелку. Соедините гору прямым проводом с моим командным постом!

– С Богом!

Я уже на Золотой горе.

– Полковник Калиновский!

– У телефона.

– Немцы заняли взорванную нами воронку в 30 шагах впереди Золотой горы. Дайте первый выстрел шрапнелью на удар по немецкому брустверу напротив, я буду вам корректировать стрельбу из окопа на Золотой горе. Будьте осторожны, я всего в 30 шагах, малейшая ошибка и вы влепите мне прямо в лоб, так как гора вдается бастионом в расположение неприятеля.

– Слушаю!

Идет выстрел… Прямо в неприятельский бруствер!

– Великолепно! Чуточку прибавьте прицел!

– Второй… ближе… Прямо в воронку… Но наши окопы и вся Гора содрогаются от удара.

– Идеально! Передайте данные второй и третьей батарее! Тяжелые батареи на платформах пусть пристреливаются по отдельности по немецкому брустверу. А легким поручаю заградительный огонь на случай появления резервов. А теперь дайте мне минуту отбежать и сыпьте с Богом тяжелыми по десять бомб и легкими очередями беглого огня.

– Прячьте своих по убежищам, – бросаю на лету командиру роты, а сам лечу по зигзагам апрошей[139]. Но не успеваю отбежать далеко, как вся гора и немецкие окопы перед нею уже трясутся от разрывов тяжелой артиллерии и окутываются облаками порохового дыма. Выглядывая временами, вижу, как с брустверов под перекрестным огнем во всех направлениях летят дернины, земля и песок.

– Что вы мне наделали? – встречает меня командир полка. – Вы разобьете все мои окопы!

Я чувствую себя огорошенным, как крыловский батрак,

испортивший медвежью шкуру. Но едва подъезжаю к своей штаб-квартире, как меня требует начальник артиллерии.

– От души поздравляю вас! – встречает меня генерал Селиверстов: – Корпусной командир в восторге… Немцы в панике, ожидая штурма, подвели резервы, которые подвернулись под ураганный огонь. Наши тоже вскочили на бруствер, готовясь по первому сигналу броситься в атаку. Пехота говорит, что такого огня и такой помощи от нашей артиллерии не видали с начала войны… Огородников ликует, приказал представить вас в генералы…

– Благодарю, ваше превосходительство. По мне и вся-то эта горстка не стоит пары генеральских эполет… Лучше дайте Владимира на шею, а то меня все забывают при переброске из корпуса в корпус, а без командирского креста старому полковнику как-то неловко. А генерала я получу по статусу за Георгия, если только… Кстати, а как же с письмом Вайнштейна?

– Бросьте его в помойную яму!

Вот она, наша военная служба… два часа назад под судом по доносу перед дулом собственного орудия, которого бомбы рвутся в 30 шагах от моего носа, – и сейчас…

На другой день к моему крыльцу подъехала огромная старомодная коляска. Из нее вылез мой старый товарищ по школе, полковник барон Таубе – командующий той самой бригадой, с которой я пытался связаться по телефону.

– Очень, очень рад! Слыхал, что вы хотели поболтать со мной по телефону, вот и разыскал вас.

Мы провели в дружеской беседе о прошлом добрые полчаса.

– Вы знаете, – говорил он, усаживаясь в коляску и лениво потягиваясь на мягких подушках, – я думаю требовать себе генеральский чин… за Золотую гору…

Развал

Чем хуже, тем лучше.

Революционный принцип

С каждым днем становилось яснее и яснее: революция выигрывала почву, правительство теряло ее. Вернее, правительство было номинальным и только делало вид, что функционирует. Появление у власти Керенского было новой ступенькой вниз, ему повиновались лишь те, кто хотел: не было ни твердой власти, ни управления. Оставалась только надежда, что подготовленной к этому моменту армии удастся восстановить боевой престиж и увлечь за собою массы, пока еще начавшееся разложение не зашло слишком далеко. Фронт оживился. Началась переброска войск к месту прорыва; воздушная разведка, сосредоточенье пехотных масс и артиллерии производились в невиданных до сих пор размерах. Затеплилась надежда – одним ударом вернуть потерянное…

Доходившие из тыла слухи пока еще не отражались на рядах солдат. Напротив, своей подтянутостью и отчетливым исполнением обязанностей они как бы хотели подчеркнуть еще более свою верность долгу. Они даже как будто повеселели, исполняя от сердца то, что раньше делалось под страхом наказания.

В мае мы покинули Олеюв, где уже давно царило полное спокойствие, и двинулись на юг, на Конюхи – крупное местечко в нескольких километрах от намеченного пункта неприятельских позиций.

Здесь я нашел Управление артиллерии 4-го корпуса и поступил в распоряжение генерала Седельникова, начальника всей ударной артиллерийской массы.

Удивительно, что последний мой начальник артиллерии в Александрополе, Менайлов, и теперешний, Седельников, были оба во время оно командирами батарей в Гомборах. Но в противность своему коллеге, Седельников оказался на редкость приятным человеком, как ясностью ума, так и работоспособностью.

В разгаре обсуждения подготовки среди начальников, собранных Седельниковым, появились две знакомые фигуры, которые я тотчас же узнал: это были Кирей и Яковлев – «фирма», как они рекомендовали себя под Черновцами. Они удивительно смахивали на льва и шакала.

– С разрешения вашего превосходительства, – сказал Кирей, – я позволю себе внести предложение.

– Да, да, именно предложение, – подтвердил Яковлев.

– Пользуясь огромным опытом в изучении боевой работы французской артиллерии, ввиду, так сказать, отсутствия доктрины и соответствующей ориентировки в действиях нашей артиллерии…

– Именно, полного отсутствия ориентировки, – поправляет Яковлев…

– …Взять на себя общее руководство координированием всех наших усилий, согласно выработанной нашими союзниками технике.

Какого мнения господа присутствующие по этому поводу? Разрешите мне задать вопрос, ваше превосходительство?

Генерал Седельников, по-видимому, не ожидал такого оборота дела и без возражений предложил высказаться по этому поводу, начиная с младшего.

– Разрешите мне доложить вам, ваше превосходительство, – на чал я, – что условия Западного фронта с его перегрузкой позиций артиллерией, лишенной всякой инициативы, далеко не подходят к нашим позициям. Да и результаты этих прорывов – десятки метров в несколько дней – не могут вознаградить затраченных нами усилий. Мне кажется, мы должны быть очень благодарны полковнику Кирею за его информации, но на сегодня едва ли они нам пригодятся.

Присутствующие здесь артиллерийские начальники не первый раз участвуют в прорывах германского фронта, большинство довело технику до последнего слова, и все мы находимся под руководством ответственных начальников, избранных для этой задачи. Принимая с благодарностью каждый добрый совет, я полагал бы, что под их руководством мы достигнем полной координации всех наших действий для целесообразного употребления нашей артиллерийской мощи, не нарушая соответствующей организации.

Видимо, в этих словах я выразил вполне ясно мнение всех присутствовавших, потому что этим вопрос был исчерпан.

Боевые участки были распределены. Я вошел в сектор генерала барона Волио, с которым был знаком еще во время конской переписи в Олонецкой губернии; под моей командой было сосредоточено пять тяжелых батарей, имевших задачей сравнять препятствия для атаки 6-го Финляндского полка на Среднюю Гору.

– Пришла пехота, пошла работа, – весело приговаривал мой адъютант поручик Ташков, – уже распределили боевые участки.

А работы было довольно. Впервые с начала войны приготовления к прорыву носили такой серьезный характер. Казалось, все, что было заготовлено царской Россией, было поставлено на карту. Артиллерийские склады были завалены снарядами, огромная масса строительного материала была сложена за позициями. Подступы к неприятельским линиям обратились в гигантские плацдармы. Воздвигались командные посты, тщательно оборудованные наблюдательные пункты. А противник совсем присмирел, словно замер под угрозой неизбежного удара. Одни лишь авионы, без устали прорезавшие небо во всех направлениях, давали знать о том, что противник не дремлет и готовится к последнему решительному бою.

Не спали и мы. Батареи исподволь подготовляли свои позиции, тщательно маскируя работы, с тем чтоб занять их накануне боя.

В передовых линиях подготовлялись наблюдательные пункты, тщательно заминированные, но снабженные щелями для наблюдения и бетонированными убежищами. Мой командный пост находился во 2-й линии передовых окопов, с кругозором на весь указанный мне сектор, был снабжен траверсами[140] и надежно обеспечен двумя слоями бетонных плит. Офицеры-наблюдатели впереди траншей пользовались перископами, совершенно незаметными в море проволочных заграждений, и были связаны с командными постами глубоко заложенными в землю кабелями. Но и о тыле приходилось подумать: для укрытия людей и лошадей я использовал глубокую балку с крутыми берегами, где они скрывались в искусно врезанных в берег убежищах, идеально замаскированных от воздушного наблюдения.

Первый же налет авионов выявил всю целесообразность этих мер. Все поле кругом было осыпано бомбами, но даже осколки не залетали в узкую щель убежища. Это послужило поводом к недоверию солдат к только что появившимся комитетам – «председатель» дивизионного совета, писарь Миловатский, критиковавший наши сооружения «за счет солдатских мозолей» и пренебрежительно обосновавшийся где-то в стороне, при первых же разрывах налета бросился со всех ног в находившийся поблизости картофельный погребок, где и застрял, как мотовило в бутылке. После бомбардировки со всех сторон на его крики сбежались люди, но вытащить им его удалось, лишь разобрав начисто его убежище.

Это надолго послужило притчей во языцех, а герою дня товарищи поднесли картофельную медаль в память его подвига. Как ему удалось туда пролезть, так и осталось загадкой.

В ночь на 10 июня батареи заняли свои позиции и на другое же утро начали пристрелку. Все было подготовлено по заранее обдуманному плану, выработанному согласно превосходным воздушным фотографиям и данным, доставленным разведкой.

На нашем участке противник занимал командную возвышенность, в середине и по краям увенчанную бетонными сооружениями, соединявшимися прекрасно оборудованными траншеями с вращающимся стальным куполом в центре для скорострельной пушки и другим – для пушки Гочкиса. Замкнутая горжа[141] придавала редуту характер долговременного укрепления, господствовавшего над окопами первой и второй линии. Под бруствером море проволоки тремя ярусами охватывало бетонированный язык, снабженный пулеметами и игравший роль капонира.

Две из наших батарей должны были обстреливать фасы между средним бетонным куполом В и фланговыми А и С, третья пристреливалась по центральным куполам и по горже. Четвертой предназначались траншеи на смежной высоте 288, значительно слабее укрепленные, и 11-дециметровая батарея была оставлена для разрушения центральной постройки В.

Пристрелка началась с рассвета 16-го и велась автоматически, неторопливо, при внимательном наблюдении каждого выстрела со всех наблюдательных пунктов. 15-минутными перерывами пользовались для получения точных данных о ходе разрушений от передовых частей пехоты.

Противник тотчас же по открытии огня пытался нейтрализовать наши батареи огнем своей артиллерии, но, видимо, был подавлен группой дальнобойных батарей, имевшей специальной задачей парализовать огонь неприятельской артиллерии. Было очевидно, что противник подавлен мощью нашего огня.

18-го июня, в шесть часов утра; началась канонада по всему фронту. Все неприятельские линии задрожали под разрывами тяжелых снарядов и заволоклись облаками дыма. Легкая артиллерия сериями выстрелов срезала проволоку, пробивая в ней проходы, по четыре на роту. Было видно, как колья летели во все стороны…

Только теперь вся неприятельская артиллерия обрушилась на наши передовые линии и на подступы плацдармов. Сейчас уже невозможно было наблюдать с того же места. То и дело приходилось скрываться за траверсами, то за одним, то за другим, или нырять в глубь убежища. Две шестидюймовые бомбы ударили в самый блиндаж, осколками пробита наблюдательная будка, причем одним из них согнут штык винтовки

находившегося подле «депутата» 8-го Финляндского полка стрелка Виноградова. Неприятельский огонь усиливался еще более в минуту перерыва…

Наконец, настал момент… Еще минута, другая – и вся линия неприятельских окопов оделась красными флагами – знак захвата неприятельской позиции… Ура, ура!.. Победа, желанная так долго, так страстно – победа наша!

Даже, казалось, можно было бы простить им эти красные флаги, раз они – символ победы над вековечным врагом, скрытно, всеми средствами давившим Россию со времен Великого Петра, а теперь дерзкой рукою посягнувшим на ее честь, на ее будущее, на ее независимость… Ура, ура, ура!

Не теряя ни минуты, мы уже на неприятельском редуте. Лихие телефонисты мгновенно соединяют нас с центром связи, и я переношу огонь на передовые окопы 2-й зоны; вся двойная основная линия в наших руках. Но бой идет еще в промежуточной целине, на нашем наблюдательном пункте все время трещит пулемет 5-го полка; легкая артиллерия еще не успела переменить позицию, с 11 часов до сумерек мы здесь одни, впереди всех…

К вечеру огонь затихает, только немецкая дальнобойная артиллерия кроет тылы…

В разгаре боя мы не замечаем, что подле нас лежит тяжело раненный солдат.

– А где же твои санитары?

– Ушли и покинули меня здесь…

Нас мало, телефонисты забирают приборы, а мы с Ташковым и Лером беремся за носилки.

Но выбраться по коротким зигзагам подступов не так-то легко. Приходится вылезать в открытую, пренебрегая редкими выстрелами противника.

– Стойте! Вы санитары, забирайте раненого!

– Так он же не нашего полка! Мы 6-го Финляндского…

– Как же не вашего полка? Так я же 6-го!

– Так ты не нашей роты, мы – пятой.

– Так я же пятой роты! Не признали, что ли, свово?

– Ну, все равно, нам недосуг. Прощай, товарищ!

– Так что уже мне… Оставьте меня тутo… Уже третьи берутся, да видно, больно тяжел!

– Нет, дорогой! Мы ведь не товарищи, мы офицеры… Тяжело, не тяжело, а дотащим…

Вот она, святая, бескровная! Вот оно, что значит «товарищ»… Ну, гайда, благо недалеко, версты три всего-навсего!

При атаке Средней Горы 6-й полк потерял всего одного солдата. Потери начались уже на подступах ко 2-й зоне. Там они

достигли нескольких сот. Соседний, 8-й полк, потерял 500 человек уже при штурме основной линии.

Но далее наши успехи остановились. Напрасно офицеры на коленях умоляли солдат использовать минуту и одним ударом довершить победу… Началась подготовка к штурму 2-й зоны, перегруппировка войск…

– Мы бы могли еще изображать из себя силу, – комментировал один из батарейных командиров в разговоре с временно команду ющим 1-го Гвардейского корпуса, – но стоя на месте. Двинувшись вперед, мы уже развалились.

Это была правда… Полки «замитинговали». Победа превратилась в катастрофу…

Я вывез мою жену из Петербурга как нельзя более кстати во дни временного затишья и оставил ее в Тернополе, где нашлась для нее хорошо меблированная комната в большом старинном доме.

Большую часть дня она проводила в нашем парке, расквартированном там же, обедала и ужинала вместе с офицерами и с ними же проводила большую часть дня. На Пасху она приезжала к нам в Олеюв, и светлый праздник мы встречали вместе со всеми офицерами дивизиона. Когда мы перешли в Конюхи, наша позиция находилась всего в 30 верстах, впереди, и мне часто удавалось провести с нею вечерок.

Офицеры парка были на редкость симпатичные, особенно капитан Замайский и поручик Домбровский. В парке орудовал также в качестве заведующего гаражом из 12 тяжелых машин неутомимый Володя Сокольский, около года назад переводившийся ко мне в 13-й дивизион.

В парке оставалось всего 2–3 исправных машины. Но с его появлением все остальные стали на ход. Мало того, одну из них мы приспособили под походную лавочку, поставивши на шасси целую будку из легкого дерева, разделенную на две части и оснащенную множеством выдвижных ящиков, откуда быстро извлекались всевозможные предметы солдатского обихода: чай, сахар, спички, мыло, нитки, иголки, конверты и писчая бумага, табак, папиросы, леденцы и пр. и пр.

Но это не была его последняя услуга. 12-е его превращение было еще неожиданнее и чудеснее…

Царский манифест об отречении я привез в парк на другой же день после его обнародования в войсках. Как там, так и здесь, в заключение солдаты подняли меня на руки и долго качали с криками «ура». На другой день, чуть свет, автомобиль подкатил к моему подъезду для возвращения на позицию. Но меня поразило, что шофер поставил его так, что передняя его часть

маскировалась открытой дверью. Невольно, движимый каким-то скрытым предчувствием, я заглянул за дверь – на передней части машины красовался красный флаг!

– Это откуда? – вырвалось у меня. – Кто вам приказал по ставить флаг?

Шофер и его помощник кивают друг на друга:

– Это не я, это Дзирне!

– Это не я, это Зайцев!

– Ну ладно, уберите флаг! Когда мое начальство прикажет, я поставлю, какой захотят, хотя зеленый. А пока не надо нам никакого.

Но в тот же день к вечеру принесли мне телеграмму:

«В парке бунт. Требуют разъяснений. Приезжайте немедленно.

Кардей-Замайский».

На квартире меня встречают Замайский и Домбровский. Оба, и «граф», и «маркиз», бледные как полотно, с красными бантами в петлицах.

– Едем в парк, мы не знаем, что делать! Вчера один солдат наткнулся на пехотного прапора и отдал ему честь. Тот налетел на него: «Ты что же, не присягал временному правительству? А где твой бант? Так вы, что ли, за старый режим? Тот прибежал домой, и поднялась буча… – Не хотите красную ленточку? Поставить флаг на автомобиль!»

– Флаг я поставлю, когда получу приказание свыше. А ленточку каждый может надевать или не надевать по желанию.

…Въезжаем во двор. Уже сумерки. В полумраке виднеется вся масса солдат, выстроенная в две шеренги, с множеством красных тряпок, болтающихся на красных шестах.

Слезаю с машины и подхожу к строю. Здороваюсь. Ответ звучит как-то нестройно.

– Справа, слева заходи! Обступают меня тесным кольцом!

– Вчера вы дружно качали меня и вынесли на руках в эту машину. Что такое случилось со вчерашнего дня? А я разве в чем изменился? Вот он я, такой же! В чем же дело?

Молчат.

– Ну, смелее, говорите без обиняков. Тут же все и порешим. Протискивается Сокольский.

– Позвольте мне, господин начальник, как выборному депутату, от лица всех собравшихся здесь товарищей изложить вам, в чем именно заключается происшедшее недоразумение. Все дело произошло из-за несознательности наших товарищей, которых смущает новое толкование двух параграфов внутреннего устава, ныне отмененных распоряжением временного

правительства: 43-го об отдании чести и 48-го о курении папирос. Вот, по полномочию всех собравшихся я, Владимир Сокольский, выборной депутат, прошу вас разъяснить нашим товарищам, что именно отменено текущими распоряжениями и в каком смысле следует истолковывать последовавшие приказы…

Ясно… Во всем этом стаде только двое понимали, куда он гнет: я и «Володя Сокольский!». Надо было людям сказать что-либо в примирительном тоне, чтоб внушить им, что все обстоит благополучно и не произошло ничего, что могло бы вызвать их тревоги и опасения. Через пять минут все лица прояснились – кризис миновал.

– Ну, а теперь, товарищи, в честь нашего любимого отца-командира – ура!

Побросав флаги, вся толпа ринулась ко мне и понесла меня на руках в машину. Мотор уже заведен… Лихой Дзирне, элегантно откинувшись назад, одной рукой берется за руль, лихим поворотом проскальзывает через ворота и пускает машину с предельной скоростью.

– До-р-р-р-р-огу, – гудит «паккард» и несется по шоссе…

Последний выстрел

Еще раз, только раз…

Цыганская песня

Армия в полном развале… Теперь уже ясно, что никакие уговоры, никакие обещания не смогут остановить хаоса. Всем руководит невидимая скрытая сила, с которой уже невозможно бороться.

Подобно змее, выжидающей действие своего яда, немцы притаились на время… Сейчас же они неожиданно прорвали наши разложившиеся войска на Золотой горе и скользящим ударом резанули по тылам. Этого было довольно, чтобы все покатилось назад.

За несколько дней мы очутились уже за Тернополем, по дороге на Збараж. Перед нами части пехоты сменяли одна другую, уступая позицию за позицией и уходя куда-то влево. Появились «ударные батальоны», пытавшиеся восстановить бой. Наконец однажды утром перед нами показались части 1-го Гвардейского корпуса. Мой командный пост находился в хуторке близ шоссе, откуда ясно были видны позиции нашего дивизиона с приданными к нему четырьмя батареями 3-й артиллерийской бригады, и передовые линии, и высоты, на которых находился Тернополь. Туда, видимо, все время подходят подкрепления, и то и дело там виднеются дымки прибывающих поездов.

В три часа пополудни к хутору подъехала коляска. Из нее с трудом вылез начальник артиллерии корпуса генерал Папа-Федоров.

– Дорогой мой, – обратился он ко мне, – все шесть полков корпуса замитинговали и вынесли решение: «Ни аннексий, ни контрибуций: будем защищаться только на русской границе, куда и должны немедленно отступить».

На вас командир корпуса возлагает славную, но тяжелую задачу: пожертвовать своей артиллерией, но задержать немцев и спасти от позора Россию, не позволить им овладеть без боя всем гвардейским корпусом со штабами и историческими знаменами! Через 36 часов, когда корпус займет подготовленные для него позиции под Збаражем, можете даже сдаться, если не найдете другого выхода.

– Будьте спокойны, ваше превосходительство, – отвечал я, – наши батареи исполнят свой долг и не опозорят себя и вас.

Тотчас же я вызвал командиров, сообщил им все и прибавил:

– Сейчас же наметьте в трех верстах новую линию в указанных вам коридорах и отошлите туда по взводу от каждой батареи. Обрекогносцируйте скрытые пути отхода каждой. Без сомнения, немцы завтра с восьми часов утра поведут методическое наступление, под ураганом огня провода будут перебиты, передача приказаний станет невозможной. Все лишнее сразу надо отправить в тыл, оставив при орудиях по комплекту снарядов на хороший бой.

Как только неприятельская пехота поймет, что наши окопы пусты, и подойдет на картечь к одной из батарей, я даю право сняться с позиции и отходить на 3-ю линию. Это будет сигналом общего отхода. Прикрываясь линией заранее расположившихся взводов, немедленно устраивайтесь там и будьте готовы к третьей атаке. Все мы достаточно знаем свое дело, люди у нас в руках, и немцы не возьмут нас врасплох.

…Как всегда, после солидной подготовки по пустым окопам, немцы стали продвигаться вперед. Прошло много времени, пока они выяснили обстановку и решились атаковать батареи. Вот одна из них уже бьет на картечь… За ней другая… Снимаются с позиций – и вся долина покрывается пылью уходящих батарей… Наступает затишье…

Лишь на следующее утро немцы решаются идти на штурм. Дивизия германской кавалерии проходит по их тылам с севера на юг, но не пытается атаковать нас, а наши фланги прикрыты лишь патрулями Дикой дивизии… На третьей, последней позиции мы уже спокойно стоим, до темноты. Потом, в походной колонне, одна за другою батареи вытягиваются по шляху на Збараж, не оставляя ни пленных, ни трофеев, кроме брошенных телефонных проводов да груды расстрелянных гильз…

Подъезжая к Збаражу, на высоте близ дороги замечаю огоньки – это штаб корпуса. В дверях хатенки Папа-Федоров встречает меня и ведет к графу Игнатьеву, который в самых горячих выражениях благодарит за спасение корпуса…

Утро 28 июля застало нас в Збараже.

Судный день

С первыми тревожными известиями с фронта я отдал парку распоряжение перейти в Збараж. Одновременно, по моему поручению, находившийся при мне только что выпущенный прапорщик Гримальский явился к моей жене и умчал ее на нашем «паккарде» в Могилев-Подольск. Дорога была кошмарная, все пути были забиты парками, обозами… Ехать приходилось при фантастическом освещении разрывов приближавшейся канонады. Когда удалось выбраться из свалки, «паккард» полетел, как птица.

– Я поместил вашу супругу в гостинице, – пояснил Гримальский, – в крошечной, убогой комнатульке, но лучшего ничего не было. Теперь, по крайней мере, она в полной безопасности.

Но нет худа без добра… На другой же день к ней явилось две дамы.

– Вы мадам Беляева? Жена командира тяжелого дивизиона? Ах, как мы рады, что нашли вас!..

Это были Роза Васильковская, в прелестном особняке которой я останавливался, когда еще командовал 4-м тяжелым дивизионом, и ее соседка – румынка, замужем за местным прокурором. Обе рассыпались комплиментами по моему адресу.

– Сперва мы страшно перепугались… «Маркус, – говорю я мужу, – Маркус! Сюда едут солдаты!»

– Ну, хорошо, Розалия! Пускай себе едут, какое мое дело?

– Ах, Маркус! Они едут прямо сюда!

– Ну что же, Розалия, что едут… Что же я могу сделать? Пускай едут сюда!

– Но, Боже мой, Маркус, этот синий с белыми усами, что впереди, слезает с лошади, отворяет ворота! Они въезжают во двор!

– Ну и пускай себе въезжают! Разве я могу им помешать?

Но одновременно с усатым трубачом в синей куртке (это был Стежка) у парадного подъезда появился командир, вежливо извинился за беспокойство, и мы сразу успокоились… Он прожил у нас около месяца и очаровал нас всех… Никогда не отлучался из дому, работал со своим адъютантом. Как он отзывался о вас – все мы заочно вас полюбили! Переезжайте сейчас же, мы вас поместим в его комнате!

Действительно, мне так хорошо жилось у Васильковских, как нигде. И я был в восторге, что моя Аля попала сразу же в их гостеприимный дом. Они ухаживали за ней, как могли, и я мог быть за нее вполне спокоен. Все окружающие приняли в ней

самое горячее участие, и она забыла все пережитые волнения.

В Збараже мы вошли в состав 1-го Гвардейского корпуса. Его артиллерия вместе с Петровской бригадой (Преображенским и Семеновским полками) осталась на другом участке, а корпус принял генерал Май-Маевский, в отряде которого, на Карпатах, я заработал себе Георгия. Боевые действия прекратились, мы жили совершенно спокойно. Управление помещалось в прелестном особняке, во дворе которого находился чудесный колодец кристальной воды; все соседи просили разрешения брать ее – кран действовал не переставая, и мы выставили плакат:

Пролетарии всех стран,
Собирайтесь на мой кран!

Иногда я выезжал верхом на прогулки со Стежкой, и мы вместе отводили душу, проклиная революцию. Стежка нацепил своей кобыле красный бант на репицу.

– Это зачем?

– Нехай радуется, – отвечал упрямый запорожец, – ведь ныне всякая скотина делает, что хочет! Так я и ей нацепил свободу туда, где у рака глаза…

К обеду все мы шли в польскую ксегарню, занимавшую весь верхний этаж еврейского дома. Причем попутно молодежь приветствовала трех граций, дочек хозяина, неизменно появлявшихся в дверях своего жилища.

Среди молодых офицеров появился только что выпущенный врач, кровный еврей, который в удобный момент заявил о своей принадлежности к большевицкой партии и, хотя держал себя корректно, но нередко вступал в принципиальные разговоры с молодыми офицерами.

– Посты, церковные обряды, праздники – все это пережитки старого, – утверждал он, – они должны умереть со старым поколением. Все это показывает отсталость и некультурность общества.

Но вот однажды, проходя мимо трех граций, мы нашли их за решеткой. Две хорошенькие (одна была прямо красавица) «висели» на окне, третья мрачно держалась в стороне.

– Что такое с вами? – обратился к ним Ташков.

– Ах, вы знаете, сегодня «Судный день»!

Что такое «Судный день», – я узнал только теперь. Оказывается, до звезды евреи не смеют проглотить ни крошки хлеба, и если кто покажется на улице, его унесет дьявол… Раньше я никогда не слыхал этого!

– Бедняжки! Значит вам очень хочется кушать?

– Ах, ужасно!

– И вы не прочь бы позавтракать парой пирожков из сдобного теста со вкусной начинкой?

– Еще бы!

– И не отказались бы от плитки хорошего шоколада? Прелестная Саррочка облизывает свои хорошенькие губки и с упованием глядит на Ташкова.

На обратном пути Ташков просунул ей за решетку пакет с контрабандой. Обе заключенницы радостно разорвали его пальчиками…

Но никому не пришло в голову, что третья, дурнушка, с завистью следит за сестрами.

На другое утро Ташкову пришлось выдержать целый бой со своим оппонентом, большевиком.

– Как вы позволяете себе развращать невинную молодежь? Ведь вы попираете самые светлые чувства! Вы подрываете авторитет родителей, основы семьи!..

Вот тебе и на! Значит, все эти слова о некультурности, отсталости вымирающего поколения – эти аргументы существуют только «для простых», как говорят поляки? Две морали, две истины, две справедливости! Одна для евреев, а другая для «гоев»!

…Тучи, которые заволокли весь наш политический горизонт, наконец, разразились грозой.

Совершенно неожиданно я получил телеграмму: «Немедленно с получением сего арестовать и предать суду всех агитаторов, безразлично офицеров или солдат, призывающих части к неисполнению боевых приказаний, возбуждающих войска против наступления и войны – колебание со стороны начальников буду считать неисполнением служебного долга и буду отрешать от командования и предавать суду – 8 июля 1917 № 3718 Корнилов».

Роковой судьбе было угодно, чтобы все распоряжения государственной важности приходили лишь тогда, когда теряли всякий смысл… Начиная с созыва ответственного министерства и отречения Монарха!

– Что же я могу тебе сказать? – говорит мне в штабе капитан Люндеквист – когда-то мой милый, юный товарищ по дивизиону, а ныне, за бегством всех старших, начальник штаба 1-го Гвардейского корпуса.

– Но ведь ты понимаешь, что неминуемо должно произойти. Это сигнал для поголовного самоубийства всех ответственных начальников. Это все равно, как скомандовать «Пли», находясь перед дулом собственной пушки! А потом – конец всякого

подчинения.

– Спасайся кто может!

– Ну, а что же ты думаешь делать?

– Это последняя, отчаянная ставка на спасение России. Не исполнить приказ – это вырвать соломинку из рук утопающего. Это – последняя услуга, которую ждет от нас Отечество. Будь, что будет, я выполню приказ, но я не хочу путать в это дело других.

Пусть жертвой буду один я… От тебя я попрошу конвой для ареста, таким образом не нарушу господствующего у нас согласия среди офицеров и нижних чинов. Отвечу один я!

– Из всех начальников частей только двое исполнили приказ. Но я не могу ничего тебе посоветовать. Поступай, как знаешь!

В 12 часов я прочел приказ Миловатскому и Воеводину, вызванным мною в управление.

– Напра-во, шагом – марш! – скомандовал присланный из штаба ундер, и оба, повесив носы, пошли на корпусную гауптвахту. Затем я поехал к корпусному командиру и подал ему рапорт об отставке.

– Теперь моя песня спета, – сказал я ему. – Кто-нибудь другой, может быть, выведет еще дело на прямую. Но я уже не могу пользоваться доверием моих людей.

– Ну вот, как раз наоборот! – возразил Май-Маевский. – Теперь вы мне нужнее, чем когда-либо. Ну, а пока я пришлю вам на помощь председателя корпусного комитета.

Развязки долго ждать не пришлось.

– В соседнем доме собрались комитеты от всех частей, находящихся под вашей командой, – доложил мне Ташков после обе да. – Они просят вас для объяснений. Мы вас не пустим одного, мы с Лером пойдем вместе с вами!

– Боже сохрани! Я заварил всю эту кашу, мне одному придется ее расхлебывать.

– Ну, хотя возьмите с собой револьвер!

– К чему? Шашку я возьму, это по форме. А со своими солдатами с револьвером за пазухой я не могу разговаривать!

И Лер, и Ташков все-таки пошли вслед за мною и все время в волнении ждали развязки за дверями…

Целых восемь часов приходилось мне парировать все представляемые мне обвинения… Если мне удалось, в конце концов, выйти победителем, то этим я всецело обязан ловкости штабс-капитана, присланного мне в помощь Май-Маевским в качестве председателя корпусного комитета. Ему удалось доказать, что я должен был исполнить боевой приказ Командующего и что, нападая на меня, мои оппоненты становятся сами виновниками его нарушения и подлежат расстрелу.

В заключение оба арестованных в присутствии прочих поклялись в чистосердечии своих намерений, умоляли не вменять им в вину прошлого и просили, чтоб ради всех испытанных ими треволнений их перевели в запас гвардейской артиллерии, находившийся в Петергофе.

После всего мы крепко расцеловались к общему удовольствию всех прочих и поклялись во взаимном доверии и верности своему слову.

Нужно ли прибавлять, что в эту ночь я спал как убитый, и только когда проснулся, мог отдать себе полный отчет о происшедшем. Ташков и Лер тоже свалились с ног от усталости и беспокойства… Переволновались и все офицеры, с тревогой ожидавшие результата.

Чтоб мой рассказ не показался совершенно невероятным, прилагаю письмо, оставленное мне Миловатским[142].

– Ну, а теперь пора и мне самому позаботиться о своих делах! – думалось мне на другое утро после кошмарной ночи.

Как видно, чины и ордена не даются за подвиги, а, за редкими исключениями, выхлопатываются самими «героями».

Затерялся мой Георгиевский крест за Запаллени. Бродит по штабам и поныне представление мое за Скроду-Руду, за высоту 70,9. За спасение 1-го Гвардейского корпуса я заработал от графа Игнатьева слоеный пирожок и рюмку водки… Хватит с меня!.. Поеду-ка я сам производить себя в генералы… Достав копию с ходатайства генерала Седельникова с санкцией от армии и при горячей поддержке штаба фронта – командующим был уже генерал Огородников, в чьем корпусе я воевал на Золотой горе, – я решил смолить прямо в Питер, пока там еще функционировало нечто, похожее на военное министерство.

Но перед этим надо было сделать нечто несравненно более важное: устроить мою Алю. И мы с Гримальским свалились, как снег на голову, в ее уютное помещение в Атаках. У Гримальского был тоже хороший повод стремиться туда: его отец, почтенный и уважаемый всеми старик, и мать, еще прекрасная, казавшаяся совсем молоденькой женщиной, с незапамятных времен жили в Атаках, где отец служил приходским священником. Несколько месяцев назад старик получил назначение в Хотин, но теперь там уже нельзя было оставаться, и сын, забрав мать и детей, поехал, чтоб вывезти оттуда отца. Это казалось ему увеселительной прогулкой. Если б он уведомил меня, я не посоветовал бы ему искать увеселений в такое время. И действительно, все это кончилось ужасным несчастьем.

Дня через два, вернувшись из города, я застал его на коленях перед моей женой. Оба рыдали навзрыд, невозможно было

добиться от них ни одного слова…

Наконец, я понял, в чем дело. В Хотине они захватили отца. Заботливая мать привела все в порядок и взяла необходимые вещи, и они всей семьей сели в автомобиль, чтобы пуститься в обратный путь. Дорогой Гримальскому пришло в голову показать маме удивительно живописный обрыв, но на спуске автомобиль соскользнул с дороги и покатился в пропасть, где разбился вдребезги… Отец, дети и шофер спаслись чудом, но милой, чудесной женщине при падении автомобиль буквально отсек голову… Обезумевший шофер скрылся, а остальные были подобраны проезжими.

– Это я убил маму, – повторял несчастный, вне себя от отчаяния. Он был ее любимец и сам был влюблен в нее без ума. Что делалось на похоронах, я отказываюсь повторять. Несчастный муж, сидя в алтаре, рыдая, повторял: «Боже мой, за что, за что?..»

Этим не кончились несчастья этой чудной семьи. Уже в изгнании наши поселенцы сообщили мне остальное. Когда ворвались большевики, они убили сына, и несчастный отец бросился с моста в Днестр. Что сталось с его девочкой и младшим сыном, они не могли сообщить мне.

С тяжелым сердцем распрощались мы с Атаками и сели в поезд, уходивший в Киев.

Там жила семья одного из офицеров дивизиона, служившая всем нам постоянным приютом.

– Зайка! Боже мой, вернулся!..

– Алечка моя! Как ты?

– Я – слава Богу. Только очень переволновалась за тебя. Ведь там, в Петербурге, все вверх дном!

– Да, там совсем плохо. Но, слава Богу, мне удалось провести приказ о производстве…

– Заинька мой – генеральчик!

– Подробности потом, сейчас беру экипаж и лечу к тебе…

И вот мы уже в большой уютной комнате, оба на кушетке, крепко держа друг друга за руки.

– Ну, как твои хозяева?

– Прелестные! Тут, кроме меня, столуется еще казачий сотник, она в нем души не чает, и он уговаривает Томашевского пробиваться с ним на Дон. Останутся одни женщины и Ежик, их сынишка. Ну, теперь рассказывай про свои приключения.

– Это был ряд чудес… С вокзала я приехал прямо к Махочке. Она запирала квартиру, Ангелиночка уже в монастыре вместе с Лилей. Она не могла забрать вещей, все остается там: в городе нет подвод. Феклуша с Саничкой должны уехать в деревню. Дивы давно уже нет, ее брат и сестра увезены неизвестно куда с корпусом и институтом. Я бросился в штаб. «Вы попали вовремя, – сказал мне маленький штабс-капитанчик, сидевший на этом столе. – Я попытаюсь вытащить ваше производство из вороха завалявшихся бумаг. Приезжайте завтра ровно в три часа, иначе будет поздно».

На другой день я бросился опять туда…

– Беляев Иван Тимофеевич?

– Он самый!

– Вот ваше производство! Так это ваша тетя Генриэтта Ивановна Эллиот?.. Ведь она была музыкальной учительницей моей жены, которая знала и вас, и всех ваших братьев. Она рожденная Сушенкова, дочь петербургского брандмейстера.

– Как же, я хорошо ее помню, она часто бывала у нас!

– Когда она услыхала вчера ваше имя, всплеснула руками: «Это был ее любимец, – говорила она, – обожание его тети. Из всех братьев он поражал своим удивительным благородством. Сделай для него все, ради меня, ради его милой тети!»

Я был тронут до слез. Это было последнее благословение от моей милой тети Туни!

– Поистине это чудо Господне!

– Это чудо! За нас молятся, Алечка, не бойся ничего! Господь

за нас.

…Я сразу купил себе погоны и поехал повидать родных. Елизавету Андреевну я застал у графини Голенищевой-Кутузовой, ее тети, они живут вместе. Младшие оба с нею, Ася эвакуирован в Новочеркасск с юнкерами. Бедняжка ждет Володю… говорят, немцы отпускают пленных. Видел Марию Николаевну, она ждет Тиму[143]. Мы с ней простились очень нежно. Был у Зои, от нее уехал поздно ночью. Кока болен на дому. Сережина семья собирается на юг. Утром я был уже на вокзале.

– Узнаете меня? Я писарь Мошенский, – сказал мне кассир, – вот ваш билет, я отложил его, заметив вас вчера в кассе. Билеты нарасхват, это был последний – все спасаются, пока не поздно!

Я горячо поблагодарил его. «Ангелы Божии охраняют мой путь!» – подумал я.

В поезде все места были заняты и перезаняты. Мне удалось пробиться к окну и ко мне непостижимым чудом пробрались только что выпущенные в дивизион прапорщики Андрович и Ташков, брат адъютанта. Наконец, поезд тронулся. Миновал роковое Дно и Псков, где все походило на разгромленный врагами край. На станции Верро функционировал вокзал. Мы попытались достать там по стакану чая, за который чуть не поплатились жизнью.

Маленький и юркий Андрович подлетел к прилавку и, обернувшись ко мне, крикнул: «Ваше превосходительство, чай есть, но сахару нету». Тотчас вокруг нас сомкнулись ряды наполнявших вокзал гусар 6-го полка.

– А позвольте узнать, господин генерал, вы теперь какому правительству подчиняетесь? – обратились ко мне два бравые ундера. – Новому или старому?

– С последним приказом Государя, – отвечал я, – все мы перешли в подчинение новому правительству.

– Так почему же вверенные вам господа офицеры не исполняют приказа о титуловании начальства по чинам?

Это несвоевременное усердие Андровича чуть не погубило нас всех.

– Слушайте, я вижу, что вы старый служака. Наверное, служите лет шесть, но не позабыли еще, сколько раз вам приходилось стоять под шашкой за ничтожную путаницу в обращении к старшим?

– Что верно, то верно! Уж сколько только мне приходилось выстоять за всю эту словесность…

– Ну вот, а теперь вот этого желтоусого птенчика после семи лет корпуса и пары годков юнкером научили, наконец, так, что когда после он уже видит генеральский погон, то забывает все на

свете… А сейчас, говорят, все по-новому. Так разве можно на него обижаться, что он рявкнет некстати – ваше превосходительство!

– И это вы изволили сказать чистую правду! А вот только вот что еще раз спрошу я вас: как это будет ваше имя и фамилия?

– Пожалуйста – меня зовут Иван Тимофеевич Беляев.

– Вот и спасибо! Вот уже и спасибо за такое слово… А то у нас, куда ни сунься, всюду фончики да барончики… А это же и по разговору видно, что русская душа. Вот только сняли бы вы эти погончики да лампасики, так мы бы с вами всюду пошли!

– Дорогой мой, я не только погоны и лампасы, да и штаны поснимаю, если вы повернете со мной на врага. А на внутренний фронт, против своих, не ходил и не пойду, так вы меня уж увольте!

– Ну, спасибо вам за чай и за сахар, – обратился я к своим спутникам. – На сегодня на всех нас довольно!

Дивизион стоял на Вольмаре. Офицеры, всей кучкой, были в тяжелом настроении. 12-я Армия видимо, разложилась. Командовавший армией генерал Юзефович делал все по приказу революционного комитета. Все было полно арестованными контрреволюционерами, как говорили, многих вывели в расход.

В штабе корпуса я разыскал временно командующего полковника Шефтельсона и получил от него приказ об отъезде к новому месту служения и полный послужной список. С дивизионным управлением я попрощался по-старому, но было видно, что я спасаюсь по горящему мосту. С офицерами… но почти со всеми я встретился вскоре при совершенно иной обстановке…

Получив в ставке от генерала Барсукова назначение командиром 83-й артиллерийской бригады, я сразу повернул на Киев… Ехать в незнакомую бригаду, уже разложившуюся, чтоб получить там пару лошадей или повозку… Нет, дудки! Война кончилась, остался один обзор.

От Барсукова я узнал, что Великий князь Сергей Михайлович уехал в Петербург.

– Ну что же, – говорил он, прощаясь, – арестуют, повесят! Барсуков показал мне миньятюрную модель трехлинейной винтовки, только что поднесенную Тульским заводом маленькому цесаревичу…

– Куда же мы теперь?

– Посмотрим! Хотелось бы пробиться к себе на Кавказ. Может быть, там еще дерутся с турками. А пока…

– Пока уже хорошо, что мы вместе. – Это главное!

Стежка

У Васьки все слово едино:
Он славит своево господина…

А. К. Толстой. «Васька Шибанов»

– Ну, что же сказал тебе Накашидзе?

– Он сам ничего не знает. Сказал только, что здесь простоим дня два, пока немцы очистят от большевиков Екатеринослав.

– А потом?

– А потом увидим… Сейчас еще ничего нельзя сказать. А я думаю воспользоваться этим и проехать отсюда на Запорожье-Каменское, взглянуть на Стежку.

– На Стежку?

– Ну да! Ведь когда фронт стал разваливаться, я отослал его домой. А за ним поехал и его младший брат с обеими лошадьми, так как он просил, чтоб, в случае чего, я отослал ему и Кокетку, и Красотку.

– Вот как! Что же, ты поедешь один?

– Нет, я подбил одного молоденького кирасира Ее Величества. Через несколько часов мы вернемся.

– Так это уж не вы ли будете Стежкин командир? – оборачивается к нам мужичок, который повез нас со станции. – Ох, и тужил же он за вами! Все ходовал ваших лошадок, спасал их от большевиков, а потом от немцев… Их тут семь братьев, все дружно живут, хорошо работают, он у них старшой… Да вот и сам он подле своей хаты.

Так и есть! Облокотившись на плетень своего забора, в своей синей куртке, расправляя свои белые усы, стоит перед нами мой неизменный Стежка собственной своей персоной…

– Ну, не надеялся я уже повидать вас в живых, – говорит он, освобождаясь из моих объятий. – А это кто же с вами? Ну ладно, пойдем в хату, расскажу все!

Когда мы очутились в его хате, нас усадили за широкий дубовый стол; хозяйка принесла большую сковороду, на которой шипела яичница-глазунья на малороссийском сале, положила на стол каравай домашнего хлеба и поставила бутыль с водкой и три шкалика.

– Ну как же злодеи вас выпустили? Видно, Бог спас! А как

другие офицера?

– Удалось ускользнуть всем. Поручика Ташкова они оставили за адъютанта. Однажды председатель комитета, работавший с ним, вышел на минуту, забыв на столе свою печать. Ташков схватил ее и припечатал целую пачку бланков, которые потом заполнил и роздал офицерам. Сам он остался последним, но когда дивизион двинулся на внутренний фронт и поезд уже тронулся, выскочил из вагона и пересел в находившийся подле состав, уходивший на Киев. Изо всех офицеров остался один Сикорский – писарем во 2-й батарее. Мне удалось выехать из Киева с грузинским эшелоном.

Случилось это так: иду я как-то по Крещатику – смотрю, навстречу на фаэтоне катит кто-то знакомый… Он соскакивает и бежит ко мне… – Вайчешвили! – Он самый! – Как вы здесь? Работаете? – Я здесь полномочный комиссар Грузии при Центрораде. – Вот так превращение! Из фуражиров, да в министры! – А вы? Вижу, вы в черкеске, пробиваетесь к нам на Кавказ? – Мечтаю попасть к себе в Красную Поляну! – Так мы вас заберем, я отправляю на днях 2-й эшелон под начальством князя Накашидзе. – Но я не один, я с женой! – И с барыней, по первому классу, и со всем багажом. Едем со мной в центр!

А в центре все кавказцы, носатые да усатые, их говор, словно клекот орлиный, стоит в воздухе. Вайчешвили подвел меня к столу писать документы, а сам отошел в сторону. Секретарь обращается ко мне по-грузински.

– Генерал не говорит по-нашему, – кричит Вайчешвили через весь зал, – но он превосходный человек!

Нацепили мне свои цвета, выдали удостоверение, и вот мы уже второй месяц тянемся от Киева. Но с нами, оказывается, едет целая группа русских офицеров, которые пробиваются, куда Бог приведет, под грузинским флагом. Даже оружие везем с собою. И не отдаем немцам!

– И я своего оружия не выдал! – Стежка выдвигает ящик в столе, где лежит его шашка с темляком и револьвер с алым шнуром.

– А когда привели коней, то мы все время скрывали их между нами от большевиков, а от немцев в меннонитской колонии[144], где у меня приятель. Красотка и теперь там. А Кокетку зашибли при выгрузке, так у нее сделался накостник на путовом суставе, пришлось продать за 900 рублей – вот деньги, извольте получить. А что генерал Постовский?

– Да уж ему больше не придется садиться на своего коня. Наверное, Красотка так и останется у вас.

– Ну как прикажете! Воля ваша…

– Не перевелись еще Шибановы на Святой Руси, – говорили мы на обратном пути. – Найдутся и Минины, будут и Пожарские…

Сокольский

Порося, порося, превратись в карася…

Старый анекдот

…Наконец-то доползли до Екатеринослава…

Мы прибыли туда рано утром, и я тотчас же побежал на вокзал, чтоб справиться по телефону о Сокольском. Ведь Екатеринослав – это Итака моего хитроумного Улисса![145]

В справочнике есть три-четыре Сокольских, но нет ни Володи, ни Ильи. Беру на удачу первого попавшегося.

– Сокольский?

– Нет дома, с вами говорит его жена.

– Скажите, где я найду Владимира Сокольского?

– Ах, это брат моего мужа! А вы откуда? Уж не вы ли его командир? Ах, как он будет рад… Но я сама к вам приеду!

Через несколько минут буквально попадаю в объятия молоденькой элегантной дамы с заметно семитическими чертами миловидного лица.

– Ах, как я рада, как я рада, – повторяет она, слегка грассируя и не без труда выбирая подходящие выражения. – Ведь он все время волновался за вас. – «Мой командир такой храбрый, – говорил он, – не уступит им ни на шаг, так они его расстреляют…» У них нет телефона, он живет с матерью и сестрой и будет дома только к 12 часам… Вот его адрес!

– Володя сейчас придет! Ах, как он обрадуется, – повторяет его старушка-мать, усаживая меня в скромной гостиной. – А я сейчас принесу вам кофе.

Вот и Володя! Такой же, как всегда, только в штатском.

– Ну как же я беспокоился о вас! Я ведь знал, что вы с большевиками не поладите, я думал, что они вас погубят при занятии Киева. А вы не записались в украинские войска?

– Нет, нет. Ни с украинцами, ни с немцами мне не по дороге. Я попробую пробраться к себе в Красную Поляну, где нет еще ни тех, ни других.

– Но что же делать? Ведь с немцами все-таки можно жить… Все таки стало немного спокойнее. Об России уже нечего вспоминать… Были бы мы живы, да могли бы работать. А вот и кофе! Вы не по пробуете мацы?

Когда мать вышла, Володя подошел ко мне на цыпочках и

прошептал на ухо:

– Только, пожалуйста, не говорите, что я перешел в православие! И при Иоффе тоже – ведь он такой ортодоксальной семьи…

Это уже 13-е превращение Сокольского, на этот раз, думаю, уже последнее. Говоря на официальном языке, он вернулся «в первобытное состояние».

В Екатеринославе мы простояли еще несколько дней. Гуляя по улицам, наткнулись на двух немецких солдат, которые покосились на газыри моей черкески.

– Патроны?

Я показал им пустые гильзы.

– Sind Sie jüdisch?[146] – обращается ко мне один из них, по глазам и жестам несомненный семит.

Хевсуры считают меня своим по крови… Черкесы видят во мне убыха. А тут, на юге России…

– Фуй, какой вы интеллигентный, – говорит мне молоденькая еврейка, – совсем как наш еврей…

Я собираю все свои лингвистические познания, усвоенные от Эверлинга, почерпнутые из грамматики Кайзера и учебника Керкевиуса:

– Nich geringsten![147]

Оба, и семит, и его спутник, кровный немец, вступают со мной в разговор, выражая свое удивление неожиданному развалу России.

– Doch Bolschewismus ist eine Krankheit[148], – возражаю я. – Подождите немного, он обойдет всю Европу, и первое, где он начнет выдыхаться, это будет Россия!

Семит пытается возражать. Его товарищ пожимает плечами.

– Doch Lassen Sie ihn ihre Meinung haben![149] – говорит он. Обедая на вокзале, нам пришлось встретиться еще с группой немцев, которым, как и нам, видимо, было приятно посидеть за роскошным table d'hote'ом, где проворные официанты подавали одно за другим бесподобные блюда, как по мирному времени.

Три немца, очевидно, Einjahriger[150], по-нашему, вольноопределяющиеся, оживленно стучали ножами и вилками, выбирая все самое дорогое. Они уселись в центре стола, как раз напротив нас.

– Was sagt er? Ich kann nicht vestehen![151] – обратился ко мне один из них, указывая на официанта с салфеткой под мышкой, который положил перед ним счет. – Müssen wir bezahlen?[152]

Все трое поднялись: «Herr Leutnant, Herr Leutnant! Sagen Sie uns ob wir etwas bezahlen müssen?[153]» – затараторили они вдруг, обращаясь к дверям, но в комнате не было никакого лейтенанта,

и все трое стали понемногу пятиться к выходу, пока совсем не исчезли из виду. Официант молча пожал плечами и пошел убирать тарелки.

Опять движемся скачками от станции до станции. «Nur immer Langsam voran!»[154] – как напевала Алисынька у Волконских. За эти полтора-два месяца мы многое повидали в дороге… На остановках отправлялись по соседним деревням покупать яйца, масло, молоко, творог, жареных кур и гусей, сало. Теперь около Мариуполя целых две недели питались роскошной осетриной… Дорогой молодежь повлюблялась, кое-кто поженился. Одна даже произвела на свет. Ссорились и мирились, вызывая на дуэль… Однажды явились немцы с обыском. Все попрятали оружие. Барыни, в порыве патриотизма, позапрятали наши револьверы и карабины туда, где раки зимуют… Чего только не было дорогой!

В Мариуполе присутствовали на заутрене. Служил чудный батюшка, с которым за короткие дни мы сошлись душа в душу и расстались со слезами. Накануне отъезда я пошел за бельем к доброй женщине, которая перемыла и перегладила все наше приданое.

Это был первый день праздника. В хате толпилось много портовых, все больше матросы с торговых судов.

– Вот, милости просим, – загалдела толпа. – Вовремя пожаловали. Вы, кавказцы, – веселые ребята, так уж выпьем заодно! Да може еще спляшем?

Мне подали стаканчик с каким-то вонючим содержимым – оказалось, чистейший денатурат!

– Выпьем за нашу великую, бескровную революцию, за всемирный пролетариат…

Я остолбенел…

– И за нашего несравненного Главнокомандующего Великого князя Николая Николаевича. Ура!

Тут я уже не выдержал. Проглотил поднесенную мне отраву и духом вылетел за двери. Вот чье имя могло бы еще всколыхнуть народные массы…

Печальные вести

В Таганроге весь состав немедленно отправили в мастерские менять перегоревшие оси, и мы решились пройти прямо на квартиру генеральши Чернецовой, которая несколько месяцев назад списалась с нами, предлагая свой очаг. Семья Чернецовых уже много лет находилась в самых тесных отношениях с семьей моего отца, и теперь, месяца три назад, вдова с обеими дочерьми и с четырьмя внуками поселилась в Таганроге.

Уже вечерело, и, захватив маленький чемоданчик с дорожными принадлежностями, мы молча шагали по пустынным улицам. Каково же было наше отчаяние, когда дворник заявил, что в сумерки квартира Чернецовых запирается до самого утра, так как там только женщины и дети, а в городе «пошаливают»…

Деваться было совершенно некуда. Поезд уже ушел за несколько верст, дворник сказал, что искать помещения в эту пору бесполезно, разве что примут в соседнем подворье у викарного епископа. Мы схватились за эту идею, благо Марья Осиповна в своих письмах превозносила до небес преосвященного, его доброту и истинно христианскую душу.

Архиерейский дом выглядел угрюмо и сурово. На наш стук выскочил послушник, который сейчас же скрылся и по возвращении сообщил, что по монастырским правилам вдвоем принять на ночь не могут, что барыня может переночевать в запасной комнате, а сам архиерей занят, так как к нему приехал преподобный Антоний Волынский и Галицкий. И что он просит никоим образом не шуметь, дабы не побеспокоить Владыку громкими разговорами.

Пришлось оставить Алю, а самому шагать по улице до шести часов утра, когда ударил колокол к утренней службе, и моя Алечка со своим чемоданчиком вылетела ко мне навстречу после жуткой ночи в негостеприимном подворье… Дрожа от холода, мы бросились к Чернецовым.

Но и там двери все еще были заперты. По счастью, дворник пригласил нас к себе. Его жена быстро согрела самовар и напоила нас горячим чаем. Наконец, ровно в восемь, все двери распахнулись, и мы попали в объятия генеральши, которая рассыпалась в извинениях за проведенную нами ночь. Она сообщила нам обо всех бедствиях, постигших наших близких в Петербурге.

Мария Николаевна уцелела и живет еще в своей старой квартире, говорила она. Тима открыл было столовую, нечто вроде ресторана, но потом его арестовали со всеми его посетителями и

увезли в Кронштадт, откуда никто не возвращался. Ангелиночка скончалась в монастыре от менингита, Махочка с Лилей ухаживали за ней до последней минуты, и Махочка написала обо всем – она скончалась, как святая, и игуменья отпевала ее, как Божью подвижницу, как земного ангела… Потом пришло письмо от Лили, что Махочка скончалась от голодного тифа… Володя вернулся из плена, он с женой и детьми поселился где-то на Охте; самого его возили в Москву, хотели забрать в Красную армию, но ему удалось спастись, ссылаясь на близорукость. Теперь он служит на железной дороге. Кира замужем за дальним родственником, маленький Пуха продает газеты, а старший, Ася, где-то на юге с «кадетами».

Самим Чернецовым удалось вовремя ускользнуть из Петербурга. Она захватила с собой обе семьи – одна дочь была замужем за нашим старым другом Михаилом Сергеевичем Росляковым, который познакомился с Олей еще в доме отца, у которого постоянно бывал по должности квартирмейстера 1-й бригады, а теперь скитался где-то на юге России. Легкомысленная Верочка вышла замуж за полковника генерального штаба Орлова (по прозванию «Дуля»), прекрасного человека, любимца всех товарищей. Как и сестра, она подарила мужу двоих детей и оказалась образцовой матерью: в этой серьезной, заботливой матери уже нельзя было более угадать бесшабашной шалуньи, которая кокетничала со всеми окружающими и наводила панику на дам.

Муж Софьи Осиповны, полковник Чернецов, давно уже умер. Он происходил из старинного боярского рода Смоленской губернии и, несмотря на крупное состояние, всегда отличался удивительною скромностью и порядочностью. Сама она, неизменная подруга моей мачехи, обладала добрым сердцем, но хорошо знала жизнь и в свое время кружила головы всем окружающим. Теперь, в роли бабушки, она производила впечатление серьезной и практичной женщины и истинной главы семьи.

Немного спустя пожаловали и оба Владыки. Преподобный Антоний сразу же узнал меня и припомнил наше свидание в Казани.

– Ну, а где же ваш тогдашний товарищ? – спросил он. – Чем кончилась ваша дружба?

– Вскоре после посещения родители уговорили его жениться и идти в академию. Я остался один, но ненадолго. Вы видите, я нашел себе более постоянного друга. А бедный мой Миша недавно был расстрелян в Киеве в числе прочих.

– Не надо ему было покидать вас. За это он и пострадал! –

заключил Владыка.

У меня сложилось другое убеждение. Господь удостоил его мученического венца за его чистое сердце и небесную кротость[155]. Мне Он уготовил иное будущее, более соответствовавшее страстным порывам моей беспокойной души: будущее, полное отрад, но и тяжелых трудов и испытаний…

Вайчешвили

Голенький ох, а за голеньким Бог.

Пословица

По прибытии в Ростов эшелон поместили на запасных путях вдали от города. Ввиду полной неизвестности положения мы заперли купе и пошли в город, где на Садовой, 60 проживал дядя моей Али, Николай Андреевич Захаров, с женой и дочерью. Нас встретили с распростертыми объятиями и отвели нам хорошенькую комнатку.

Город только что был занят немцами, но все уже быстро пришло в порядок; по улицам ходили трамваи, разъезжали извозчики. На красивом Пушкинском бульваре, обсаженном чудными деревьями, гуляла нарядная публика, театр и кинематограф ломились от посетителей. Утром на базаре можно было найти все, что угодно. Присутствия немцев не замечалось.

Еще по пути до нас доходили кое-какие газетные известия. Теперь уже можно было отдать себе отчет в политическом положении.

Почти вся Малороссия была очищена от большевиков и занята оккупационной армией. Два германских корпуса находились в Закавказье. На Дону после смерти Каледина началась реакция, и вновь избранному атаману Краснову, в контакте с немцами, удалось очистить Новочеркасск и значительную часть области, куда пробился маленький отряд, состоявший главным образом из офицеров и юнкеров и присоединившихся к ним кубанских казаков.

Отряд этот вынужден был отступить из-под Екатеринодара после смерти организовавшего поход генерала Корнилова. Сейчас он сосредоточился в станице Мечетинской на границе Ставропольской губернии и находился под командой генерала Деникина. При нем находился и маститый генерал Алексеев.

Давно еще в газетах промелькнули слухи о том, что при отряде находились Великий князь Николай Николаевич и одна из дочерей Государя. Никто не знал истины, но это подавало надежды… Другой офицерский отряд под командой полковника Дроздовского был сформирован из остатков армии генерала Щербачова и прошел походом всю Новороссию. Незадолго до занятия Ростова немцами он пытался захватить город, но потерпел неудачу и теперь пытался соединиться с добровольцами Деникина[156].

Отдохнув в милой семейной обстановке, мы прошли в эшелон, где нас ожидала крупная неприятность.

Накануне мы решились впустить в купе старенького подполковника, который умолял дать ему возможность хотя бы разок выспаться по-человечески после двухмесячного путешествия в сидячем положении. Теперь оказалось, что утром он исчез и забрал с собою все мое белье.

Но беда никогда не приходит одна… В городе, на трамвае, мы едва протиснулись на заднюю площадку; на остановке все окружающие нас выскочили вон и рассыпались по улице.

– Вас обокрали, – обратился ко мне кондуктор.

Я сунул руку в карман – пусто. Пятнадцать тысяч сбережений, все драгоценности моей жены, спрятанные в мешочке, исчезли в мгновение ока…

Ко мне подбегает посланный из эшелона:

– Вас просит Вайчешвили. Он остановился в том самом отеле, который снят германским командованием на главной улице…

У дверей отеля – немецкие часовые, в касках, с примкнутыми штыками. Вхожу. Первая дверь налево открыта. Так, за письменным столом, сидит Вайчешвили. Он поднимается мне навстречу.

– Я слышал о вашем несчастии. Только что я вернулся из Армянского центра, получил от них 4000 рублей. Возьмите половину… Расписку… Но какую же расписку могу я взять со своего старого командира?

О Красной Поляне нечего было и мечтать. Турецкого фронта уже не существует. В Тифлисе немцы. Все пути из Грузии на север в руках у красных, которые беспорядочными отрядами пробиваются на родину.

Пока что Алечка останется у родных. Мне нет выбора: еду в отряд Деникина. Но это – перст Божий. Да будет Его святая воля!

Мечетинская

– Ба! Знакомые все лица…

А. С. Грибоедов. «Горе от ума»

Первый, с кем я встретился по прибытии в Добровольческую армию, был Расторгуев. Тот самый Расторгуев, который в Гомборах наделал мне столько хлопот, но, в конце концов, оценил выше всех мою работу и открыто сознался в этом. Мы встретились как друзья. Он сразу потащил меня в свою хату.

– Пообедаете у нас, а потом узнаем у Романовского, когда вас примет Деникин. Он куда-то выезжал сегодня утром.

Как я узнал впоследствии, энергичный Расторгуев за несколько часов наговорил везде и всюду о моих организационных талантах. «Он из камня выжмет сок, – повторял он, – из глины сделает людей!»

– Сейчас генерал Рейснер застрял в Новочеркасске, а начальни ком снабжения назначен Мальцев. Я заменил его в качестве началь ника технического отдела. Мы живем вместе, у нас вы пообедаете и остановитесь пока что.

За обеденным столом уже сидел Мальцев.

– А, и вы пожаловали к нам сюда, – проговорил он, бросая на меня косой взгляд и неохотно протягивая руку. – Деникин еще не вернулся, пока будем обедать.

С Мальцевым я встретился еще в Артиллерийской школе, где он находился в числе других капитанов переменного состава. Нас познакомил там полковник Веверн, бывший со мною в штаб-офицерском отделении, так как он раньше командовал той же самой батареей в Гомборах, в которую назначили меня и в которой служил Мальцев.

Яркий блондин, прекрасного роста и сложения, с исключительно красивыми чертами лица, он держался все время в стороне и как-то озлобленно косился на меня при встречах; видимо, я становился ему поперек дороги. В Гомборах, вскоре по моем приезде, он выхлопотал себе перевод в Тифлис и появился уже потом в качестве начальника полигона при Менайлове, где сразу же занял враждебную мне позицию.

Он приходился племянником генералу Шатилову, помощнику князя Воронцова и, когда мы выступили в поход, начал формировать второочередной дивизион, который был

расквартирован в наших казармах и вышел на войну очень поздно, в 16-м году. Незадолго до ранения я посылал в Гомборы нарочного, чтоб привезти оставленное солдатами белье и другие пожитки, но все оказалось разграбленным до нитки, равно и все мои личные вещи, обстановка, экипажи и батарейное имущество; а по выступлении Мальцева на театр военных действий вспыхнул пожар, и все обратилось в пепел.

В данную минуту нечего было вспоминать об этом. Мое появление, видимо, не пришлось по шерсти Мальцеву, но пока было много чего поважнее, и не приходилось задумываться о старых счетах.

После обеда я пошел к Романовскому. Мы начали службу вместе во 2-й бригаде, и он всегда относился ко мне крайне дружелюбно.

– Генерал Деникин сейчас вернется, – сказал он, – я передал ему письмо, привезенное вами от Масарика[157]. А что вы собираетесь делать?

– А где вы оставили немцев? – было его первым вопросом.

– Наши разъезды вошли с ними в соприкосновение в окрестностях Ростова, – отвечал я.

– Ну, это меня вовсе не устраивает! – оборвал генерал. – Придется подаваться к востоку, – обратился он к Романовскому.

После нескольких общих фраз я откланялся и пошел в нашу хату, где Расторгуев сообщил мне, что подыскал мне помещение, назначил коня и что, как только я вернусь из Ростова, куда должен был съездить за вещами, он передаст мне технический отдел. Не теряя времени – в моем распоряжении было всего дня два, – я помчался обратно.

Уезжая в Мечетку первый раз, я позаботился как следует устроить мою Алю. Жила она у родного дяди, душа в душу с его женой и дочкой, которая также ходила на службу; с помощью молодого генерала Витковского, который устроил ей работу по техническим чертежам, она стала получать небольшой ежемесячный заработок, и все, что оставил мне Вайчешвили, я предоставил ей, а сам поехал обратно. Первый раз я сделал почти весь переход пешком вместе с отрядом донских пополнений, теперь я уже трясся на перекладных, по казенной надобности.

В Мечетинской все напоминало мне наш лагерь под Красным. Приятно было познакомиться со всем командным составом, который я немедленно обошел, чтоб лично войти во все нужды.

В воскресенье повидал весь высший персонал в станичном хане: Маркова с его неизменной нагайкой через плечо; смуглого и чернобородого Кутепова[158] с его постоянным спутником Третьяковым; Боровского и других. Отдых в Мечетинской оживил

всех.

Приятно было глядеть на здоровые загорелые лица, отлично пригнанное, хотя и потрепанное снаряжение, на втянутых коней. «Ничего напоказ, все для дела!» – таков был общий девиз.

Крошечная армия насчитывала всего 3000 штыков и сабель при семи орудиях. В запасах состояло 60 000 патронов и 60 снарядов. По словам участников, потери ранеными и убитыми в сражениях немедленно восполнялись наплывом свежих людей, ускользнувших от красных. Командиры производили вид серьезных, закаленных в боях. По их словам, боевые диспозиции исполнялись во что бы то ни стало. Пехота состояла главным образом из боевых офицеров, бывших ротными и взводными на Великой войне, и немногих старых солдат. Они шли в атаку редкими цепями, во весь рост, с трубкой в зубах, с полной верой в своих начальников. Память Корнилова и погибшего с ним полковника Нежинцева свято чтилась, про Маркова и других рассказывали чудеса. На походе генералы Алексеев и Деникин шли пешком, старики генералы ехали погонщиками в обозе. Тыла не существовало, так как весь отряд от авангарда до арьергарда простреливался артиллерийским огнем, и противник окружал его со всех сторон.

В артиллерии, в марковской батарее, у полковника Машина я узнал, что у него было два юнкера Беляева[159] – один, раненый, остался в Екатеринодаре, другой проделал весь поход наводчиком орудия. За ним послали… Через несколько минут передо мной появился первенец моего брата, его гордость и надежда, милый Ася, которого мне позволили увести к себе на один день.

– Это был единственный отрадный день за весь поход, – говорил мне бедняжка, – когда впоследствии мы свиделись в Екатеринодаре.

Мы вымыли его, вычистили, положили на чистую кровать и накормили сытным ужином. До поздней ночи обменивались мы впечатлениями… От него я узнал многое. Чистые дети – им было всего по 17 лет – они гнушались грабежами, голодали, чтоб не украсть крестьянской курицы, и потом с огорчением увидали, как война развратила все святое. Я предлагал ему выхлопотать назначение его ко мне. Он отказался: ему казалось постыдным покинуть товарищей.

За несколько дней в Мечетке я уже, что называется, сел в седло в общую жизнь и почувствовал себя на своем месте.

Ко мне то и дело заходили отдельные люди – офицеры, казаки, черкесы, главным образом, прося оружия взамен испорченного или недостающего. После одного из таких визитов черкес, получивший от меня шашку, явился вновь.

– Тебе нужно хорошего конного вестового, – объявил он мне. – Ты хороший человек, я хочу тебе служить. Вчера встретил я нашего командира Султана Килидж-Гирея… «Слушай, Беслан! – говорит он мне. – Тебе не надоело служить в комендантском управлении, мучить людей? Ведь ты хорошего рода князей Ядыговых, последний в роде. Ты настоящий джигит. Пора тебе покончить с этим грязным ремеслом!»

Ну что же? Ведь мой Гага тоже укокошил немало людей, три года пробыл в Херсонском университете, а был чудной души человек. Попробуем этого зверя!

Беслан оказался сокровищем…

На другой же день он явился ко мне.

– Давай деньги! Хочу купить напилок.

Я дал ему какую-то монету: «А на что тебе напилок?»

– Мы коню подпилим зубы. Он, бедный, совсем не может кушать. Пожует, пожует, а зубы острые, режутся, как бритва, он и бросает. Так он подохнет с голоду, а конь чудный.

Конь действительно был великолепный, но худой, как скелет. Через несколько дней его нельзя было узнать… Не конь, а огонь.

Несколько дней спустя Беслан приходит опять.

– Давай меняться. Твое седло новое, а мое старое, да хорошее. Садись на мое седло! Носишь черкеску, а ездишь на кавалерийском седле – это не фасон.

Когда я сел на чудесное кабардинское седло Беслана, я сам почувствовал себя джигитом. Закинул карабин за плечи и сменил свою раззолоченную шашку на старый азиатский клинок, а свое богатое оружие подарил Беслану. Словом, сделал сделку: приобрел и коня, и верного товарища, и чудное седло, и прекрасную шашку. Разом стал другим человеком!

Но когда мы пошли походом, вот когда я оценил все достоинства Беслана. Чуть только доберемся до бивака, а он уже вынимает из-за пазухи кубышку.

– Достал «миеду», – говорит он, улыбаясь. – Нехорошо голодному, вот сейчас привезу хлеба и сыру. И пока пусть Мустафа приготовит чай.

Мустафа был совершенно дикий курд с внушительным носом и колоссальными усами. Его страшная рожа казалась совершенно черною, так как он начисто сбривал свою густую бороду, которою обросло все его лицо до самых бровей. Мы с Бесланом приспособили его к двуколке, и я не видал еще более добросовестного и надежного погонщика.

История моей жизни окончилась… Начинается роман. Передо мной воскресают лучшие страницы «Ваверлея» и даже «Айвенго», о которых я мечтал с детства… Дела идут удачно, сейчас мы идем

на юг, но мне кажется, что мы приближаемся к Москве…

Поход

Последние дни в Мечетке были омрачены для нас смертью храброго генерала Маркова, легендарного героя Первого похода.

На его похоронах мне удалось взглянуть на часть строевых войск, участвовавших в боях.

Тело везли на лафете. Грозные лица закаленных воинов, выразительные взоры каждого бойца, сбитые втянутые кони и идеально пригнанное снаряжение ясно говорили о боевой ценности крошечного отряда.

Марков был коренным офицером лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады, товарищем моих братьев и Романовского, с которым он ушел в Академию Генерального штаба. Он был женат на княжне Марианне Путятиной, которую я встречал на балах с ее блестящей сестрицей Софочкой… Перед смертью он снял кольцо и просил передать его вместе с портсигаром жене.

Значительно усиленная включением в нее отряда Дроздовского, крошечная армия продолжала наступление на Торговую. В этих боях главная роль принадлежала старым добровольцам, которые ценой жестоких потерь решали участь сражения. Это значительно сбавило спесь Дроздовскому, который вначале явился с большим апломбом.

В Великокняжеской меня потребовали к Романовскому.

– Иван Тимофеевич, генерал Деникин очень просит вас не упираться, – встретил он меня. – Мальцев в Новочеркасске лежит в тифу. Кроме вас, под рукою нет ни одного верного человека, кому должно бы поручить снабжение армии. Зная вас, я отлично понимаю, как неприятно вам, боевому офицеру, Георгиевскому кавалеру, подобное назначение. Но обещаю вам, как только он поправится, мы устроим вас на командную должность.

– Не смею протестовать, – возразил я. – Наоборот, я глубоко ценю оказанное мне доверие и ясно отдаю себе отчет в важности задач.

– Сделаю все, что только в моих силах, чтоб привнести в блестящее состояние армию, которой предназначается возрождение русской военной мощи.

В Торговой войска овладели целым поездом, нагруженным товарами, и семью огромными складами. Не теряя ни минуты, я взял под учет все это имущество и приставил к нему часовых от Охранной роты, находившейся в моем распоряжении… На дебаркадере мне пришлось осадить полковника Дроздовского, который хотел захватить поезд в свои руки. Немедленно я вызвал

приемщиков от всех частей и приказал интендантам, несмотря на их протесты, раздать все имущество дотла соответственно личному составу.

На другое утро я явился в Ставку. Оба генерала сидели за чайным столом.

– Что скажете? – обратился ко мне Деникин. Я доложил о своих распоряжениях.

– Ваше превосходительство, – прибавил я, – мне хотелось бы просить вас о разрешении пары насущных вопросов.

– Каких?

– Для того чтоб войска получали все по справедливости, мне необходимы люди для охраны имущества. Иначе марковцы получат только красный товар, корниловцы только сахар, дроздовцы только одни подметки.

– Но у нас нет лишних людей!

– Вот поэтому я ходатайствую о зачислении в охранную роту добровольцев из несовершеннолетних гимназистов, десятки которых стремятся стать под ружье. В запасах есть винтовки Крыка, берданки, японские и мексиканские карабины с ничтожным количеством патронов каждого сорта, и эти дети, с негодным для строя оружием, отлично пригодятся для исполнения обязанностей часовых.

– Хорошо. А еще что?

– Жители Торговой просят вас наложенную на них контрибуцию в 500 тысяч наименовать «Патриотическим взносом» – они обещают вам удвоить эту сумму.

– Негодяи! В Быхове эти самые интеллигенты забрасывали нас камнями, а в Ростове собрали на все наши нужды 25 рублей. Пусть платят контрибуцию! А еще что?

– С переходом за границу казачьих земель войскам разрешено для довольствия реквизировать провиант у крестьян бесплатно. Таким образом, близ дороги все будет разграблено, а по сторонам останется неиспользованным.

– А вам очень жалко этих мужиков? В деревнях, когда мы шли с Корниловым, они стреляли в нас из окон.

– Если не жалко населения, надо пожалеть армию: армия, которая грабит, разлагается. Ведь потребуется всего два мильона в месяц.

– Но откуда же мы возьмем столько денег?

– За три дня в местной типографии я напечатаю вам сколько хотите рублей с мечами вместо двуглавого орла и с гарантией из воинской добычи вместо государственного банка. Те, кто получит наши деньги, будут нашими друзьями, а кого мы разграбили, станут нашими врагами.

– Нет! Россия и так завалена бумажками!

Я откланялся. Несколько дней спустя Романовский снова послал за мною.

– Сколько у вас человек в охранной роте?

– Сто тридцать.

– Распишите их по полкам.

Отличный солдат, выдающийся начальник, Деникин обладал слишком узкими взглядами на все происходившее. Сын простого человека, ненавидя все, что пахло наследственной культурой, он не жалел крестьянина и не понимал солдата. Будучи прямым и честным человеком, и притом горячим патриотом, он готов был сразу воевать со всем миром и не хотел понять, что политика мести не должна руководить политическим расчетом. Меры, на которых я настаивал, были приняты, но уже тогда, когда было слишком поздно.

– Ваше превосходительство! Достал вам чудную квартирку. На главной площади, против собора, вы сразу ее заметите! На крыльце сидят две прелестные барышни, все в белом – настоящие лебедки! Они ждут вас с обедом. Я ведь выслан квартирьером.

Передо мной, на коне, кружится веселый «князь Мурат», один из милых спутников по нашей «Жангеде». Он уже в Добровольческой армии, в отряде Дроздовского.

– Спасибо, сердечное спасибо, дорогой! А как князь Накашидзе с его кирасирчиком, Муравьев и другие? Мы здесь простоим еще дня два, заезжайте ко мне завтра поужинать, вспомнить наше двух месячное путешествие от Киева до Ростова.

Подъезжаю к дверям красивого высокого дома. На крыльце сидят две красавицы, все в белом – действительно, настоящие лебеди.

– Скажите, пожалуйста, здесь отведена квартира генералу Беляеву?

– Здесь, здесь! – отвечают обе разом. – Вы знаете, мы ждем его уже с самого утра. Сюда заезжал молодой офицер с черной повязкой на глазу, сказал, что у нас остановится генерал Беляев, что он удивительно милый и хороший, и просил принять его, как родного.

– После такой рекомендаций я боюсь разочаровать вас – ведь я сам генерал Беляев.

– Ах, это вы сами! Идемте сразу же к столу, мы ждем вас с самого утра!

Меня действительно приняли, как самого близкого и родного; после чудного ужина обе хозяйки проводили меня в уютную спальню, где я проснулся лишь на другое утро под лучами яркого солнца.

– …Контрибуция… Реквизиция, – вертелось у меня на языке. – Нет, это не та политика, в которой нуждается Россия!

Выйдя за ворота, я наткнулся на группу молодых офицеров, спешивших на станцию с винтовками в руках. Впереди шел сам Дроздовский в фуражке с белым околышем на затылке и с возбужденным видом заряжал винтовку на ходу…

– Куда вы? – спросил я с недоумением одного из догонявших офицеров.

– На станцию! – отвечал он на ходу. – Там собрали пленных красноармейцев, будем их расстреливать, втягивать молодежь…

За ними бежала обезумевшая от горя старушка.

– Моего сына, – умоляла она, – отдайте мне моего сына!.. После упорного боя мы вошли в Белую Глину уже в темноту. На околице ко мне подскакивает Беслан.

– Скачем скорей на площадь! – закричал он мне на лету. – Большевики оставили там все свои деньги!

Действительно, в Правлении стояло семь замкнутых и снабженных печатями несгораемых ящиков.

– Беслан! Скачи скорей к ближайшему полку, приведи сюда караул. Я сам останусь здесь за часового.

Я обнажил шашку и стал перед дверьми.

– Что вы здесь делаете? – обратился ко мне Романовский, только что подъехавший сюда вместе с Командующим.

Я объяснил ему, в чем дело.

– Когда подойдет караул, я сдам ему все, – прибавил я, – а пока сниму башку каждому, кто сунется грабить казну. Тут находятся деньги и, как по всему видно, большие деньги!

На другое утро в Правлении уже сидел Мальцев, вызванный срочной телеграммой с приказом взломать кассы.

– Два миллиончика золотом-с, – злобно проговорил он, не здороваясь. Перед ним на столе красовались столбики золотых монет. – Золото – хорошее лекарство от тифа. Надо бы рекомен довать это нашим врачам!

Утром меня вызвал Романовский.

– Мальцев выздоровел. Теперь вы можете ехать на фронт. Из конной батареи Дроздовского и только что захваченных пушек вы сформируете конногорный дивизион при 1-й Конной дивизии и вступите в командование…

Слава Богу! Хватит с меня тыловых забот, может быть, в строю воздух будет свежее.

* * *

Нагонять 1-ю Конную дивизию мне пришлось уже после взятия Тихорецкой, крупного железнодорожного узла, откуда пути расходятся на Екатеринодар и Новороссийск.

На станции я встретил толпу офицеров, даже нескольких генералов, которые спешили присоединиться к армии. Около кассы стоял жандарм в полной форме Империи… Меня тотчас же пригласили в дом жандармского полковника, у которого собралось множество гостей.

После первого тоста подошла ко мне гостеприимная хозяйка со словами:

– Я дала обещание, что расцелую первого русского генерала, который явится сюда в генеральских погонах.

– Будем надеяться, что сегодня Светлый день Воскресения для всех нас, – отвечал я. – Христос Воскресе!

В освобожденных станицах везде нас встречали с нескрываемым восторгом. Верилось в счастливый конец блестяще начатого дела. Везде, где мы останавливались, и нас, и спешивших на фронт офицеров принимали, как родных.

В одном переходе от крупной станицы Знаменской я нагнал штаб дивизии. Он занимал прекрасный, роскошно меблированный дом. В штабе господствовал придворный этикет, который был бы к лицу любому немецкому владетельному принцу. В приемной, убранной мягкими коврами, встретил меня дежурный адъютант.

– Сейчас доложу о вас начальнику штаба, – сказал он и скрылся за портьерой.

Начальником штаба оказался полковник Дрейлинг, очень тактичный и выдержанный человек, коренной офицер лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, где долгое время служили мои кузены, Лева и Андрей Стефановичи, и где у меня было много друзей. Мы сейчас же сосчитались знакомыми.

– Это ваша родственница – Елизавета Николаевна Беляева? – тотчас же спросил он.

– Как же, она жена моего старшего брата!

– В Екатеринодаре наша семья и она с детьми жили душа в душу, как родные! Какая прелестная ваша племянница Мада! Она спасала всю семью. Здесь, в летучке, моя падчерица, Софья Сократовна Ковалевская, она вам расскажет все об этой чудной семье.

Начальника дивизии, генерала Эрдели, я знал по 11-й Армии, которую он принял от генерала Балуева. Видный, высокий и стройный, он служил в лучших полках гвардейской кавалерии. Разумный и гуманный, он щеголял своим тактом и уменьем держать себя. Если можно так выразиться, он казался слишком

крупным для начальника дивизии, он давно уже перерос это назначение.

Поэтому, вероятно, он стоял далеко от своих подчиненных и еще более от простых казаков, отделяясь от всех, кроме своего штаба, строгими рамками этикета.

От него я попал в полное распоряжение милой Софьи Сократовны, которая разом окунула меня в ту жизнь, которой меня лишили война и революция.

– Ваша Мада, – повторяла она с восторгом, – это сокровище! Елизавета Николаевна совсем потеряла голову, она привыкла, что муж делал для нее все – а он остался в Москве! Леша – прелестный мальчик, но он еще совсем ребенок… А Мада[160]… Она одна за всех, за ботилась, и хлопотала, и бегала по делам… У них застряла также их родственница Лиля[161] с мужем и с новорожденным ребенком, и где-то скрывается брат Лили, раненый и оставленный в Екатеринодаре после первого похода.

Милая, чистосердечная девушка не находила слов, чтоб выразить свою радость моему появлению; очень хозяйственная и распорядительная, она предоставила мне все удобства и весь комфорт, возможный в нашем положении.

Вторая батарея под командой полковника Фока, Георгиевского кавалера, бывшего летчика, заканчивала формирование и присоединилась на марше. До ее прибытия 1-я батарея была разбита по полкам, наступавшим на широком фронте. Ею командовал капитан Колзаков, о котором я слыхал еще в Петербурге. Блестящий конно-артиллерист, имевший большие связи, он погубил свою карьеру, так как застрелил цыгана, защищавшего от него свою дочь после ночной оргии. Во время войны в Кавказской гренадерской он вернул себе офицерские эполеты и теперь примкнул к отряду Дроздовского уже командиром сформированной им батареи.

Матерьяльная часть батареи была в плохом состоянии. Горная пушка Шнейдера-Данглиса была та самая, с которой я делал чудеса на Карпатах. Но сложная конструкция ее требовала неусыпного технического надзора. У меня всегда два орудия находились в резерве, они плавали в масле и керосине, их разбирали и чистили, не жалея трудов, под надзором отличного техника, и тщательно подготовленный персонал не оставлял желать лучшего.

Здесь, в офицерских батареях, дело обстояло иначе. Матерьяльная часть, уже потрепанная за войну, не внушала доверия, да и личный состав, состоявший большей частью из пеших артиллеристов, но под командой завзятого конника, презирая технику, усвоил самые крайние традиции конной

артиллерии, про которую всегда говорили, что «только пушки мешают ей быть превосходным родом оружия». Вероятно, поэтому коренные конноартиллеристы предпочли записаться в кавалерию.

На войне, в случае неустойки, всегда приходилось держать ухо востро, так как пехота при отступлении редко вспоминает о своей артиллерии. По отношению к конной артиллерии этот вопрос стоял еще острее. Закаленный опытом в авангардных и арьергардных делах, я отлично понимал это, и не раз в критический момент выводил батареи из-под удара. В коннице я видел в этом свою главную обязанность. Все случаи гибели наших орудий случались в моем отсутствии.

Вскоре после моего прибытия в дивизию одному из непосредственных подчиненных Колзакова, капитану Романовскому, удалось сформировать батарею из отбитых нами легких орудий, и его батарея сделалась идеалом не только «лихости», но и редкого искусства в стрельбе.

На походе штаб дивизии придерживался столь же строгого этикета. Рядом с Эрдели ехал его начальник штаба, иногда к ним присоединялся и я. Разговор нередко переходил на приятные воспоминания прошлого. Эрдели любил вспоминать свои былые шалости.

– Раз мы с ней заговорились слишком долго, – рассказывал он с увлечением. – Когда я проводил ее обратно, муж уже был дома и заложил ворота. Решетка была высокая, но я перемахнул через нее и отворил дверь, а потом она потихоньку пробралась к себе. А вы спортсмен?

– У меня своеобразный взгляд на спорт. Мне кажется, что всякая крайность в физическом самоусовершенствовании идет в ущерб умственному развитию. А организация спорта – это целая наука, которая отвлекает человека далеко в сторону от более существенных работ. Отнюдь не пренебрегая физической стороною, я считал, что естественная жизнь, близкая к природе, дает больше форсированных физических упражнений.

– Англичанам – говорил мой отец, – необходим спорт, так как в их сверхкультурной жизни необходимы искусственные физические упражнения. Мы в этом пока не нуждаемся. Точно так же английской лошади необходимо рубить репицу, чтоб она не забрызгала грязью элегантные панталоны своему хозяину на прогулке. А резать хвост степной лошади – преступление, так как тогда она погибнет от слепней и комаров.

Сейчас же за начальством следовали оба адъютанта. Причисленные к генеральному штабу капитан Шкиль и его родственник, очень милый и скромный поручик. Как мне объяснили, у них Эрдели долго останавливался, скрываясь от

большевиков на Кубани.

Далее ехала Софья Сократовна под охраной есаула Скоробогача, красивого, смуглого брюнета с правильными, словно выточенными из паросского мрамора чертами, с его неизменной тросточкой, которой он заменял израненную ногу. Он был бесподобным по этикету комендантом и оказал мне много приятных услуг, отводя мне всегда чудные квартиры. За нами двигался конвой со своим игрушечным командиром, хорунжим К. на своей миньятюрной лошадке Шутке.

Шкиль – удивительный пессимист. Мне кажется, когда на небе не видно ни тучки, ему все видится ураган: ведь самые опасные грозы разражаются в открытом небе. Ему везде грезятся обходы и охваты… И мне кажется, его пессимизм заражает Эрдели и его молчаливого спутника.

– А вы все время ликуете, – обращается он ко мне.

Но почему же мне быть мрачным? Ведь худшее позади. С оружием в руках, на добром коне, мне все кажется обещающим. Но оптимизм не в природе Эрдели. Он не может удержаться от насмешливой улыбки, глядя на Топоркова, выслужившегося из простого казака до войскового старшины, который на привале репетит своих казаков: «Слезай! Садись! Еще раз!» Его бурятская физиономия ему непонятна, а его бешеная энергия – еще менее того.

Он обращается к Дрейлингу с насмешливой фразой на французском языке. Оба смеются.

А в полках говорят, что, как выражаются в кавалерии, Эрдели потерял сердце.

Чтоб иметь лишний шанс над противником, Эрдели не атакует днем. Всю ночь казаки употребляют на марш и лишь с зарей атакуют неприятеля. Но это не нравится войскам. Ночью, по покрытым лужами и выбоинами проселкам, лошади сматываются скорее, всадники теряют посадку, а под утро и кони, и люди ввязываются в бой усталые, тогда как противник встречает их со свежими силами и с удвоенной энергией.

Дождь, затопивший все кругом глубокими лужами, все дороги, уже перестал; только изредка, где-то в отдалении, вспыхивают еще отблески удаляющейся грозы. Но небо еще покрыто тучами, и ни одна звездочка не показывается на небе. В полном мраке казаки седлают и выводят коней на улицу.

– Ваши лошади уже готовы, – бросает мне на ходу Софья Сократовна, – сама я бегу торопить летучку, дивизия выступает в два часа… – но штаб еще задерживается, пока пройдут главные силы, потом будем их нагонять.

Первые лучи солнца, прорезавшиеся на востоке между

рассеявшихся туч, освещают чудную картину. По дороге, окаймляющей холм, на котором остановились мы, строй за строем, полк за полком движется непрерывная лента конницы. Грозные штандарты, которые колышутся в своих черных чехлах, кажутся молчаливыми свидетелями славного прошлого, оживающего перед нами во всей свежести ярких красок сегодняшнего утра… Шедший в авангарде 1-й Кубанский полк Науменки уже скрылся из глаз, в главных силах движутся отдохнувшие и пополненные до отказа екатеринодарцы и запорожцы, а за ними Султан Килидж Гирей со своими черкесами. В одном только Запорожском полку собралось несколько тысяч всадников, словно выросших из-под земли с уходом красных.

Мне не раз случалось любоваться на Высочайших парадах полками гвардейской кавалерии. Полки за полками, в блестящих формах минувших царствований, сменяли друг друга – то ослепляя золотом кирас и касок, украшенных двуглавым орлом, то чаруя вееры расшитыми венгерками и белыми доломанами гусар, то снежными султанами на головах улан, с пиками и флюгерами, на великолепно подобранных конях, вороных, караковых, рыжих и гнедых, серых в яблоках… Но тут густые ряды закаленных в боях казаков на своих неутомимых конях казались уже не только зрелищем поразительной красоты, а грозной массой закаленных всадников, готовых ринуться на врага по первому зову своего вождя.

С восходом солнца по всему фронту полки уже ввязались в бой. Весь запорожский полк был брошен на Знаменскую, где ожидалось главное сопротивление. Я очутился рядом с Топорковым, который в пылу сражения двигался с передовыми цепями спешенных казаков.

Перед самой околицей мы наткнулись на отчаянное сопротивление. Пули градом сыпались на нас со всех сторон, коноводы прикрывались скирдами хлеба, а пешие застыли на своих местах.

– Куда ты? – грозно крикнул Топорков на своего вестового, тащившего лошадей за ближайшую кучу скошенной пшеницы.

– Я ранен, – отозвался казак. Он указал рукою на сердце и упал мертвый.

Топорков беспокойно завертелся, оглядываясь по сторонам.

– Надо заставить замолчать этот проклятый пулемет, – про говорил он, – иначе без патронов казаки не выдержат…

Мои орудия остались далеко… Скакать за ними было бы бесполезно. К тому же они были почти без снарядов.

– Казаки, за мной! – неожиданно позади меня загремел голос

Беслана. – Вперед, на пулеметы!

Беслан и за ним десяток-другой всадников бросались сквозь кусты. Пулемет замолчал. Все разом кинулись вперед и ворвались в селение.

– Чего бы только я не отдал за чистую рубаху, – твердил Топор ков, полоскаясь в воде и фыркая, как лошадь, пока казак обливал из ведра его тучное, волосатое тело. – Весь завшивел – целых две недели не мылся и не переодевал чистого белья.

У меня в переметных сумах все было при себе, даже смена чистого белья. – Для милого дружка и сережка из ушка.

Надо было видеть, с какой радостью Топорков схватился за рубашку. «Век не забуду», – бормотал он, напяливая ее на себя.

– Как будто маловата? – спросил я его.

– Нет, как раз, как раз, – отвечал он. – Рубашка трещала по всем швам, пока, наконец, как трико, не обольнула весь его жирный торс.

Скоро подъехал Скоробогач.

– Мы остаемся здесь на день или на два, – пояснил он. – По едем, я отвел вам квартиру.

Навстречу нам выскочила целая семья. С самого детства не видел я такой радостной встречи. Все лица казались мне родными, все глаза горели таким огнем, которого уже нигде мне не приходилось наблюдать.

Отовсюду сбежались соседи и знакомые, принося съестное и даже цветы. Нас обнимали, целовали, ласкали, болтали наперерыв. Казалось, что все, и гости, и хозяева, опьянели от восторга или сошли с ума. Недаром я всегда повторял своим квартирьерам: «Не ищите хаты, ищите хозяйку».

В Знаменке я наткнулся на нечто загадочное. В числе тех, кто так искренно радовался нашему появлению, особенно выделялся один пожилой интеллигент, по своей культурности значительно превосходивший всех прочих. Он всегда приходил в сопровождении своего сынишки, прелестного и удивительно симпатичного мальчика лет тринадцати, который нежностью каждой черты своего женоподобного личика, голосом, элегантной манерой причесываться и одеваться – ну, словом, всем своим существом – казался прелестной девочкой-подростком. Он так мило ласкался ко всем нам – я уже успел сформировать себе маленький штаб, – постоянно приносил нам духи, цветы, подобранные с редким вкусом, что невольно зарождался вопрос: не переодетая ли это барышня. Но по глазам этого не могло быть. Мне не раз приходилось угадывать девушку под мундиром вольноопределяющегося; как они ни старались замаскировать свой пол отчетливым отданием чести, курением, резкими звуками

голоса, но по одному взгляду глаз, напоминавшему заискивающие взоры собаки, которая ласкается к своему хозяину, я сразу угадывал истину. Тут, во всяком случае, было нечто иное. Быть может, здесь играла роль наследственность или особенности воспитания, но это осталось тайной и для меня, и для моего адъютанта, бывшего инженера-технолога, прапорщика Холмогорова, и для ординарцев симпатичного гардемарина Панафидина, простодушного Володи, записавшегося к нам вольноопределяющимся, и даже для милого простака Вовы, сынишки директора екатеринодарского банка, приблудившегося к нам в одной из станиц. И ни тогда, ни впоследствии так и не удалось нам раскрыть тайну очарования, которое разливалось вокруг этого загадочного существа.

Свет и тени

Пехота продолжает наступать по железной дороге в направлении Двинская – Екатеринодар[162]. Мы охватываем расположение противника с севера, занимая станицу за станицей. Сейчас мы уже подходим к Новотитаровской.

Наш игрушечный начальник конвоя, хорунжий К., вчера отпросился на фронт, там у него отец и пять братьев. А сегодня я уже встретил его на носилках, бледного, с простреленной ногой. За носилками рысила Шутка, его крошечная лошадка.

– Ну, как ваша рана? Не опасна?

– Слава Богу, кость не тронута.

– Ну вот, поедете домой, отдохнете немного. Порадуете вашу маму!

На околице меня встречает есаул Скоробогач.

– Станица уже очищена. Я подыскал вам чудесную квартиру с прелестной хозяйкой. Эрдели остановился в богатом доме священника, но там целая драма: муж его дочери – командир красного батальона – попался к нам в лапы, и его расстреляли. А ваша квартира немного в стороне, на другом краю площади.

Я со всем своим окружением вваливаюсь в ворота. Навстречу выбегает молоденькая миловидная девушка.

– Заезжайте прямо во двор, – распоряжается она. – Мама готовит вам обед, так я сама устрою всех вас. Если что понадобится, зовите меня, меня зовут Шурой!

С невероятной быстротой она распределяет всех по местам. Молодежь ликует… Только и слышно: «Шурочка здесь? Шурочка, сюда! – Ай да Шурочка – что за молодец!»

– Ах, вот что еще… – Шурочка конфузится и слегка краснеет. – До обеда еще осталось полчаса, так я вам натопила баню, вот здесь. Успеете помыться. А я пока раскину стол под этими деревьями.

За столом Шурочка повествует о всех пережитых приключениях. Чего только не приходилось пережить, скрывая от красных интеллигентов и казаков… Как помогали ей простые, добрые люди!

– Фома – кладбищенский сторож… Вы не представляете себе, сколько народу он спас! Как только здесь становилось опасно, я посылала к нему. И ведь у него огромная семья. Как только он перебивается с нею, я не могу понять… Святая, христианская душа!

После обеда я пошел к Эрдели. В большой, прилично смеблированной горнице за столом сидела красивая дама,

печально слушая генерала, который что-то старался ей внушить. В стороне, с неподвижным выражением на лице, сидел старый священник, настоящий черноморский казак лицом и фигурой. Репин не мог бы пожелать лучшей модели для своих запорожцев, если б этому гиганту сбрить бороду и пустить за ухо оселедец[163]. Но его застывшее лицо было отуманено горем, нависшим над всей семьею…

Когда я вернулся, навстречу выбежала Шурочка. Она отвела меня в сторону и потащила к своей маме.

– Могу я довериться вам? – спросила она, стараясь скрыть свое волнение.

– Говорите! Ведь я ваш гость, вы можете мне довериться вполне.

– У меня здесь раненый… Уже пять дней без перевязки… Он – красный офицер! Совсем молоденький…

Для меня раненый – уже не враг… Я сражаюсь с оружием в руках с вооруженным противником, я не щажу ни себя, ни других. Но лежачего не бьют, я не палач и не убийца! Пусть его судят другие.

– Я позову доктора.

Наш доктор всецело стал на мою точку зрения. Но в армии существует иной, неписаный закон… В ней расстреливают каждого, кто занимал командную должность и был взят с оружием в руках.

Ранее обстановка не давала возможности щадить пленных. Мы сами были окружены со всех сторон. А теперь… теперь мы еще не раз столкнемся с этим проклятым вопросом.

Полчаса спустя Скоробогач принес мне записку.

«Я слыхал, – писал Эрдели, – что вы, как всегда, проводите ваши досуги в милой уютной компании… Я хотел бы просить разрешения Вашей милой хозяйки отдохнуть несколько минут за ее чайным столом».

Нелегко было мягкосердечному и гуманному Эрдели… Он был бы рад душой избавиться от своей роли неумолимого судьи. Мы сейчас же послали ему самое сердечное приглашение.

На другое утро я встретил милую Шурочку в слезах.

– Убили его… Его расстреляли, – говорила она, рыдая.

– Кого?

– Фому… Доброго сердечного Фому… За укрывательство! Он прятал раненых большевиков… У него осталась вдова и восьмеро детей!

Через два дня мы продолжали наступление. Уже в темноту вошли мы в станицу Старо-Мышастовскую; я занял первую попавшуюся пустую хату и пошел в штаб.

Эрдели остановился у приходского священника, занимавшего высокий двухэтажный дом. Сам генерал с начальником штаба заперлись в кабинете, в приемной бегали адъютанты, суетилась попадья с дочкой и сам батюшка, все разодетые по-праздничному, приготовляя роскошный ужин для дорогого гостя.

Для них это был двойной праздник: вернулся молоденький муж их прелестной дочки. Она сияет от восторга – ее милый, который чудом спасся от красных и недели просидел в камышах, – дома!..

Вымытый, одетый в самую блестящую форму, он идет представляться начальнику дивизии.

В штабе я не успел добиться никаких разъяснений. Еще ничего не известно. Дрейлинг и Шкиль мелькают от времени до времени с озабоченными лицами: «Сейчас все заняты».

За дверьми дожидаются мои ординарцы.

– Ну, вот что, – говорю я им. – Там садятся за ужин, а мы пока пойдем погуляем на площади.

На площади никого нет. Только в конце ее, на скамеечке, сидят три барышни. Когда мы проходим обратно, позади нас слышится робкий голос:

– Господин офицер! Господин офицер… Я оборачиваюсь:

– Прикажите?

– Ах, господин офицер! Мы в большом страхе. Тут ходят слухи, что казаки уходят и красные займут станицу. Мы ужасно боимся, мы ведь здесь одни, застряли случайно и не знаем, что делать!

Ах, вот почему у Шкиля была такая озабоченная физиономия! Наверное, опять гром не из тучи…

– Милые барышни, пока вам нечего опасаться. Но, во всяком случае, если вам хочется быть подальше от войск, мы о вас позаботимся. Володя, скажите Мустафе, чтоб он приготовил двуколку, посадите в нее наших барышень и проводите их верхом до Новотитаровки. Скажите милой Шурочке, что я очень прошу поберечь их денек или два, пока им удастся попасть в Екатеринодар.

– Ах, это наша Шурочка? Мы все ее знаем. Как хорошо! Через двадцать минут появляется Володя в полной амуниции, на коне, Мустафа гонит за ним двуколку.

– А ваши вещи?

– Но у нас нет вещей, все с собой! Мы ведь приехали сюда из Екатеринодара налегке, последнее время там было так жутко!

– Ну вот, а теперь попались в наши лапы! Но не беда, Володя вас побережет, а там, у Шурочки, вы у себя дома. Передайте ей горячий привет от всех нас – с Богом, Мустафа!

В штабе ужин еще не окончился. Оставляю там «мичмана», а сам иду домой.

Я не успел еще раздеться, как раздался стук в дверь.

– Мы к вам!

– Заходите, расскажите…

За порогом – Скоробогач под руку с прелестной дочкой священника, в пледе, накинутом сверх ее праздничного платья.

– Заходите, расскажите, чем могу вам служить?

Скоробогач усаживает в кресла мою неожиданную гостью, которая продолжает дрожать, как осиновый лист, а сам отзывает меня в сторону.

– Мы пришли просить для нее вашей защиты, – говорит он мне на ухо. – Иван Егорович отослал ее мужа, как только он показался в дверях, со спешным пакетом в другой отряд. А сам – ведь вы его знаете, он не даст спуску ни одной хорошенькой женщине – повел натиск на эту бедняжку. Отец и мать в панике обратились ко мне.

Куда ж я могу ее спрятать? Оставьте ее, ради Бога, у себя на эту ночь, у вас не посмеют ее искать!

– У меня она будет в полной безопасности, – отвечал я. – Пока я жив, никто не посягнет на ее честь, будь то сам китайский император. Я лягу поперек дверей, а она может устраиваться на моей постели. А как на фронте? Была паника?

– Тайная разведка сообщила, что красные подвели резервы и завтра пойдут в наступление. Оказалось, фальшивая тревога.

Ну, и слава Богу! Значит, можно спать спокойно.

Утром, чем свет, моя перепуганная птичка уже выпорхнула из клетки. Казаки уже выводили коней и становились в ряды. По последним сведениям, противник уже отходит к высотам, за которыми расстилаются прикрывающие город сады…

Peradventure [164]

Скакать вперед – и смерть, и ад,
Вернуться – преступленье…
Чтоб сделал ты, мой сквайр, когда б
Стал графом на мгновенье?

Скотт

На рассвете штаб уже находится на высоте, господствующей над всеми полями, косогорами и лощинами до самых садов, прикрывающих столицу Кубани. Флаг командующего гордо развевается на самой вершине холма, под ним стоит генерал Эрдели и весь его штаб. Конвой притаился у подошвы.

На Великой войне я не представлял себе командира полка иначе, как на охапке соломы, с картой в руках, диктующего распоряжения своим офицерам. Здесь, в кавалерии, в той молниеносной борьбе, где играет роль только глазомер и натиск, где быстрое изменение обстановки требует немедленного решения, где потерянная минута превращает победу в поражение, – дело совершенно иное. Начальник дивизии, командиры полков стоят во весь рост на курганах, которые служат им наблюдательными пунктами, не считаясь с несколькими снарядами, брошенными в их сторону в разгаре боя, и даже пренебрегая свистом пуль. К этому надо привыкнуть.

Но на лице Эрдели видна какая-то неуверенность. Он пристально разглядывает камыши, где залегли спешенные казаки и черкесы, на противоположные гребни, где засели красные, и следит за перестрелкой, то загорающейся, то затухающей вдоль всей линии. Потом подымает бинокль и всматривается в направлении на железную дорогу, где то и дело поднимаются облачки пара маневрирующих паровозов. Вот один из них останавливается и выпускает пару 105-миллиметровых снарядов из дальнобойного орудия.

Эта неопределенность положения меня начинает нервировать.

– Ваше высокопревосходительство! Разрешите мне проехать вперед, взглянуть на мои орудия, разбросанные по фронту.

– Поезжайте, взгляните, что там делается, и потом доложите мне.

Мой конь не нуждается в шпорах. Легкое прикосновение шенкеля – и он уже несется к кургану, на котором виднеется значок Килидж-Гирея.

– Как дела?

– Неважно… Вы видите, против нас массы пехоты при тридцати пулеметах на тачанках. Они засыпают нас пулями… А у нас всего несколько десятков патронов на ружье! Часа два продержимся, а потом…

– Так разве нельзя в шашки? – Можно бы…

– Ну так что же?

– Но ведь Эрдели потерял сердце. Он никогда не решится!

– Я поеду к Топоркову, у него моих два орудия. Посмотрю, что там делается.

– Поезжайте.

Топорков засел в камышах. Невдалеке оба орудия с ничтожным количеством патронов для самообороны. Кругом свищут пули, мой конь шарахается, отмахиваясь от них хвостом, как от шмелей.

Я слезаю и подхожу к Топоркову.

– Как дела?

– Плохо. Казаки не продержатся и двух часов. Видите, как по нас сыпят из пулеметов? А у нас по три патрона на казака.

– А нельзя атаковать?

– Можно бы… Есть тут балочка с крутыми берегами, по ней пустить сотни две – прорвут.

– Так почему же?..

– Да вы видите, весь полк растянут в ниточку… А их тут будет тысяч тридцать.

– А где другие полки?

– В отделе.

Я поскакал обратно к Султану.

– Топорков говорит, у него впереди есть балочка… Сотни две могли бы прорваться во фланг неприятеля.

– Разумеется, если б Эрдели дал свой конвой! Ведь у него полтораста человек, а болтаются они зря.

– Напишите, я сам отвезу ему. Ведь если мы отступим, пехоте не удержать за собой железную дорогу. Мы потеряем Екатеринодар и потеряем все!

– Попробуйте-ка!.. Он никогда не отдаст своих. Может, вы сами скажете ему это…

Уговаривать меня не пришлось. Спустившись с пригорка, я пустил коня полным галопом.

О ужас!.. Наш флаг качается… его снимают. Эрдели уже спустился под горку и садится на лошадь… Они уходят. Конвой

змеится по пыльной дороге. Я лечу в карьер, но догоняю их уже на полпути к станице.

– Что скажете?

Я объясняю обстановку:

– Если мы отступим, противник погонит нас обратно, пехота не удержится, и тогда все пропало. Ваше высокопревосходительство, дайте мне ваш конвой, я сам поведу его по этой балке, мы прорвем неприятеля и обратим поражение в победу!

Эрдели задумался.

– Возьмите эту записку и свезите ее Султану. Конвоя я не дам, пусть сам атакует.

Я поскакал обратно.

Султан завертелся на своем посту, нетерпеливо втягивая воздух.

Вынул книжку и написал приказание.

– Вольноопределяющийся Вадбольская!

– Ваше Сиятельство!

– Отвезите эту записку Топоркову. Пусть выделит из своего полка две сотни и атакует.

Молодая девушка в элегантной черкеске мигом взлетела на коня и помчалась к камышам. Через несколько минут она вернулась:

– Поручение исполнено!

Все мы впились глазами в горизонт. Минуты казались часами…

– Ну вот, когда красные пошли на нас в атаку! – неожиданно прорывается у Килидж-Гирея. – Смотрите…

На неприятельском гребне все поднялось и ощетинилось массами пехоты… Пулеметы грузятся на тачанки… Но вот на их левом фланге показывается столб пыли и из балки вылетают сотни казаков с шашками наголо. Красноармейцы рассыпаются во все стороны.

– На коней садись! – командует Султан. – Скачите, скажите Эрдели…

Я не дослушал остального… Я уже лечу во весь опор, но нагоняю Эрдели только на холме в нескольких сотнях шагов от станицы. Весь штаб уже рассеялся по гребню. Я соскакиваю на скаку и подхожу к генералу.

– Ваше приказание исполнено!

– Ну и что же?

– Противник прорван и в беспорядочном бегстве отходит по всей линии…

Минута молчания. Эрдели, конечно, в восторге, но не хочет

показать этого.

– А вы очень этому рады? – спрашивает он с легкой усмешкой.

– Я в восторге!

– Почему же именно? – Я не ожидал такого странного вопроса. Но я сдерживаюсь и отвечаю в том же тоне.

– Но ведь, ваше превосходительство, обидно было бы отдать большевикам триста красивейших девушек этой станицы!

– Почему же вы думаете, что их наберется так много? – спрашивает он с легкой улыбкой.

– По статистике, ваше высокопревосходительство. Здесь насчитывается до тридцати тысяч жителей, значит, не менее 15–16 тысяч женщин, и среди них, уж конечно, не менее трехсот красавиц призывного возраста.

Какая досада, что Эрдели не задержался на своем командном посту хотя бы еще пяти минут! Он гордо двинулся бы вместе с войсками победителем в отчаянном бою.

Несмотря на все его шалости, я успел искренно полюбить его и был бы счастлив его триумфом…

Эрдели садится на коня и со всей свитой направляется к садам. Встречные ординарцы сообщают о полном расстройстве большевиков, уходящих к Екатеринодару. Пройдя сады, на крыше маленького хуторка, расположенного сейчас же за опушкой, видим Килидж-Гирея и его ординарцев.

– Красные бегут. Они оказывают сопротивление только в Круглой Роще, на крайнем левом фланге. Но туда, – прибавляет он, – уже прорвались казаки 1-го Кубанского полка и рубят задержавшихся там красных матросов.

Но и отсюда виднеются на опушке лесочка дымки рвущихся ручных гранат, отдельные всадники, и в дыму сверкают шашки казаков Науменко.

– А что вы видите в Екатеринодаре? – спрашивает генерал. Султан подымает бинокль и потом со смехом оборачивается к Эрдели.

– Вижу крыши домов, а на крышах барышни машут платочками, приглашают нас к себе. Город наш.

Эрдели хмуро обращается к начальнику штаба:

– Прикажите расседлывать лошадей. Мы ночуем здесь.

В темноте казаки Науменко уже вошли в город. Мы поднялись на рассвете и вошли туда уже с зарей вслед за черкесами и запорожцами. Город был очищен, большевики перешли на левый берег Кубани, но мост остался в наших руках. Как только было отдано распоряжение стать по квартирам, я поскакал разыскивать семью брата Сережи по оставленному мне

Софьей Сократовной адресу.

Навстречу мне выбежала Елизавета Николаевна – я едва узнал ее, так она поседела и сдала. Увидев меня, она зашаталась и упала ко мне на руки. За ней подлетели Мада, за нашу разлуку превратившаяся в цветущую, красавицу, и Леша, ростом и голосом уже, видимо, вышедший из детства.

Бедная Елизавета Николаевна ожидала встретить мужа… Ей сообщили, что в дивизии Эрдели начальником артиллерии генерал Беляев, она была уверена, что это ее Гулинька.

За Кубанью

Ихав казак за Кубань,
Снарядившись, мов той пан,
Кинь жвавый, сам бравый —
Хват не борак.

Песня

Несколько дней в Екатеринодаре прошли как одна минута. Жители, едва очнувшись от красного кошмара, сперва не отдавшие себе отчета в положении, повысыпали на улицу.

– Мне кажется, что сегодня – день Светлого Воскресения, – говорила барышня подруге. – Словно вторая Пасха!

– Это и есть настоящая Пасха: Пасха нашего общего Воскресения… – отвечала ей другая.

Они целовали еще горячие осколки падавших на улицах снарядов…

– Это наши… Они уже близко!

Но многие еще прятались по домам. Они не верили еще в прочность положения.

После парада, на котором генерал Деникин, верхом, со свитой, в сопровождении атамана Филимонова с его исторической булавой в руках, благодарил вошедшие в город войска, офицеры были приглашены на торжественный обед в атаманском дворце; во главе сидел Командующий, напротив него Атаман, а по правую руку Романовский.

Отвечая на приветственный тост Атамана, Деникин выразил уверенность, что за падением красной власти настанет час, когда над всеми нами взовьется русское знамя. Речь его, как всегда сжатая и глубоко прочувствованная, не могла не коснуться сердца каждого русского человека и была встречена взрывом общего восторга. Далее Романовский поднял бокал за сказочную доблесть русского офицера, героя мировой войны, и ныне забывающего себя перед лицом тысячи смертей во имя спасения родной страны.

– Ну, а теперь зарядитесь терпением, – шепнул он мне. – Килидж-Гирей начинает свой тост. Когда-то только он его кончит…

Я успел искренно полюбить Султана за его прямоту и искренность, соединенную со смелостью и благородством природного кавказца. Но когда он начал свою речь, в которой

гостеприимно приглашал нас, как желанных гостей, в селения закубанских горцев, и кончил ее, только совершенно запутавшись в бесконечных периодах и отступлениях, я почувствовал такое утомление, как будто влез на Эльбрус. Да и все мы, казалось, даже забыли, где мы находимся и с какой целью пришли сюда.

Двумя-тремя свободными вечерами я воспользовался, чтоб посетить жену брата. Кроткая Елизавета Николаевна посвятила меня во все свои семейные дела. Лиля Фишер с мужем и новорожденным младенцем, к большому их облегчению, переехала на собственную квартиру; она разыскала раненого брата Колю, скрывавшегося от красных, и он уже вернулся в свою батарею. Дрейлинги тоже уже успели восстановить свой очаг, и мы, через Маду, вошли с ними в контакт.

Я, со своей стороны, не теряя ни минуты, отправил Беслана в Ростов за Алей. Но дождаться ее мне не пришлось. Через пять дней по взятии Екатеринодара мы двинулись – сперва вдоль правого берега Кубани, рассчитывая переправиться в тыл красным, потом, вернувшись в город, продолжая наступление дальше на Белую и Лабу, проходя станицами и аулами весь Закубанский край.

Теперь у нас уже есть фронт и есть тыл. Но мы все еще продолжаем двигаться по тому заветному краю, куда я так стремился в ранней юности и уже потом, когда стал домовитым хозяином хуторка в Красной Поляне. Этот край все еще дышал воспоминаниями Кавказской войны. До самых вечных снегов тянулись его непроходимые леса роскошных древесных пород. Здесь еще ютились прославленные нашими лучшими поэтами геройские черкесские племена, возродившиеся из 60 тысяч уцелевших от поголовного исхода в Турцию 50 лет назад и размножившиеся вновь до 200 тысяч, благодаря мирному процветанию. В постоянном антагонизме со своими соседями, казаками, они остались вернейшими сынами нашей общей матери России; аристократы в душе, они ненавидели толпу и серую демократию. Недаром этот народ носит название, единственное во Вселенной: адыге (благородные).

С ними я встретился уже за Лабою. Мы сидели за обедом, когда, взглянув в окно, я неожиданно заметил нескольких черкесов, возвращающихся из штаба дивизии. Они громко разговаривали между собою, жестикулировали и, видимо, выражали свое отчаяние.

– Что там у них случилось? – спросил я. – Беслан, там, на улице, твои земляки. Приведи их сюда, быть может, я могу помочь им чем-нибудь.

Через несколько минут Беслан вернулся в сопровождении

пяти черкесов. Обменявшись рукопожатиями, я посадил их за стол. Чем могли, угостили наших гостей.

Их дело заключалось в следующем. Ограбленные и измученные большевиками, которые в соседнем ауле[165] перебили много людей и оставили одни изуродованные, даже скальпированные трупы, решили подняться, как один человек, за белое дело.

– У нас много молодежи, – говорили они, – у каждого есть лошадь и шашка. Но красные отобрали у нас ружья, и некому нами командовать. Мы пришли к генералу, просили его офицеров и ружей с патронами. «Разбойники! – закричал он на нас. – Вы не хотите сражаться, а только грабить и воровать…» Теперь мы не знаем, что сказать, когда вернемся… Ведь нам даже не поверят!

– Не огорчайтесь, дорогие! – отвечал я им. – Мы поправим это дело. Ружей, правда, у нас самих в запасе почти нет, патронов еще меньше. Но я дам вам все-таки десяток-другой винтовок с амуницией. Вы молодцы, остальное найдите сами у врагов! А офицеров у меня хоть отбавляй. В трех батареях их более пятисот. Сейчас же вызову желающих, сколько хотите!

Мы расстались искренними друзьями. Офицеры горячо отозвались на мой призыв, один штаб и пять обер-офицеров уехали к ним, и в аулах их носили на руках. Непонятная бестактность Афросимова могла бы обратить во врагов искреннейших друзей нашего дела! Видимо, он сам не отдавал себе отчета в своем поступке, но когда я сообщил ему обо всем, остался очень доволен.

Ничто так не развращает, как война, особенно гражданская. Сами казаки возмущались этим. При мне находилось 12 казаков, которые служили мне конвоем.

– Чем же мы лучше большевиков? – говорили они. – Везде грабежи, насилия… Не дают спуску ни иногородним, ни даже своим!

На многое приходилось смотреть сквозь пальцы. Когда брались предметы первой необходимости, невозможно было протестовать. Тем более, что казаки брали в какой-то особенно мягкой форме, стараясь не делать лишнего зла. Но насилий я не мог терпеть. Четверо казаков, при участии вольноопределяющегося, присланного мне ординарцем от 1-й батареи, изнасиловали трех баб – у одной был грудной младенец. Они прибежали ко мне. У роженицы, вымогая деньги, изрезали грудь кинжалом, и она не могла более кормить ребенка. Я отправил негодяев в полк, к которому они принадлежали, но командир полка ответил мне, что бабы простили им все. Вольноопределяющегося я все-таки приказал выпороть и сказал

ему, чтоб не попадался мне на глаза, иначе застрелю его, как собаку.

– Им-то что? – резюмировала наша хозяйка. – А меня тут, за воротами, встретил казачий разъезд, так я семерым наслаждение дала…

Одно для меня было ясно: командиры полков не могли бы, если б даже пожелали, наказать своих одностаничников, чтоб впоследствии не накликать чумы себе на шею.

За Лабою мы встретили серьезное сопротивление. Начались встречные бои с переменным успехом. Временами казалось, что наш начальник дивизии теряет инициативу. Под Скобелевскими хуторами нам решительно не повезло.

С правого фланга приходили тревожные известия. Наша лава маячила впереди; у подошвы холма, с которого наблюдали мы с Науменко, приютились орудия нашей 3-й батареи. Несколько минут спустя к нам приехал генерал Афросимов с начальником штаба, живым и веселым полковником Баумгартеном и с капитаном Роговым. Мне казалось, что на всех лицах отражалась какая-то неуверенность – результат неосведомленности в обстановке.

Нежданно-негаданно из лесочков на правом фланге одна за другой стали выползать массы кавалерии в походном порядке… Наши?

– Екатеринодарцы!

– Уманцы!

– Запорожцы!

– А вот-то будет штука, если это будут красные! – иронически замечает Баумгартен. – А вот…

И вот полки, вытянувшись в одну линию на всем нашем горизонте, неожиданно поворачивают прямо на нас. Переходят в рысь…

– Красные!

Науменко полетел к своему полку, сконцентрировавшемуся за нашим левым флангом. «Три святителя», как прозвали наш штаб, во мгновение ока смылись с холма. Наша лава растаяла и куда-то исчезла. Красные, развернувшись с расстояния версты в полторы, идут прямо на нас. Батарея сыпет по наступающим беглым огнем, но большая часть снарядов рвется в интервалах между всадниками… В эту минуту ко мне подскакивает Беслан с крынкой топленого молока. Невозможно удержаться от искушения: я пью и одновременно передаю Беслану.

– Скачи скорее, попроси Науменко прислать прикрытие и сразу же веди сюда передки!

Передки уже поданы. От «Корниловского» (1-го Кубанского)

полка отделяется полусотня и медленно, шагом продвигается вперед. Красные уже близко. «Три патрона беглый и на задки. А потом исчезайте». Опорожняю кубышку – мне кажется, никогда я не пил такого чудного молока – и передаю ее Беслану, который уже держит коня наготове… «А теперь, гайда!»

Но я еще раз оглядываюсь на своих. Батарея уже вышла из-под удара. Но два орудия отделяются от нее и отходят вдоль фронта… Неожиданно они снимаются с передков и обдают картечью лаву косым фланговым огнем… Потом снова берутся на задки и отходят за прикрытие, которое, ободренное геройством артиллеристов, выхватив шашки, заслоняет их собою. Мы с Бесланом летим к бугру, на котором уже мелькает красный башлык Рогова и виднеются фигуры Афросимова и Баумгартена.

– На левом фланге полная неудача, – сообщает мне послед ний, – как-то там выцарапалась ваша батарея?

Я лечу туда.

Когда я подъезжаю ко 2-й батарее, уже смеркается.

– Наши, отстреливаясь, все время отходят, – объясняет мне командующий. – А красные уже близко… Вот, смотрите!

В непосредственной близости перед батареей, пользуясь длинной канавой, развернулась неприятельская пехота. Так близко, что слышна неистовая брань красноармейцев, которые заражают воздух своей безбожной руганью.

– А ваше прикрытие?

– У нас нет прикрытия. Мы в прорыве. Ждем приказания сниматься с позиции.

– Я беру ответственность на себя! Дайте несколько залпов на картечь и, под завесой разрывов, снимайтесь с позиции!

* * *

В полной темноте трудно разобраться, где расположились наши части. Противник не наседал. Я поехал в станицу, где мы останавливались накануне в гостеприимном доме дьякона, который встретил нас с распростертыми объятиями. Вслед за мной появились и все мои присные: симпатичнейший поручик Чернышев, Холмогоров, «милейший мичман» Панафидин, Володя, мальчик Вовка, приехавший на двуколке с Мустафой, и все мои конвойцы.

Когда мы уселись за стол, накрытый гостеприимной хозяйкой при деятельном участии обеих ее дочерей, дьякон не знал, как и выразить нам свою радость.

– Вы, генерал, – говорил он, – совсем как Петр Великий! И

все-то ваши приближенные один другого стоят. Что ни человек – золото, и все как одна семья! И с вами у каждого душа нараспашку…

После ужина он вывалил мне все свои домашние секреты. Они с женой бездетны. Этих двух девушек, племянниц жены, они забрали к себе, так как с семьей ее брата неладно и он – иногородний, большевики мобилизовали его и поставили за мельника на реквизированной ими мельнице; и теперь он скрывается под угрозой личной мести. Старшую дочь казаки схватили и выпороли. А младших дьякон вовремя спас и держит за родных. Та, которая постарше, Маруся, действительно была красавица. Идеально сложенная, кровь с молоком, румяная и чернобровая, она сверкала своими большими черными глазами, как алмазами. А когда мы с Чернышевым перед сном вышли во двор, чтоб взглянуть на лошадей, и она показалась в окне в небрежно накинутом платье и с распущенными золотистыми волосами, то нельзя было на нее не залюбоваться.

– Подождите, Маруся, – сказал я ей на прощанье, – держитесь крепко, когда все успокоится, я найду вам красавца жениха! – Она подарила меня благодарным взглядом.

Через несколько месяцев я исполнил свое обещание.

Всяким удобным случаем я пользовался, чтоб поддерживать связь с моей Алей. С каждой оказией я отправлял туда или Беслана или Мустафу, и они привозили мне от нее коротенькие записки. Тотчас по приезде Беслан разыскал для нее комнату в доме Виноградовых, близ самого памятника Императрице Екатерине на Красной улице. Оба – и муж, и жена – казались удивительно милыми и симпатичными людьми. Она тотчас же связалась с семьей брата. Мада забегала к ней постоянно. Забегала и Софья Сократовна, и ее мать, супруга полковника Дрейлинга. Мада вскоре поступила на службу в «Осваг», которым заворачивал талантливый Ульянов, бывший некогда офицером нашего дивизиона в Мухровани.

Здесь я не могу удержаться, чтоб не посвятить несколько строчек нашей общей любимице Маде.

Высокая и стройная, с не совсем правильными, но удивительно миловидными чертами лица, она уже перестала быть девочкой, но целиком сохранила все очарование ребенка. Серьезная в работе, талантливая и одаренная светлой головкой, она с радостной улыбкой встречала все, что только попадалось на ее жизненном пути. Сама она не отдавала себе отчета в том, что поголовно все окружающие повлюблялись в нее: все, все, начиная с флегматичного Дрейлинга. Серьезный Фишер[166] каждый раз, встречаясь с нею, уверял ее, что и в первый день свадьбы он не

любил так своей жены… Теперь Виноградов совершенно потерял голову. Увидя рояль, она с радостью согласилась петь под аккомпанемент его жены (а пела она очень мило) и очаровала всех.

– Я буду петь, – повторяла она, смеясь, – только не смотрите мне в рот. Это меня смущает, я не знаю, куда деться!

Но сама она скользила все время по поверхности. Веселая и беспечная, она везде являлась только на мгновение, чтоб сейчас же снова исчезнуть и отдаться своему делу.

Под конец замужние дамы начали ее бояться. Но она не была опасна никому. Ее час еще не пробил. Как золотая рыбка в аквариуме, она мелькала здесь и там, но нигде не задерживалась ни на минуту…

Врангель[167]

«Девушка! Ты начертала мне образ героя!»[168] – этими пламенными словами отзывается раненый рыцарь на восторженное описание своей спасительницы, отрывистыми фразами рисующей ему подвиги штурмующего замок бойца, под забралом которого скрывается сам Ричард Львиное Сердце.

Но у меня не хватит красок для такого изображения. Еще менее мог бы я решиться проводить параллель между моим героем и прославленными мастерами своего оружия – Густавом-Адольфом, Зейдлицем и Мюратом, хотя в глубине души я ставлю его выше всех прочих, и не только как кавалериста, но и как человека высокого духа и глубокого, разностороннего образования, выказавшего свои таланты во всевозможных случаях жизни. Я ограничиваюсь лишь мимолетными набросками сцен, врезавшихся в мое собственное существование.

– Приехал генерал Врангель, новый начальник дивизии, – встретил меня один из адъютантов штаба. – Бегу за лошадьми для него и для его ординарца. Весь штаб уже разлетелся по позициям.

В голове стола сидели генерал и приехавший с ним молоденький гусарский поручик Гриневич, спешно кончая поданный им завтрак. Чрезвычайно высокий и стройный, с Георгием в петлице и Владимиром на шее, генерал приветливо протянул мне руку. Его энергичное моложавое лицо с коротенькими усами благодаря отсутствию одного из зубов имело какое-то юношеское выражение решительности и в то же время полной уверенности в себе, к которому беззаботное свежее лицо его спутника составляло приятный контраст.

– Очень рад, – повторил он мне, указывая на стул рядом с со бою. – Вы ведь гвардеец? Я не сомневаюсь, что мы не раз встречались на маневрах и во Дворце, ваше лицо мне знакомо.

Воображение живо нарисовало мне стройную фигуру моего собеседника, затянутую в конногвардейский колет и лосины, с длинным палашом и в каске с золотым орлом на голове. Или в блестящей кирасе на вороном коне.

– Я не сомневаюсь в этом, – ответил я. – Но кто же во всей Русской армии не знает вас по вашей знаменитой атаке под Каушеном?

Впоследствии Врангель не раз рассказывал о своей атаке – об этом его расспрашивали все, кто только мог оторвать у него минуту для рассказа. Я хорошо запомнил описание этого сражения в его собственных выражениях. В дальнейшем мне случалось слышать от других кавалеристов, не сумевших создать

себе боевой репутации и называвших его подвиг безумием, упреки в напрасном пролитии крови, так как к полю сражения уже подходила бригада пехоты. Я не верю этому. Во всяком случае, моральное значение этой атаки отразилось не только на участниках боя; оно оказало колоссальное влияние на всю войну, так как выявило беспредельную мощь духа над машиной и навеки прославило имя русской кавалерии.

– Никогда не поверю, – говорил мне уже много лет спустя французский военный агент, – чтоб кавалерия могла атаковать свежие войска! Я сам участвовал в единственной конной атаке, про изведенной на Великой войне моей 1-й кавалерийской дивизией. Лошадь не пойдет на человека с оружием в руках!

Но лошадь чувствует, что делается в сердце всадника. Если сердце всадника не дрогнет, лошадь пойдет в самую пасть ада. Сколько раз приходилось мне видеть потом бешеные атаки кавалерии на нерасстроенные войска! Но для этого надо иметь русское сердце… А для европейца уже не вернутся времена Бородина и Балаклавы.

– Вы со мною? – бросил мне генерал, садясь на поданную ему лошадь.

Мы поскакали на левый фланг. По дороге Врангель здоровался со встречными казаками, которые с удивлением оглядывались на своего нового командира. Впереди маячила лава Уманского полка. Командир поскакал к Врангелю, стараясь объяснить положение, которое было далеко не из блестящих. Но с его появлением казаки повеселели, все лица прояснились, все изменилось во мгновение ока. Начальство сбрасывало с себя сонливость, энергия вливалась в каждого, лава тут и там стала теснить противника. Все пришло в движение. Вдохнув бодрость в уманцев, неутомимый Врангель помчался вдоль фронта к екатеринодарцам, находившимся правее. И там его прибытие переродило всех, тем более что многие его знали по Великой войне. К нему присоединился Науменко, деловой доклад и ясное понимание которого сразу же оценил наш новый начальник. Далее, несмотря на сгущавшийся сумрак, он полетел к запорожцам, и мы вернулись уже с наставшей ночью. Началась иная жизнь.

Штаб ночевал где попало и как попало. С рассветом на коне Врангель летел уже к передовым линиям. Он был везде, его видели всюду. В момент колебания он сам бросался вперед, в минуту успеха он не выдерживал и увлекал других за собою, развивая удачу в победу. В темноту он собирал командиров и часами разбирал с ними маневр. Иногда он врывался ко мне ночью, требуя, чтоб я сопровождал его по незнакомым местам

нашего расположения. Всюду за ним следовал полковник Баумгартен. Оба подошли друг к другу, как шашка к ножнам. Афросимова Врангель не переносил; он послал меня дать ему понять, что дальнейшая его служба в дивизии нежелательна. Мне было крайне неприятно обидеть старика, но Врангель был прав.

– Не думайте, что Врангель будет всегда носить вас на руках, – говорил он мне, прощаясь. – Дойдет и до вас очередь!

Я и сам понимал, что Врангелю важнее всего был общий успех и что он смотрит на своих подчиненных лишь как на случайных помощников. Сейчас он послал меня скомандовать бригадой, но, к счастью, в это время вернулся только что оправившийся от новых ран полковник Топорков, и я с радостью возвратился к своей артиллерии. В станицу Петропавловскую наши части вошли поздно ночью. Рано утром генерал направился туда и был восторженно встречен крестным ходом. Атаман поднес ему постановление о выборе его почетным стариком, а всем чинам штаба – казачьи шашки. Меня в эту минуту не было; встретившись со мною, атаман сердечно извинялся и на следующее же утро явился сам и поднес мне шашку и кинжал с изящной портупеей; все чудесной кумыцкой работы чеканного серебра. А через несколько дней Врангелю подвели кровного кабардинца под черкесским седлом.

Но наш симпатичный начальник штаба уже несколько дней ходил, «свесив нос». Его обычная веселость и жизнерадостность канули в воду… Накануне он провел ночь на груде пшеницы – это было идеальной постелью в нашей походной жизни, но, проснувшись, обнаружил исчезновение обручального кольца, скатившегося с его исхудалого пальца. Все усилия найти его оказались бесплодными.

– Мне грозит огромное семейное несчастие, – повторял он с отчаянием.

Его предчувствия сбылись… Вскоре он заболел тифом и скончался в Екатеринодаре.

Врангель остался один. Это было для него тяжелым лишением.

– Теперь мне приходится работать и за командующего, и за начальника штаба, – говорил он. Но его хватало на все. По-видимому, он не нуждался в отдыхе. Его энергия, казалось, не знала пределов.

Неприятель отошел к станице Михайловской, перед которой, на 12 верст до самой Лабы, тянулась заросшая камышом балка. По сю сторону ее, среди необозримых полей и бахчей, находилось несколько курганов, сохранивших еще старинные татарские названия. Эти холмы – особенно Шамшале-тюбэ – служили нам

превосходными наблюдательными пунктами, но в то же время и эшафотами для командного состава, так как постоянно подвергались жестокому обстрелу со стороны противника.

Фронтальная атака позиции оказалась невозможной. Неприятель обладал невероятным количеством боевых припасов, а мы, не получая ничего с тыла, имели ничтожное количество патронов и еще менее снарядов. Но и противник с фронта не мог атаковать нас, несмотря на значительный перевес в личном составе.

«Мы ничего не можем поделать с ними, – доносило красное командование, – они обладают многочисленной артиллерией, которая парализует все наши попытки». Это происходило благодаря отлично налаженной телефонной связи и тесному содействию артиллерии с войсками. Так как Врангель совершенно не имел телефонов, мы пришли к нему на помощь всем, чем могли. Чтоб помочь патронами, я разослал команды сборщиков во все стороны, но из Екатеринодара не могли нам выслать ничего.

Огромную пользу дивизии оказала случайность. В числе вновь прибывших офицеров неожиданно явились ко мне пятеро кавказских стрелков 2-го полка, того самого, с которым я находился в неразрывной связи в Восточной Пруссии и под Варшавой. Это были Чичинадзе, князь Черкесов, Бржезицкий и еще двое. Мы обнялись, как старые друзья.

– Какими судьбами?!

– Мы узнали в Екатеринодаре, что в 1-й Конной дивизии находится бывший командир нашей несравненной 2-й батареи… Что в тебе души не чает генерал Врангель, что он все делает, чего ты ни попросишь. Здесь у нас готовый кадр, командир полка, помощник, три батальонных… Помоги нам воскресить наш родной 2-й Кавказский стрелковый полк… Я бросился к Врангелю.

– Ваше превосходительство! Находка! При вашей дивизии нет стрелкового полка. А вы видите сами, как это необходимо, чтоб зацепиться за захваченную позицию, чтоб получить твердую точку опоры для маневра кавалерийских масс. Сейчас у меня сидят два полковника и три обер-офицера, закаленные в боях остатки славного полка, в котором я провел столько боев в начале войны. При них несколько старых солдат – это все, что осталось от геройского полка. Разрешите…

– Дайте мне сюда лист белой бумаги, – прервал меня Врангель. – Во всем, что вы делаете, я заранее ставлю свое имя: Врангель, – прибавил он, подписывая бумагу. Я полетел обратно.

– У меня в запасе несколько винтовок и всякой амуниции, –

крикнул я им с порога. – Забирайте все и еще захватите человек тридцать безлошадных казаков и всех пленных красноармейцев. И с Богом, за дело!

Дня через два меня вызвали на улицу. «Смирно, равнение направо! – раздалась команда. – Господа офицеры…» – передо мной стоял целый батальон под командой полковника Чичинадзе, с винтовками и патронными сумками, с холщовыми метрами через плечо. А на левом фланге – повозка красного креста и санитары с длинными шестами от носилок для раненых. Сердце мое дрогнуло, из глаз полились слезы… Не верилось глазам… Казалось, из гроба встали святые тени прошлого…

Полк возродился под названием 1-го Стрелкового полка 1-й Конной дивизии и тотчас по сформировании покрыл себя громкой славой во всех последовавших боях.

Все усилия прорвать фронт под Михайловской оказались тщетными. Заполучив из Екатеринодара автомобиль, Врангель носился в нем с одного фронта на другой, пытаясь нащупать слабую точку в расположении противника. Полезное соединялось с приятным: каждый раз мы возвращались с грузом роскошнейших арбузов – таких я не видал ни до, ни после! Они трещали под руками, пурпурное их содержимое отливало цветами индиго и было покрыто сахаристым налетом… Однако я все-таки предпочел бы рекогносцировку на коне. Однажды мы оказались на волосок от гибели.

Когда мы выехали, солнце уже склонялось за полдень. От Науменко было получено тревожное известие. Врангель полетел туда, захватив в автомобиль меня и одного из штабных. В условленном месте появился Науменко, генерал вскочил на заводную лошадь и, приказав шоферу дожидаться его возвращения, скрылся из виду.

Прошло полчаса, прошел час… Вместо генерала на горизонте показались неприятельские всадники, спустившиеся в лаву. Они идут прямо на нас… а его все еще нет! Мы вылезаем из автомобиля и вынимаем револьверы… Всадники ближе и ближе, всего в полтораста шагах… Наконец, откуда ни возьмись – Врангель. Он бросает поводья казаку, и оба, и казак, и Науменко, исчезают…

Шофер пускает машину в ход. Но вдруг под ней вспыхивает пламя. Шофер бросается под автомобиль и тушит его своей шинелью.

– Ваше превосходительство, садитесь! – Мы занимаем места, машина начинает стучать. Красные же в пятидесяти шагах, но ав томобиль набрал ход, и под градом пуль мы выходим на свободный путь…

Убедившись в невозможности лобовой атаки, Врангель пытается вывести два полка с фланга. Ему удается прорваться до железной дороги, идущей по тылам противника от Курганной на Армавир, но двукратная попытка проникнуть далее не дает результата. Под давлением свыше он не раз пытается прорваться с фронта и снова, уже в самой станице Михайловской, встречает упорное сопротивление.

– Ваше превосходительство! – встречает он меня на другое утро. В разговоре со мной он постоянно пускал в ход это обращение. – Смотрите, какую телеграмму мне накатал Деникин!

Действительно, телеграмма была не из любезных. В ней командующий, мало выбирая выражения, обрушивался на неумелые, по его мнению, действия дивизии в последней атаке.

– Он пишет, что никогда не слыхал, чтоб укрепленные позиции брались в конном строю… Что же он? Всегда служивший в пехоте, он вздумал учить меня кавалерийскому делу?

За предпосылкой Врангель немедленно ставил свой вывод; это была его особенность.

– Поезжайте, голубчик, в Екатеринодар! Скажите им, что если они считают себя вправе учить меня употреблению моего рода оружия, так пусть командуют сами. Вы ведь однополчанин с Романовским, вы старый доброволец. И узнайте у него, долго ли еще продлится мой «калифат»? Объясните ему, что «атаковать во что бы то ни стало», как они настаивают, тройные силы противника, без патронов и снарядов, бесполезно. Не забудьте также о легализации Стрелкового полка – ведь они, как и я сам, мы все время сидим на бобах. Я вам даю carte blanche[169] – делайте все моим именем!

Я душевно обрадовался этой командировке. Наконец-то я увижу, как устроилась моя Аля…

Романовский принял меня очень хорошо.

– Врангель не может обижаться на Антона Ивановича, – отвечал он с улыбкой, – смотрите, какой он накатал ему ответ! Он в долгу не остался.

Ответ действительно был довольно-таки резок. Обиженный Врангель не постеснялся раскрыть полную абсурдность упрека.

– Ну, это дело прошлое, – продолжал Романовский. – А какое у вас составилось мнение о начальнике дивизии?

– Он, по-видимому, затаил убеждение в несерьезности Врангеля.

– Скажу вам прямо, Иван Павлович! – возразил я. – Если Эрдели можно расценивать на восемь баллов, а Афросимова на пятерку, то Врангель заслуживает полных двенадцати. И даже при самой неблагоприятной обстановке не спустится ниже десяти. С

его приездом дивизия переродилась. С рассвета до ночи он на передовых позициях, он не щадит себя в рекогносцировке. Пользуясь необыкновенным ростом и орлиным зрением, он быстро схватывает обстановку и мгновенно принимает решение. Лучшего кавалерийского начальника вы не найдете. Но ведь он останется с нами, не правда ли?

– Эрдели поедет в Грузию. А потом мы дадим ему другое назначение. Врангеля мы вам оставим.

Я был в восторге.

Относительно снарядов я отправился к генералу Неводовскому, вновь назначенному начальнику артиллерии. Он получил это назначение вскоре по занятии нами Екатеринодара, и я познакомился с ним тогда же. Но он ничем не походил на своего отца. Молодящийся и чрезвычайно развязный, он, занимая удобную должность, видимо, пользовался благами своего положения.

Едва я успел изложить наши нужды, как раздался стук в дверь, и на пороге появилась Ольга Александровна – та самая, про которую говорили, что она – спасенная чудом дочь Государя Императора. На ней была элегантная черкеска, которая очень шла к ее стройной фигуре и миловидному личику.

– Можно?

Неводовский извлек из темного угла бутылку шампанского, любезно пододвигая бокалы. Я почувствовал себя лишним и поднялся со стула. «Фронт и тыл, – мелькнуло у меня в голове, – неразлучные спутники и в то же время – заклятые враги!»

Узнав, что Елизавета Николаевна в городе (он знал ее по Константиновскому училищу, где служил в батарее ее мужа), он явился навестить ее. Но вместо слов участия заявил, что, взяв Москву, они тотчас повесят ее мужа и всех, кто служил Троцкому…

Через несколько месяцев он был сменен Илькевичем, которого я знал еще в бригаде, и уехал к Эрдели. Оба как нельзя более подходили друг к другу по вкусам.

Алечку я нашел в самом приятном настроении. Она очень была довольна хозяевами, и здесь, в Екатеринодаре, близко сошлась с Ольгой Михайловной Врангель – я намеренно не пишу «с баронессой Врангель» – люди, подобные ее мужу, не могут иметь титула. Их имя стоит большего.

В короткие минуты свидания мы с Алей забыли все: и прошедшее, и будущее…

Опасная минута

– Come quickly, Montegue, or
I am dead![170]

Shakespeare

12 сентября в тылу нашего расположения появилась неизвестная колонна пехоты, подходившая со стороны Армавира. Врангель лично поскакал туда и выяснил, что это дивизия полковника Дроздовского, которую командование, не уведомив нас, выслало для совместной атаки Михайловской станицы.

Сговорившись с Дроздовским, Врангель снял с позиции свою дивизию и выдвинул ее к левому флангу, где мы заночевали с тем, чтоб с утра обрушиться на противника. Пехота, сменившая наши части, с рассветом должна была атаковать с фронта.

Врангель поднял нас еще до рассвета и сам стал во главе авангарда. Когда мы подошли к железнодорожному полотну, вдали блеснул огонь и показался бронепоезд. Шедшая в авангарде 3-я батарея Романовского, сформированная из отбитых у противника легких орудий, мгновенно вылетела на позицию и с ближней дистанции осыпала бронепоезд гранатами. Видно было простым глазом, как во все стороны летели куски брони и обломки вагонов. Поезд затормозил, дал задний ход и скрылся из виду.

Перейдя болотистый Чамлык, дивизия развернула фронт и стала наступать в тыл противнику. Было около 10 часов. Судя по доносившейся с фронта стрельбе, 3-я дивизия начала атаку. Но находившаяся перед нами цепь стала усиливаться. Слева, от Курганной, наступали новые цепи. Еще левее показалось около полка конницы, угрожавшей отрезать нас от переправы через Чамлык. Мы очутились в бутылке, горлышко которой все время суживалось, а выстрелы со стороны Дроздовского стали затихать…

Врангель бросил в атаку приданный дивизии 2-й Конный полк, ободрив его несколькими словами привета и одобрения. Любо было глядеть на строй доблестных офицеров, равнявших разгоряченных коней. Раздалась команда «шашки вон», и полк лихо двинулся в атаку под прикрытием ураганного огня батареи… Но, когда дым рассеялся, полка уже не было, он исчез куда-то в сторону, а на его месте выросли густые цепи с пулеметами…

Врангель сам вскочил на коня и повел находившиеся в резерве сотни в атаку на шедшую к переправе кавалерию.

– Ваше превосходительство! Разрешите и мне идти с генералом! – раздался позади меня голос нашего «мичмана». – Ради Бога!

Панафидин радостно «поплыл» на своей «У-29», как прозвали его лошадку, у которой морда и хвост возвышались на одном уровне.

Мы с Романовским находились на одном длинном штабеле сена: не обращая внимания на град пуль, он осыпал противника метким огнем.

– Спускайтесь вниз, – сказал он мне, – не стоит умирать нам обоим сразу!

– Надо браться на задки, – отвечал я ему. – Врангеля нет, я пойду к Науменке.

Получив разрешение, я снова полез на штабель. Навстречу мне спускали Романовского с окровавленной головой… Приказав его заместителю дать две очереди беглого огня, я распорядился отводить орудия на Чамлык.

Пули сыпались со всех сторон. Две орудийные лошади опрокинулись, слышно было, как пули стучали об их кости, о металлические части передков. Прислуга работала с невероятной быстротою… Когда они вышли из-под огня, ко мне подошел Панафидин.

– Ну как?

Атака не удалась. Сперва корниловцы пошли хорошо, Врангель скакал впереди. Потом они перешли в рысь… Врангель тоже пошел в рысь… Они перешли в шаг и повернули назад. Врангель остановился, взглянул на уходивших, махнул рукой и поехал за ними…

Перебравшись через Чамлык, Врангель рассыпал спешенных казаков для обороны переправы, а меня послал за конными, группами и поодиночке уходившими в тыл. Возвращаясь, я увидел Романовского, которого везли на лазаретной линейке две сестры. На кургане, на котором находился генерал, сосредоточилось все – и командный персонал, и ординарцы с лошадьми, и сестры с ранеными. Последние держали себя поразительно, перевязывая раненых под орудийным и ружейным огнем.

Когда все пришло в порядок и неприятельский огонь затих, мы с Врангелем отъехали немного в сторону и слезли с лошадей. Он написал записку Дроздовскому и послал ее с конным вестовым.

– Сообщаю ему, что атака снова в два часа, – объяснил он

мне. – И прошу его поддержать.

Я не мог понять его упорства. Все мы измотались до отказа. Зной и убийственная жажда после почти бессонной ночи делали нас бессильными. Язык пересох, руки посинели. Ординарец принес мне немного грязной воды из соседней канавы.

– Что вы делаете? – напал на меня Врангель. – Ведь вы схватите тиф!

К счастью, в час дня пришел ответ от Дроздовского: он не может нас поддержать. Его части потерпели жестокие потери…

В сумерки мы стали отходить на исходные позиции. Врангель был расстроен.

– Я ходил в атаку со всеми полками по очереди, – говорил он с досадой. – Все они оказались несравненно ниже нашей кавалерии. Но я все еще верил в Корниловский полк… Сейчас и они не пошли за мною!

Врангель не совсем был прав в своей оценке. Ни он не понимал – или, вернее, не хотел понять казаков, – ни они его. Каждое оружие годится для присущего ему употребления. Казаки не пошли бы за ним в лоб на батарею, как его эскадрон под Каушеном. После двух-трех подобных атак кавалерийский полк уже сходит со сцены, а казаки привыкли воевать без смены, долгие годы.

Нельзя требовать одинаковой стойкости от казака, кавалериста и пехотинца. Осетинцы давали прекрасные пластунские батальоны, но другие горцы годятся лишь в конном строю. Черкесы, неудержимые в атаке, устойчивы еще менее других под артиллерийским огнем. Со всем этим приходится считаться.

Одно время в моем конвое было 12 черкесов. Как-то раз, когда я бросился выручать два орудия, попавшие в перепалку, они исчезли, как дым…

– Что теперь поделывают мои конвойцы? – не без иронии спросил я, вернувшись.

– Хвалят Магомета, – отвечали мне. Магомет был единственный (за отсутствием Беслана), который не бросил меня. Каждый хорош на своем месте. Нет универсального инструмента!

С течением времени и Врангель и казаки уже вполне применились друг к другу.

На другое утро Врангель взял меня с собою к Дроздовскому, которого он считал виновником своей неудачи. По дороге, со свойственной ему пылкостью, он осыпал его упреками. Дроздовского мы застали в полной прострации. Измученный душевно и физически, он лежал перед своей палаткой; рядом сидел начальник его штаба, полковник Чайковский, а вдали, на

коне, красовался наш старый знакомый «князь Мурат» со взводом конвойцев.

Но у Врангеля, как говорил он мне потом, не хватило духу упрекать своего партнера. Вся приготовленная им филиппика мгновенно испарилась из его головы и превратилась в сердечный разговор. Оба с сокрушением подводили итоги… Торговали, веселились – сторговались, прослезились…

– А это что за фигура в конвое у Дроздовского? – заговорил Врангель на обратном пути. – Какой он князь Мурат? Он был у меня в Нерчинском полку… Это авантюрист, корнет Бровчинский! Я его закатаю, куда следует!

Уже под конец, в Ростове, Врангель исполнил свою угрозу. Он засадил его в тюрьму за присвоение чужого имени. Бывший там комендантом капитан Шкутько, тоже дроздовец, сжалился над легкомысленным молодым человеком и потихоньку выпустил его на свободу. В бытность мою на Кубани я проходил там мимо хутора князя Мурата, но ни о его отце, которого немцы посадили на 12 пик, ни о прочих персонажах его рассказов не слыхал ни слова…

По возвращении к Врангелю вернулась вся его энергия.

– Работа кипит! – приветствовал он меня, когда я проскакал мимо него, разыскивая умиравшего Романовского, героя и отца доблестнейшей 3-й Конной батареи.

Он неподвижно лежал, молча устремив свои голубые глаза перед собою. Рядом с ним, держа его за руку, сидела сестра, другая хлопотала подле.

– Бедный, бедный Моржик! – повторяли они со слезами. Это было нежное имя, которым окрестили за его светлые, в щетку об стриженные усы.

* * *

Дома меня ждал техник, бывший по делам в Екатеринодаре.

– Достали все? Ну, а повидали мою Александру Александровну? Как она?

– Временами приходит в сознание… Но вам надо торопиться!

– Как? Что с нею?

– А вы не знали? Она в злейшей испанке… до 40°… Я помчался к Врангелю.

– Поезжайте немедленно, голубчик! И не возвращайтесь, пока не поправите ее. Я пришлю вам потом кое-какие поручения.

Вот я уже у подъезда… Отворяет хозяйка.

– Осторожнее, чтоб радость не убила ее, – говорит она, – она

очень слаба. Вчера был кризис. Она все бредила вами, наконец, успокоилась… она все время писала что-то на стене, я отобрала у нее карандаш, так она продолжала шпилькой. Она говорила, что это стихи, где она говорит вам о своей любви… Постойте в гостиной, я подготовлю ее… На цыпочках крадусь к дверям…

– Александра Александровна! Приятное известие от вашего мужа.

Затаив дыхание, прислушиваюсь к милым звукам ее нежного голоса.

– Не может быть… Его уже давно нет! Если б он был жив, он был бы уже здесь. Каждый день под окнами раздаются звуки похоронного марша… это несут убитых на кладбище… Письмо запоздало, его уже нет в живых!

– Нет, нет! Его только что видели на вокзале…

– Не верю… это все напрасное утешение…

– Но он уже здесь! Подъезжает к крыльцу… Он уже в дверях! Я врываюсь к ней и бросаюсь перед ней на колени…

– Я здесь! Я с тобой, моя жизнь, моя родная…

– Зайка… Неужели не во сне! – Ее горячие ручки обвивают мою шею. – Ах!.. теперь я буду жива! Теперь ты не дашь мне умереть… – Что только я пережила… Все эти стихи, что я нацарапала на стене, – это тебе! Вчера мне было очень тяжело… и вдруг мне показалось, что стены уже нет, что передо мной открываются ворота, а за ними небо… Но теперь ты со мной… Теперь я буду здорова!

Дни и ночи я проводил подле ее постели, спал под ее кроватью, чтоб не проронить ни одного ее вздоха… Доктор ошибся в диагнозе – у нее оказался тиф. Требовался самый тщательный уход. Но кризис уже миновал, она стала быстро поправляться… Мы были вместе и были счастливы. О будущем не хотелось думать…

Вскоре пришло подробное письмо от Врангеля. Между прочим, он просил меня быть представителем от него и от дивизии на похоронах генерала Алексеева[171]. Эти похороны состоялись 25 сентября. Там я встретился со многими старыми добровольцами. Впереди процессии, с огромным терновым венцом, перевитым розами, стоял высокий молодой офицер. Это был артиллерист когда-то моего гвардейского стрелкового артиллерийского дивизиона, впоследствии бригады, поручик Лавцевич, родной брат той чудной девушки, с которой наши жизненные линии пересеклись впоследствии – и не один только раз.

1 октября я получил от Врангеля другую телеграмму: «В 5:45 утра неприятель оставил позиции под Михайловской. С 6 часов я

преследую его со всей дивизией». Он не упустил ни одной минуты! Вскоре, однако, пришло другое известие, глубоко огорчившее всех, – о потере двух наших орудий и гибели семи офицеров и нескольких солдат, павших геройской смертью при защите своих пушек. Сам Врангель, полковник Топорков и полковник Фок спаслись чудом. Я был вне себя от отчаяния… До сих пор мне всегда удавалось с честью выходить из подобного положения!

Благодаря Богу моя Аля встала, наконец, на ноги. Получив от Врангеля инструкции, я пошел в штаб. Приняв от меня остальные ходатайства, Романовский направил меня к своему помощнику, полковнику Плющевскому – Плющику, также моему бывшему товарищу по бригаде, в поисках начальника штаба. Я изложил ему главные требования.

– Есть у нас трое штабных из кавалерии, – ответил мне Плющик, – да только не знаю, кто из них согласится ехать к Врангелю. Ведь ты знаешь, какая у него репутация… а кому же охота подставлять лоб под пули, когда они здесь и так имеют все!

– Но ведь это – гений! Рядом с ним и бездарность сделает карьеру, как Куропаткин на Скобелеве.

– Ну попробуй! Есть тут Эрн, бывший тверец. Он только что явился из адербейжанской организации вместе с Шатиловым, находится помощником у полковника Трухачева, дежурного генерала. Нелидов, бывший гусар, работает здесь. Третий, совсем молодой капитан… – он порылся и достал его адрес. – Ступай, попытайся!

Проникнув в переднюю дежурного генерала, я постучал в стеклянную дверь, за которой слышался женский смех и звон бокалов. Вышел вестовой. Я сказал ему свое имя.

Минут через пять послышались шаги; пожевывая и вытирая рот салфеткой, показался Эрн.

Много воды утекло с тех пор, как я видел его гимназистом на Казбеке или юным поручиком на квартире брата!

– Ну как ваш батюшка, Тимофей Михайлович? – проговорил он, обнимая и лобзая меня. – Скончался? Царство ему небесное… А Кокочка? В Англии? Ну, слава Богу! А Тимочку зарезали боль шевики?

Он уже не был таким стройным, подтянутым кавалеристом, каким я его видел в последний раз. Очень высокий, он все-таки казался немного тучным.

– А вы по какому делу?

– Я в дивизии Врангеля. Он просил меня достать ему начальника штаба вместо покойного Баумгартена. Он хочет иметь при себе природного кавалериста, который под пулями умеет так

же хорошо рассуждать, как за зеленым столом и, кроме того, не стал бы считать себя умнее своего начальника. Ведь вы лихой кавалерист!

– Но, видите ли, – прервал меня мой собеседник, – я здесь у моего близкого товарища, полковника Трухачева, мы с ним живем душа в душу…

– Но ведь подумайте, какая карьера вас ожидает у Врангеля! Ведь это второй Скобелев! Такие люди рождаются раз в столетие!

– И потом… Я вообще не переношу… крови!

Я невольно взглянул на его новенькие генеральские погоны… «Так зачем же это?» – мелькнуло у меня в голове.

Я пошел к Нелидову. Совсем молодой, Георгиевский кавалер – я видел его на войне… Вот был бы под масть моему орлу!

– Но у меня слишком серьезный взгляд на обязанности начальника штаба, – проговорил он. – До этого я должен покомандовать четыре месяца полком!

– Но ведь под командой Врангеля вы пройдете полный курс лучшей военной академии!

– Но до этого необходимо прокомандовать полком… Третий сразу же огорошил меня заявлением, что едет в Болгарию военным агентом. Да кроме того, страдает малярией, и ему вреден свежий воздух.

– Что же я теперь скажу Врангелю? – говорил я в отчаянии.

– Постой! – отвечал мне Плющик. – Есть у меня еще один, только он «пижос», пеший артиллерист, как мы с тобой. Попросите сюда подполковника Соколовского, – обратился он к адъютанту.

На безрыбьи и рак рыба!

Передо мной – подполковник в небрежно одетой шинели с погонами генерального штаба. Лицо спокойное и серьезное, длинные висячие усы… Слегка ослабевшим голосом я начинаю в четвертый раз свою иеремиаду[172]. Соколовский не дослушал меня.

– Есть у вас повозка? – спросил он. В его серых, несколько сонных глазах я уловил выражение, которое мне сразу же понравилось: выражение твердой воли и ясного понимания. «Ну, этот не подведет и под пулями», – подумал я.

– А куда я могу прислать свой чемодан?

Несмотря на отсутствие главного требования – быть кавалеристом – Врангель остался очень доволен Соколовским… Но зато он жестоко обрушился на моего случайного заместителя – присланного Неводовским полковника Карабанова.

– Как я рад, что вы вернулись, – говорил он мне. – Этот ваш Карабанов – потрясающий артиллерист, – в устах Врангеля это

выражение было почти равносильно смертному приговору, – но я его прямо не выношу!

Зато к маленькому Фоку он был просто неравнодушен.

– Как вы сумели поладить с Врангелем? – спросили его как-то. – Ведь он вдвое выше вас ростом!

– Очень просто, – отвечал Фок, подкручивая свои рыжеватые усы, – я разговариваю с ним, только когда он сидит. А я приподнимаюсь на носки.

За блестящим прорывом на Урупе последовал Ставрополь. Город уже не раз переходил из рук в руки и казался погруженным в мрачное молчание. Он сразу стал тыловым центром, я с трудом нашел себе уголок. Но на какие удобства можно было претендовать? Накануне мы ночевали в большом монастыре под городом. Там же остановилась 1-я батарея. Проходя в келию, отведенную мне заботливой игуменьей, в длинном коридоре, рядышком, отметил и лежащую офицерскую орудийную прислугу – все, как один, заложив карабин под голову вместо подушки… А сколько лишений они уже повидали и сколько еще предстояло им впереди!

Утром на лестнице в помещении штаба я нагнал генерала Деникина и Врангеля. Главнокомандующий разносил какого-то хорунжего, ворвавшегося в лазарет и, несмотря на сопротивление врачей и сестер, перерезавшего там 60 человек красноармейцев. Судя по деревянному выражению его лица, я не сомневаюсь, что это не первый и не последний его подвиг в этом роде…

Мы порядочно задержались в Ставрополе. Пользуясь этим, совершенно неожиданно ко мне примчалась моя Аля. Накануне у нее была баронесса Врангель, они вместе шили ей сестринский передник из подручной материи, так как Ольга Михайловна решила организовать летучку при муже.

– Можно и мне с вами?

– Конечно, разумеется!

Поезд пришел ночью. Царил полный мрак, на улицах никого не было. Ольга Михайловна храбро бежала по глубокому снегу, увлекая свою спутницу за собою. Она хорошо знала дорогу и показала ей мой дом.

Я был несказанно обрадован и удивлен неожиданному появлению моей жены. На другой день мы чудно устроились в большой, удобной квартире у двух гостеприимных сестер.

Два дня спустя пришло письмо от Неводовского:

«К вам едет известная вам Ольга Александровна… Эта легкомысленная девушка хочет поступить в батарею к Колзакову… Ведь вы знаете, что там ее ожидает! Убедительно прошу вас отговорить ее от этого безумия. При сем прилагаю

копию приказа генерала Деникина о недопущении вновь добровольцев женского пола и сестер в войсковые части».

Полчаса спустя явился Колзаков. Мы сидели за ужином, я посадил его рядом с собою.

Через несколько месяцев, пересекая главную лицу вместе с Алей, мы наткнулись на Ольгу Александровну, бежавшую вместе с сестрой.

– Генерал! Узнаете меня? Как я вам нравлюсь в том виде? Лучше, чем в черкеске?

– Какое же сравнение!

Она радостно улыбнулась и помчалась за сестрой.

– Зайка! Да ты у меня совсем от рук отбился, – говорила мне Аля, когда мы остались одни. – Выходит, я отполировала тебя себе на горе. Ишь, как развернулся! Ну, впрочем, не беда, за барышнями можно ухаживать, это не опасно. А за дамами…

– За дамой ведь и ухаживаю только за одной!

– За кем это?

– Да за тобою!

И смех, и грех

Все хорошо, что хорошо кончается.

Поговорка

11 ноября корпус овладел Петровским, но наш штаб остался в Константиновке, за правым флангом 1-й дивизии, верстах в 20 впереди дивизии Казановича под Спицевкой. Мы расположились на краю огромной площади, как раз напротив собора. Между хатой, которую занял Врангель, и той, где устроился со своими, оставалась только узенькая улочка. Радио, летучка, зарядные ящики и обозы расположились по ту сторону в удобных просторных домах.

Когда все устроилось, я пошел за распоряжениями на завтра. У Врангеля шел пир горой, и он пригласил всех нас. Гвоздем ужина была роскошная кулебяка, она прямо таяла во рту. Хозяйка, видимо, лезла из кожи, чтоб как следует попотчевать дорогого гостя и его офицеров. За столом Врангель был необыкновенно интересен. Все жадно прислушивались к каждой его фразе. Соколовский молча сидел рядом с ним. Ольги Михайловны не было, она уезжала в Ставрополь за медикаментами. Остальные были – зеленая молодежь: Гриневич, князь Оболенский, барон Меллер-Закомельский, кубанец князь Голицын.

Мы вернулись домой немного поздно и заснули, как убитые… Проснулись до рассвета… Чу! Выстрел…

Я притаил дыхание… Другой! Так-так-так… – затрещал пулемет. Сомненья нет – атака! В полутемную комнату врывается Мустафа, хватает наши пожитки и исчезает, как призрак. У крыльца Беслан и мои казаки, уже на конях.

– Забыл шашку! – Беслан под градом пуль влезает в хату и выносит мое любимое оружие. Мимо летят повозки, оба наших ящика, обозные… за всеми, вприпрыжку – Вовочка.

– А куда мне?

– Садитесь на эту повозку, Мустафа уже далеко!

– У Врангеля уже никого нет.

– Генерал уже ускакал на лошади начальника штаба, – поясняет хозяйка. – Полковник вылетел, вцепившись за хвост лошади. Никого нету!

Какое счастье, что я раз навсегда приказал своим, чтобы все лошади были поседланы за час до рассвета!

Мы втянулись в переулок. Красные поставили пулеметы на колокольню и шпарили оттуда во всех направлениях. Мне казалось, что стреляли и из домов. Мы шли рысью, в замке, прикрывая скачущие повозки. Видя, что нас нагоняют отдельные казаки, я стал присоединять их к моему конвою.

– Можно и мне с вами?

– Разумеется!

Это был сотник Мамуков из штаба Топоркова с пятью казаками.

– Экая досада! – говорил он. – Не успел захватить френча… Оставил его на стуле – а во френче восемь тысяч целковых!

Чудак забыл кое-что поважнее: красные захватили его жену, работавшую в летучке.

– А меня генерал Врангель послал «прикрывать его отступление» с десятью казаками. А сам полетел к войскам! Так уж разрешите, я к вам, – обращается ко мне неизвестно откуда взявшийся Гриневич, как всегда, беззаботный и жизнерадостный.

– Очень рад! Вот уже у нас целый взвод.

Обозы вышли уже из-под ружейного огня и длинной лентой отходят на Кугульту, где мы ночевали накануне. Красные выпустили было по ним пару снарядов, но когда заметили, что мы развернули цепь спешенных казаков, перенесли огонь на нас. Обозные повеселели, стали гоняться за зайцами…

– Ого, да они совсем здесь слабо держатся, – замечает Гриневич. – Взгляните-ка в бинокль, они гонят повозки в тыл… одна, другая, третья… А ну-ка, зададим им страху параллельным пре следованием!

– Валяйте! Казаки, на коня! Направо, марш! Гриневич, вы в голове, покажите им скрытый путь, вы, Мамуков, – в хвосте, а я со своими – в центре.

По пути я опросил каждого, есть ли у них оружие. У кого не было, я поделился с ними своими «газырями». Последний был офицер.

– Оружие? У меня и руки-то нету, – отвечал он. – Я так, для счету!

Гриневич пошел скрытой балкой, окаймлявшей селение справа. При самом выходе он захватил красного офицера и отобрал у него коня и полевую сумку. Когда хвост миновал околицу, раздалась команда: «Налево марш, шашки вон!»

Перед нами открылась вся панорама. Справа, во всем величии, – вечные снега двуглавого Эльбруса, казавшегося розовым под первыми лучами восходящего солнца. Впереди – все плато, еще подернутое сумраком. По дороге, уходившей вдоль высот, которые тянулись за второй, параллельной балкой,

виднелась вся неприятельская колонна и ряд повозок.

– А где же генерал? – слышится за мной торопливый голос.

– Нешто не видишь? – отвечает другой. – Впереди всех, в белой папахе и башлыке!

– Вперед, казаки! Все ваше, ура! – Кругом, справа, слева, все загремело выстрелами. Казаки привыкли стрелять с коня…

Мой конь вынесся далеко вперед. Пришлось его сдерживать. Повозки катятся во всю прыть, открыв пехоту, ощетинившуюся пулеметами, которые обдают нас ураганом огня, но, по счастью, пули летят через головы. Лишь один казак свалился, его лошадь продолжает скакать с другими. Но идти с фронта на пехоту – безумие.

– Стой, слезай! К пешему бою! – командую я. – Коноводам взять коней!

Вторая балка послужила для нас спасением. Редкая цепь спешилась вдоль гребня и не несет потерь.

Но справа показались шедшие во главе эскадрона. Они брали нас во фланг. Пришлось отскочить.

– По коням, садись! Налево кругом, рысью!

Как только вышли из-под удара, повернули еще и еще… Так ласточки, гоняясь за коршуном, не дают ему покоя… Но вот справа показалась какая-то колонна – сотня с пулеметами. Оказалось – наши пополнения. Но – поздно! Противник уже далеко. Но главное было спасено: брошенное радио отбито, обозы (кроме 35 повозок) ушли спокойно… Завладев местечком, красные начали было рубить раненых – как раз в эту минуту появились мы, как впоследствии рассказывал один из моих офицеров-артиллеристов в Екатеринодаре.

– Я только что получил этот удар по голове, – прибавил он, – как раздался крик: «Казаки!» – и все бросились наутек.

Остановившись «на костях», я сразу же послал донесение Врангелю, а затем вызвал Панафидина и Беслана.

– Скачите во всю прыть в Ставрополь, – сказал я «мичману», – уведомьте баронессу Врангель, что ее муж цел и невредим, а Беслан с первым поездом пусть едет в Екатеринодар к моей жене. До поезда зайдите в лучшую кофейню (вот вам деньги) и опровергайте там слухи о нашей гибели, которые, наверное, предупредят вас. Лично обо мне не упоминайте и в штаб не заходите, генерал сам пришлет донесение. А потом дайте отдохнуть вашей лошадке и потихоньку возвращайтесь к нам.

Моим посланцам посчастливилось: на первой же улице они наткнулись на Ольгу Михайловну, которая бежала узнавать о судьбе мужа.

– Ваш муж жив! – радостно закричал ей издали «мичман». –

Все благополучно!

Несмотря на сопротивление, она потащила обоих в штаб, где все было в панике… Я угадал: часа два назад примчались сюда радиотелеграфисты и не нашли ничего лучшего, как усесться в кафе (там их и застали мои посланцы) и раззвонить обычную в таких случаях информацию: «Все пропало, одни мы остались в живых…»

Ольга Михайловна горячо благодарила милого мичмана за счастливую весть.

– Не знаю, как выразить вам, что я пережила, – говорила она мне впоследствии, – я была вне себя… и вдруг ваш мичман… машет шапкой и кричит мне: «Он жив! Он жив!»…

Но какое счастье, что ее не было в этот день в летучке!..

Когда мы спустились в селение, мы застали уже там два полка под командой своих доблестнейших командиров, есаулов Павличенко и Кравченко.

– Генерал Врангель выслал нас в ваше распоряжение! – отрапортовали они.

Одновременно, в ответ на мое донесение, от него пришло приказание двигаться немедленно на соединение с ним в Петровское. Выслав вперед дозором Гриневича с двумя казаками, я двинулся за ним, а за нами вся бригада.

Когда мы подошли к переправе через Калаус, уже совсем стемнело. Вдруг, совершенно неожиданно, впереди раздался треск пулеметов, и появился Гриневич, летевший, припав к луке, во весь карьер. За ним казак и лошадь другого… всадник прибежал погодя, уже совсем без дыхания…

– Ваше превосходительство, красные! Едва подъехали к мосту, нас окликнули: «Кто идет?» – «1-й Корпус генерала Врангеля!» – «Ах вы, белогвардейцы! Так вас и так!» – Пулеметы затрещали прямо в рожу. Ну и шутник же наш генерал: приглашает на ужин в Петровское, а встречает пулеметами!..

Хорошо, что я выслал дозорных не по кавалерийскому уставу, а на целых пятьсот шагов, по своему артиллерийскому масштабу. Мы успели вовремя принять меры и вернуться в исходное положение.

В селении я уже застал весь штаб, расположившийся на той же самой квартире, откуда он так быстро эвакуировался на заре[173].

Врангель крепко обнял меня, благодаря за все.

– Если б я знал, что вы останетесь, – говорил он, – я бы сам пристроился к вашему флангу… Но некогда было разбираться в обстановке… А все вот этот: «Эх, нечего торопиться, выпьем по рюмочке под кулебяку, а завтра на заре присоединимся к

войскам…» Вот за то и сидит, насупившись: большевики забрали все его пожитки.

Соколовский действительно представлял собою довольно плачевную фигуру, сидя на голой железной кровати.

– У меня негодяи забрали четыре Георгиевских креста и изрубили три пары погон… Спасибо хозяйке, успела запрятать чемодан и узел с бельем. Посмотрим, что мерзавцы мне оставили…

Став во весь рост посреди хаты, он стал разбираться в куче белья.

– Рубашка моя! И в ней мои баронские запонки! Какое счастье – они стоят всего прочего: ведь им 500 лет! Подштанники – он извлек кальсоны невероятной длины – это бесспорно мои!.. А это ваши, Гриневич, видать по размеру. А вот еще рубашка!

Это все, что они оставили Соколовскому. А я очень рад: больше не будет спорить со мною!

Слава Богу! Я ничего не оставил красным: даже сбитый с коня казак остался целешенек. Слетев с лошади, он как тетерев пролетел насквозь все селение и перевел дух, лишь очутившись на нашей исходной позиции. Но в селе уже никого не было. Красные бежали во все лопатки.

Утром мы вернулись в Кугульту, где остановились наши обозы. Временное отсутствие запорожцев и уманцев вынудило нас покинуть Петровское. Особенность этого местечка была такова, что его так же легко было взять, как потерять, так как оно было открыто со всех сторон, и потому несколько раз переходило из рук в руки.

Александрия [174]

Hail to the chief, who in triumph advances! [175]

Scott

С рассветом противник продолжал теснить нас по всему фронту. При полном недостатке патронов положение становилось критическим. Врангель молча шагал взад и вперед по комнате. Неожиданно от Топоркова пришел экстренный пакет: это был перехваченный у красных приказ.

– Смотрите, что они делают! – воскликнул Врангель. – В шесть часов утра они атакуют меня по всему фронту. А у меня нет патронов…

Никогда я не любовался Врангелем так, как в эту минуту. Его решение было мгновенным.

– Я предупрежу их: я сам атакую их в пять часов! Гриневич, Голицын, все адъютанты – сюда с полевыми книжками! Пишите…

Решение было так же мгновенно, как просто и гениально. Войскам приказывалось к пяти часам утра находиться в полной готовности. Дивизии Улагая передать все патроны Топоркову, которому с одной бригадой упорно оборонять Константиновку.

Всем прочим полкам под командой Улагая за час до неприятельской атаки атаковать противника в конном строю…

Эффект поистине получился потрясающий. Неприятель, атакованный на марше, обратился в беспорядочное бегство; наши казаки вновь овладели Петровским.

Врангелю показалось этого мало: пользуясь выдвинутым положением, он, оставив одну дивизию с фронта, со всеми остальными конными полками под командой Топоркова на рассвете атаковал противника, находившегося против корпуса Казановича, с тыла разбил его наголову и захватил массу оружия, артиллерии и боевых припасов, дав Казановичу возможность продвинуться вперед и выровнять общий фронт.

Кроме изумительной быстроты соображения и невероятной выносливости, Врангель обнаружил еще один драгоценный талант: уменье понимать и использовать боевые качества своих непосредственных помощников. Особенно высоко он оценивал порыв и упорство доблестного Топоркова, ясное понимание Науменки, блестящие военные таланты Улагая, выказывавшиеся

временами в полном блеске. Все они были достойными его помощниками, но… гением был лишь один он.

Вскоре после этого, во время нашего отсутствия, мы были в Екатеринодаре, куда Врангель брал меня с собою, Улагай нанес новое поражение противнику.

– Любо-дорого было смотреть на его распоряжения в бою, – говорил мне по возвращении моем Чернышев. – Но все-таки это было уж не то! Так бывало в опере, когда на сцене появляются уже не первоклассные артисты, а их заместители…

Апофеозом таланта Врангеля была его колоссальная победа под Александрией. Новые неудачи Казановича, заставившие его снова отойти на Калаус, вынудили Врангеля, несмотря на крайнее утомление его кавалерии, на отчаянное решение. Оставив Бабиева с корниловским (1-м Кубанским) полком и стрелков Чичинадзе для обороны Петровского, он бросил Топоркова с пятью конными полками и пластунами в тыл противнику в направлении на Александрию.

Накануне, 20 декабря, шли проливные дожди, и все плавало в грязи. Артиллерия отстала по дороге. Только батарея Ермолова, которому посчастливилось положить тела своих горных пушек на подводы, не отстала от своей кавалерии. Пластуны завязали перестрелку, выйдя на фланг противника у Сухой Буйволы, конница следовала далее.

С четырех часов утра к нам присоединился приехавший в поезде Главнокомандующий и только что прибывшие начальники союзнических миссий. После двенадцатичасового марша все выбились из сил, и Врангель оставил их при пластунах, прикрывавших тонущую в грязи артиллерию, а сам поскакал дальше.

Я выбрал им удобное место на глыбе чистого снега, постлав там свою бурку для редких гостей, а сам присоединился к пластунам. Вскоре левее нас загремели выстрелы, послышалась частая стрельба, а затем прискакал Соколовский с приказанием вести наступление на Сухую Буйволу. Уже темнело. Пластуны заняли село, с другой стороны в него вошли части Покровского, действовавшие правее нас. Перед концом дня наша кавалерия уже опрокинула противника, захватив артиллерию и огромные обозы, потонувшие в грязи. Одновременно много пулеметов и пленных было захвачено в Сухой Буйволе. Но к ночи все окончательно сбились с ног и заночевали на позициях.

Врангель, не знавший отдыха, с четырех часов утра поехал в Петровское, где его уже ожидали гости за роскошным ужином. За несколько минут до его прибытия было получено его донесение о полной победе; когда он появился, все поднялись ему навстречу с

бокалами в руках, поздравляя победителя. К. Фуккэ предложил тост за победоносное движение на Москву, генерал Пулль сказал, что еще не считает себя вправе сулить столько, но пока позволит себе удовольствие поднести британские ордена участникам блестящей победы…

Утомленные до отказа, все торопились на ночлег… Невозможно постичь, как мог выдержать Врангель такое напряжение…

При последующей конъюнктуре

Не надейтесь на князей,
на сына человеческого,
в котором нет спасения.

Псалом 145

Успехи следовали за успехами. Казалось, мрак, царивший доселе над нашим несчастным отечеством, уже начинает рассеиваться, что над Россией встает заря возрождения… Мы уже приближаемся к Минеральным Водам. Все войска, действовавшие на Кавказском фронте, объединяются под командой Врангеля.

– Я просил о назначении ко мне начальником штаба генерала Юзефовича, – обращается он ко мне… – Ведь вы его знаете?

Юзефович был вместе со мною в Михайловском артиллерийском училище; он был старше меня на год, и я часто видел его в строю на занятиях. Потом он вышел в конную артиллерию и окончил Академию Генерального штаба. После этого я встретился с ним уже только на фронте, где, после отречения Императора, он командовал 12-й Армией. Когда я приехал в эту армию сдавать дивизион, мои офицеры с ужасом отзывались о его деятельности.

– Здесь командующий армией всецело находится в руках революционного комитета, – говорили они. – Он делает все по их указке, лишь бы сохранить свой пост. Офицеров твердых убеждений арестовывают и расстреливают, а он и пальцем не хочет пошевелить для их спасения.

– Он потрясающий кавалерист, – говорил мне Врангель. – Он удовлетворяет всем моим требованиям. Наконец-то я буду иметь настоящего начальника штаба!

– А Соколовский?

– Разве можно их сравнивать?

Охлаждение к Соколовскому у Врангеля я заметил после одного случая. Когда Казанович поступил под его командование, Врангель, наскучив постоянной необходимостью пролагать ему путь к победе, решился добиться его удаления.

Однажды он позвал меня присутствовать при его разговоре по «Юзу». Казанович горячился, протестовал против доводов Врангеля, который, хладнокровно взвешивая свой слова, постепенно подталкивал его к решению. Наконец, на разговорной ленте появился резкий ответ Казановича, который докладывал,

что он вообще не чувствует себя в силах командовать корпусом и просит о назначении ему заместителя.

– Я добился своего! – торжественно заявил Врангель Соколовскому. – Он подает об увольнении. Он сам напоролся, как медведь на рогатину!

– Вы нехорошо поступили, ваше превосходительство! – отвечал ему тот, не отрываясь от стола. – Казанович храбрый и честный старик, но он считает, что ради одной или двух блестящих побед не следует жертвовать последними кадрами, которые уцелели еще в нашем войске. Вы спровоцировали старика!

Врангель ничего не ответил и молча сел на место. Но с этих пор, я заметил, между ними пробежала кошка…

– Вы считаете, что следует окружать себя лишь безукоризненно порядочными людьми? – продолжал Врангель. – Но среди негодяев есть талантливые люди, только надо уметь их использовать.

– Честные люди не выдадут вас в беде, – возразил я, – а талантов у вас самого хватит на всех. Но негодяй, как змея, рано или поздно покажет вам свое жало.

С этой минуты я почувствовал, что в качестве ближайшего сотрудника Врангеля моя песенка спета…

– Ваше превосходительство, – сказал он мне несколько дней спустя, – я очень огорчен, что мне приходится взять начальником артиллерии армии генерала Макеева. Романовский предложил мне одного из двух: вас или Юзефовича. Я был вынужден согласиться на последнего.

Макеев был товарищ по курсу Юзефовича.

– Но я не могу отказаться от вас совсем, – прибавил он. – Пока что я надеюсь удержать вас на другой роли. У вас колоссальные организационные способности. Не согласитесь ли вы остаться у меня начальником снабжения?

– Это совершенно не в моих вкусах, – отвечал я. – Но ради того, чтоб не разлучаться с вами – в вас я вижу единственного человека, способного спасти дело, – я соглашаюсь.

– Я буду иметь ваше желание в виду при последующей конъюнктуре, – отвечал Врангель. – А пока что зайдите к Юзефовичу, он только что приехал.

Юзефович сидел в салоне, где два длинные стола, накрытые роскошной камчатной скатертью, ожидали Врангеля и его новый штаб. Перед ним стояла бутылка моздокского и недопитый стакан красного вина.

– Очень рад, очень рад, – любезно встретил он меня. – Садитесь, обменяемся мыслями… Наконец-то я чувствую себя

человеком! Представьте себе, целый год я был без должности! Знаете, если б теперь в мои руки попал большевистский банк, первое, что я сделал бы, отсчитал бы себе содержание за все потерянные двенадцать месяцев.

У меня был подобный случай. Но из двух миллионов золотом (а может, там было и больше) я не взял себе ни червонца, а передал все под печатями и замками генералу Деникину.

– Теперь поезжайте, голубчик, в Екатеринодар с экстренным вагоном и приступайте там к формированию снабжения.

– Все, что ни посылает мне Господь, всегда служило мне во благо, – размышлял я, садясь в набитый пассажирами крошечный вагончик, прицепленный к тендеру.

– Генерал! Я видела вас, когда вы гнались за нами под Константиновкой… Вот-вот, казалось мне, вы отобьете меня от красных! – Это была жена Мамукова. Теперь большевики при отступлении оставили ее в тифу, и она снова попала в наши руки…

Дело свое в Екатеринодаре я сделал на «пять». Перед отъездом я распростился со своими офицерами. Никто из них не пожелал оставаться, все ушли в строй: Чернышев и Холмогоров – в свои батареи. Месяца два назад присоединившийся ко мне Ташков – также в одну из батарей 1-го Конного корпуса. Андровичу мы устроили командировку в Константинополь, где жил его отец, «за приобретением пулеметных принадлежностей». Он был послан мною для связи с кавалерией и вернулся обезумевшим от того, что видел.

При нем захватили пленных. К ним подъехал Бабиев.

– Иногородние Кубанской области, шаг вперед! – скомандовал он.

Вышло шестьдесят человек.

– Так это вы – змея, отогретая на казачьей груди? – закричал он. – Покажите им, как рубят казаки!

Несчастных заперли в сарай, и началась рубка…

Андрович вернулся совсем больной. Я боялся, что он сойдет с ума.

Возиться с ним более было мне невозможно.

– Пошлем его нашим представителем в Константинополь! – острил Ташков. Мы так и сделали.

В восемь дней я закончил свои работы. Перед отъездом я снова зашел к моему старому другу и товарищу по корпусу (после 3-го класса он перешел в Пажеский), который занимал ответственный пост начальника снабжения армии.

– Но я не понимаю, – сказал мне «Карабан» (это было прозвище Энгельке в кадетском обиходе), – для кого, собственно

говоря, ты ломаешь копья. Вот, взгляни на эту телеграмму.

«Ходатайствую о назначении начснабом Кавармии лично известного мне генерала Деева – Беляев прекрасный организатор, но не обладает достаточным опытом. Юзефович».

– Я работаю не для себя, – возразил я, возвращая телеграмму. – Я работаю для России…

Мне кажется, меня лихорадило… В ушах звенело: «При последующей конъюнктуре…»

У моих дверей стояло пять черкесов… Это были те самые, которых я обласкал в Темиргоевской.

– Мы привезли вам приговор об избрании вас почетным стари ком Хатажукая и просьбу приехать к нам. Мы готовим тебе встречу и без тебя не хотим возвращаться.

Мы с Алечкой угостили их на славу. Но отъезд пришлось отложить… Черкесы еще не ушли, как я почувствовал себя дурно. Прощаясь с ними, я должен был прислониться к стене, чтоб не упасть. Меня трясло, как в лихорадке. В постели я смерил температуру – 40,5°! Я лишился языка – это был сыпной тиф.

За несколько дней до описываемых мною событий я был бесконечно обрадован неожиданным появлением моего любимого брата Мишуши со всей его семьей. Им удалось своевременно вырваться из Петербурга и провести самые тяжелые моменты революции в Сумах. С уходом немцев они решили двигаться дальше и теперь приехали в Екатеринодар, куда, в сущности, стекалось почти все, что только могло бежать от красного террора.

Я уже давно не видался с ним. Последние события, видимо, сильно подействовали на него, он стал сдавать. Всегда такой спокойный и уравновешенный, он обнаружил повышенную нервность и был подавлен заботами о завтрашнем дне. Близкий товарищ Романовского по бригаде, он не мог добиться от него иного, как назначения в резерв чинов и маленькой комнатки – по счастью, в доме той самой добрейшей вдовы, которая раньше так гостеприимно принимала милого «Моржика» и его офицеров и сохранила с нами самые сердечные отношения. Наташа, такая же кипучая и экспансивная, как всегда, сохранила свою прежнюю энергию, но Люр и Сергун[176], хотя уже подросли, не могли еще служить опорой родителям. С ними приехал только что кончивший Сумской корпус Павлик Кагадеев, сын их гостеприимных хозяев, ставший для них родным членом их семьи. Для нас этот приезд оказался как нельзя более своевременным…

Все, что случилось со мной после моего заболевания, я помню лишь урывками. Временами я впадал в забытье,

временами, на момент, приходил в себя.

– Ты не испугаешься, если мы повезем тебя в больницу… на катафалке? – спросил меня Мишуша.

Но мне все было безразлично – лишь бы скорее…

Вероятно, это был единственный в своем роде выезд.

По углам платформы, вместо ангелов, сидели моя верная жена и мой неоцененный Мишуша. Человек на козлах изо всех сил подгонял клячу, очевидно, привыкшую таскаться на кладбище только шагом. Временами «покойник» приходил в себя и неистово ругал возницу… Наконец, мы очутились у ворот какого-то мрачного здания, меня сняли с катафалка и сразу же опустили в холодную ванну. Только тогда я понял, что происходит со мною.

Потом я снова впал в беспамятство. Временами меня мучил кошмар, я попадал в бездонный колодец… Через меня проходили эвакуируемые войска – пехота, кавалерия, артиллерия… даже санитарная часть. Все оставляли грязные следы на моей кровати… Войска – ну, понимаю… Но даже сестры милосердия! Это уже невыносимо… Потом меня за что-то ругали, клали на чистое белье, но эвакуация начиналась снова.

Однажды, когда я очнулся, в комнате никого не было. Полумрак, в противоположном углу я заметил нечто, что перевернуло всю мою душу. Там стояла низенькая кровать, а на ней лежало родное мое стеганое одеяло с зеленой шелковой покрышкой и на розовом подбое…

Я сделал невероятное усилие и опустился с кровати. Приподнялся на четвереньки и пополз по холодному полу… Снова потерял чувства, но когда отдохнул, пополз снова и, наконец, очутился на заветной кровати и заснул, как убитый, как дитя в объятиях матери…

Меня разбудили крики… Я открыл глаза и увидел своего мучителя с лампой в руках, кругом него стояла толпа людей.

– Что вы делаете! Ведь вы заразите вашу жену! – гремел доктор. Но я ничего не понимал: слова, казалось, не проникали в мою душу. В проблесках сознания я видел перед собою кроткое, покорное личико – кто это был, я не мог бы объяснить. Когда это чудное личико наклонялось надо мною, мне становилось легче. Без него я не на ходил себе места. Теперь это личико находилось рядом с доктором… Он сказал, что это моя жена… Что такое жена?

Наконец, я пришел в сознание. Я узнал, что я уже умирал.

– Осталось только одно, – сказал доктор Кроль, – если ему вспрыснуть дигалену, может быть, он еще выживет.

Моя Аля бросилась разыскивать лекарство по всему городу. Наконец, нашла его в захудалой аптеке. Когда она вернулась, я

лежал уже без пульса.

Дигален подействовал. Я стал поправляться. Моя Аля – теперь я уже узнал, кто был небесным видением, чье присутствие возвращало меня к жизни, – это была она! – она садилась подле меня и приносила мне чудесные мандарины, чистила и клала их мне в рот. Это служило мне жизненным эликсиром! Потом я узнал, что эти мандарины привозились прямо из Турции, из Трапезунда, и стоили по 20 рублей дюжина. А у Али оставалось всего 500. Через несколько дней мне стало гораздо легче. Мучили только паразиты. К моей постели подсел доктор Кроль, спасший мою жизнь.

– Слушайте, генерал, – сказал он, – вы можете понять все, что я говорю?

Я кивнул головой.

– Вы уже на выздоровлении. 70 на 100, что вы уже выскочили. А я… я умру. Вчера я чистил язык вашему умирающему товарищу, генералу Веверну (он раньше меня командовал моей батареей), и он укусил меня за палец. Я знаю, через восемь дней сыпняк, мое сердце хуже вашего. У меня в Батуме осталась дочь… и ни копейки денег. Сделайте все, чтоб доставить ее сюда и не дать ей погибнуть.

– Даю вам слово, доктор…

Я исполнил свое обещание: в день смерти доктора Кроля в газетах появился его некролог, моя благодарность моему спасителю и подписной лист, где я подписал его дочери 500 рублей – это было все, что оставалось у нас с Алей. А профессор Тиханович встретил и устроил осиротевшую девушку… Были эпизоды и в другом роде.

– Зайка! Помнишь нашу старинную знакомую, молодую сибирячку, учившуюся на инженерных курсах?

– Еще бы! Ведь она гостила у нас на Заротной.

– Она здесь, была замужем за доктором, с которым была тогда помолвлена. Теперь он скончался от холеры. Она хотела бы тебя видеть.

Передо мной молодая, цветущая дама. Вся в черном и в слезах…

– Зинаида Васильевна!

– Иван Тимофеевич!

Я совершенно не отдавал себе отчета в своих словах. Не знаю, как у меня вырвалось.

– Не волнуйтесь, мы вас выручим. Аля не могла удержаться от смеха.

– Ну и Зайка! Глаза лихорадочные, на голове повязка с ослиными ушами, а тоже собирается кого-то выручать!

Какое было для меня счастье, когда меня взяли из госпиталя и перевезли в богатую квартиру Аветисова, где, за неимением свободной комнаты, меня рядом с моей Алей поместили в огромном салоне, убранном картинами и портретами. Сам хозяин приходил временами любоваться то на одну, то на другую.

– Смотрите, генерал, – говорил он, – это копия с известной картины «Нильская невеста»! Это эскиз, картина не закончена. А глаза! Взгляните, какие у нее глаза!

Он глядел в кулак, как в подзорную трубку.

– Смотрите так! Она ведь как раз напротив вашей кровати… Видите, какое выражение! В них видна безумная тоска и глубокое отчаяние…

Если б я был там, подле нее, я бы умер, но не отдал ее проклятым чудовищам. Ах, если б милым, чудным Божьим созданиям угрожали только крокодилы! Но чья рука могла бы спасти их в проклятой трясине растления и разврата…

Перед болезнью мы с Мишушей были в госпитале, где поправлялся от тифа Ася, сын моего брата Володи. Он показывал мне письмо, полученное им через руки от отца, оставшегося в Петербурге… «Слышал о твоем замечательном хладнокровии», – писал он своему первенцу…

– Взял бы ты его к себе в адъютанты, – говорил мне Мишуша.

– С радостью! Ведь я давно предлагал ему это. Он сам отказывался.

– Я был глуп тогда, – отвечал мне бедняжка.

Теперь я узнал, что в последний день этот чудный мальчик простудился и скончался, не выдержав новой болезни…

Врангель тоже заболел тифом одновременно со мною. Говорят, его первый вопрос по выздоровлении был:

– Жив ли Беляев?

Мой первый вопрос также был: «Жив ли Врангель?» Узнав, что он находится в Атаманском дворце, я потащился повидать его. Он поднялся прежде времени, ноги ему еще отказывали.

– Теперь меня снова уложили в кровать, – сказал он мне. – Вот вы выдержали и теперь уже на ногах.

Как раз в эту минуту вошли Деникин с Романовским. Врангель разошелся с ними во взглядах. Они настаивали на молниеносном ударе на Москву, он стоял за Царицынское направление. Я не профессор военной истории, но мне кажется, что Врангель с налета имел бы шанс добраться до Москвы, а вся наша война была возможна только с налету. Глубокой государственной основы она не имела и при затяжке была осуждена на крах.

Я еще не успел поправиться, как в Екатеринодаре произошло

событие. Противник в отсутствие Врангеля прорвался на Великокняжескую и стал угрожать Торговой.

Встревоженный слухами, я разыскал моего старого товарища…

Черкесы

Но европейца все вниманье
Народ сей чудный привлекал…

А. С. Пушкин. «Кавказский пленник»

Едва я поднялся с постели, как за мной приехали черкесы, Анчок Шемгоков и один из его товарищей.

– На другой день после того, как мы были у тебя, мы встретили твою жену. Она бежала вся в слезах, таща два тяжелых чемодана. Мы забрали вещи и пошли за ней. «В чем дело?» – «Мой муж умирает от тифа, – отвечала она, отирая слезы, – иду к нему, я уже не хочу покидать его ни на минуту». – «Но ведь эта болезнь за разительна, – возразили мы, – оставьте его с докторами!» – «Но я не брошу его одного, – повторяла она. – Если он умрет, и я умру вместе с ним!» – Знаешь, что теперь говорят наши черкесы? Они говорят, что ты и храбрый, и красивый, и умный, но что твоя жена еще гораздо храбрее, и умнее, и красивее, чем ты.

Проехав станицу Некрасовскую, по дороге с конечной станции мы заночевали в небольшом хуторе, принадлежавшем Анчоку. Было уже поздно, но ко мне подсел старик абадзех и вступил со мною в сердечный разговор.

– Спасибо тебе! – говорил он. – Что ты сделал для Беслана! Ведь он из лучшей фамилии. Что ты сделал для него – сделал для нас.

Старик оказался живой книгой.

– Ведь он родом из Крыма, его предок Едыг прогневал хана, украл три яйца от его любимого кречета. Хан хотел посадить его на кол, так он бежал к черкесам. От него родом князья Едыговы, Беслан последний в его роде.

Во дни молодости хевсуры говорили мне: наш народ совсем не как другие. Ближе всех нам пшавы. Но у нас говорят, что нет на Кавказе благороднее черкесов, они стоят еще выше нас. Я сказал это старику.

– Есть у меня хутор на Красной Поляне, под самой горой Ачишхо. Я не променял бы его ни на какие деньги. Но видит Бог, если б вернулись изгнанные 50 лет назад оттуда черкесы, я с радостью вернул бы им их земли. Не понимаю, как могло

случиться, что великодушный Царь нашей великодушной страны мог изгнать в Турцию полмиллиона абадзехов, шапсугов, бжедугов и убыхов.

– Царь не виноват, – возразил мне старик. – Виноваты мы сами. Когда, вслед за окончанием войны, Государь созвал всех черкесских князей и старшин, я вместе с отцом стоял ближе всех к нему. Тут были переводчики, которые передавали каждое слово, так что все могли слышать.

– Я не могу оставить вас в горах и на побережье, – говорил он. – Наши враги все время стараются высадиться и овладеть берегом. Тем, кто пожелает остаться здесь, я отведу обширные и богатые земли на плоскости… А кто не хочет, пусть уходит в Турцию.

– Государь! – отвечали князья. – Мы от сердца благодарим тебя за твое великодушие. Но наш народ не поверит нам, он скажет, что мы их предали. Все они желают уйти в Турцию.

– Нас осталось всего 60 тысяч, но через 50 лет вот нас уже 200 тысяч. А в Турции сколько было, столько и осталось… Царь не виноват, он хотел нам добра.

Молодая черкешенка подала мне умыть руки, и все мы уселись за кругом низенького стола.

– Теперь ты наш, – говорили мои спутники, – да ты и так совсем наш. И черкеску, и папаху ты носишь совсем, как носили убыхские князья, да и станом и лицом ты совсем, как они. Мы построим тебе дом в Хатажукае, подарим скот, баранов, пару буйволиц, и после войны ты заживешь у нас с твоей красавицей женой.

Встреча, ожидавшая меня в Хатажукае, была еще более сердечная. Мы подкатили на прекрасном экипаже, за которым до селения скакала полусотня джигитов на горячих конях. Нас ожидало все селение, несколько сот всадников, вооруженных с головы до ног. Затем седобородые «хаджи» в своих традиционных чалмах, далее все местные девушки и подростки, каждая с букетом свежих ландышей в руках. Старики поднесли мне чудный раззолоченный кинжал – эмблему моего нового звания – и красивую нагайку – эмблему власти. Затем старшины собрались за длинными столами в общественном доме, и во время обеда, за чашей пива, старики хаджи излили мне все искренние слова благодарности и симпатии.

– Мы, старики, – говорил Шемгоков, отец Анчока, – сказали детям: «У вас, молодых, есть свой почетный старик – Врангель. А этого оставьте нам. Он к нам подошел, и мы с ним не расстанемся».

Вечером я уехал совершенно очарованный гостеприимством и

тонким благородством оказанного мне приема. Теперь все это мне представляется чудным миражом, волшебной картиной прошлого.

Но то, что было, – наше! Его уже никто не отнимет у нас и не исказит. Пока сознание остается в душе – оно ЕСТЬ!

В погоне за призраком

– Это лицо мне знакомо – и этот шрам.
– Его провела эта рука.

Из либретто оперы Мейербера «Гугеноты»

– Ein echter Kauckasier glaube ich?

Этот вопрос относится к неподвижно стоящему у столба с надписью, грозившей смертною казнью всякому, кто не сдаст оружия на ближайшем германском посту.

– Ein Ofzier vermutlich?

– Jawohl.[177]

На кавказце нет никакого отличия, кроме папахи и черкески. Но в его осанке и манерах есть нечто, что заставляет думать, что это офицер и притом природный вояка.

– Очень рад! Майор Гериг венгерской армии. Наверное, мы с вами не впервые встречаемся на войне? Бывали в Галиции? На Карпатах?

– На войне, как на балу, редко встречаются по одному только разу…

– И в Долине?

– Вы служили в 1-м Цесарском? Офицеры у «Альпийских стрелков» всегда красовались перед нами во весь рост, и в цепях, и в атаке.

– Это наша традиция. На Яворнике я получил этот шрам, – он поднял руку к виску.

– А я этот крест, – ответил русский, обнаруживая маленький белый крестик, скрытый в складках черкески. – Давайте руку, – прибавил он искренне. – Мы понимаем друг друга. Вас интересуют наши кавказские клинки, не правда ли?

– О да! Ведь нигде так их не ценят, как на Кавказе и у нас, в Венгрии.

– Хорошо, пойдемте! Если б вы были прусский офицер, я не приглашал бы вас.

В казино, импровизированном из «теплушки», все стены были увешаны клычами, гурдами, волчками, принадлежавшими начальнику эшелона князю Накашидзе и сопровождавшим его офицерам. У венгерца разбежались глаза.

– Ах, если б сюда бутылку хорошего токайского, – бормотал

он, – но все равно, выпьем пару вашего цимлянского за глубокие рыцарские чувства обеих армий!

Опять на рельсах

За время моей болезни меня назначили инспектором артиллерии, которая находилась под командой генерала Кутепова[178]. Я поехал в Ростов являться Врангелю, вступившему в командование армией.

На вокзале ко мне подбежала наша «добрая красавица Маруся», племянница дьякона Темирюевской станицы. Мы встретились, как родные. Ей не хватало билета. Мне все-таки удалось раздобыть его, и, хотя стоя, мы добрались до Тихорецкой. Там она вышла и побежала по темным улицам поселка.

К Кутепову я попал рано утром. Тотчас же я обошел все артиллерийские позиции корпуса, блестяще оборудованные командованием 6-й дивизии, полковником (имя которого я, к сожалению, забыл). Он прекрасно объяснил мне задачи каждой батареи и всевозможные случаи сосредоточения огня. Обо всем я доложил Кутепову, который остался крайне доволен обстоятельным докладом.

Вскоре, однако, весь штаб Кутепова, в том числе и я, был переброшен в Угольный район, где объединил отборные части старой Добровольческой армии, которым было присвоено название 1-го Корпуса. За мной последовал мой конвой, сохраненный мне любезностью моего временного заместителя, генерала Реныва. Но мой Мустафа уже вернулся в первобытное состояние, Вовочка после Минеральных Вод тоже исчез куда-то, а милый «мичман» Панафидин вернулся к своей морской профессии. При мне остались лишь Беслан, Магомет и дюжина казаков.

О своем новом назначении мне не пришлось жалеть. Кутепов относился ко мне с полным доверием, которое возрастало с каждым днем. Подобно Врангелю, он совершенно не мешал моей инициативе, но в то время, как с Врангелем я не знал покоя ни днем, ни ночью, здесь я был окружен полным комфортом, в котором нуждался после болезни.

Штаб следовал за войсками в экстренном поезде. Обедали мы все вместе – генералы, начальник штаба и я, что давало мне возможность поддерживать с ними непрерывную связь. У меня был свой вагон, где помещался я, заведующий артиллерийской частью полковник Хохлов и адъютанты. Лошади и конвой следовали все время за нами в том же составе, так что я мог поддерживать живую связь с войсками. Но они были разбросаны на широком фронте, и это было не так-то легко. Однажды под Змиевым[179] я чуть не поплатился за это. Когда я явился на

находившуюся там на позиции мортирную батарею, маленький отряд, к которому она была придана, находился в полном окружении. Путь на мост был под угрозой полка ГПУ[180], адъютант полковника Ползикова, рекогносцировавший путь, отступая, бесследно исчез, очевидно, попав в плен. Мы с Ползиковым отходим во главе полуроты, прикрывающей орудия. Подойдя к мосту, я обратился к солдатам: «Когда крикну “ура”, бросайтесь все в штыки на мост и тащите за собой орудие». Противник не принял атаки, нам удалось даже захватить адъютанта полка, который сбился с дороги и попал к белым… Уже светало, когда мы очутились по сю сторону реки, я попал как раз к обеду.

– А вы только что ходили в атаку? – удивленно спросил у меня Кутепов. Он узнал об этом от Ползикова. Это ему пришлось по вкусу.

В Изюм мы прибыли рано утром. На улицах никого не было, только продавщица цветов. Когда я приблизился, к ней подошли две молоденькие барышни.

– Какие чудные цветы! Сколько? Три рубля? Ах, как дорого!

– Для вас не будет дорого, – сказал я. Я заплатил старухе и предложил каждой по букету.

– Не стесняйтесь принять это от старого солдата, – сказал я им, – ведь мы уже больше не встретимся.

В Харьков корпус вошел порядочно потрепанный после упорных боев. Общее количество штыков было ничтожно. В батареях оставалось по одному, по два орудия, прочие пришли в негодность, пулеметов почти не было. Заняв город и выдвинувшись на его окраину, мы едва держались.

Но значение этого успеха было колоссально. Мы захватили главный индустриальный центр южного края: Харьковский паровозостроительный завод был первым в России. Кроме того, Харьков являлся первым коренным русским городом, моральное значение его было колоссально. Отсюда можно было дать начало новой России. Население не встретило нас взрывом восторга, оно было слишком подавлено красным террором. Но интеллигентные классы были прекрасно сориентированы и горели чувством истинно русского патриотизма.

Было еще рано. Штаб уже перешел в главный отель города. Я поскакал туда в сопровождении ординарца. Улицы были почти пустынны. Пересекая площадь, я услышал свое имя. Передо мной с корзиной в руках, в простой холщовой рубахе стоял мой товарищ по бригаде Н. М. Энден.

– Какими судьбами?

Немного погодя он зашел ко мне и рассказал свою эпопею.

– У жены здесь имение, мы спаслись там от революции. Крестья не отобрали у нас скот, инвентарь, даже мебель. Но нас не трогали. Когда пришли немцы, я сдал мундир с орденами и явился к не мецкому лейтенанту, командовавшему ротой. Он любезно пришел на помощь, перепорол мужиков и восстановил порядок. Но когда немцы ушли, нам пришлось бежать.

Дня через два генерал Шкуро, явившийся в Харьков с личными делами, очистил двойной номер отеля рядом с Кутеповым и его начальником штаба, и я водворился там. Это дало мне возможность выписать к себе мою жену, тем более что и Кутепов уже вызвал к себе свою супругу. Это были счастливые дни нашей эпопеи. Роскошная комната, чудная огромная постель в прелестной спальне, великолепная приемная и, вдобавок, маленький вестибюль и рядом ванная – все это были такие удобства, о которых давно не приходилось и мечтать. Мы все время получали прекрасный обед и ужин по номинальной цене, и хотя жалованье было ничтожное – всего каких-нибудь 3000 обесцененных рублей, но мы не нуждались ни в чем. Алю привез мой двоюродный племянник Коля Беляев и с ним Ванечка Лисокво, прелестный мальчик; оба они перенесли вместе с покойным Асей все тягости походов, и по его предсмертной просьбе я взял его к себе.

Моя Алечка ликовала, как дитя, – с ее лица не сходила улыбка. Мне она не мешала, но ей было хорошо, потому что мы были вместе и будущее казалось ей безоблачным. А у меня работы были полны руки.

Симпатичный полковник Хохлов сразу же отпросился в одну из формируемых батарей. Но на его место явился бывший адъютант моего отца по казначейской части, милейший полковник Тимашов, добросовестнейший офицер и честнейшей души человек. Он совсем почти оглох, но это не мешало ему отлично идти навстречу всем моим начинаниям. В помощь ему я назначил капитана Колыванова, моего бывшего офицера в 13-м дивизионе. Оба «мальчика» дополняли нашу семью.

Но главным винтом всей машины был поручик Крыжановский, талантливый и знающий инженер-технолог, который уже поставил наш орудийный патронный завод в Таганроге. В качестве представителя Военного ведомства на Паровозостроительном заводе, с помощью 12 других инженеров, призванных прапорщиками, которых он распределил по цехам завода, он энергично взялся за приведение в боевую готовность бронепоездов, броневых автомобилей, орудий, пулеметов и ручного оружия.

– Дорогой генерал! У телефона директор

Паровозостроительного завода, – послышалось однажды из моей телефонной трубки. – Я очень рад служить всем, но наши кредиты совершенно истощены. Когда я могу надеяться на восстановление кредита?

В моем распоряжении не было ни копейки казенных денег. Получить их от снабжения? Смешно и думать об этом. У нас никогда не было снабжения, а только самоснабжение.

– Мы здесь держимся на честном слове. Если большевики снова ворвутся в город, вы знаете, чем они вам заплатят. Если удержимся, я достану кредиты через несколько дней. А пока продолжайте изо всех сил.

Если большевики не войдут в город, я буду повешен за ордера, не авторизованные и не оплаченные никем. Но ожидать достать денег. И ведь их израсходованы миллионы!

Накануне, в дверях у Кутепова, я наткнулся на городского голову.

– Николай Николаевич Салтыков, – отрекомендовался он, – а это моя правая рука, председатель комиссии по сбору пожертвований.

– Соколов, очень приятно!

– Если что-либо вам понадобится, мы к вашим услугам. Вот выход! Лечу в Городское управление.

– Николай Николаевич!

– Чем могу служить?

– Вчера в газетах прочитал, что на банкете в честь генерала Шкуро вы поднесли ему пять миллионов.

Ну не пять, а пятнадцать.

– Боже мой! Но ведь вы бросили их в помойную яму.

– Как так?.. На нужды армии…

– А вы думаете, что он думает о нуждах армии? Он пропьет их, а на остальные накупит себе домов.

Я попал в точку. Шкуро приобрел в Харькове два дома.

– Но ведь Харьков взял не Шкуро, а скромный, молчаливый Кутепов. Он честный человек и не присвоит себе чужого. Может быть, город пожертвует что-либо на нужды его корпуса?

– А снабжение?

– Какое снабжение? Орудия, посланные для ремонта три месяца назад, еще не вернулись, и на них нет надежды. Денег оно никому не посылает, само требует с нас долю из военной добычи. На фронте нет ни одного бронепоезда; орудия и пулеметы в полной негодности. Кадры пополнились в Харькове, но оружия нет. А если красные вой дут город, вы знаете, кто от этого выиграет.

– Но как же вы держитесь?

– Держусь обманом. Даю заказы на Паровозостроительный завод, я задолжал ему уже два миллиона. Работа кипит без передышки, выходят на позиции орудия, пулеметы, исправленное ручное оружие. На днях выпускаем два бронепоезда, несколько броневых машин. Но директор требует денег на восстановление кредита.

– Мы соберем вам восемь миллионов. Завтра же передадим их вам.

– Мик Микыч! Спасибо! Мы, военные, должны больше в этом отношении: пропадут деньги, пропадем и мы сами. Детям надо покупать игрушки – поезда, автомобили, сабли, но не давать им в руки ни двугривенного.

– Как же вы думаете выйти из положения?

– Соберите деньги и созовите рабочий технический комитет. Совместно мы распределим заказы, а они оплатят их. На руки я не могу взять ни копейки, это меня сразу же пустит ко дну.

– Послезавтра к вам явятся представители от всей нашей индустрии.

– Невероятно! – Я вынимаю револьвер из-под подушки и прячу его в кобуру. – Сорвался с виселицы!

Через день ко мне собрались представители города, это были: председатель союза инженеров ректор Университета инженер Тир, инженер Марголин, председатель комиссии по пожертвованиям Соколов, председатель комиссии кооператоров Родзянко и др. – всего восемь человек.

Мы взяли лист бумаги и распределили все наши заказы по заводам. Все фабрики должны были приступить к выполнению заказов как по мановению волшебного жезла, все станки застучали… город проснулся.

– Ты знаешь, – говорил один студент другому у моего подъезда, – с понедельника все становятся за работу! Конец безработицы… Нашелся какой-то генерал Беляев и повернул все вверх дном.

Работа кипела в моей канцелярии. С раннего утра в приемной моих покоев собиралась толпа, она расходилась только на время обеда, когда всем хотелось кушать. Но и за обедом ко мне приходили интимные друзья. В день приходило по 300 человек, адъютанты работали не покладая рук.

Наконец, они написали мне на дверях: «Приемные часы от восьми до двенадцати и от двух до восьми». Я поправил красным карандашом: «Все для фронта! От 8 до 12 и от 12 до 8». Командиры броневиков и бронепоездов врывались ко мне ночью и, не обращая внимания на жену, хватали меня «за косу»:

– Капитан Муромцев! Мой бронепоезд уходит в два часа

ночи!

– Вот ваши бумаги – все готово. С Богом, в час добрый!

– Капитан Харововцев! Ухожу на фронт до рассвета! Ситенко!

– Все готово! С Богом, верю в ваше счастье! – Оба поезда были приведены в готовность в 12 ночи вдали от города.

С радостным чувством я снова бросаюсь на кровать – Харьков уже вне опасности.

– Ваше превосходительство! Ваши захватили массу газетной бумаги, а у нас недостаток, одолжите две кипы! – Времени лишнего нет, я даю ему с подписной бланк.

– У нас восемь, скажите адъютанту, чтоб написал вам ордер на два. Что-то дернуло меня, и я сам побежал в канцелярию.

– Все восемь? – спросил меня удивленно адъютант. Офицер покраснел и замялся.

– Вы нарушили мое доверие, – сказал я ему строго, – вы не получите ничего.

Пристыженный офицер удалился.

Для ускорения я прибегал к любому способу.

– Если у кого просьба интимного характера, прошу немного обождать, а остальных я буду принимать огулом, – говорил я.

– Чем могу вам служить?

– У меня много лишней амуниции, а нет зарядных ящиков.

– А у меня лишние зарядные ящики, а нет амуниции.

– Ну, вот и отлично! Поменяйтесь…

Были и частные посетители. Врывается высокий мужчина с дочкой, цветущей двадцатилетней девушкой. Она бросается ко мне на шею.

– Папка!.. Папка мой крестный! Я протираю глаза.

– Величко!

– Я самый! Ведь когда вы были адъютантом, а я заведовал школой солдатских детей, вы изволили быть крестным моей дочурки. Я узнал вас по подписи на железнодорожном ордере – рука совсем как вашего батюшки, который тогда командовал бригадой.

– Беляев! Я к тебе, услыхал, что ты здесь, и решил проведать тебя, – генерал от артиллерии – наш союзник по ремеслу – Василий Тимофеевич Черемей, мой дорогой командир училища, наш незабвенный «Шнапс».

Мы усадили его обедать и провели полчаса в самом задушевном разговоре.

На лестнице меня окликает высокая полная дама.

– Генерал… Когда я могла бы вас видеть?

– В любое время. И днем, и ночью. Если по частному делу, лучше всего во время обеда, тогда никто уже не побеспокоит.

– Да… Но… может быть, вы выберете минутку посетить меня сами. Я здесь, этажом выше вас, в 45-м номере. У меня дело очень деликатное.

– Хорошо. Попытаюсь забежать к вам в пять часов.

Она задержала меня перед дверью целых 15 минут, я начинал терять терпение.

– Простите, генерал!.. Я только что мылась…

Она усадила меня на стул, а сама села передо мной на низенькую бутаку[181]. Когда я взглянул на нее, мне показалось, что меня кто-то хватил обухом по спине. Пеньюар на ней был совершенно прозрачный, казалось, что на ней совсем ничего нет.

– Чем могу вам служить?

– Ах, генерал!.. Я хотела обратиться к Кутепову, но он такой суровый! К Достовелову… но вы ведь знаете, что за человек ваш начальник штаба… А про вас только и слышно, что вы такой доступный, такой обворожительный. Я хочу поделиться с вами своей заботой! Мой муж служит в интендантстве, мы вместе живем на 10 000 в месяц. Но разве можно жить на это? А на сколько вы живете?.. Как вы можете обходиться с этими деньгами?!

– Но ведь это временно… Завоюем Россию, все будет наше, а пока…

– Вот я решила спекульнуть… У меня несколько ящиков вина в Крыму. Дайте мне литеру на вывоз этого вина!

– Я бы очень рад был помочь вам, но надо искать другой способ. Это было бы противно закону и равносильно казнокрадству.

– Да, но только мне нужно со всеми печатями, с подписью вашей и адъютанта. Иначе я попадусь. Ведь, наверное, и вы нуждаетесь?

– Пока – слава Богу!

– А ваша жена? Ведь ей тоже нужны туалеты. У вас там есть молоденькие адъютантики, они все время увиваются за ней. А мы с мужем, вы знаете, мы большие друзья – но и только. У каждого из нас своя жизнь.

– Знаете, я думаю, я нашел для вас выход. Я формирую два свежих дивизиона под командой милейших молодых командиров Богомолова и Думбадзе. Они все время гонят эшелоны из Крыма, я дам вам письмо, вы можете попросить их провезти в своих теплушках пару ваших ящиков. От этого не пострадает никто.

– Да… Но!.. Заходите ко мне еще раз, может быть, вы надумаете? «Нет, я уже больше сюда не ходок», – подумал я. Я заподозрил, что она большевистская агентша… Но она просто Цирцея! Ее томило превращение мужчин в свиней.

Были и частные посетители.

В числе моих многочисленных посетителей оказались два юных прапорщика.

– Мы инженеры, братья Михайличенко, – заявил один из них, – у нас есть своя машина, старенький, но вполне исправный «фиат». Не возьмете ли нас и с машиной вместе к себе в Управление?

– С удовольствием! Я думаю, у меня вам не на что будет пожаловаться. Но я поставлю вам одно условие: в свободное время можете кататься сколько угодно, даже, без большого шума, катать всяких знатных барышень. Но как только мне понадобится ехать на позицию, машина должна стоять у моих ворот в полной исправности. Так как я знаю ее подлое свойство хромать на все четыре колеса, как только свистнет первая пуля!

– Будьте уверены!

Оба сдержали свое слово. Машина без отказа носилась повсюду, как «летучий голландец».

Она пришлась мне как нельзя более кстати. Прибыли первые англичане, привезшие снабжение, и Кутепов направил ко мне всех артиллеристов. Все они оказались симпатичными ребятами. Во главе их стоял майор Мин, с большими умными глазами и приятной внешностью. Он оказался отличным работником, организовал всех и работал не покладая рук. Я сразу же достал ему на Паровозостроительном заводе прекрасный состав, и он сам доставлял все нужное частям. Для обучения сложной материальной части смогли командировать молодых офицеров. Самый симпатичный лейтенант Джон Кеннеди остался для связи со мною. Это был высокий, красивый молодой шотландец, происходивший из [известного] клана Шотландского побережья, где недалеко от них проживали Эллиоты, предки моей матери, и древнейшие в науке и литературе кланы Дугласов, Скоттов, Гремов и прочих, давших столько героев и рыцарей.

– Но у вас в гербе рука с копьем? – спросил он меня не без беспокойства.

– Нет! У наших над щитом рука с мечом, а под гербом девиз: «Peradventure»[182]. Мы из Minto, Liddesdall [Roubislou].

– Ах, как я рад! – вздохнул он с облегчением. – Вы знаете, про тех идет дурная слава. Мой дед часто говорил мне «they are [bad name]»[183].

– У вас и акцент совсем как наш, и речь.

Я плохо справлялся с разговорным языком, но с литературой я был хорошо знаком, а дед мой передал мне свой акцент, которым говорила в его время вся аристократия.

Молодой шотландец привязался к нам, как к родным. От

меня он буквально не отходил. В свободные минуты он давал уроки языка моей Але, которая с удовольствием пользовалась его услугами. В грамматике они ушли недалеко, но он привил ей чудное произношение благодаря ее музыкальному уху.

– Миссис Александра, у вас нет младшей незамужней сестры? – спросил он однажды. У нее была прелестная сестренка Лида, вылитая статуэтка Греза, но она уже была замужем за полковником Фаддеевым, с которым познакомилась на Красном хуторе, куда приехала к отцу.

– Ах, какая женщина! Моя мать взяла с меня слово, что я не женюсь на русской, – продолжал он. – Но я вижу, нет в мире женщин лучше русских.

Через несколько времени он получил телеграмму из штаба.

– Look men, gineme[184], – говорил он. – Какая обида: они назна чают меня адъютантом к генералу Голману. Это большая честь для меня, но я дорого дал бы, чтоб остаться с вами.

Из его глаз покатились слезы. На прощанье мы крепко расцеловались. Мы стали, как родные.

Англичане привезли массу обмундирования, которое тотчас же было выслано на фронт.

– Вашим людям я не оставил ничего, – отвечал мне Кутепов на мой вопрос. – Вы сумеете достать им сами.

Правду сказать, это меня взорвало. Но выход все-таки нашелся.

– В нейтральной зоне впереди наших позиций находится два вагона с сахаром. У нас есть кампионы. Разрешите…

– Ступайте немедленно и захватите, сколько можно, пока друзья и враги не растащили последнего.

Сахар поделили натурою. Казаки получили по полтора пуда, обер-офицеры – по три, штаб-офицеры – по четыре, а я – пять. Все это было загнано на базаре, а мы все приоделись.

Неожиданно мы с женой получили приглашение на банкет в городском саду. Присутствовали все члены городского самоуправления и масса посторонних. Между последними все старшие офицеры 31-й дивизии, в мирное время стоявшие в Харькове. За столом лились сердечные, искренние речи.

– Наш город высоко оценил вашу работу, – говорил мне Н. Н. Салтыков. – Благодаря вашей кипучей деятельности сотворен ряд чудес. У всех харьковцев на устах ваше имя. Осуществите нашу заветную мечту – один вы сможете это сделать, – воссоздайте из этих офицеров, из наших детей, кадры нашей родной 31-й дивизии. Мы все до одного придем к вам на помощь. И сами ведите ее в бой, в ваших руках она станет основой будущей великой Русской армии; мы вверяем наших граждан в ваши руки

с безграничной верою в вас!

– Я глубоко тронут вашими словами, – отвечал я, – я пойду на все с вами. Но я поставлю будущим командирам полков одно непременное условие. Дисциплина в наших рядах должна быть абсолютна – и для солдат, и для офицеров, и для начальников. За убийства, грабежи и насилия над женщинами должна быть установлена смертная казнь без исключений, как в старом законе. Грабить военную добычу предоставьте одному мне. Но если я присвоил себе хоть что-нибудь и не раздал все тут же частям, то я даю право командирам полков расстрелять меня там же, на том же месте. Пусть это будет первая часть под незапятнанны белым знаменем.

Тут же за столом собрали и подписали мне два миллиона рублей на обмундирование. Я тотчас же просил граждан назначить комиссию для расхода этих денег. И в тот же вечер доложил обо всем Кутепову, который остался всем очень доволен и подал рапорт генералу Май-Маевскому.

По возвращении меня ожидал новый сюрприз. У дверей я нашел огромную афишу: «Завтра утром на Паровозостроительном заводе состоится закладка двух новых бронепоездов, пожертвованных городом: “Город Харьков” – “Генерал Беляев”».

Несмотря на поздний час, я схватил автомобиль и полетел в Университет к профессору Тиру.

Я крепко обнял его в благодарность за высокую честь – ведь никто, даже сам Деникин, не удостоился ничего подобного.

– Но что вы сделали со мной! – прибавил я. – Ведь я стану теперь мишенью со стороны всего начальства.

Он оторопел.

– Вот беда! Мы и не подумали об этом… Что же теперь делать?

– Спросите у Кутепова, пусть сам выберет ему имя. Кутепов назвал мой бронепоезд «На Москву!». Он не рассердился на меня за это.

Вскоре после этого в Харькове появился новый полномочный представитель Великобритании при генерале Деникине генерал Холман. Полный, высокий, типичный англосаксонец, он производил впечатление искреннего друга России и в то же время был сам поражен нашими успехами. «He bras put all his heat in Denicins chase»[185], – говорили мне про него хорошо знавшие его англичане. Ему предлагали второе место, в Индии, но он предпочел остаться на первом в России. Теперь он делает все, чтоб способствовать военному Главнокомандующему справиться со своей задачей.

От подъема харьковской промышленности он был в восторге.

Посетив Паровозостроительный завод, он держал патриотическую речь рабочим, в которой, между прочим, указывал, что приехал разрушить существующее в России мнение о коварстве Альбиона. Речь его переводил я. Рабочие слушали с большим вниманием, но без особого энтузиазма. Узнав о формируемой мной дивизии, он горячо одобрил идею и обещал, со своей стороны, прислать для нее материальную часть… Мы расстались большими друзьями.

Вслед за тем, после блестящего обеда, на котором генерал Май-Маевский поздравил меня с начальником дивизии, он поднял бокал за мои успехи. Я, по указанию Кутепова, повез ходатайство об этом в Ставку лично.

Когда я приехал в Таганрог, меня направили к инспектору стрелковой части, который тотчас же предупредил меня, что начальником дивизии назначен только что прибывший из плена генерал Болховитинов, командовавший ею в начале войны, а начальником штаба – разделивший его судьбу полковник, и это решение генерала Деникина безапелляционно. Это открыло мне глаза на многое. Обидно было за Россию, обидно было за идею, которая могла бы спасти наше дело – а дело уже, казалось, показывало… признания. Но лично для меня и это было во благо. Кто был близок к делу, понимал, что сформировать свежую боевую единицу с традициями, идущими вразрез с установленным порядком, было делом рискованным. На худой конец, ее всячески старались бы пустить в ход там, где катастрофа была неизбежна. Начальником артиллерии фактически я не нес никакой ответственности и рисковал собой лишь в случае гибели общего дела. А мнение об этом я составил себе, едва появился в Таганроге.

Город был забит невероятно разросшимися тыловыми учреждениями. Каждый был занят лишь собой и нисколько не беспокоился об общем успехе. Царивший на верхах оптимизм породил индифференцию. Но еще грознее было другое явление. Весь тыл был охвачен враждебным нам крестьянским движением. Карательные отряды, порка и грабежи без суда, расправы, возвращение озлобленных помещиков в свои гнезда – все это создавало тяжелую атмосферу надвигавшейся катастрофы.

Я вернулся с тяжелым сердцем. Кутепова я уже не застал, штаб перешел в Белгород. Но в Харькове меня ожидал новый сюрприз. От снабжения… Прибыл артиллерийский академик полковник Попов с полномочиями принять от меня все созданное и наладить бюрократический порядок на всех заводах и фабриках, все заказы производить лишь по нарядам и под контролем Главного командования. Все созданное рухнуло, как карточный домик.

Я зашел в штаб дивизии. Два поросшие мхом старика копались в письмах, занимались подсчетом пожертвованных сумм. В полках царила полная растерянность. Приток пополнений прекратился. У офицеров опустились руки.

По пути я встретил Родзянку.

– Что такое случилось? – с недоумением спрашивал он. – Я со брал 250 рублей и понес их вам. В штабе дивизии мне сказали: «Генерала Беляева уже нет, вместо них генерал Болховитинов. А деньги принимаем». – Ну нет, – заявил я, – я собираю только на его имя. Других я не знаю!

Вспомнил я адвоката Шведова.

– Вам 20 000! Этой мой личный взнос.

– Но я уже не у дел!

– Берите все равно. Вам, только вам, другим не верю.

Я передал эти деньги казначею капитану Рыжкову. Перед выступлением из Новороссийска он разыскал меня и вернул их снова мне: «Все развалилось. Эти деньги остались у меня», – сказал он.

Когда поезд прибыл в Харьков, уже было за полночь. Моя Аля, по обыкновению, заперлась на замок, и я безнадежно барабанил в ее двери, когда вдруг отворилась дверь соседнего отеля, где проживал уехавший с Кутеповым начальник штаба, и оттуда высунулась какая-то бритая англезированная физиономия, в толстой фуфайке и новеньких подтяжках и с электрическим фонариком в руке.

– Ваня!

– Кока!

Ну да, это был он самый, Кока Эллиот[186], раненый в Ковно и попавший в плен к немцам, а ныне переводчик в системе английского снабжения в Харькове.

Через несколько минут за дверью показалась и моя Аля, внявшая, наконец, моему барабанству, и мы все трое обменялись последними известиями. Леля[187], старший брат Коки, скончался в Екатеринбурге от тифа. Молодая красавица вдова вышла замуж за англичанина.

О прочих он сам ничего не знал.

– Ну, а ты, Зайка, как тебе съездилось?

– Твое предчувствие сбылось. Наткнулся на Волконских. Только не на Мусю, она с начала войны с мужем во Владивостоке, и не на княгиню. Она живет на хуторе, в семи верстах от Полтавы. А Юру, узнав, что он в морском штабе, я вызвал к телефону. – «Юрий Николаевич?» – «Он самый, кто со мной говорит?» – «И. Т. Беляев, помните “офицерика”, который гостил у вас в Петрозаводске?» – «Ну как же! Как же!»

Из него вышел стройный моряк, флагман-офицер при адмирале. В Белгороде поезд Кутепова уже выходил на Курск. Я явился ему уже там.

– Я думаю, ваше превосходительство, что мне в Добровольной армии уже не стоит оставаться.

– Почему?

– Раз не пожелали дать мне даже дивизии, значит, штаб мне не доверяет. Видно, придется искать счастья у Колчака.

– Но ведь Колчака уже нет!

Для меня это было полным сюрпризом. Значит, сведения Осван об успехах сибирского фронта, о том, что наши разъезды у Нарвских ворот, – все это было запоздалой информацией!

– Все это было, а теперь все покатилось назад. Остались одни мы. А относительно вас я послал представление Деникину о вашем производстве в генерал-лейтенанты.

Молодые офицеры в штабе разъяснили мне все. Прикрываясь, красным удалось сформировать ряд дисциплинарных дивизий и восстановить порядок в тылу. Теперь, ликвидировав северный фронт, отбившись от сибиряков и от Юденича, они смогли все бросить на нас. А пока… Будем веселиться и радоваться, как многие, только что вернувшиеся на просмоленную сковороду.

Город был забит тылами. Мне удалось найти маленькую комнату в хорошей квартире в еврейской семье. Там моему появлению были очень рады.

– Вы знаете, господин генерал! Чего мы только не повидали… Каждый день ходят мимо с криками «Бей жидов, спасай Россию». Явились к нам. Один солдат положил на стол ручную гранату.

– Кладите сюда все золото, что есть, – сказал другой.

– А ложки и серебро? – спрашивала Роза. Она совсем спятила от страха.

– И серебро, какое есть! – отвечал третий.

– А ведь мы спасали от красных офицеров!

Это была правда. У них скрывался мой капитан Колыванов. Он и нашел мне эту квартиру.

Сказать правду, мне было у них удивительно хорошо. За обедом и отец, и мать, и обе дочери все время объяснялись мне в любви. Не знали, чем угодить даже…

Когда я исчезал, по возвращении находил обеих фей у меня в комнате за работой: мыли пол, меняли гардины, смахивали пыль со стола. Раз мы со всем штабом взяли билеты и пошли в театр имени Кеннеди, который уже осенью стал русский. Я вернулся поздно ночью. Со страхом и трепетом стучу в дверь. Сразу же слышу чьи-то легкие шажки, отворяет Роза.

– А я вам оставила ужин. – Бедняжка ждала меня до часу

ночи, накормила до отвала и счастливая побежала к матери.

Не успел я улечься, как затрещал телефон.

– Приехала ваша тетя вместе с Лидой Давыдовой, – говорит мне Дивов, адъютант Кутепова. – Вы пойдете встретить ее?

Теперь уж мы прямо загуляли. Можно было думать, что кончилась война.

…Никто, кроме краснокожих детей пустыни…

Как военнослужащий, накануне и в разгаре войны я не мог выступать в печати иначе, как в исключительных случаях. Официально назначенный руководить переселением русских, в деликатных условиях местной политической игры я был вынужден к величайшей осторожности даже в выражениях, чтоб не погубить дело в зародыше. Все это прекрасно знали заинтересованные лица.

Вызванный мною к жизни в Париже Комитет под председательством донского атамана А. П. Богаевского, при участии моего брата[188] и парагвайского консула Ла Пьера, уступил место коммерческим организациям, так как консулу был дан соответствующий приказ вследствие перенесения центра переселения в Варшаву, откуда эмигранты посылались польским «Буро» на спекулятивных условиях, закрепощенные по заключенному здесь контракту[189].

Насильственная остановка дела в Париже вызвала катастрофу бывшего главной пружиной переселения Н. С. Горбачева, которого непосредственное обращение к министру иностранных дел в первый год войны и вынудило последнего поручить мне дело русского переселения. Горбачев мгновенно погрузился в долги, и лишь решительное вмешательство оставшихся со смертью генерала Богаевского членов Комитета сумело ликвидировать их. Но яростная полемика, избравшая его своей жертвой, не оставила его в покое и в дальнейшем, и сотни тысяч русских читателей «Последних новостей» и пр. литературы, поддержанные авторитетом исключительной по составу комиссии – Секретаря Нансеновского комитета Стогова и Аксентьева, задержавшихся во Франции, всецело обязаны им всеми теми ужасами, которые «неожиданно» появились[190]. Но памятником самоотверженного дела здесь остались тысячи русских интеллигентов, частью устроившихся в Парагвае или рассыпавшихся по Аргентине, Уругваю и Бразилии, и 20 тысяч крестьян, нашедших здесь спасение от польского ига, не считая тысяч других, застрявших в иных краях. Поля пшеницы, хлопчатника, мака, льна, изобилие домашней худобы и сотни русских домов и хуторов свидетельствуют, что их тяжелый труд не остался [напрасным], и от этих людей я не слышал иного слова, кроме слов искреннего привета и благодарности. Эти простые русские слова заставляют меня забывать и до сих пор все

пережитые лишения и труды.

Библейские сказания поминают праотца Ноя, в семи душах своей семьи спасшего человечество от потопа. Еще более бескорыстный и великодушный в индейских преданиях, он спасает со второй женою своею погибавших в волнах младенцев. Ясно предвидя будущее, я сделал все, чтоб открыть путь к спасению всем русским, не делая различий ни для семитов, ни для сынов Хама… И если спасены только тысячи и десятки тысяч, а не миллионы, кто вправе обвинить меня в неудаче?! И тогда пускай упрекнут меня те, кто сами, бескорыстно служа другим, сделали дело лучше меня и исполнили свой долг перед Матерью Россией за дедовскую кровь, текущую в их жилах, за материнские заботы, давшие им воспитание, за Царскую науку, сделавшую их полезными даже в чужих краях, за честь сражения под ее знаменами, за честь водить на смерть ее чудо-богатырей. А те, кто понял всю славную, но тяжелую трагедию сына своей Родины, пусть простят меня, что в последний час, под гром орудий, бомбардирующих Париж, заговорил, наконец, Парагвайский Сфинкс.

Послесловие Д. Беляева

Парагвай, самое сердце Латинской Америки. Мы переплываем одноименную реку Парагвай на военном катере в сопровождении местного сенатора Мигеля Сагиера и почетного консула России в Парагвае Игоря Анатольевича Флейшера-Шевелева. Еще мгновение, и мы ступаем ногами на землю, где установлен необычный памятник Ивану Тимофеевичу Беляеву – царскому генералу, национальному герою Республики Парагвай, младшему брату моего прапрадеда.

Что в этом памятнике необычного? Бюст генерала Беляева установлен на пирамидальных сваях, так как с начала 70-х годов XX века река Парагвай имеет обыкновение выходить из берегов, заливая этот участок земли. Памятник установлен на земле, которая носит название Чако. В переводе с индейского языка гуарани Чако значит «охотное поле». Это территория размером с четверть Франции. Населена преимущественно индейцами из-за трудных условий проживания. Именно из-за нее в далекие 1932–1935 годы здесь развернулась самая кровавая на Южно-Американском континенте война в XX веке – между Парагваем и Боливией. Как суверенное государство Парагвай давно бы уже перестал существовать, если бы не… русские офицеры, которых Иван Тимофеевич призвал сюда для реализации «Русского очага». Наблюдая падение нравов в братоубийственной Гражданской войне, он хотел создать общество русских людей, которые должны были бы сохранить в себе русскость для будущих поколений. Вот что писал сам автор мемуаров об этом: «Я мечтаю об одном. В море продажного разврата и растления я надеюсь найти горсть героев, способных сохранить и возрастить те качества, которыми создалась и стояла Русь. Я верю, что эта закваска сохранит в себе здоровые начала для будущего».

В далекую латиноамериканскую страну стали прибывать разочарованные в европейском «радушии» бывшие подданные Российской империи. В Парагвае им предоставлялись достойные условия труда.

Так, например, офицеры сохраняли за собой воинское звание, а жалование у первых прибывших специалистов было примерно таким же, как и у депутата местного парламента. Конечно, после того как русские генералы еле-еле могли сводить концы с концами в Париже, Республика Парагвай, действительно, виделась им спасением. Многие из них внесли достойный вклад в развитие своей второй Родины. Так, например, в декабре 1933 года в Парагвай прибыл Степан Леонтьевич Высоколян. Во время

Чакской войны он прошел путь от майора до бригадного генерала (генерал-лейтенанта), приняв на себя управление всей артиллерией страны. После войны он возглавлял в Асунсьонском университете кафедры физико-математических и экономических наук. Примеров тому, как русские люди послужили принявшей их стране, множество.

Почему началась Чакская война? В мировой политике все достаточно банально. Американская нефтяная компания Standart Oil, принадлежащая Рокфеллерам, провела геологическую разведку области Чако, которая находится между Парагваем, Бразилией, Боливией и Аргентиной. В результате геологоразведки в ней были найдены залежи нефти. В связи с этим боливийское правительство получило кредитную линию (прямо от американцев – тогда МВФ еще не было) на закупку американского же вооружения. Руководить боливийской армией были приглашены… немецкие офицеры. Главнокомандующим боливийской армией был немецкий генерал Ганс Кундт. Был среди офицерского состава и Эрнст Рэм (глава штурмовых отрядов СА, ближайший соратник Гитлера, который был убит по его приказу в «ночь длинных ножей» в 1934 году). Согласно Версальскому мирному договору 1919 года Германии запрещалось иметь авиацию, танки, тяжелую артиллерию. В 1932 году примерно 200 немецким высшим офицерам предоставили возможность получить опыт ведения войны на американские деньги американским же оружием. Как раз тем, которое было для них запрещено. К этому добавлялись огнеметы и пулеметы с водяным охлаждением. Парагвайская армия была вооружена куда беднее: танков не было вовсе, самолет был всего один. Однако выдержка и смекалка русских офицеров в корне изменили запланированный агрессорами ход войны.

Победа парагвайцев под предводительством русских стала возможной благодаря суворовской «Науке побеждать», которую генерал Беляев знал еще с детства. Прадед Ивана Тимофеевича, Леонтий Федорович Трефурт, был адъютантом Александра Васильевича Суворова и сопровождал его в легендарном походе через Альпы. Хорошим примером смекалки русских офицеров является история, как солдаты по приказу генерала Беляева строгали из пальм… бутафорские пушки, которые боливийские летчики с высоты принимали за настоящие. И расходовали на них весь боезапас. До конца войны боливийцы так и не могли понять, откуда у парагвайцев столько «артиллерии». Только русские могли додуматься до такого задорного метода противовоздушной обороны.

После победы в Чакской войне Иван Тимофеевич до конца

своих дней занимался проблемами индейцев. В 1940 году он смог продвинуть в Лигу Наций декларацию о правах индейцев, первую за всю историю индейских племен Америки. С тех пор каждый индеец считается гражданином республики Парагвай (до того местное население могло охотиться них как на зверей). Иван Тимофеевич настолько подружился с индейцами, что они сделали его вождем одного из племен, которое носит название Мака, и прозвали его «Крепкая рука». По прибытии в Парагвай (в 1924 году) и до начала Чакской войны Иван Тимофеевич в компании индейцев и русских офицеров (И. Д. и Л. Д. Оранжереевы, В. Ф. Орефьев-Серебряков, А. Г. фон Экштейн и другие) совершил 13 экспедиций в область Чако. Генерал Беляев знал не только военное дело, но был также и хорошим этнографом. Будучи кадетом, он посещал лекции известного географа Петра Петровича Семенова-Тянь-Шанского в Императорском географическом обществе, в котором состоял по рекомендации профессоров Н. А. Богуславского и А. И. Мушкетова. В более зрелом возрасте он слушал лекции по географии и антропологии знаменитого академика Сергея Федоровича Ольденбурга, который был его дальним родственником. Будучи откомандирован командиром 2-й батареи 1-го Кавказского стрелкового артиллерийского дивизиона на Кавказ, Иван Тимофеевич написал исследовательскую работу «На земле хевсуров». Там же он пишет устав горной артиллерии, который в последующие годы активно использовался военными артиллеристами.

С юных лет, читая на чердаке дома в семейном имении Леонтьевское (названном в честь прапрадеда Леонтия Федоровича Трефурта, адъютанта Суворова) рассказы о колонизации Америки, Иван Тимофеевич считал, что европейцы крайне несправедливо обращались с местным населением. Иначе как геноцидом насильственный захват американских земель «цивилизованными» европейскими варварами не назовешь. Поэтому Ивана Тимофеевича волновала история несправедливо порабощенных народов. И когда жизненные обстоятельства сложились так, что президент Парагвая призвал русских на службу, генерал Беляев первым прибыл в страну, о которой он хорошо знал еще с детства.

Индейцы племени Мака… Смотришь в их глаза и видишь в них что-то детское. А ведь именно они сыграли важную роль в Чакской войне. Во время тринадцати уже упомянутых экспедиций в область Чако Иван Тимофеевич знакомится со множеством индейских племен и заручается их поддержкой. Ключевое преимущество парагвайской армии, озеро питьевой воды

Питиантута, было открыто в одну из последних таких экспедиций. Индейцы помогали парагвайцам находить воду и пропитание в джунглях, что давало армии силу.

В области Чако-Бореаль, неподалеку от памятника генералу Беляеву, находится старая хижина, в которой живет мать индейца Рафаэля. Наверное, трудно назвать ее домом, но в условиях сорокаградусной жары и такое жилище может быть кровом. Вызвавшийся в проводники индеец Рафаэль показывает нам старые фотографии генерала Беляева, а также газетные вырезки о его похоронах в 1957 году и проект памятника. Когда Иван Тимофеевич скончался (19 января 1957 года), в парагвайской столице Асуньсон был объявлен трехдневный траур. Отпевание генерала Беляева проходило в храме Покрова Пресвятой Богородицы, построенном русскими эмигрантами в 1928 году. В нем и по сей день висит памятная табличка с инкрустированным в нее орденом святого Георгия, которым был награжден генерал Беляев «за спасение батареи и личное руководство атакой» по итогам боев на Карпатах. На табличке выбиты инициалы «Juan Beliaef» и звание «General del Divison», что в переводе с парагвайского соответствует званию генерал-лейтенанта. Во время отпевания в церкви присутствовали все высшие руководители страны. В том числе и президент страны генералиссимус Альфредо Стресснер, который служил лейтенантом в пору, когда парагвайской армией командовал генерал Беляев. Толпы индейцев осаждали храм снаружи. Они пели «Отче наш» на своем языке.

Иван Тимофеевич не только составил словари перевода с их диалектов на парагвайский, но и прививал им духовные начала. Индейцы имели свои религиозные убеждения, но они были не чужды эклектизму, приняв свет православия, который принес им, как они его называли, «Белый вождь». После отпевания они забрали его тело и отвезли в колонию имени генерала Беляева через реку Парагвай в область Чако. Там и похоронили по своим обрядам, а через несколько лет – поставили памятник.

Вспоминаю, как мы, преодолев путь в половину земного шара, подходили к памятнику. Пока Рафаэль рубил своим мачете суровые дебри джунглей, я вспомнил слова самого Ивана Тимофеевича. Видя своими глазами кровавую революционную смуту, которая буквально свела с ума население целой страны (что сегодня мы можем наблюдать на Украине), он мечтал, что Россия когда-нибудь воссоздастся в прежнем виде:

«Военное поражение Белой армии – это не конец России. Русь пережила польско-литовскую интервенцию, она переживет это иго и возродится. Надо сделать все, чтобы не допустить гибели

русской культуры и русского духа, сберечь и воспроизвести генофонд нации. Под пеплом пожарищ теплится русский национальный дух, есть подвижники, готовые жертвовать собой ради России, мы твердо уверены в возрождении Родины. Именно поэтому надо собрать всех, кто остался верен русскому знамени, сберечь и укрепить русскую православную веру, русскую культуру, русский язык, русские традиции. Создать резерв патриотичных людей для возрождения России. Воспитать аристократию духа, которая способна и достойна управлять великой страной».

На глаза наворачивались слезы – вдалеке показался памятник Ивану Тимофеевичу. Знал ли он тогда, прибыв 8 марта 1924 года в Парагвай, что спустя почти 90 лет потомки его старшего брата прибудут на место его погребения с миссией – воссоединить разорванные революцией семейные узы?

Мой дедушка, старший священник ставропигиального Иоанновского женского монастыря (р. Карповка, Санкт-Петербург) митрофорный протоиерей Николай Алексеевич Беляев вместе с протоиереем Дионисием (Казанцевым), который сегодня окорлмяет бразильскую епархию в г. Сан-Паулу, отслужили панихиду по Ивану Тимофеевичу. Трудно описать, что я чувствовал в тот момент. Рядом со мной стоял старший брат дедушки, известный археолог Сергей Алексеевич Беляев. Несмотря на почтенный возраст (на тот момент ему было 75 лет), он вместе с нами совершил это почти что кругосветное путешествие (12 500 км туда и столько же – обратно). По его щекам также струились слезы. Он произнес речь о воссоединении двух ветвей рода Беляевых – той, которая осталась в Советской России, и той, которая оказалась в вынужденной эмиграции.

Считаю необходимым рассказать о нашей семье, а точнее – о роде. По коренной мужской линии мы родом из Великого Новгорода. Самая, наверное, древняя известная нам связанная с родом временная веха – это история о том, как нашу прародительницу Овдотью Ивановну Беляеву сватали за Алексея Михайловича Романова, когда тот женился вторым браком после смерти Марии Ильиничны Милославской. Семейные предания говорят, что царь долго выбирал между Овдотьей Ивановной Беляевой и Натальей Кирилловной Нарышкиной. Лобировавшие кандидатуру последней бояре сделали свое дело и при помощи придворных интриг склонили Алексея Михайловича к выбору в пользу последней. Информация об этом встречается в исторических книгах.

Питерская ветвь рода пошла от Ивана Ивановича, брата царской невесты Овдотьи. Первый российский Император, Петр Алексеевич, по ходу строительства Санкт-Петербурга привез

наших предков из Великого Новгорода на берега Невы. Здесь мы проживаем и по сей день.

На обложке книги вы видите фотографию нашего рода, датированную 1913 годом. Она относится к тому времени, когда семья генерала Тимофея Михайловича Беляева в последний раз до революции собиралась вместе. Именно из этой точки мы сможем заглянуть как в прошлое, так и в будущее.

Русский язык отличается от некоторых других языков тем, что у нас принято называть человека по имени-отчеству. Тем самым отдается честь его отцу. Давайте же и мы начнем с отца генерала Ивана Тимофеевича Беляева.

Иван Тимофеевич родился 19 апреля 1875 года в казармах Измайловского полка в семье потомственного военного Тимофея Михайловича Беляева, его можно найти по центру фотографии – это глава большой семьи. В это время он пребывал в отставке в чине генерала от артиллерии (в советской классификации – маршала артиллерии). В 1903–1907 годах Тимофей Михайлович был военным комендантом Кронштадтской крепости. Ему пришлось подавлять матросские бунты, которые сопровождали первые две неудавшиеся революции 1905 и 1907 годов. За службу на этом посту был награжден орденами Белого Орла и Св. Александра Невского. С 1906 по 1912 год Тимофей Михайлович принимал активное участие в Русском Собрании, в последние годы даже в должности заместителя председателя. Однако по состоянию здоровья вышел в отставку.

Дед Тимофея Михайловича, Алексей Иванович Беляев (1765–1832) был правнуком Ивана Ивановича Беляева. В 1765 году при Екатерине Великой имел обер-офицерский чин и был женат на Анне Нелидовой, в браке с которой имел двоих сыновей – Тимофея и Михаила. Отец Тимофея Михайловича – Михаил Алексеевич Беляев (1792–1871) был младшим. Женат дважды. Первая жена его – грузинская княжна Софья Захарьевна Кадьян (1809–1856). Их дети – Александр, Алексей, Николай и Тимофей Михайловичи. Последний – Тимофей – отец главного героя книги. Вторая жена Михаила Алексеевича Беляева – Елизавета Мария Эльмира Ольденбургская (1824–1865), лютеранского вероисповедания.

Тимофей Михайлович также был женат дважды, первая супруга – Мария Ивановна Эллиот (также лютеранского вероисповедания) умерла через несколько дней после рождения Ивана Тимофеевича, поэтому на фотографии вы ее не найдете. По отцовской линии она была внучкой контр-адмирала Балтийского флота Андрея Ивановича Эллиота, принятого Екатериной II на службу в чине лейтенанта из английского флота для возрождения

флота нашего. За выслугу 35 лет в офицерских чинах в 1819 году он был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени и также орденом Св. Анны 1-й степени. По материнской линии Мария Ивановна Эллиот была внучка Леонтия Федоровича Трефурта, адъютанта Александра Васильевича Суворова, принимавшего участие в знаменитом походе через Альпы. Его брат, генерал-майор Федор Федорович Трефурт, был комендатом Твери и участником Наполеоновских войн. Во время Отечественной войны 1812 года и последующих Заграничных походах 1813–1814 годов Федор Федорович командовал Тобольским пехотным полком. За это в июне 1813 года был награжден золотым оружием с надписью «За храбрость», в сентябре того же года – орденом Св. Георгия 4-й степени. На его могиле в бывшем имении Жерновка под Тверью было написано, что за время военной службы он участвовал в 56 сражениях. Трефурты происходили из австрийского дворянского рода. Поэтому когда кто-то клеймит всех без исключения иностранцев как врагов – это несправедливо. Выбрав в качестве своей новой родины Россию, они всецело стали русскими и сослужили достойную службу своей новой Родине. Хотя некоторые женщины в нашем роду иногда имели иное вероисповедание, но наши предки строго хранили православную веру как ковчег души русского народа.

Мария Ивановна Эллиот родила Тимофею Михайловичу дочь Марию и четверых сыновей. Мария Тимофеевна Беляева породнила нашу семью с семьей Блоков. Дело в том, что после развода Александра Львовича Блока с Александрой Андреевной Блок (урожд. Бекетовой) в 1889 году он женился на Марии Тимофеевне Беляевой. Их отношения, так же как с первой женой, были трудными. В 1892 году у них родилась дочь – Ангелина, сводная сестра поэта Александра Блока. Блок познакомится с ней позднее, в 1909 году в Варшаве. Сестра надолго останется в его сердце и в стихах. Прочитайте цикл стихов «Ямбы» – он целиком посвящен Ангелине.

Во время мобилизации в начале Первой мировой войны именно Иван Тимофеевич помог великому поэту пройти нетрудную службу в штабе тяжелого артдивизиона, которым командовал он сам. Таким образом, Блок был огражден от участия в войне и, возможно, смог сохранить жизнь.

Любимая поэтом сестра Ангелина умрет от менингита (воспаления мозга), которым заразилась в 1919 году в церковном госпитале Нижнего Новгорода, где она вместе с матерью помогала ухаживать за раненными. На фотографии она справа от центра стоит за спиной матери.

Пятеро братьев Ивана Тимофеевича были, как и он, военными

артиллеристами. Они закончили 2-й кадетский корпус и Михайловское артиллерийское училище. Некоторые выпустились и из Михайловской артиллерийской академии. Четверо братьев – Сергей, Михаил, Владимир и Иван – сыновья Марии Ивановны Эллиот, двое – Николай и Тимофей – дети второй жены Тимофея Михайловича Марии Николаевны Септюриной, родом из купеческого сословия. На фотографии она сидит по левую руку от главы семейства.

Обратимся к семейной фотографии. Первый слева в верхнем ряду – ученый-металлург, историк, полковник Николай Тимофеевич Беляев (9 июня 1878, Санкт-Петербург – 6 ноября 1955, Париж). Как профессор Михайловской артиллерийской академии, был командирован за границу, работал в лабораториях Германии, Англии и Франции. Изучая процессы кристаллизации металлов, внес большой вклад в исследование булатной стали. В годы Первой мировой войны занимался вопросами снабжения русской армии в Лондоне, где и остался после революции. В 1920 году вошел в члены правления Русского экономического общества (все там же, в Лондоне). Оценкой его исследований специалистами стала золотая Бессемеровская медаль с портретом Николая Тимофеевича на обратной стороне. Однако отношение Англии к русским ученым заставляет Николая Тимофеевича эмигрировать в 1934 году в Париж. Продолжая заниматься научной деятельностью как действительный член Русской академической группы, он представляет ее интересы в Совете профессоров Русского высшего технического института в Париже. Скончался в Париже 6 ноября 1955 года. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Был женат дважды, в браках детей не имел.

Там же слева, в нижнем ряду сидит генерал-майор Владимир Тимофеевич Беляев (12 января 1972 года, Санкт-Петербург – 1942 год, Ленинград). Во время Первой мировой он командовал 2-й Особой артиллерийской бригадой русских войск во Франции. Во время Гражданской войны воевал сначала в Добровольческой армии А. И. Деникина, позже – на Восточном фронте под командованием А. В. Колчака. Что было с ним после поражения белых в Гражданской войне, неизвестно. Однако нам точно известно, что умер он в блокадном Ленинграде в 1942 году.

Следующий из братьев, стоящий по правую руку от главы семейства, – это генерал-лейтенант Сергей Тимофеевич Беляев (29 сентября 1867 – 24 февраля 1923 года). Мой прапрадед. В начале Гражданской войны был инспектором артиллерии 2-й армии. Награжден орденами Св. Станислава (3-й, 2-й и 1-й степеней), Св. Анны (2-й степени) и Св. Владимира (4-й и 3-й степеней). Имел троих детей. Пока он воевал на фронтах Первой

мировой, семья переехала к родственникам на юг России, чтобы не стать жертвой произвола. Предание гласит, что Сергей Тимофеевич несколько раз пытался выбраться к семье и присоединиться к белогвардейцам. Дважды его ставили к стенке для расстрела. Но огромный авторитет в среде военных оба раза спасал его. При новой власти он был начальником кафедры тактики в Артиллерийской академии РККА. Семейное предание гласит, что на мосту через Москва-реку он произнес: «Моя Родина там, где Россия», сломал о колено царскую саблю, бросил ее в воду. Вероятно, это был самый тяжелый выбор в жизни прапрадеда, но благодаря этому решению наш род сохранился в России. Скончался Сергей Тимофеевич Беляев 24 февраля 1923 года от разрыва сердца (официальная версия) и был с воинскими почестями похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

По левую руку от прапрадеда стоит его жена – Елизавета Николаевна Беляева (урожд. Наумова), дочь контр-адмирала Николая Алексеевича Наумова, именем которого назван остров в Амурском море (соседствующий с о. Русский).

Маленький мальчик в бурке с газырями и с папахой в левой руке – это отец моего деда, Алексей Сергеевич Беляев. При крещении крепко-накрепко ухватился за наперсный крест священника. Крестивший его батюшка тогда сказал, что коли так велика тяга младенца к Богу, то быть ему священником. Так и вышло. После Гражданской войны он работал библиотекарем. В 1930 году его арестует НКВД за «организацию монархического кружка» и отправит на несколько лет в ГУЛаг. По возвращении с трудового фронта стал священником.

За спиной главы семейства стоит рослый Тимофей Тимофеевич Беляев (1880–1918). Известно о нем крайне мало. Как и братья, был военным офицером-артиллеристом. В царской армии дослужился до полковника. В 1918 году вместе с другими офицерами был утоплен в Кронштадте.

Второй справа – генерал-майор Михаил Тимофеевич Беляев (18 июня 1869 – 10 января 1951). Награжден орденами Св. Станислава (2-й степени), Св. Анны (1-й и 2-й степеней), Св. Владимира (1-й, 2-й, 3-й и 4-й степеней). В Гражданскую войну командовал конно-горным дивизионом Добровольческой армии. Вместе с Русской армией П. Н. Врангеля эвакуирован из Крыма в марте 1920 года. Эмигрировал в Югославию, где и прожил до 1951 года. Потомки Михаила Тимофеевича сегодня живут в Сербии.

Возвращаемся к главному герою книги – генерал-майору царской армии и генерал-лейтенанту парагвайской армии Ивану Тимофеевичу Беляеву (19 апреля 1885 года, Санкт-Петербург – 19

января 1957 года, Асунсьон). Перед нами русская газета «Новое время», которая в 1924 году выпускалась в Белграде. В ней оказавшиеся в Европе русские беженцы могли тогда прочитать призыв генерала Беляева: «*Ко всем, кто мечтает жить в стране, где он может считать себя русским. Ехать в Парагвай и создать там национальный очаг, чтобы "сберечь детей от гибели и растления*"».

Создание «Русского очага» происходит с разрешения военного министра Парагвая генерала Скенони и президента Элихио Айала. Они утверждают заработную плату в пять тысяч песо (жалование депутата парламента) нескольким прибывшим русским специалистам, среди которых были инженеры Шмагаулев и Пятницкий, путеец Абраменко, конструктор Маковецкий, геодезист Аверьянов, инженеры Орефьев-Серебряков, Снарский и Воробьев. В Парагвае все русские (доктора, инженеры, профессора, военные) получают работу по специальности. Именно они помогают в короткий срок поднять науку и экономику Парагвая.

Когда начинается Чакская война между Боливией и Парагваем, все русские офицеры встают на защиту своей новой Родины. Вместе с генералом Беляевым воевали: Н. А. Корсаков, Б. П. Касьянов, С. С. Салазкин, Ю. М. Бутлеров, С. М. Дедов, С. Л. Высколян, В. П. Малютин, В. Канонников, Н. А. Ходолей, В. Ф. Орефьев-Серебряков, братья Оранжереевы, А. Г. Экштейн, Н. И. Голдшмидт и др. Русские женщины становятся сестрами милосердия (В. Ретивова, Н. Щетинина, С. Дедова, Н. Конради и др.).

В борьбе за Парагвай русские совершили подвиг и показали пример мужества и решительности, силу русского характера, русского духа.

Четырнадцать улиц в городе Асунсьон, столице Парагвая, носят имена русских героев, сражавшихся за эту страну: Ю. М. Бутлерова (внука великого ученого), С. С. Салазкина, В. П. Малютина, Б. П. Касьянова, Н. Г. Кривошеина и др.

Наверное, лучше всего вклад русских офицеров в победу Парагвая над Боливией характеризует обращение парагвайских матерей, которое получило название «Молитва за Русь»: «*От всех матерей, чьи сыны являются свидетелями вашей храбрости в битвах, я приношу вам, белые русы, сердечную благодарность парагвайской женщины. К своим обращениям к Всевышнему я присоединяю новую молитву. Да вернет Он вам вашу Родину, которую вы потеряли!*» Можно понять, насколько были рады матери парагвайских солдат победе – ведь сравнительно недавно, в середине XIX века, тогда еще на английские деньги и

английским оружием руками Бразилии и Аргентины был устроен геноцид местного населения – после кровопролитной войны из 1,5 млн жителей Республики в живых осталось только немногим более 250 тыс., из них было лишь 28 тысяч мужчин.

В самый разгар войны генерал Беляев, возглавляя Генеральный штаб, успевает выхлопотать в парагвайском МИДе разрешения на обустройство сельскохозяйственных колоний в районе городов Энкарнасьон и Консепсьон. Каждый приехавший русский получил по 12 гектар земли. В это время в Париже брат генерала, Николай Тимофеевич Беляев, организует переправу русских в Парагвай. В столице Франции начинает выходить газета «Парагвай». В результате 20 тыс. русских находят спасение в Латинской Америке. В школах открываются курсы русского языка. Начинает работать «Русское радио». Русский язык становится языком общения.

Когда началась Великая Отечественная война, в далеком Парагвае во многих русских домах висели портреты маршала Георгия Константиновича Жукова и Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. Во многих, но не во всех. Кто-то продолжал люто ненавидеть большевиков, отнявших у них страну. Но кто-то молился в храме и ставил свечки за победу Советской армии над фашистами. Иван Тимофеевич был на стороне последних. Он считал, что Сталин стал преемником Петра I.

По окончании войны Иван Тимофеевич занимается делами индейцев. Зная 14 индейских языков и наречий, составляет словари. В 1938 году организует первый в мире индейский театр, с которым успешно гастролирует в качестве режиссера по всей Латинской Америке. Благодаря его усилиям президент Республики Парагвай выделяет индейцам племени Мака землю, которая и по сей день носит название «колония генерала Беляева».

Последние годы своей жизни генерал Беляев живет впроголодь – но его дом всегда полон пришедших из Чако индейцев. Места хватало для всех. Царская шашка, скрещенная с мачете, и российский флаг – все семейные драгоценности висели на стене. После смерти генерала индейцы продолжали заботиться о его жене, Александре Александровне.

Стоя перед могилой Ивана Тимофеевича, мне показалось, что я услышал слова, которые он регулярно повторял своим соотечественникам уже в Парагвае: **«Вы – русские. Никогда не забывайте об этом»**. И тогда я понял, что мы должны сделать все возможное, чтобы подобная 1917 году трагедия русского народа не повторилась никогда. Ведь трагедия страны – это трагедия

миллионов и миллионов простых семей. Когда рушится семья, нарушается преемственность времен. Все приходится начинать заново.

ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ ГЕНЕРАЛА ОТ АРТИЛЛЕРИИ ТИМОФЕЯ МИХАЙЛОВИЧА БЕЛЯЕВА

Во Имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь.

Имея в виду возможность скорой и неожиданной смерти моей, находясь в твердом уме и памяти, чувствую потребность высказать своим близким свои предсмертные мысли:

Умоляю бесценных детей не забывать родителей, положивших начало их жизни и принесших им всю свою любовь и сердце. Они могут исполнить это, по моему мнению, единственным путем добрых дел во имя усопших родителей и в этом должна излиться самая теплая любящая душа.

Молитва в Церкви, везде, милосердие к ближним, всепрощение – вот что может служить достойным выражением признательности нам за наше служение детям. Особенно старшим детям напоминаю о памяти их многострадальной матери, которая даже свою, столь дорогую им жизнь, принесла для них в жертву. Усердно прошу, по возможности, совершать об умерших родителях поминовение во время совершения бескровной жертвы.

Умоляю детей воспитывать свое потомство в духе любви к БОГУ и человеку, чтобы идея благости проникла во все их существо, и настраивать своих детей в горячей любви к нашему страдальцу ОТЕЧЕСТВУ и непоколебимой верности ПРЕСТОЛУ.

Умоляю сыновей не оставить дорогих: дочь мою Марию и внучку Ангелину своими советами и поддержкой.

Недвижимости и капиталов после меня не остается, а все мое имущество, состоящее в домашних вещах, нажитых большею частию в период совместной жизни с любезнейшею супругою моей Мариею Николаевною, предоставляю в ее полное распоряжение с просьбою предоставления детям некоторых предметов и книг, которые могли бы быть им особенно дороги как память о родителях.

Приношу глубокую, сердечную благодарность всем, кто терпел мои недостатки и оказывал мне милость, особенно это относится до дорогих, бесценных Мани и детей.

Прошу погребения самого скромного, а памятника никакого.

20 января 1907 года, г. Кронштадт

Наверное, здесь бы следовало поставить точку. Род Беляевых продолжается. Сегодня мы снова большая семья. Мы стараемся бережно хранить семейные традиции и всегда рады тем, кто

поступает так же.

Если есть желание посмотреть фильмы, посвященные генералу Беляеву, прошу по адресу:

http://ivan-belyaev.ru/video

Если имеется желание прочитать статьи о Иване Тимофеевиче, посетите мой блог:

http://dbelyaev.ru/i/rod

В случае, если вы хотите написать мне письмо, вот адрес для связи:

info@dbelyaev.ru

notes

Примечания

1

Отец Ивана Тимофеевича – Тимофей Михайлович Беляев.

2

Махочка – Мария Тимофеевна Беляева (26.07.1866–8.10.1922), дочь Тимофея Михайловича Беляева и Марии Ивановны, урожд. Эллиот. В замужестве – Блок, вторая жена Александра Львовича Блока, отца поэта Александра Блока.

3

Тетя Туня – Генриетта Ивановна Эллиот, родная тетя по матери Ивана Ти мофеевича. В замужестве не была (24.01.1837–8.06.1904).

4

По внутренней переписке был Фукс. Суворов недолюбливал его и часто говорил: «О, Фукс – это настоящий Фукс (лиса)». – *Примеч. автора.*

5

Семья Эллиотов была протестантской веры.

6

«Сережа, Мишуша, Володя и я» – речь идет о братьях Ивана Тимофеевича. Старший, Сергей Тимофеевич (12.10.1867–24.02.1923), военный, последнее звание генерал-лейтенант. Володя – Владимир Тимофеевич (12.01.1870–1942, погиб в блокаду Ленинграда), военный, в 1914 попал в плен к немцам. После обмена пленными вернулся в Россию. Жил в Ленинграде. Жена – Елизавета Андреевна Мусселиус. Мишуша – Михаил Тимофеевич Беляев (18.07.1869– 10.01.1951), военный. Последнее звание генерал-лейтенант. В 1920 эмигриро вал с женой Наталией Николаевной, урожд. Энден, и детьми в Югославию, где жил до конца своих дней.

7

Дядя Алексей Михайлович Беляев (26.07.1831–7.05.1885) – старший брат отца Ивана Тимофеевича. Редактор «Артиллерийского журнала», военный, писатель. Последнее звание генерал-лейтенант. Женат на Марии Алексан дровне Далер.

8

Новорожденный Коля – Николай Тимофеевич Беляев (26.06.1878–06.11.1955, Париж). Младший брат Ивана Тимофеевича от второго брака отца – Ти мофея Михайловича с дочерью купца Марией Николаевной Септюриной. Военный. В 1915 был направлен в Англию постоянным представителем по закупке оружия. В Россию не вернулся. Женат был дважды, но детей не имел. Известный металлург, награжден за заслуги в области металлургии золотой (Бессемеровской) медалью Великобритании. Имеет много работ по истории Древней Руси.

9

Тетя Лизоня – Елизавета Ивановна Эллиот, сестра матери Ивана Тимофееви ча. В замужестве не состояла. Талантливая художница (20.08.1835–13.07.1904).

10

Тетя Женя – Евгения Ивановна Эллиот, сестра матери Ивана Тимофеевича. В замужестве не состояла (18.01.1846 – после 1900).

11

Тетя Адя – Александра Ивановна Эллиот (1.12.1840–1913), сестра матери Ивана Тимофеевича. В замужестве Стефанович. Имела дочь Зою и сына Константина. Тетя Леля – Елена Ивановна Эллиот (10.10.1842 – после 1914), по мужу Энден. Муж – офицер Николай Николаевич Энден. Имела двух сыновей и трех дочерей: Елену (умерла молодой), Наталию и Любовь. Овдовев и потеряв старшую дочь, Елена Ивановна жила с семьей младшей дочери.

12

Андрей Иванович и Елизавета Леонтьевна Эллиоты.

13

Речь идет об Андрее Ивановиче Эллиоте (ум. 14.04.1822), контр-адмирале, и его сыне Иване Андреевиче.

14

Дядя Коля – видимо, имеется в виду Николай Николаевич Энден, муж Елены Ивановны.

15

Тимофей Михайлович Беляев – отец Ивана Тимофеевича (26.01.1843 – октябрь 1915). Военный. Служил командиром 23-й артиллерийской бригады, 2-й лейб-гвардии артиллерийской бригады, командующим 21-го армейского корпуса. Последнее назначение (1903) – начальник Кронштадтской крепости. Генерал-лейтенант с 1899. Первая жена Мария Ивановна Эллиот, у них была одна дочь и четыре сына, вторая жена Мария Николаевна Септюрина, с которой они имели двух сыновей. Все сыновья стали военными. В 1906 Тимофей Михайлович ушел в отставку, занимался живописью, рисуя портреты. Дядя Федя – Фридрих Иванович Эллиот (28.08.1849 – после 1905). Брат матери Ивана Тимофеевича. Военный, генерал-лейтенант. Женат дважды. Имел семь детей.

Лелен – Леонтий Иванович Эллиот (5.01.1848–13.03.1887). Брат матери Ивана Тимофеевича. Военный. Имел дочь Надежду.

16

Заржицкие – мать и тетка Николая Николаевича Энден, мужа Елены Ивановны Эллиот (сестры матери Ивана Тимофеевича).

17

Бабушка Ивана Тимофеевича – Елизавета Леонтьевна Эллиот (26.07.1816– 28.09.1892), урожд. Трефурт. Дочь швейцарца Леонтия (Людольфа) Федоровича Трефурта, действительного статского советника.

18

Дедушка Ивана Тимофеевича – Иван Андреевич Эллиот (8.10.1802– 30.09.1888), сын Андрея Ивановича Эллиота, в 1783 перешедшего на русскую службу во флот, шотландца, контр-адмирала.

19

Ферула (*лат.* – хлыст, розга) – иносказание: линейка, которой в старину били по ладоням провинившихся школьников.

20

Елизавета Степановна Трефурт (р. после 1775), урожд. Лавинская, прабабушка Ивана Тимофеевича.

21

Прадед Ивана Тимофеевича – Леонтий (Людольф) Федорович Трефурт. Швейцарец. Служил на русской службе. Совершил переход через Альпы в 1799 при Александре Васильевиче Суворове, находясь при нем в качестве секретаря по иностранным делам.

22

Этот портрет остался в России. У меня по сей час находится превосходный медальон на слоновой кости, посланный прадедом невесте из Милана. – *Примеч. автора.*

23

Сид Кампеадор (1026–1099) – испанский рыцарь, прославившийся подвигами в Реконкисте. Воспет в «Песне о моем Сиде» (XII в.) и в трагедии П. Корнеля «Сид».

24

Ахиллес (Ахилл), Аякс, Гектор – герои древнегреческой поэмы Гомера об Илиаде (Трое) IX – VIII вв. до н. э. Ахиллес – один из главных и храбрейших героев, осаждавших Трою.

Аяксы – два неразлучных друга-героя, сражавшихся под Троей.

Гектор – один из главных троянских героев. Сын царя Трои Приама и Гекубы.

Погиб в единоборстве с Ахиллом.

25

Индейские племена на территории современной Канады.

26

Фолианты (*лат.*).

27

Всемирная история путешествий.

28

Сергей Федорович Ольденбург – крупный ученый-востоковед, член Петербургской академии наук. Один из основателей русской индологической школы. Труды по фольклору, этнографии, искусству Востока, России и Западной Европы, истории буддизма и востоковедения. После 1917 – академик АН СССР (1863–1934). На сестре его отца Елизавете Федоровне Ольденбург был вторично женат Михаил Алексеевич Беляев – генерал-аудитор, дедушка Ивана Тимофеевича.

29

Дедушка Михаил Алексеевич Беляев (январь или февраль 1792–1871). Из новгородских дворян. Службу начал в Воронеже, где жили все его близкие родственники, затем был переведен в Санкт-Петербург на службу в аудиторский департамент Правительствующего Сената. Затем служил в Варшаве. Последний чин – генерал-аудитор. Действительный статский советник. Женат дважды. Первая жена – грузинская княжна Софья Захаровна Кадьян (1809–1856). Вторая жена – Елизавета Федоровна фон Ольденбург (5.07.1824–26.04.1865). От первого брака детей было очень много, но остались в живых четыре сына. Все стали военными. От второго брака детей не было.

30

Сын тети Ади – Кока. У Александры Ивановны Стефанович (урожд. Эллиот) было двое детей: сын Константин Константинович (р. 1879) и дочь Зоя. Сын стал военным врачом.

31

То, что в наше время зовется «дедовщиной».

32

Кто не ломал стульев в 14 лет, сломает их в 15 (*франц.*).

33

Мечи.

34

Шенкель (*нем.*) – внутренняя, обращенная к лошади часть ноги всадника от колена до щиколотки. При помощи шенкеля всадник управляет лошадью.

35

Братство. Глубокое чувство (*франц.*).

36

Мамонтов Владимир Петрович (р. 19.09.1884) – начальник 60-й пехотной дивизии. Погиб в 1916. Генерал-лейтенант. Из дворян Могилевской губ.

37

Ах, как велика любовь лейтенантского возраста!

38

«Альма матер» (*лат.*) – буквально: кормящая мать. Старинное студенческое название университета (дающего духовную пищу).

39

Тетя Дося – Федосия Александровна, урожд. Трефурт (27.04.1817–30.04.1888), двоюродная сестра Елизаветы Леонтьевны Трефурт. В замужестве Адлерберг. Ее муж Владимир Александрович Адлерберг (17.12.1786–18.02.1855), генерал от инфантерии, действительный статский советник.

40

Дочь Леонтия Федоровича Эллиота Надежда Леонтьевна Эллиот.

41

Елизавета Николаевна Наумова (16.05.1872–1942, Москва), в замужестве Беляева. Дочь адмирала Николая Алексеевича Наумова.

42

Симпатии между кузинами опасны.

43

Арматор (*лат.*) – снаряжающий. Судовладелец; лицо, эксплуатирующее морское судно безотносительно к тому, принадлежит оно ему по праву собственности или нет. Арматор снаряжает судно в рейс, снабжает средствами, нанимает экипаж, приглашает капитана и несет ответственность за его действия.

44

Мусселиус Андрей Вильгельм Робертович (16.09.1854 – ок. 1908) – генерал-лейтенант.

45

Младшие братья Ивана Тимофеевича от второго брака отца – Николай Тимофеевич (26.06.1878–09.1955) и Тимофей Тимофеевич (12.01.1880–07.1918) – полковник, артиллерист. Убит во время восстания в Кронштадте.

46

Денщик Ивана Тимофеевича – однофамилец.

47

«Наша царица Тамара, – говорили мне горцы, – была святая, а твои русские сделали из нее уличную рвань». Образованные грузины не могли простить Лермонтову еще одной фразы: «бежали робкие грузины». «Я эту страницу вырвал», – говорил мне в Тифлисе один мой хороший знакомый. – *Примеч. автора.*

48

Эта песня стара, мне сдается; но она повторяется вновь. И кому только сердца коснется – вмиг его разрывает любовь (*Гейне*). – *Примеч. автора.*

49

Хевсуры – грузины-горцы Восточной Грузии. Язык – наречие грузинского языка. Живут в Грузии по обоим склонам Кавказского хребта, на границах с Чечней, Ингушетией, в долине реки Хевсурской Арагвы.

50

Аксельбанты – наплечные шнуры на мундире у штабных офицеров и адъютантов в некоторых армиях.

51

Фейерверкер – то же, что унтер-офицер. Звание младшего комсостава армии.

52

Фигуральное выражение – Кока (Константин) Стефанович, двоюродный брат по матери Ивана Тимофеевича.

53

Генерал-фельдцейхмейстер – титул и должность главного начальника артиллерии, существовавшие в России в XVI–XIX вв. Учреждены Петром I в 1699. С 1798 звание являлось почетным, и его обычно носил один из членов императорской фамилии, в данном случае Великий князь Михаил Николаевич.

На Лазурном берегу (*франц.*).

55

Название английской газеты «Ежедневные новости».

56

Берейтер (*нем.*) – специалист, объезжающий лошадей и обучающий верховой езде.

Рейткнехты – конюхи.

Buck (*англ.*) – самец оленя, зайца.

59

О, это страшно… (*франц.*).

60

Парк – речь идет об артиллерийском парке, являющемся соединением определенного числа орудий и артиллерийского обоза для действий в поле или осады крепости.

61

Жена Владимира Тимофеевича Беляева – Елизавета Андреевна, урожд. Мусселиус (10.09.1880–1918).

62

Катя Мусселиус – младшая сестра Елизаветы Андреевны.

63

Дезабилье (*нем.*) – легкая домашняя одежда (обычно женская), не носимая при посторонних. «Быть в дезабилье» – быть не вполне одетым.

Внутренняя армия (*франц.*).

65

Ихэтуаньское восстание в Сев. Китае в 1899–1901. Начато тайным обществом Ихэ-туань (Отряды справедливости и согласия). В июле 1900 ихэтуани вступили в Пекин. Войска Германии, Японии, Великобритании, США, Франции, России подавили восстание. Названо иностранцами боксерским.

С. Ш. – Соединенные Штаты Америки.

67

Первая мировая война 1914–1918.

Михаил Тимофеевич Беляев женился на двоюродной сестре по матери На талии Николаевне Энден (р. 29.05.1872).

69

Кого мы впервые любим, на том редко женимся.

С. А. Пенчулидзев выпустил прекрасно оформленные фолианты: «История кавалергардов» и «Биографии кавалергардов».

71

Иносказание: кираса – защитное вооружение из двух металлических пластин, выпуклых по форме спины и груди.

72

Камерун с конца XIX в. по 1916 г. – протекторат Германии.

73

Ни к чему.

74

Лигов – название поселка (Лигово). С 1925 г. – Урицк, с 1963 г. – в черте Ленинграда (С.-Петербурга).

75

Парфорсная охота – разновидность полевой езды, которая проводится как охота на зверя или по искусственному следу зверя, парфорс – колючий ошейник для охотничьих и служебных собак.

Имеются в виду олеографии – многокрасочные литографии, передающие также характер поверхности масляной живописи: мазки, структуру полотна.

77

Адлерберг Александр Александрович, генерал от инфантерии (герцог Ма кленбургский), по гвардейской пехоте.

78

Речь о Марии Тимофеевне Блок, урожд. Беляевой, ее дочери Ангелине Александровне Блок (3.05.1894–19.01.1918), родной сестре по отцу поэта Александра Блока. Ей поэт посвятил цикл стихов «Ямбы».

79

Речь о Финском заливе.

Имеется в виду венчание.

81

Каптенармус (*франц.*) – должностное лицо в роте, батальоне, отвечающее за учет и хранение оружия и имущества.

82

Инцидент был связан с обстрелом кораблями 2-й Тихоокеанской эскадры рыбаков у Доггорбанке в Северном море во время похода к Цусиме. Улажен адмиралом В. Ф. Дубасовым.

83

Адмирал Брылкин Владимир Николаевич. Произведен в гардемарины 17 августа 1847. С 1 января 1886 – контр-адмирал, с 5 января 1887 по 1 января 1891 – комендант Кронштадтской крепости. В 1892 произведен в генерал-лейтенанты. Совершил много морских походов по Балтийскому, Немецкому морям, плавал к берегам Камчатки. За 18 морских походов получил ордена Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст. и греческий орден Спасителя. Командовал бригом, канонерской лодкой, фрегатом. Имел много российских и иностранных орденов.

84

Мария Николаевна Беляева, урожд. Септюрина (5.04.1860–30.06.1934, Париж) – вторая жена Тимофея Михайловича Беляева.

85

Крепостной верк – термин фортификации (*нем.*). Равносилен слову «укрепление». Означает отдельные части крепости.

86

Генерал Иванов Николай Иудович (р. 22.07.1851) – генерал от артиллерии. Член Государственного Совета, постоянный член Совета государственной обороны. С 19 декабря 1905 по 6 ноября 1906 – командир 1-го армейского корпуса. С 6 ноября 1906 по 20 апреля 1907 временно исполнял обязанности военного генерал-губернатора Кронштадта.

Я знаю, где б ты ни была,
Ты всей душой моя…
Но чтоб ты смертной быть могла,
О том не думал я!

Монтгомери (Перевод автора.)

Заменитель (*нем.*), то же, что суррогат.

89

Дядя Николай Михайлович (11.11.1834–23.10.1903) – старший брат отца Ивана Тимофеевича. Военный, генерал-майор.

Супругу находят в тревогах.

Снег растаял, солнце блещет,
Зазвенели пташки вновь,
И опять в душе трепещет
И надежда, и любовь.

Э. Тегнер. «Сага о Фритьофе».

Энден Николай Михайлович, артиллерист, полковник.

93

Мачеха (*франц.*).

94

Михаил Алексеевич (23.12.1863–1918, расстрел) – двоюродный брат Ивана Тимофеевича, генерал-квартирмейстер. Участник русско-японской войны. С апреля 1916 начальник Генерального штаба. Последняя должность при Временном правительстве – военный министр.

95

Софья Захаровна Кадьян (29.07.1809–6.07.1856) – бабушка по отцу Ивана Тимофеевича. Грузинская княжна. Предки ее переселились в Россию из Гурии при императрице Анне Иоанновне.

96

Убыхи – самоназвание народности Кавказа, родственны абхазцам и черке сам. В 1860-х переселились в Турцию. Жили к северу от Адлера в бассейне р. Сочи.

97

Первый кавказский стрелковый артиллерийский дивизион.

98

Теннисон – английский поэт (1809–1892). Создал цикл поэм по артуровским легендам. Получил признание после аллегорической поэмы «Мод» и «Королевские идиллии». В России издан в 1875 в переводе Плещеева.

Майдан – базар, базарная площадь.

100

Бобриков Николай Иванович (15.01.1839–4.06.1904, Гельсинфорс, ныне Хельсинки). Генерал-адъютант, член Госсовета, с 17 августа 1898 – генерал-губернатор и командующий войсками Финляндского военного округа. Проводил реформы по обрусению Финляндии. Сосредоточение в его руках всей полноты власти вызвало общественный протест. 3 июня 1904 был смертельно ранен сыном бывшего сенатора Е. Шауманом.

101

Выдающийся генерал русской армии (1843–1882). Участник Хивинского похода 1873, боев под Плевной, сражения при Шипке-Шейново.

102

Екатеринослав – название г. Днепропетровска до 1926.

103

Корнет (*франц.*) – духовой музыкальный инструмент, распространен в XVI–XVIII вв.

104

Картины И. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и В. Сурикова «Взятие снежного городка».

105

То же, что тамада.

Цейхгауз (*нем.*) – вещевой склад.

107

Липкий лист для ловли мух.

108

Скейтинг-ринг (*англ.*) – площадка со спецпокрытием для фигурного катания и хоккея на роликовых коньках.

109

Каджар – династия шахов Ирана. Правили с 1796. Низложены в 1925.

110

Город на северо-востоке Турции. В 1878–1918 в составе России, с 1921 – Турции.

111

Cha till cha till, cha till sin tuille! Прощальная песнь шотландских горцев. – *Примеч. автора.*

112

Александр Львович Блок (ум. 1.12.1909) – профессор Варшавского университета. Отец поэта Александра Блока.

113

Профессор Бекетов Андрей Николаевич (1825–1902), русский ботаник-эволюционист, основатель научной школы, член-корр. АН, почетный член Петербургской АН.

114

Ангелина Александровна Блок (3.05.1894–19.01.1918) являлась сводной сестрой поэта Александра Блока, который посвятил ей много прекрасных стихотворений.

115

Александра Фридриховна Эллиот (р. 01.1893).

116

В Преображенском полку служили три брата Эллиот: Леонтий (22.03.1884–1918), Федор (16.04.1888–1914) – полковник, Константин (р. 1.03.1890).

117

Фишер Георгий Константинович (1.08.1894–1.10.1933, Аргентина). Офицер, затем архитектор.

118

Умлаут – фонетическое явление изменения артикуляции и тембра гласных *а, о, и,* исторически находящихся под влиянием согласного l (в германских языках) и некоторых др. гласных. Это говорит о немецком влиянии при дворе.

119

Александр II после смерти в 1880 его супруги Марии Александровны, принцессы Гессен-Дармштадтской, женился на русской княжне Екатерине Михайловне Долгорукой (р. 2.11.1847). Род Долгоруких свое начало ведет от Рюрика и Владимира Мономаха. Так как брак вначале не был законным, то появившиеся в нем дети, а затем и сама княжна получили фамилию Юрьевские в честь их предка Юрия Долгорукого.

120

Валтасар – сын последнего царя Вавилонии – Набонида. Погиб в 539 до н. э. при взятии Вавилона персами. В Библии описан пир Валтасара и пророчество о его гибели (появившиеся на стене слова). Этот сюжет получил отражение в искусстве.

121

Натуральные.

122

Перекрестный ход.

123

Мазурские озера на северо-востоке Польши – ледникового происхождения – площадью 310 км^2.

Фольварк (*польск.*) – помещичье хозяйство, небольшая усадьба, хутор.

125

Снаряды немецкой тяжелой артиллерии.

126

Энвер-паша (1881–1922) – один из лидеров младотурок. Глава триумвирата, управлявшего Турцией в годы Первой мировой войны. В 1918 бежал из Турции, примкнул к бухарским басмачам. Убит в 1922.

127

Бризанты – артиллерийские снаряды картечного (осколочного) типа, снабжены дистанционной трубкой и бризантным (дробящим) взрывчатым веществом.

128

Цеппелины – дирижабли жесткой конструкции, названные в честь их создателя немецкого конструктора Фердинанда Цеппелина.

129

Дайте мне писать, пожалуйста.

130

– Вот, синьоры, видели ли вы что-либо подобное? Вот эти бравые бойцы, которые ничего не боятся и разгуливают под пулеметным огнем как на балу. А наши гвардейские артиллеристы, которые никогда не попадают в точку и которые не имеют ни одного унтер-офицера, который бы следил за по рядком…

– Спасибо, спасибо. Ваши слова, искренняя похвала являются наилучшей наградой для моих кавказцев. Один уже представлен к Почетному Кресту и Шпаге, так что я был бы вам очень обязан, если бы вы могли передать одно из ваших хвалебных слов моим старым товарищам из гвардии, чтобы они знали, что существует и какая-то военная доблесть помимо их девок…

131

Маскотта (*франц.*) – талисман.

132

Да здравствует император!

133

Сергей Тимофеевич Беляев и Михаил Тимофеевич Беляев.

134

«Филиппики» – иносказание: призывы Милюкова. Демосфен – афинский оратор (384–322 до н. э.), призывал греков противостоять захватнической политике македонского царя Филиппа II.

135

Франциск Ассизский (1181 или 1182–1226) – итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев, автор религиозно-поэтических произведений.

136

Бризантные гранаты (снаряды) – осколочные или осколочно-фугасные гранаты (артиллерийские снаряды) с дистанционным взрывателем, обеспечивающим разрыв снаряда в воздухе. Используются для поражения живой силы и огневых средств противника в траншеях и за небольшими складками местности.

137

Всегда пробуйте, а потом рискуйте.

138

Визави (*франц.*) – тот, кто находится напротив.

139

Апроши, подступы – состоят, как и все траншеи, из рва (апроша) и траншейного бруствера, откинутого к стороне крепости.

140

Траверс – преграда из толщи земли поперек траншеи для защиты от пуль при продольном обстреле. При этом траншея обходит преграду с одной или двух сторон.

Горжа (перешеек) – тыльная сторона открытых укреплений, не занятая бруствером. Редут – полевое земляное укрепление с валом и рвом. Бруствер – земляная насыпь, вал для защиты от неприятельского поражения. Фас – прямолинейный участок траншеи.

142

Письмо не сохранилось.

143

Мария Николаевна Беляева (урожд. Септюрина) – 2-я жена Тимофея Мих. (1860–1934). Долго и безрезультатно ждала своего сына Тимофея Тимофеевича (1880–1918), убитого матросами Кронштадта. Он был полковником артиллерии.

144

Меннониты – одно из протестантских течений, существующее с XVI в. Проповедуют смирение, непротивление злу, насилию, нравственное самоусовершенствование.

145

Улисс (*лат.*), он же Одиссей (*греч.*) – царь Итаки, участник осады Трои.

Вы еврей? (*нем.*).

147

Нимало (*нем.*).

148

Большевизм – это болезнь (*нем.*).

149

Пусть он остается при своем мнении! (*нем.*)

Одногодки (*нем.*).

151

Что он говорит? Я не могу понять! (*нем.*)

Мы должны что-то оплатить? (*нем.*)

153

Господин лейтенант! Господин лейтенант! Скажите, должны ли мы что-то заплатить? (*нем.*)

154

Всегда постоянно и медленно вперед (*нем.*).

155

Перед своим начальством Таганрогский Владыка казался скорее гимназистом, которого только что строго наказали или который находится в ожидании экзекуции.

156

Деникин Антон Иванович (1872–1947) – генерал-лейтенант, один из главных руководителей Доброармии в Гражданскую войну. С октября 1918 – Главнокомандующий Доброармии, с января 1919 – Главнокомандующий Вооруженными силами Юга России. С 1920 в эмиграции.

157

Масарик Томаш (1850–1937) – один из организаторов мятежа Чехо-Словацкого корпуса в 1918. С 1918 по 1935 президент Чехословакии. В 1900–1920 руководитель либеральной чешской народной партии, затем Прогрессивной партии. Председатель Чехословацкого Национального совета.

158

Кутепов Александр Павлович – участник русско-японской войны. Слу жил в Преображенском полку. С февраля 1918 – в Доброармии. Участник «ледяного похода». В 1919 во главе 1-го Армейского корпуса эмигрировал в Югославию, затем в Париж.

159

Николай Михайлович и Александр Владимирович – троюродные братья.

160

Мада и Леша – дети Сергея Тимофеевича Беляева, брата ИванаТимофеевича.

161

Лиля с мужем – Елизавета Михайловна, урожд. Беляева, и Георгий Константинович Фишер, брат Лили Николай Михайлович Беляев (р. 1899).

162

Екатеринодар – с 1920 называется Краснодар.

163

Оселедец – длинный чуб, оставлявшийся на бритой голове казака.

Девиз предков моей матери: «Наудалую!». – *Примеч. автора*.

165

Кош-Хабль.

166

Фишер Георгий Константинович (1894–1933). Военный, архитектор. Муж Елизаветы Михайловны, урожд. Беляевой, во втором замужестве Спиридоновой.

167

Врангель Петр Николаевич (1878–1928), барон, генерал-лейтенант, один из главных руководителей Доброармии в Гражданскую войну. В 1920 – Главком русской армии, организатор эвакуации остатков Доброармии. В 1924–1928 – организатор и председатель Русского общевоинского союза.

168

Цитата из «Айвенго» Вальтера Скотта.

169

Карт-бланш (*франц.*) – буквально: чистый подписанный бланк. Дать неограниченные полномочия.

Скорее, Монтегю, иль я умру! (*У. Шекспир*.)

171

Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) – генерал от инфантерии (1914). Начальник штаба Юго-Западного фронта, затем командующий Северо-Западным фронтом. В марте – мае 1917 – Верховный Главнокомандующий, затем возглавил Добровольческую армию.

172

Нарицательное: плач пророка Иеремии.

173

За это дело всем 43 участвовавшим в нем казакам генерал Врангель приказал выдать Георгиевские серебряные медали «За храбрость». – *Примеч. автора.*

174

Александрия – город на юге Украины.

175

Слава вождю, победителю слава! (*Скотт*). – *Примеч. автора.*

176

Дети Михаила Тимофеевича и Елены Николаевны Беляевых – Елена и Сергей.

– Это настоящий кавказец, думаю?
– Возможно, офицер?
– Конечно.

178

Кутепов Александр Павлович (1882–1930?), генерал от инфантерии (1920). Командующий корпусом у Деникина и 1-й Армией во Врангелевской армии. После смерти Врангеля возглавлял Русский общевоинский союз. Жил в Париже, откуда был выкраден русской разведкой.

179

Г. Змиев Харьковской обл., с 1976 переименован в г. Готвальд.

ГПУ – Главное политуправление Красной армии.

181

Скамеечка.

«Прочь сомнения».

183

У них плохая репутация.

Подумать только.

Он отдал все сердце делу Деникина.

186

Кока – Константин Фридрихович Эллиот (р. 1890).

187

Леля – Леонтий Фридрихович Эллиот (1884–1918).

Брат – Николай Тимофеевич Беляев.

Невольно вспоминаются слова Грибоедова: «Какой их черт не в меру вместе свел». Памятником пребывания комиссии здесь – кроме анекдотов о скачущих коровах, москитах «величиной с римский огурец» и пр. – осталась пустая еврейская колония на землях.

Единственным конкретным памятником этой комиссии, которой поездка стоила дороже всей организации переселения, осталась еврейская колония близ Вильярики, где была разбита и приготовлена сотня готовых хуторов с инвентарем с рассрочкой платежа на 30 лет. Эта колония в лучшие эпохи расцвета не насчитывала и семи семитов. Переселение мной было организовано на средства моего брата и мои. За все время получено со стороны 300 аргентинских долларов.